

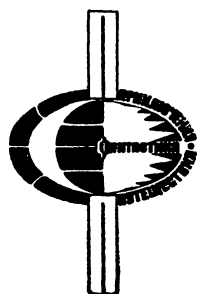


ФАНТАСТИКА

19

Тишина, безветрие, потом шорох. Так начинается марсианский пейзаж. Можно часами сидеть у подножья красных скал, всматриваться в безбрежье песка и слушать, слушать... Шорох везде и нигде. Похоже, что с фиолетового неба льдинками осыпаются полупрозрачные, похожие на изморозь облака. Стекланный шорох. Очень точное название. Когда он/смолкает, по песку пробегает дрожь. Тяжеловесно, медленно встает вал. Он наползает на острые, сухие глыбы, накрывает их, неторопливо оседает. Тогда глыбы прокалывают песок снизу. Впечатление такое, будто пережевывает вал щербатая че-





ФАНТАСТИКА 66 1906

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



МОСКВА

СТАТИКА
ФАН
1966
ВЫПУСК

Дмитрий Биленкин
Владимир Григорьев
Аркадий Львов
Евгений Войскунский
Исай Лукодьянов
Игорь Росоховатский
Роман Подольный
Владимир Савченко
Николай Амосов
Александр Мирер
Владлен Бахнов

АНКЕТА СБОРНИКА «ФАНТАСТИКА, 1966»

{Адресуется читателям, систематически интересующимся научной фантастикой}

1. Что более всего интересует Вас в фантастическом произведении: сюжет, образы или научные идеи и проблемы? философские идеи и проблемы? социальные идеи и проблемы?

2. Считаете ли Вы художественные достоинства главным в фантастике? Если нет, то что, по Вашему мнению, является в ней главным (идеи, занимательность сюжета и т. д.)?

3. Помогают ли вам фантастические произведения разобраться в современной действительности, в проблемах мира и нашего общества, в тенденциях научного прогресса? Если да, то какие именно и в чем?

4. Помогает ли Вам фантастика понимать, осмысливать новое в нашей жизни? Стимулирует ли фантастика Ваше личное творчество в области науки, изобретательства, литературы, искусств?

5. Какие проблемы занимают Вас? Какие из них советская фантастика отражает, по Вашему мнению, недостаточно?

6. Какие произведения современных советских писателей-фантастов Вам нравятся?

7. Какие произведения данного сборника Вам более всего понравились?

8. Укажите Ваш возраст, пол, образование, профессию.

ВАШИ ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

МОСКВА, А-30, СУЩЕВСКАЯ, 21.

ИЗД-ВО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», РЕДАКЦИЯ ФАНТАСТИКИ.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Даже на примере только этого сборника можно убедиться, насколько разнообразна фантастика. Литературоведы все еще спорят, жанр это или нет, а фантастика между тем демонстрирует всю гамму литературных форм. Здесь рассказ и роман, повесть и стихотворная баллада, пьеса и киносценарий. Фантасты явно расширяют границы своих владений.

Мы знаем, насколько относителен покой и абсолютно движение. А движение — это в том числе и рост, развитие. Развивается не только фантастика. Развивается вся окружающая нас жизнь, и мы вместе с нею. Фантастика давно выросла из детских штанишек. Она живет самостоятельной жизнью, ищет, пробует, находит, ошибается. Она уже не требует скидок на жанр и игнорирует сюсюканья по поводу «болезней роста». Конечно, интересно стоять у истоков явления, когда оно может быть, а может и не быть. Но истоки фантастики скрыты уже завесой времен, а гамлетовская альтернатива вылилась в бескомпромиссное: — она есть. Вот почему скоро и совершенно закономерно фантастику перестанут выделять из общего большого потока советской литературы. Она влилась в этот поток.

Но перейдем от общих проблем к конкретным произведениям этого сборника. Открывается он рассказом Д. Биленкина «Марсианский прибой». Читатель уже хорошо знает сдержанный, лаконичный стиль автора. И «Марсианский прибой», и «На пыльных тропинках», и тонкая миниатюра «Зачем?» написаны исключительно ясно, экономно. Здесь нет крайностей и стремительных поворотов сюжета, лишь чуть приглушенные полутона и скрытый философский подтекст. «Марсианский прибой» — пожалуй, самая большая удача автора. Можно передать красоту и величие космоса своего рода поэмой в прозе, где чуть ли не каждое существительное пишется с большой буквы, можно показать будничность, трудовой космос, подчеркнув его обыденность наплевательскими репликами героев. Оба эти приема хорошо знакомы читателям. Как правило, впечатление от подобных произведений остается довольно тягостное. Грубо говоря, читатель понимает, что автор врет и мучается от своей лжи.

Биленкин как-то удивительно мягко, просто и чуть-чуть грустно сумел раскрыть чужой грозный мир через характер своего героя. Ванин отнюдь не розовая личность в голубых одеждах и не грубиян с небритым подбородком. Он самый обычный молодой человек, который постоянно преодолевал себя, боролся с собой. Но, рекомендуя читателю то или иное произведение, никогда не следует сбиваться на пересказ.

Кроме рассказов Биленкина, читатель найдет в сборнике и произведения таких полюбившихся ему авторов, как Владимир Григорьев и Аркадий Львов. Рассказ Григорьева «Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты!» посвящен такому «вечному» для фантастики вопросу, как раскрытие необычного в привычном. Эмоционально напряженный образный язык, обильно одобренный юмором, парадоксальность ситуаций и гротескное смешение звездной пыли с бытовщиной — вот эти чисто «григорьевские» компоненты, придающие такое своеобразие его рассказам.

Философским раздумьям над проблемами воспитания подрастающего поколения посвящен рассказ Львова «Седьмой этаж». В разных ракурсах скрещиваются здесь поток сознания героя и авторский подтекст, точнее реалистическое описание обстановки и напряженная психологическая нить становления человеческого характера. Эпиграфом к этому рассказу мог бы служить настойчиво повторяющийся лейтмотив: «Педагогика, древнейшая человеческая наука, только начинается».

Авторы чудесной повести «Экипаж Меконга» представлены в сборнике большим рассказом «И увидел остальное». Свойственный Е. Войскускому и И. Лукодянову жизнерадостный юмор не изменил им и на этот раз.

Вообще фантастические пародии и юморески заняли в сборнике довольно значительное место. Новелла И. Росоховатского «Одним меньше», «Рассказы о путешествиях во времени» Романа Подольного и миниатюры Владлена Бахнова — это конкретные примеры тех качественных сдвигов, которых может ждать сатирический цех от новой «фантастической технологии».

В разделе «Новые имена», кроме уже упоминавшегося пародийного цикла Владлена Бахнова, помещен (отнюдь не юмористический, а скорее традиционно-фантастический) рассказ А. Мирера «Обсидиановый нож». Хочется, чтобы читатель запомнил это имя. Мирер вошел в литературу совсем недавно. Первый рассказ его помещен в альманахе «Мир приключений» за 1965 год. Но необычные для дебютанта уверенность и зрелость, характеризующие рассказы Мирера, дают основания предполагать, что его произведения станут все чаще появляться в печати.

Первая часть «Записок из будущего» — романа известного хирурга, лауреата Ленинской премии Николая Амосова, — публиковалась на страницах журнала «Наука и жизнь». Роман получил высокую оценку читателей. По сути это чисто реалистическое, очень профессионально написанное произведение. Автор лишь чуть-чуть перешагнул уровень достижений современной науки. И это лишний раз показывает то исключительное разнообразие, которое получил фантастический прием в творческой лаборатории писателя.

Очень умело и своеобразно использовал этот прием в новом для фантастики жанре драматургии Владимир Савченко. Фантастические пьесы без преувеличения можно сосчитать по пальцам. Это поистине «терра инкогнита», где поставлены лишь первые столбы. И если Амосов в своем романе ни на шаг не отходит от логики развития науки, то Савченко в пьесе «Новое оружие» смело вступает в спор с этой ло-

гикой. Конечно, достижения ядерной физики, точнее было бы сказать — нейтронной физики, не самоцель для молодого киевского писателя. «Новое оружие» — пьеса остросатирическая. И пусть специалисты не впадают в отчаяние от тех мест, где автор расходится с твердо установленными научными данными. Ползающий по поверхности радиоактивного вещества клоп не может, как сапер на минном поле, скакать между распадающимися атомами. Излучение идет из толщи вещества сплошным потоком. Недаром оно излучение! Савченко, конечно, это прекрасно знает. Знает он и о действенной корпускулярно-волновой природе элементарных частиц и о том, что нейтрино отличается от антинейтрино только спиральностью. Выдуманные им ядерные и пространственные эффекты интересуют его не как самоцель, а лишь как средство для наиболее гротескного заострения существующей сегодня в мире ситуации.

Итак, читатель, перед вами очередной сборник «Фантастика». Одни произведения вам, возможно, понравятся, другие вызовут возражения. Но в одном, я думаю, вы согласитесь со мной: советская фантастика исключительно разнообразна и служит она тому же великому делу, что и вся наша литература и все мы без различия профессий и вкусов.

МАРСИАНСКИЙ ПРИБОЙ



Тишина, безветрие, потом — шорох. Так начинается марсианский прибой. Можно часами сидеть у подножья красных скал, всматриваться в безбрежье песков и слушать, слушать... Шорох везде и нигде. Похоже, что с фиолетового неба льдинками осыпаются полупрозрачные, похожие на изморозь облака. Стекланный шорох. Очень точное название.

Когда он смолкает, по песку пробегает дрожь. Тяжеловесно, медленно встает вал. Он наползает на острые сухие глыбы, накрывает их, неторопливо оседает. Тогда глыбы прокалывают песок снизу. Впечатление такое, будто пережевывает вал шербатая челюсть. С плоских камней лениво сползают струйки песка. И снова горбится вал.

А кругом — неподвижность. Спокоен песок вдаль, незыблемы, как вечность, красные скалы. Только здесь, только в этом заливе и только у самого берега катится марсианский прибой.

Это значит, что далеко в просторах песчаных океанов разгулялась такая буря, что ее порывы сотрясают зыбкую почву, как землетрясение. И тут, в заливе, колебания совпадают в резонанс, микроструктура побережья меняется, песок обретает необычную подвижность. Подробности никто не знает и не попытается узнать: на Марсе пока и без того слишком много безотлагательных дел.

Я стараюсь не пропустить ни одного прибоя. Сижу, смотрю, слушаю и думаю. Очень хорошо думается наедине с явлением,

подобного которому нет нигде. Исчезает время, исчезают границы пространства, даже тела своего не ощущаешь; лишь ты и прибор, никого больше.

Теперь берег пуст. А раньше здесь былолюдно. Помню, как были потрясены радисты Земли просьбой прислать плавки. Да, нашелся шутник, которому не терпелось натянуть поверх скафандра плавки, чтобы окунуться в прибор. Тогда сюда летали купаться все: повички, чтобы было о чем порассказать на Земле; старожилы, которых влекла тоска по воде, — настоящей воде, настоящему прибою, настоящему морю.

Шутником был, конечно, Ванин. Не то чтобы остроумие было чертой его характера: пожалуй, наоборот. Но до чего ж сложные, противоречивы, неожиданны наши поступки, когда ими руководят чувства! Особенно у таких замкнутых натур, как Ванин. И как странно, причудливо выглядит все это перед лицом марсианского прибора...

Случай с Ваниным тогда потряс всех своей мнимой нелепостью. Теперь эта история обросла легендами, в которых трагичное переплелось с комичным, смелость с безрассудством. Как все это далеко от истины! И какими мы еще выглядим младенцами с нашими ракетами, искусственным белком и ядерной энергией, когда в своих же интересах пытаемся продумать и наперед предвидеть поступки человека.

Помню первую разведку Марса. Мы не могли рисковать, мы не имели права рисковать — любая неудача отбросила бы нас далеко назад. А перед нами была неизвестная планета, на которой все могло случиться и ничего нельзя было предусмотреть заранее. Поэтому — ни одного случайного шага, страховка всюду и везде. Программа осторожности... Мы неукоснительно следовали ей. Всерьез обсуждалось, как первый из нас ступит на Марс: надо ли его обвязывать веревкой или нет? Конечно, раз почва выдерживает корабль, она выдержит и человека. И все-таки вдруг... Мало ли что... Не Земля — Марс...

Мы были предельно осторожны, и это уберегло нас от всех неприятностей, которые встречались нам в избытке.

Нас было шестеро. Но когда людей шестеро, один непременно оказывается трусом. Не в обычном значении этого слова, отнюдь. Просто кто-то должен быть более осторожным, чем другие. Более нерешительным. Более скованным. Не имеет никакого значения ни обстановка, ни число людей. Когда вы переходите оживленную улицу вдвоем, понаблюдайте за собой

и за своим спутником: кто-то из вас обязательно окажется «более»... И неважно, что поведение такого человека подчас никак нельзя назвать трусостью. В обычном понимании этого слова.

Наш Ванин тоже не был трусом в привычном значении этого слова. Что вы! На Земле, в нормальных условиях, он был смелее по крайней мере восьми человек из десяти. Но на Марсе он был самым осторожным. И самым трусливым — теперь вы знаете, что я подразумеваю под этим словом.

Нет, формально его поведение было безупречным. Он не обращался в бегство при встречах с неожиданностью, не паниковал в трудной ситуации. Но он никогда не шел первым там, где дорога не была разведанной. Он всегда ступал след в след впереди идущим. Понимаете?

И он не мог заставить себя поступать иначе. Видел в себе этот недостаток, пытался его побороть — и не мог. Не берусь объяснить почему: человеческая психика — все еще темный лес. Может быть, необычность обстановки, возможно, внушение: «Будьте осторожны, будьте осторожны...» Да знаете ли вы, как трудно было идти по Марсу впереди всех?! А вдруг развернется почва, вдруг произойдет что-то такое, отчего ты исчезнешь? И такие дурацкие мысли лезли в голову. Марс ведь, не Земля...

Да... Никто не упрекал Ванина, кроме него самого. А потом и мы стали посмеиваться над его сверхосторожностью. Это уже, когда Марс перестал нам казаться таинственным, когда мы пообвыкли и поняли сердцем, а не умом, что марсианская природа ничуть не каверзней земной, пожалуй, даже наоборот. А к Ванину последнему пришло это понимание. И его наши шуточки ранили.

Винить ли себя в них? Задним числом оно, конечно, можно. Ну, а так, положи руку на сердце? Мы люди веселые. Без чувства юмора, как ни парадоксально, нельзя исследовать планеты: сгоришь от перенапряжения. А шутка, в этом убеждает меня весь мой опыт, как предохранительный клапан. Посмеешься — и сразу легче.

Перебираю сейчас все наши острооты: нет, ничего обидного в них не было. Когда точно такие же по тону мы адресовали друг другу, то хохотали все — и «обидевшие» и «обиженные». И Ванин смеялся, когда ему доставалось. Очень натурально смеялся... Только теперь я понимаю, что не всегда

тот смех шел от сердца... Где-то в подсознании, верно, звучало: «трус».

В те самые дни, когда мы уже освободились от робости, а Ванин еще нет, и произошло открытие марсианского прибора. И открыл его, как ни странно, Ванин.

Вот как это было.

Мы приближались к этим вот красным скалам со стороны песков. Только поблизости от них слышен стеклянный шорох, предваряющий прибор. Но подошли мы к скалам, когда он уже смолк, поэтому ничто не предупредило нас.

Ванин по своему обыкновению шел сзади, ступая след в след. (Обычно он старался держаться середины; это еще тогда, когда мы двигались только цепочкой; теперь же мы шли тесной гурьбой, и Ванину поневоле приходилось держаться позади.)

Мы уже выбрались на берег. Ванину оставалось несколько шагов. И тут песок колыхнулся. От неожиданности Ванин упал. Хотел встать, ноги утонули в песке. Он сдержался, не закричал, но мы видели, как побелело его лицо. Пока мы лихорадочно разматывали капроновый трос, пока бросали, прибором окунул Ванина несколько раз в песок, и он понял, что ничего страшного нет. Песок в черте прибора никак не назовешь зыбучим. Текучим он становится лишь сверху; можно почти везде встать и нащупать твердое дно. Причина, вероятно, та, что у скал очень мелко.

Ванин быстро сообразил, что к чему (лишнее свидетельствовало, что трусом в обычном понимании он вовсе не был). Он не дал себя вытащить и вылез сам, держась за трос просто так, на всякий случай.

Когда мы поняли, что ничего смертельного в этой ситуации не было, мы не могли сдержать смеха при воспоминании о нелепых телодвижениях Ванина, его растерянной физиономии. Как бы вы восприняли этот смех? Вероятно, сами бы в конце концов принялись подшучивать над собой. Ванин же «полез в бутылку». Ему показалось, что мы нашли его поведение трусливым. К этому не было решительно никаких оснований. Любимый из нас, я уверен, испугался бы, если бы почва вдруг стала уходить у него из-под ног. Но Ванин, как я уже говорил, болезненно переживал свою, как он думал, «неполноценность». И тут он разобиделся всерьез. Во-первых, в этой ситуации он вел себя мужественно. Во-вторых, прибор — его открытие.

Неоспоримо его! (На долю того, кто держится середины, обычно выпадает меньше неприятностей, зато и успех приходит реже.) А тут — смех...

И Ванин с горячностью стал доказывать недоказуемое. Что он ни капельки не испугался, что не вставал только из-за желания получше изучить явление.

— Кроме того — вы этого не понимаете, — купаться в прибой очень приятно! — заявил он.

Ему не поверили.

Тогда, прежде чем мы смогли его удержать (никто не ожидал!), он бросился в прибой, лег под волну, изобразив на лице величайшее блаженство.

— Мальчишка! — справедливо затопал ногами капитан. — Немедленно назад!

Он вылез, широко улыбаясь: доказал!

Мы повозмущались его поступком, но заинтересовались. А что, если попробовать?

Со страховкой, с тысячей предосторожностей двое из нас влезли в прибой. Знаете, это приятно! Кажется, что сам лежишь неподвижно, а колышутся скалы, горизонт, небо с редкими звездами в зените. Мерные, баюкающие колебания и одновременно ощущение плавного полета неясно куда: вверх ли, вниз. Ни с чем не сравнимое впечатление!

А потом на тебя неизбежно наползает вал, ты погружаешься, и это выглядит страшно, и ты начинаешь барахтаться, чтобы удержаться, и в этой борьбе есть азарт, хотя заранее известно, что ничего плохого не произойдет.

Надо испытать, что такое марсианский прибой. Его трудно описать по той простой причине, что на Земле ничего похожего нет. Нужно самому почувствовать этот полет в никуда, это медленное погружение в песок, чтобы понять притягательную силу прибоя.

Вот так, с его открытием Ванин стал героем. Но ему было мало нашей признательности! Он хотел вновь и вновь утвердить себя, опровергнуть то, что было так преувеличено его воображением. На Марс прибывали новые люди, их возили к прибою, и показывал прибой, разумеется, Ванин — его первооткрыватель, его исследователь. Собственно, тем многим, что мы знаем о природе прибоя, мы полностью обязаны Ванину. Но его заботило гораздо больше другое: впечатление.

О, это выглядело великолепно! Вообразите себе группу новичков, еще растерянных, не уверенных в себе, ожидающих чудес. И рядом с ними Ванина — опытного, спокойного старожилы, которому все известно и все нипочем. Вот он, сопровождаемый восторженными взглядами, спускается с берега навстречу грозному в своей загадочности валу, ложится под него, плывет. Дальше исполнялся коронный номер: Ванин давал себя засыпать. Редко кто мог удержаться от невольного вскрика, когда песок целиком скрывал человека; он исчезал, и волны катились над могилой, над проглоченной жертвой — холодные, неторопливые, равнодушные. Тишина, безветрие, беззвучное движение песка, купол фиолетового неба над угрюмой равниной; проходят минуты, а Ванина нет и нет: исчез, утонул.

Мы, если кто-нибудь из нас присутствовал, старались не портить эффекта, привычно принимая озабоченный вид. Тем поразительней был момент, когда Ванин вдруг вставал из-под песка!

Это тоже был его фокус. Именно он обнаружил, что даже двухметровый покров песка не мешает человеку в скафандре с гидроусилителями «восстать из мертвых». Просто меньшая сила тяжести, чем на Земле. Кроме того, песок и не мог утащить человека глубоко; Ванин тщательно проверил это и убедился, что находиться под песком можно часами, пока не иссякнет кислород в баллоне. Но новичкам-то все это было в диковинку!

Втайне мы даже гордились «эффектом Ванина» и с нетерпением ожидали очередного представления. Правда, капитан ворчал и даже советовал Ванину прекратить глупости. Делал он это, однако, не потому, что ожидал чего-то недоброго, а из любви к порядку и целесообразным действиям. Ванин, конечно, и в ус не дул: это был его прибор, показательные купания были его славой, и он не собирался расставаться с лаврами. Так заслуженный ученый гордится порой не столько своими великолепными экспериментами, сколько умением красиво переплести книгу. Пойми человеческую натуру! Впрочем, и сам капитан не отказывал себе в удовольствии испускаться...

Вообще мы как-то позабыли одну простую истину. У человека, который знает, что он плавает плохо, невелик шанс утонуть, ибо этот человек осторожен. Невелик риск и для хорошего пловца. Чаще всего гибнут — и глупо гибнут — люди,

которым кажется, что они уже научились хорошо плавать, тогда как на самом деле это не так.

И вот со временем мы очутились аккурат в этой самой злой полосе. До сих пор все шло удачно, мы осмелели. Но Марс еще не был покорен, нам это только казалось. Не то что бы мы совсем забыли об этой истине. Но жить в вечном ожидании удара и соответственно вести себя, когда все хорошо, все спокойно, немислимо. Можете проверить это на себе, когда представится возможность.

День отрезвления, как всегда, пришел неожиданно. На Марс прилетела новая группа. Среди новичков — две девушки. Их повезли смотреть прибой. Ванин радостно потирал руки. Чего он только не вытворял! Он превзошел самого себя. Девушки охали и ахали, в их глазах сиял восторг, который, Ванин не сомневался, должен был после коронного номера перейти в обожание.

Вы догадываетесь, конечно, что произошло потом. Ванин дал себя засыпать. Десять минут прошло, полчаса... Он не появлялся! Понемногу и мы начали волноваться. Но никто ничего не предпринимал. Глупо? Не очень. Ведь Ванин проделывал погружение десятки раз; погружались и мы. Воздуха у него было на несколько часов. На берегу девушки... Конечно же, он будет на этот раз тянуть время дольше обычного. Какими дураками мы будем выглядеть, если полезем его вытаскивать, а он с хохотом выскочит, как черт из коробочки!

Так и шло время. Проклятая боязнь стыда! В конце концов мы полезли в прибой узнать, в чем дело, а оставшимся объявили, что мы тоже захотели искупаться. Разумеется, поставив себя в такое нелепое положение, мы могли искать Ванина в волнах только укладкой.

Мы ничего не обнаружили.

Вот тогда мы уже откинули ложную гордость. Вам пришлось копать болотный ил? Тогда вы немного представляете, каково было нам. Мы нашли Ванина лишь после того, как прибой кончился и песок снова обрел плотность.

Ванин к тому времени уже задохнулся — кончился кислород в скафандре. Как потом выяснилось, Ванина затянуло под скалу и он не мог выбраться, потому что этому препятствовало движение валов.

Нелепая случайность, от которой мог погибнуть точно так же любой из нас? Нелепая, согласен. Но в том, что первой

жертвой Марса был Ванин, я вижу некоторую закономерность. На дне прибой случайность подстерегала каждого из нас, но шансов попасться в ловушку у Ванина было несравненно больше: он чаще и смелее нас всех лез в прибой. Лез потому, что новички видели в этом отвагу.

Не буду спорить, если мое объяснение всего случившегося покажется неверным. Я изложил факты, а часто бывает, что цепь событий, толкнувшая человека на какой-нибудь поступок, может быть истолкована совсем по-другому.

Дело не в этом. Я смотрю на прибой, на череду тяжеловесных волн, в которых ничего не отражается, и думаю. Сейчас никто уже не купается в прибое. Но будут купаться, когда Марс станет обжитым, это неизбежно. Все придет в равновесие, все будет узнано, на любом клочке этой планеты четко обозначится граница между безопасным и опасным, между смелостью и трусостью, между ухарством и отвагой. Так будет. Но неужели и впредь это не обойдется без Ваниных?

ЗАЧЕМ?

Долго думали машины, долго думали ученые. Из конца в конец планеты Орби перекачивались волны информации, дробились, сливались, смешивались, кристаллизовались в формулах, вызывали бессонницу, сжигали предохранители блоков памяти. Решался вопрос: как лучше сообщить о себе предполагаемым цивилизациям других миров?

И средство было найдено.

— Друзья! — объявил председатель Ученого Совета. — Вековым спорам и поискам пришел конец. Коротко резюмирую вывод. Бесконечность расстояний делает невозможным полет к далеким мирам. Варианты сигнализации радиоволнами, космическими лучами, нейтринными потоками, полями тяготения неудовлетворительны по двум причинам. Во-первых, такими сигналами сложно охватить всю Галактику. Во-вторых, а это главное, их может принять лишь высокоразвитая цивилизация: тем самым мы заранее суживаем круг поиска.

Для нас теперь ясно, что сигнал должен быть очень простым, очень броским и адресовать его надо сразу «всем, всем,

всем». Этому назначению отвечает свет, ибо его видят разумные на всех ступенях развития.

Остается пустяк: как наилучшим образом решить эту задачу технически? С радостью сообщая, что такое решение найдено. К ближайшей звезде запускается автоматическая станция. Установленные на ней лазеры станут управлять звездными реакциями. Звезда будет то разгораться, то гаснуть. Ее мигания и станут нашим посланием Галактике. Единственная пульсирующая звезда в ночном небе — разве может она не привлечь внимания даже неподготовленного ума? Это побудит задуматься над вопросом: «Зачем она мигает?» Так мы продемонстрируем миру свое существование. Это и есть оптимальный вариант межзвездной связи.

Планету Орби сотрясали аплодисменты.

...Была теплая благоуханная ночь. Струились фонтаны Версаля. Красавица подняла томный взгляд.

— Зачем эта звездочка мигает там, в небе?

Кавалер тряхнул напудренными локонами парика и с изысканной любезностью проворковал:

— Это ангелы любви подмигивают нам, моя дорогая.

Красавица была довольна ответом.

...Была ночь, наполненная ревом моторов. Тихонько стонали стекла. Докладчик вытер пот.

— Резюмирую: природа вспышек пульсирующих звезд объясняется взаимодействием гравитенных квази-флуктуаций с пульсацией квантов по закону убывания релевской поляризации сингулярного пространства.

Докладчик сошел с кафедры. Аудитория вежливо похлопала — она была удовлетворена объяснением. Вопрос «зачем?» не ставился — всем давно было известно, что его бессмысленно задавать природе.

Но звезды не слышали ни первого, ни второго объяснения. Они мигали: каждая по своей программе. Теперь их было много — маяков Вселенной. Потому что любая цивилизация, достигнув определенного уровня развития, неизбежно находила оптимальный вариант межзвездной сигнализации. И никого уже эта особенность неба не удивляла.

НА ПЫЛЬНОЙ ТРОПИНКЕ

«Красная узкая птичка вертится
Во все стороны — видим ли мы ее?»
Ю. О л е ш а

Сначала послышался топот, близящийся, тяжеловесный, глухой: «бух, бух, бух!» — словно молотом о подушку. Фиолетовые кусты колыхнулись за поворотом, и на тропинке возникли сириллы. Увидев человека, замерли. Их тотчас окутало густое облако пыли. Воздух наполнился свистящим дыханием бронированных легких.

Архипов взялся за пистолет. Он не испугался, но удивился безмерно. Такого в жизни не бывает, такое — внезапный топот, беспричинное появление чудовищ — слишком похоже на киновыдумку.

Мгновение они стояли друг против друга — человек в скафандре и животные. Потом — три квадратные морды опущены вниз, три пары глаз неистово горят зеленым — сириллы понеслись, как камень из пращи. Прямо по тропинке, прямо на человека. Архипов пожал плечами. Ослепительный удар молнии пришелся по первому животному. Струя плазмы снесла ему череп.

Уцелевшие круто и стремительно развернулись. Опять колыхнулись кусты за поворотом, и тропинка опустела. Только клубящаяся пыль напоминала об атаке.

У Архипова неожиданно ослабли колени: до сознания, наконец, дошло, что все это было всерьез. «Вот так штука! Будет о чем рассказать ребятам...»

Он был уверен, что его рассказ вызовет живейший интерес. Когда-то пункт «о поведении при встрече с опасными животными» стоял в инструкции по технике безопасности одним из первых. Но вскоре его убрали в самый конец. За ненужностью. Ведь даже самый примитивный ум животного легко соображал, что нет решительно никакого смысла первым ввязываться в драку с невиданным существом, от которого неизвестно чего ожидать. Спокойней найти привычную добычу.

И Архипову не сразу удалось восстановить в памяти злополучный пункт о встрече с хищниками. Ага, вроде бы так: «По возможности избегать приближения... В случае нападения обороняться быстро и решительно...» Дальше мелкий шрифт

примечания. Ну, все в порядке: на него нападали, он оборонялся, правило соблюдено.

Он подошел ближе к поверженному и растерзанному животному. В беге оно казалось более крупным. Пыль толстым слоем осела на панцире, маскируя истинный цвет сириллы. Теперь Архипов никак не мог понять, почему он считал животное свирепым. Просто громоздкая туша костей, мускулов, нервов, из которых он вынул жизнь. Что-то похожее на сожаление шевельнулось в душе. Полно, а хищник ли это?

«Хищник, конечно, хищник, он же нападал», — поспешил успокоить себя Архипов. Но прежней уверенности не было. Только сейчас он почувствовал, насколько ему чужд и не знаком животный мир планеты. Все время на вертолете, все время на вездеходе, почти никогда пешком. Мчится машина, вдавли шевельнулось смутное пятно, исчезло, унесенное скоростью, — понятно, какой-то зверь. Вот и все знакомство. Какой зверь? Да не все ли равно! Своих дел по горло.

Размышления прервал шорох. Кусты опять шевельнулись, их наполняло скрытое движение. Архипов в недоумении завертел головой. Но кибер, топчущийся у ног, как собака, не дал сигнала тревоги. Так, какая-то мелочь пробирается по кустам... Тайная, неуловимая жизнь что-то ищет, чем-то шуршит, куда-то бежит под пологом девственного леса.

Архипов перевел дыхание, снял руку с пистолета. Неожиданно пришла мысль, которая его поразила. Вот только сейчас, несколько минут назад он впервые столкнулся лицом к лицу с диким животным! Неужели впервые? Да, черт возьми... И самое смешное, что зверей этой планеты он все-таки знает лучше, чем земных. Некогда, в далеком детстве, его, кажется, водили в зоопарк. Воспоминания, конечно, стерлись. А потом, потом? Он силился припомнить. Все не то, не то... Это он видел в кино, и это тоже. Вспомнил! Он затормозил тогда машину, мчащуюся по разливу асфальтовой реки со скоростью двухсот километров в час, и дружно захохотали, дивясь диковинным прыжкам какого-то зверька. Кажется, зверек назывался зайцем. Он так забавно бежал! Хорошо, что у кого-то из их компании было такое острое зрение, иначе бы они проморгали эту встречу. Сколько было потом восторгов! Увидеть животное на воле, не каждый мог этим похвастаться... Впрочем, на Земле, причесанной техникой, и этот заяц скорее всего был на учете. Так что и его трудно было назвать диким.

Ладно, ничего удивительного. Он космонавт. Долгие годы странствий при свете немигающих звезд, естественно, отдалили его от Земли. По крайней мере от ее диких обитателей. Пустое. «Мы дети улиц, мы горожане...» — так, кажется, пелось в какой-то старинной песенке. А он еще и космонавт.

Архипов тронул тушу носком ботинка. На ней отпечатался пыльный след. Нет, что и говорить, экзотическое приключение! Можно понять людей, которые когда-то назывались охотниками.

И тут кибер предупреждающе заворчал. Его антенна, анализирующая запахи, быстро вращалась. Архипов прислушался. Движение кругом, тайное движение. Но ни одна ветка не шелохнется. Зверье, похоже, умеет прятаться. А вдруг кто-то прыгнет из зарослей? Пальнуть, что ли, туда? Фу, он совсем разнервничался, если приходят такие мысли. Нет, прогулки по здешнему лесу не для него. Не привык. Надо поскорей вернуться к машине.

Но вернуться он не успел. Вновь раздался топот, тревожный, нарастающий, глухой топот. И снова колыхнулись кусты за поворотом, и в облаках пыли, как и в тот раз, появились сириллы. Но теперь они не остановились даже на мгновение. Они неслись так, будто впереди не было человека, — грохочущей, все сметающей лавиной.

Архипова это почти испугало. Но раздумывать было некогда. Завесу пыли пропорол луч пистолета. Крайнее животное перекувырнулось через голову и разлетелось, взорванное. Однако, что уж было совсем непонятно, а потому страшно, выстрел не остановил нападения. Сириллы в мгновение ока смяли возникшую преграду из останков собрата, и Архипов увидел их морды совсем близко от себя. Увидел бронированные тараны, полные неукротимого напора и бешеной силы: тараны, нацеленные по геометрической прямой, которая проходила через его тело.

Вновь и вновь сверкнул луч, уверенный, разящий, но торопливый. Грохот, треск, от поднятой пыли потемнело вокруг.

И внезапно все стихло, ибо все было кончено. Раздавленная, искромсанная лавина замерла у ног человека. Архипов не сразу понял, что за странные цветы усеяли его скафандр. Потом сообразил: брызги крови.

Он дрожал весь с головы до ног и не мог унять дрожь. Он

сделал шаг и пошатнулся. Нет, хватит, прочь, прочь от этого ужасного места!

Но не тут-то было! Кусты на повороте уже не колыхнулись: они пали, как занавес, поваленные новой лавиной сирилл. Архипов в иступлении полоснул лучом поперек тропинки. Первый ряд повалился, но трепещущий завал почти не задержал животных. Архипов бил лучом налево, направо, наотмашь рубил им, словно огненным мечом. Перед ним громоздились груды, и он все бил и бил, бил по живому и по мертвому; а сириллы, и кажется, уже не только сириллы, всё мчались, и это было кошмаром. словно сама природа вдруг двинулась на пришельца-человека, чтобы смять, уничтожить его.

И еще несколько минут Архипов палил лучом, хотя бить было уже некого — звериный поток иссяк. Когда человек сообразил это, он вынужден был присесть в изнеможении. Раскаленный пистолет жег ладонь даже сквозь перчатку. Одежда была мокра от пота.

Но треск в кустах опять заставил его вскочить. Да что же это такое... Он озирался, переполненный самыми дикими догадками. Треск шел неизвестно откуда и не походил на прежний. В нем была угроза и победная сила, как в скрежете челюстей, перемалывающих добычу. Напрасно, однако, Архипов силился разглядеть причину треска. Пыль. Она висела над полем битвы густым дымным пологом.

Сквозь пыль с трудом пробивался рыжий свет дня, огненными бликами падая на тропинку. Их шевеление чем-то останавливало внимание Архипова. В них была странная краснота. И подвижность.

«Что это значит? Все это? Животные, треск, блики... Хоть бы минуту передышки, чтобы сообразить...»

Дымный полог колыхнулся перед ним, видимо, от порыва ветра. Полынья света расширилась и тронула дальний куст. И куст внезапно охватило пламя! Архипов вскрикнул: куст пылал с оглушительным треском.

И тут Архипов понял все... Сразу, окончательно. Понял и замычал, словно от боли. На него, на сирилл, на все живое шли огонь и дым. Шел треск лесного пожара, от которого должны были спастись все — и люди и звери. Пожар, только пожар гнал сирилл по тропинке на прямую, слепо, безоглядно, по кратчайшей и удобнейшей дороге, на которой вздумалось

оказаться человеку, настолько далекому от жизни леса, что он ничего не понял, не посторонился, не побежал бок о бок с животными, а бездумно рубил своим сверкающим мечом, как будто в эту минуту ему могла грозить опасность большая, чем сгореть заживо.

Как ни страшно было это открытие, Архипова прежде всего охватил стыд, горький и едкий стыд. Устроить такую бойню! Кромсать на куски тех, кто искал спасения и указывал ему путь к спасению!

Архипов последний раз бросил взгляд на печальный памятник своему высокомерию — груды мертвых тел, к которым уже подбирался огонь. И побежал, отшвырнув тяжелый пистолет. Побежал стремглав — по прямой, кратчайшей дороге, не глядя по сторонам, не рассуждая, готовый грудью спести любое препятствие. Побежал так, как перед этим бежали сириллы.

СВОИ ДОРОГИ К СОЛНЦУ



Профессор, отстукивая каблуками, сбегал по трапу на взлетную полосу и шагнул вслед за рулоном. Ковер неслышно бросился прочь. Бросился, но тут же притормозил, приноравливаясь к скорости, наиболее удобной для человека, отвыкшего от собственного веса.

— Направо, налево, вперед, — диктовал кто-то с диспетчерского пункта, и профессор с удовольствием подчинялся, легко скользя в рассекаемой рулоном толпе.

Приятно быть весомым! Приятно подчиняться! Полтора года он командовал всеми сразу, вспоминая о временах, когда можно было командовать только самим собой. Ах, приятно командовать только самим собой! Вот все встречают его здесь, на Земле. Хотят, чтобы он заговорил, взмахнул рукой. А у него комок в горле. Что сказать? Какую речь? Не расскажешь и не напишешь...

(Видели бы они его лицо тогда. Когда щит гравитонов вздрогнул и прогнулся. И осколки брызнули. Хорошо, что не видели.)

Народ встречал профессора глубочайшим молчанием.

— Никаких эмоций! — приказал медицинский консилиум. — Нервы профессора на пределе!

Никто из них, врачей, не знал наверняка, на пределе или как. Последнее время индикатор присылал совсем непонятные графики его состояния. Кривые выписывали лепестки, бутоны, соцветия, а то выходили на идеальное плато, парили, как пти-

цы, над степью. Врачи путались в графиках. Но каждый ставил себя на его место и говорил:

— На пределе!

Да, за полтора года кабинетной работы он привык к абсолютной, вакуумной тишине. Отзвуки земной суеты не проникали в герметично закрытый кабинет, подвешенный в космосе где-то меж Землей и Луною. Оттуда он и руководил всей этой прекрасной, захватывающей и, что греха таить, настолько интеллигентной операцией, что всего несколько интеллигентов Земли решились поднять руку, отвечая на вопрос: «Кто же?»

«Берегут, что ли, мои барабанные перепонки? — размышлял профессор, тревожно вглядываясь в молчащую толпу. — Почему молчат?»

Конечно, распоряжение бдительных охранников здоровья было излишним. Никакое тысячеустое, стадионное «ура» не могло сейчас перекрыть радостной бури, валами идущей в груди профессора.

Большой Сводный Цветомузыкальный в десятую часть силы наигрывал подурии из протонных маршей. Профессор махнул рукой.

— Громче!

Дирижеры испуганно оглянулись на музыкантов.

— Еще громче! — профессор решительно рубанул ладонью по воздуху.

Какая-то рубиновая труба запела, пуская потоки лазерных разноцветных лучей, самоходные барабаны на воздушных подушках грохнули, и народ пришел в движение. «Уу-рра!» — рвануло кругом. Профессора подняли на руки, а ковер покотился в обратную сторону.

Да, провожали его не так. Затемненный стартодром, десяток испытанных сотрудников, молчаливые президенты академий. Приглушенные звуки команд. «Блок питания...» — «Есть!..» — «Датчик критических масс...» — «Есть!..» Он отклеил карман, сунул туда магнитофон. «У любви, как у птицы, крылья!» — зудело в кармане.

В общем-то тогда, перед стартом, план операции уже прочно сидел в голове профессора. И он был, пожалуй, спокойнее других, не знавших еще этого плана и не имевших своего. Он уже понял кое-что, успел сопоставить, сравнить. Но сказать об этом вслух не решался. Сказать — значило запугать многих,

а в те дни нервишки кой у кого действительно стали сдавать. «Потом, через месяц, оттуда», — твердо решил он.

Задача сводилась к следующему. Полтора года назад из-за случайных, как казалось поначалу, внешнекосмических причин возросла скорость вращения Земли вокруг Солнца. Да, со дня на день скорость все возрастала. Расчет на уровне домашнего задания школьника показал, в какой день и какой час Земля сорвется с древнего маршрута и помчится, попросту говоря, в тартарары. (Впоследствии он и вошел в стандартные программы заданий на дом, вытеснив из программы более частную и решаемую с меньшим энтузиазмом задачу отрыва Луны.)

Расчет посложнее выдал траекторию дальнейшего путешествия. На этом этапе вокруг задачи возникли и закустились докторские диссертации. И уж совсем замысловатый комплекс вычислений раскрыл одну особо неприятную деталь: пройдя по сложной эллипсоспирали, Земля вонзится в центр дальней планеты «Пятак», прозванной так из-за внешнего сходства с распространенной монетой. Тогда брызнут осколки.

Тут уж стало не до диссертаций. Впрочем, и народ, принявший на себя конечную, самую тяжкую цепь вычислений, не нуждался в служебном повышении — академики, пожилые принцы науки, приняли на себя этот груз.

Какие силы повели Землю от Солнца? Почему траектория подозрительнейшим образом совпадает с центром «Пятака»? Кому все это нужно? Учебники физики, астрономии как ветром сдуло с прилавков. Отцы семейств, содрогаясь и трепеща, похищали учебники из тугих портфельчиков детворы. За один экземпляр предлагали аквариум с осьминогом или левитационный набор часового действия.

— Да кому нужно? А что, как и в самом деле?..

Профессор не хотел верить этой мысли, однако вопросы веры уже не имели прежнего смысла. Укладывается в мировоззрение, не укладывается — проверяй. Он сел за действующие функциональные модели Старого и Нового Космоса.

Там, в пульсирующем мраке пространств, трепещут на своих орбитах гиганты, карлики и просто мелкие рудные тела, осколки. Смерзшиеся и вулканизирующие, испепелившиеся и только входящие на режим предельной мощности, но равно ничтожные перед лицом бесконечного множества подобных себе, они сплетают свои траектории, поля действия в единый, мощный, ровно вздыхающий организм. Попробуй уследи

за каждой клеткой, каждым капилляром необъятного, живого клубка!

Профессор и не ставил такой задачи. Он искал выборочно именно то, что нужно было сейчас, в данный момент. Вот он увидел: ничтожная «Сентаво-прим» ушла, нет, еще не ушла, но вот-вот уйдет от своего голубого карлика. А вот «Тугрик»; четырехугольный, сработанный, как рыночный чемодан, он ушел от своего рыжего гиганта. Бесповоротно. На полдороге к «Пятаку» колышется посредственная, негодная к жизни «Ночка». Ее зафиксировали, лет сто назад безрадостно внесли в каталог, да так и забыли про нее. Кривая вынесет! А вот ушла.

Таких сорвавшихся с орбит профессор насчитал около дюжины. Длинной, растянувшейся вереницей беспомощно шли они в одну точку, через равные промежутки времени — в самое сердце «Пятака».

— Ах, черт! Красиво идут! — восхищенно воскликнул профессор, отрываясь от расчета. — Красиво, — обмякнув, повторил он. Так опытный боксер отмечает про себя красоту коронного удара противника и уже потом погружается в рассредоточенное состояние нокаута, грогги.

Секунду или две профессор провел как бы в небытии. Но тут же рывком тренированной воли собрал себя в целое, выпрямился.

— Значит, не одни. Значит, что-то функционирует, действует, уводит. Какой-то механизм, волновой, гравитационный. Значит... — Он сказал это твердо, на полной дикции, через сжатые челюсти. В кабинете никого не было. Он быстро раскатал коврик, ощупал мышцы и застыл на коленях, подняв правую руку вверх. Забыть обо всем, думать о единственном. С этой секунды гимнастика начинала играть не меньшую роль, чем уравниения и выкладки.

...Профессор первым поднял руку, отвечая на роковой в те дни вопрос: «Кто же возьмется?» Командир требовался решительный; сроки сжимались и сжимались.

«Пятак» — мишень. Полигон. Луч гравитационных волн, исходящий из планет созвездия «273ЕА???...Х», обволакивает Землю и ведет к мишени. Цель эксперимента жителей «273ЕА???...Х» — изучение ядра Земли методом раскалывания на части ударом о мишень. Сигнал бедствия жителям «273ЕА???...Х» послан, когда-нибудь он дойдет до них. Начи-

наем сооружение гравитационного щита. Щит — единственный выход...» — такую телеграмму выслал профессор после месячного молчания в своей герметической келье. Ровно месяц, столько испробовал профессор на абсолютное молчание.

...Автомобильный кортеж мчал по улицам, запруженным ликующим народом. Комитет любительского общества «Даешь светило!» нажал, и врачи переоценили ситуацию. Ликовать разрешили вслух.

То и дело перед автомобилем вырастали гигантские полотна со светящимися схемами гравитационного щита. На некоторых профессор успевал различить собственный, слегка подправленный и чуточку облагороженный профиль. Профессор усмехнулся. Что же, он честно заработал себе новый профиль. Гравитационный луч «273ЕА???...Х» заперт, закольцован. Эксплуатируется в мирных целях. Земля крутится на прежнем месте! Гравитационный щит хоть и потрепался местами, но дело свое сделал.

Теперь, когда кризис разрешился, он мог по праву считать, что ему просто повезло. Операция «Возвращение к Солнцу», уникальнейший за историю науки эксперимент, оптовая проверка большинства существующих теорий (а какой преданный делу специалист не мечтает о такой всеобщей проверке!), грандиозное промышленное предприятие! Вот когда теория и практика слились настолько, что многие встали в тупик: какая же часть больше выиграла от этого слияния? А «273ЕА???...Х»? Ах, пусть тратятся, шлюк бездну энергии. Завитая гравитационным щитом в кольца, трансформированная, она уже гудит в проводах высокого напряжения, мчится к объектам большой химии и на кукурузные поля...

Да, просто повезло. Плакаты с профессорским профилем, как птицы, летели с обочин дороги, и торжествующая, однако не лишенная некоей иронии улыбка тревожила его лицо. Но вдруг складки его лица закаменели, а лоб перегородился морщинами. Он резко привстал с сиденья, будто увидел впереди неожиданное препятствие, и, перегнувшись к шоферу, прокричал ему что-то в самое ухо. Из-за рева толпы никто не расслышал, что именно прокричал профессор. Но шофер расслышал. Он испуганно обернулся и развел руками. Мол, нет, нельзя. Тогда профессор крикнул еще, повелительно взмахнув рукой. И автомобиль профессора круто выскочил из общей колонны, развернулся, рванул в переулки. Кортеж секунду по-

медлил, а потом, ржаво скрипя тормозами, тяжело останавливая разбег, застопорил и тоже рванул туда же, в непредусмотренные переулки.

— Быстрее, быстрее, — требовательно шептал профессор, хотя машину и так уже швыряло из стороны в сторону, как катер на штормовой волне. И весь кортеж швыряло вослед.

— Требуем координаты кортежа! Требуем координаты кортежа! — отчаянно несло из диспетчерских пунктов. Но все только пожимали плечами.

— Здесь! — приказал профессор. Лимузин тяжело сел и замер. Профессор выпрыгнул. Вслед за ним вылетали из своих экипажей другие люди из подоспевшего кортежа. Теперь все увидели, куда пригнал профессор, нарушив все инструкции торжества. К циклотрону, к гигантскому стеклопластиковому угольнику, резавшему городские кварталы, как нос корабля режет гладь моря. Все знали: здесь до отбытия в Космос работал профессор. Изучал частицы.

— Товарищи! — голос профессора перешел на фальцет. — К Главному Рубильнику! — и все бросились за ним через вольготные стеклопластиковые проходы.

— Товарищи! — тяжело дыша, сказал профессор. Стремительная рукоять рубильника вздымалась над его головой. — Здесь перед самым моим отлетом в трубе циклотрона циркулировала частичка. Удивительная частичка. Лучшая из класса элементарных. Мы хотели расщепить ее ударом о мишень. На встречном потоке. Поражало то, что каждый раз, подлетая к мишени, она огибала ее. Будто командовала сама собой. Будто не хотела погибать. Это поражало нас. Мы не могли этого понять. Мы думали, что поймем, когда разобьем на части. И с каждым днем прижимали ее ближе и ближе к цели.

Слова профессора гулко шли по пустым пространствам большого зала и тонули в мягких обшивках потолков. Народ стоял молча, не понимая еще, зачем профессор привез их сюда, к бездействующему, законсервированному полтора года назад циклотрону. Откуда-то, из переплетения запыленных труб вылез человек в промасленном фартуке. Ассистент лаборатории взаимодействий. В его левой руке еще жужжал поисковый датчик паразитных энергопотоков. Он вылез из каких-то люков служебного пользования и замер, опершись на мощное, полированное руками древко корабельной швабры. Никто не заметил его.

— Прижимали ее ближе и ближе, — рука профессора легла на эмалированную рукоять Главного Рубильника, — потом я вылетел в Космос, опыт законсервировали. Частичка циркулирует до сих пор. Все ее маневры в точности соответствуют нашим маневрам возвращения к Солнцу. По тем же уравнениям. Со своим гравитационным щитом. Вы понимаете?! Частичка разумна! Может, она тоже посылала нам сигналы бедствия. Нужно срочно убрать мишень и выключить разгоняющие поля. — С отчаянным лицом профессор потянул на себя рукоять.

— Поздно, профессор, — негромко сказал ассистент, оставленный при циклотроне. Все обернулись к нему. Он стоял, по-прежнему опершись на свою пшавру. — Вакуумная труба циклотрона заполнена воздухом. Несколько дней назад частичка проломила трубу. Вырвалась наружу...

НАД БРИСТАНЬЮ, НАД БРИСТАНЬЮ ГОРЯТ МЕТЕОРИТЫ!

Это уже стало правилом — сваливается к нам на Землю некое космическое тело, и тут же крики, шум, «ура». Вылеты на место происшествия специальных корреспондентов, обостренные дискуссии, борьба мнений, как правило, переходящая на личности. Иззябший за годы беспричинных странствий по неуютной мгле кусок с хрипами, стонами, громовыми раскатами врывается в теплое тело матушки Земли и наконец-то находит покой, а мы — мы теряем его. Еще бы, космическая катастрофа! А может, и само крушение марсианского корабля! Нужно иметь вконец зачерствелую душу, чтобы не дрогнуть перед таким обстоятельством.

К счастью, таких перегоревших душ насчитывается совсем мало, поэтому эмоциональный подъем, сопровождающий павшие тела, перерастает границы района самого падения, начинает гулять в областном масштабе, а то и сразу становится достоянием самых широких слоев.

Тонизирующее действие исключительного события, особенно такого, как громовое приземление небесного скитальца, трудно переоценить. Исключительное захватывает, и на слепящем

фоне его мелкие неурядицы, омрачающие личную жизнь, растворяются как легкий дымок, исчезают, будто накрытые шапкой-невидимкой.

Рядовые толкователи чудесного начинают чувствовать себя законными свидетелями, почти соучастниками тайн мироздания, которые вот-вот раскроются и тогда... Полковники метеорологической службы получают новую пищу для диссертаций, расчищающих путь-дорожку к генеральским высотам науки. Реалисты же, давно и бесповоротно отрeksiшиеся от научных исканий в пользу исканий вечерних собутыльников, гипнотизируют продавщиц бакалеи хитрыми словами:

— Мы тут планы перевыполняем. А марсиане — вон они — весточки шлют.

К сожалению, не каждый случай прорыва атмосферы скаывается на тщательно поддерживаемом нами топусе. Не каждый раз дело оборачивается катастрофой с таежными вывалами, контуженными наблюдателями, сейсмической волной. Чаще всего фукнет по небу светлячок, находит малую толику — и нет его, изжарился на перегрузках. Ищи ветра в поле. И хотя многие энтузиасты, коротающие вечера возле самодельных подзорных труб-телескопов, воспринимают такое поведение слабых метеоритов как личную неудачу, ничего не поделаешь. Пожалуй, в этом даже есть своя позитивная сторона: ведь если бы каждый камень неба, сорвавшийся с теоретических орбит, шмякал о земную грудь, как снаряд о броню, то вскорости, что называется, осталась бы от бублика одна дырка. Ведь не секрет — с некоторыми планетами, обещавшими со временем стать обитаемыми, но зародившимися в менее удачливых местах, так и произошло...

Тело, прорезавшее в одну из летних ночей воздушные слои над городом Бристань и ушедшее в неизвестном направлении, куда-то в леса, принадлежало именно ко второму типу. В конечном итоге оно не вызвало ни особых радостей, ни потрясений. Специалисты, правда, поспорили между собой: одни утверждали, будто тело ушло на северо-восток, другие демонстрировали карты с маршрутом на северо-запад. Но спор получился вялым, без острых углов. Звезда прошла над головами горожан совсем бесшумно, отсутствовали и явления взрывного характера. О чем тут говорить. Удивляло одно: при всей своей незначительности звездочке удалось пройти над землей на чрезвычайно низких высотах, а ведь только самым мощным

представителям мира метеоритов доступны прорывы в нижайшие слои атмосферы. Это, конечно, удивляло, да много ли толку от удивления?

И однако разговоры пошли. Дед Митрий Захарыч Пряников, лесничивший в бристанских заповедниках, и пионер Федя Угомонкин, отбившийся в лесах от отряда и в силу этой причины оказавшийся ценным наблюдателем конца метеорологического явления, принесли показания о посадке тела. О посадке незаметной, безударной, протекавшей в условиях тишины, о которой какой-нибудь обреченный диверсант-парашютист может только мечтать.

Митрий Захарыч клялся георгиевскими крестами, Угомонкин — пионерским галстуком. Оба указывали на ложбинку, усеянную старыми валунами, — излюбленное местечко и цель многих турпоходов.

Когда-то, во времена, из-за своей отдаленности потерявшие для нас всякий смысл, в этом районе великие ледники дали течь и убрались на север, валуны же остались, ибо у ледников уже не было сил тащить их обратно. Увековечив древнее событие, обветренные глыбы долго лежали в покое, пока нахлынувшие волны туристов не принялись увековечивать свое «Я»: киркой, мотыгой, а то и простым перочинным ножиком. Когда плотность надписей достигала того предела, после которого не оставалось места даже для любителей филигранной работы стамеской, ножом и скальпелем, старые надписи безжалостно иссекались, и туристы снова обретали ясную, прямую цель для своих бросков в чащи.

Сюда-то и пришел отряд специалистов, чтобы окончательно разобраться в научной правде небесного явления. Старик Захарыч требовал обстучать валуны обушком и по звучанию выявить новоявленную глыбу. Пионер же, постоянный слушатель «Научной зорьки», утверждал, что только метод меченых атомов быстро решит вопрос. Но меченых атомов в наспех собранных рюкзаках специалистов не оказалось, а мерзостный звук камней отдавал на редкость стабильными частотами, и вскоре дедовский обушок стал не более чем предметом шуток молодой и жизнерадостной части экспедиции.

Осмотрев валуны, комиссия пришла к разумному выводу, что только те из них заслуживают полного исследования, чья поверхность не покрыта татуировкой — продуктом умелых трудов любителей природы. Ведь небесные камни еще не по-

пали в сферу разрушительных возможностей друзей лона природы.

Всего несколько глыб радовали глаз незапятнанной поверхностью. Но которая из них истинная, небесная, а какие свежеччищенные? Посланные по городам гонцы вернулись с пустыми руками: опасаясь справедливого нареkania со стороны первичных обладателей надписей, расчищатели камней будто в рот воды набрали. Оставалось два выхода: либо вызывать тягачи и транспортировать валуны в сторону ближайших научных центров — задача технически сложная и громоздкая, перед которой в свое время спасовали сами ледники; второе — распиливать на месте и тут же изучать.

— Пилить, пилить! — этими возгласами наиболее горячие головы подбадривали тех, кому пилить не хотелось.

— Пилить — дело простое. Науки только в этом не видно, — сопротивлялись поклонники открытий на острие пера. Однако, чтобы не прослыть белоручками, они прекратили сопротивление, и тогда мелодичные зубцы пил заиграли по старым спинам валунов, выдавших на своем веку разное, но не такое.

Утомившись, участники похода сходились подкрепиться, попить чайку, искусно настоящего бывалым лесником на смородинном листе. Тревожные лесные ветерки несли из чащи неясные похрусты, отдаленные птичьи голоса. Медленные струи воздуха обтекали стволы деревьев, все гуще пропитываясь их запахами, и шли в ложбинку на огонек, легко играя пламенем костра. Здесь, в тесной ложбинке, потоки лесных звуков, смоляные дуновения и густой дух смородинного веника, парящегося в ведре над костром, мешались в одно и, заполняя легкие, втекали в артерии, шли по капиллярам, растворялись в крови, отдаваясь сильными ударами сердца.

Участники экспедиции подолгу распивали чай, не собираясь сопротивляться гипнозу цветущего лета. Дачная, почти курортная ситуация располагала к веселью, шуткам и затяжным служебным разговорам. Только двое из всей компании естествоиспытателей никак не поддавались колдовству летних вечеров и продолжали пилить начатое с упорством, не оставляющим сомнений, что для такого народа нет крепостей, которые нельзя было бы взять, и что скоро тайны природы раскроются до последней. Раздирающий уши звук пил выводил разговоры из приятного русла, путал мысли.

— Эй, Петров, Быков! Пора сливаться с природой! — кричали им в темноту, и тогда темнота отвечала таким металлическим визжањем, от которого по спине бежали мурашки, а от слияния с природой не оставалось ничего.

— Работать надо! — гулко неслоь к костру.

— Эй, Петров, Быков! — кричали им настойчивее, а потом несколько человек решительно поднимались, уходили в темноту, чтобы вернуться из нее с отобранной пилой. Петров и Быков тоже выходили на свет, щурились; грудь их еще тяжело вздымалась, а потом приходила в норму, и теперь ничто не мешало засыпающим лесам шептать о каких-то неведомых, тайных грезях.

— Вот, значит, — начинал кто-нибудь, опростав первую кружку чая, — прилетает марсианин на Землю и попадает сразу на карнавал. Видит — девушка. И в бок ее пальцем — р-раз. А она ему: «Уйдите, я дружинника позову». Это она ему. А он снова — жжик, и живот показывает, а на животе — глаз. Марсианин, значит...

Лесничий Митрий Пряников слушал эти истории весело, с доверием. Ученые импонировали старику серьезностью, возвышенностью тем разговоров. Кроме того, экспедиция грязи не разводила, слушала старика. Потому Митрий Захарыч охотно прощал марсианам и ношение глаза на животе и другой непорядок, пока что торжествовавший — по рассказам новых знакомых — в небесных пределах.

Дед уже отвык от солидности в разговоре, туристы не баловали старика солидностью. Туристы приходили, мусорили и уходили. Правда, с песнями, с гитарами, плясками на валунах, да что пользы — мусор-то приходилось убирать старику. «Изгадили камушки, совсем изгадили», — печалился дед после таких визитов и гнул спину, гремя геройскими крестами. Однако во время самих набегов он не думал об этом, а находился как бы в чадy, наблюдая новую и диковинную жизнь потомков.

Со стариком пришлый народ обходился запросто, будто с валуном, только надписей не вырезали. Любой сопляк мог хлопнуть Пряникова по плечу с прибауткой: «Что, дед, рюмочку сглотнешь? А то смотри — песок из тебя сыплется, весь высыплется. Ангелы-хранители не угостят». Дед, конечно, сердчал, но от рюмки-другой отказаться не мог, так и пристрастился к спиртному. Оттого и ждал холостую публику, крестился, отплеывался, но ждал.

Экспедиция, напротив, вела себя трезво, знай потягивала себе чаек — утар на сей раз обошел Митрия Захарыча стороной. Былая нерушимая ясность забрезжила в груди старика, и речь его снова обрела почти законодательную торжественность, суровость, соответствующую званию лесника и георгиевского кавалера.

— Конечно, господь в царстве своем порядка не достиг. Но вижу, народ крепкий есть. Порядка добьется, — уверенно вставлял Пряников в паузах астрономического спора. Возражений не было, это нравилось леснику, и в душе его пела протяжная песнь, не замутненная чечеточными ритмами текущего городского момента.

В природе все выдается квантами: свет, энергия, пространство, а также нечто (физически зависящее от перечисленных понятий, хотя не очень хорошо известно как) именуемое радостью. Как только радость становится обычным состоянием, нормой быта, она перестает быть радостью. Разве может радоваться именинник новому, пусть даже прекрасно сшитому костюму, если все гости пришли к нему в точно таких же костюмах? Может, пока не явились гости. А дальше?

Организм требует чего-то нового, головокружительного. Старый квант радости исчерпывает себя. Еще хуже, если человек получает порцию радости, беспечно усваивает эту порцию, а потом узнает, что все было основано на ошибке, на недоразумении. Тогда приходит душевная опустошенность, литое, чугунное чувство собственной никчемности — не сразу расплавишь его.

Вот так и душевная гармония Митрия Захарыча: не устояла перед событиями дня. Научная правда подмяла гармонию под себя.

Никаких космических вкраплений, полное отсутствие следов пребывания в иных мирах — к таким не подлежащим сомнению выводам пришла научная комиссия, просуммировав все полученные данные.

— Видать, дед, померещилось тебе приземление. Мнимое все это твое показание, — сухо сказал начальник работ, хотя и не хотел было начальнику говорить такие тяжелые прощальные слова. Несмотря на нулевые результаты трудов, затеянных вследствие показаний Пряникова, экспедиция полюбила лесника, свыклась с его пахучими чаями. Было что-то незбылемое,

обнадеживающее в том, как скручивал он свои вечерние самкрутки, правя у кипящего ведра.

— Н-да, Митрий Захарыч, — протянул печальник и добавил уже с нотками сочувствия: — Понимаете, экспедиция не может верить одним только эмоциям наблюдателей. Нужны факты. А может, и в самом деле показалось?

— Врать не стану. Второй очевидец есть, — твердо, будто не замечая поток сочувствия, ответил лесник. Стоять на своем — последнее, что оставалось Захарычу, хотя слова начальника уже лежали, будто гиря на дне желудка.

Второй очевидец, малолетний Федор Угомонкин, был далек от печалей заповедного стана. Его почти сразу отправили обратно в Бристань, так как он быстро надоел всем приставапиями с методом меченых атомов. В городе он широко наслаждался внезапно пришедшей к нему известностью и охотно делился с притихшими сверстниками своими дальнейшими планами — полетами на Марс, Юпитер и далее. Учителя с уважением поглядывали на Угомонкина — самим-то им не пришлось пережить такого — и предсказывали ему большое научное будущее.

Угомонкин, таким образом, тоже потерял всякий интерес в глазах руководства исследования, и, апеллируя к его имени, Прияников только усугублял свое положение. Начальник немного помолчал и пошел прочь от старика.

— Ей-богу, не виноват! Родимые... — упавшим голосом крикнул старик вслед, но начальник не обернулся. Вся группа уже собралась у рюкзаков, ожидая команды к уходу.

— Завхоз, — сказал начальник напоследок, — выделите леснику излишки консервов, шоколад из энзэ, махорки побольше.

Все молчали.

— А это от меня лично, — и начальник вынул из уха транзистор, надежно вибрирующий микродинамиком языки и папевы континентов в любое время суток.

Итоги экспедиции подействовали на общественность Бристаны удручающе. Феномена не получилось. В районной прессе проскочило всего несколько материалов, хотя и снабженных броскими названиями, однако так и не вдохнувших жизнь в проблему, уже пережившую апогей. «КУДА ДЕВАЛСЯ ПРИШЕЛЕЦ?», «СГУСТОК ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,

БЛУЖДАЮЩИЙ В БОЛЬШОМ КОСМОСЕ — НАД БРИСТАНЬЮ...», «ТОЛЬКО ТАЙНА ЖИЗНИ ТЕРМИТОВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОС...» — искусственная напряженность, вызванная крупными заголовками этих, пожалуй, даже не статей, а заметок, вышедших из-под пера местных малоубедительных дилетантов, напряженность эта улеглась сразу после областной подвальной статьи, набранной бесхитростными шрифтами, — «Как и почему он рассосался в атмосфере».

— Да, рассосался метеорит. Факт! Этот случай вполне оправдан теорией, он же подправляет ее. А вы думаете, что движет теорию? Новые факты! — разъясняли эрудиты знатокам, а знатоки — всем остальным.

На этом дискуссия замкнулась, не выйдя на просторы массового обсуждения, а следовательно, не повлияв и на наш жизненный тонус.

Вечером того дня, когда экспедиция ушла из ложбинки, Митрий Захарыч не выдержал и отправился к валунам. Вышел будто просто так, лес осмотреть, а ноги сами несли и несли старика, и чудилось ему, будто опять полна ложбинка веселыми голосами научных сотрудников, топоры стучат, пилы играют.

— А вдруг да повернули? Может, не допилили чего? — От этой мысли сердце старика по-молодому заколотилось. Живое представилось ему костер на обжитом плоском валуне, круг вечеряющих мечтателей, возвышенный их разговор, он сам среди них — на равных правах...

— Вдруг да повернули! — И тут он вышел к ложбинке. Увы, только ветер шелестел по шершавым камням да травы серебрились в слюдяном свете луны. А вот и плоский, как чемодан, валун, весь посыпанный пеплом, — еще вчера яркое пламя заливало багровыми бликами покатые каменные плечи, а теперь только бледный пепел прикрывает его от прохлады и сырости...

Вдруг весь валун по-живому затрепетал, точно грудью вздохнул; старик перекрестился и прынул за дерево. Валун без тресков разломился на две части, и половинки сами собой мягко разошлись в стороны.

Прильнув к стволу и вполсилы дыша, старик наблюдал, как из щели показалась голова, потом плечи и руки, а затем выпрыгнул и сам человек. Незнакомец разом оглядел ложбину,

передернул плечами — видно, замерз, отсиживаясь в камне-то, и, опять обернувшись по сторонам, ударил ногами чечетку. Горло его издало сдавленный, булькающий звук — смеялся он, что ли? Потом движения человека, серебрившегося, как и травы, в лунном отсвете, приобрели координированность, он просунул плечи в щель, вынул оттуда чемоданчик, выпрямился и на секунду застыл, соображая, что делать дальше. Вот он спрыгнул на землю, хлопнул по валуну ладонью, куда-то нажал, и тогда валун бесшумно замкнулся. Незнакомец решительно вошел в кусты и растворился во мраке.

«Лешего довелось узреть! В камне живет, бездомный», — испуганно соображал старик, по-прежнему не решаясь выйти из-за ствола.

«Леший на участке. Ох-ха,— стонало в груди старика, — вот тебе и научность, механика египетская. А что как... — Новая догадка прихлынула к старику. — А что, как и в самом деле наука эта продолжается? Человек по-научному приземлился — и молчок, потому что марсианин. Глаз на животе. Вот те раз!»

По долгу службы лесник, конечно, обязан был доложить о случившемся руководству. Изложить пусть даже не личную точку зрения, а просто голый факт. Дескать, в ночь с такого-то на такое-то в лесном квадрате эдаком-то валун без всякого для себя разрушения разошелся пополам и вновь сомкнулся, выпустив из себя неизвестную личность, станцевавшую на валуне и исчезнувшую в дебрях. Доложил Пряников. И все. Однако пережитый срам из-за наблюдения посадки камня заставил дисциплинированного в прошлом старика пересмотреть отношение к службе. Служба службой, а в дураках перед людьми ходить — эка охота.

Пряников прочно усвоил, что наблюдать своими глазами — одно, а открыть глаза людям — другое, дело мозговитое, требующее большой обходительности, которой теперь-то он в себе и не видел. Что же, во второй раз за обушок братья, распиловку предлагать? Снова срамиться перед честным коллективом?! Уж лучше полное незнание, таинство до гробовой куpели! Сказал — и как сургуч на уста положил...

А марсианин уходил по чащам да перелескам все дальше от места посадки. Шел быстро, таежник сказал бы — таежник

идет, увидел бы стайер, сказал бы — стайер со вторым дыханием дистанцию за глотку берет. Ну, а марсианин еще какой по дороге повстречайся, крикнул бы: «Уауэй моо, битто чук!», то есть: «Что, брат, гуляем? Кислороду набираемся?»

Кислород действительно вполне устраивал марсианина. «Ничего у них кислород, качественный», — думал марсианин, которому надоело сидеть в камне на искусственном воздушном пайке.

Конечно, в ночном мраке леса ни зоркий таежник, ни стайер, привыкший все различать даже с крутого виража, не заметили бы ходака. Мгла тоже устраивала марсианина: она исключала свидетелей. А что свидетели опасны в его положении, он уже понял: совсем недавно они только по недомыслию не принялись пилить его галактический корабль.

Сам марсианин от темноты не страдал. Включив кожное ночное зрение, он разбирался среди всех этих пеньков, рывин и стволов если и не идеально, то по крайней мере не хуже обыкновенного близорукого, потерявшего очки. Он страдал от другого — какое-то легкое стрекотанье, легкий звон, какой бывает, если задеть конец острия скальпеля, то и дело этот тревожный звук возникал возле уха или носа, и тотчас следовало тягостное жжение. «Кислота, что ли, с неба капает, может, электрические шарики в воздухе плавают?» — спрашивал он себя при приближении зудящего звука, и тут же его кожа ощущала молниеносный тонкий ожог, от которого поврежденный участок кожи переставал видеть и окружающий лес как бы зативало сумерками. Тогда он присаживался на пенек отдохнуть, поразмыслить о событиях последних дней.

«А на каком языке я сейчас думаю?» — спохватился он. Действительно, на каком языке размышлял марсианин?

После того как немногочисленные двигатели марсианского корабля, выбрасывая бесцветные струи гравитационных зарядов, подогнали аппарат к Земле, межпланетчик сбавил скорость и плавно припечатался днищем среди валунов заповедника. Пока марсианин приходил в себя — все-таки маневр стоил ему нервов и энергии, корабль безо всяких принуждений принял вид окружающих предметов. Короче, стал одним из валунов, изобилующих в окружающей местности. Совершенно случайно одна его сторона ориентировалась на очищенные камни, другая — на объекты, испещренные надписями разного калибра и значения. Поэтому и корабельная обшивка с одной стороны не имела ни-

чего общего с грамотой, с другой же приобрела читательский интерес. На корме корабля теперь красовались и «Петр Столбняков был здесь в разгар празднующей природы», и «Вера, пойми же... Василий», и «Накопил и машину купил» — по-видимому, след посещения работника сберегательных трудовых касс, а также одна небольшая напевная зарифмовка, какую детям до шестнадцати, да и сверх этого лет читать не рекомендуется.

Марсианские конструкторы настояли именно на такой схеме приземления: подлет к ночной полосе планеты, торможение, посадка плюс метаморфоза под естественный лапдшафт. По мнению конструкторов, этот комплекс обеспечивал полную сохранность тайны, а тайна, когда речь идет о выходе на дикие, а порой и чудовищные планеты, — лучшая гарантия безопасности.

— Мы не знаем, — говорили они, — кого пилоты встретят в пути. Врагов, друзей, неразборчивых в пище людоедов или задумчивых гуманистов? Метаморфоза корабля поможет избежать неприятностей разоблачения, сохранить в целости секрет корабельных устройств.

Пожалуй, по-своему эти конструкторы были и правы. Впрочем, они только подражали природе, настаивая на своем, природе, в которой принципы мимикрии давно и широко внедрились в целях защиты от так называемого «всякого случая», частенько несущего с собой позор, увечье, а то и прямую смерть.

Подражая, конструкторы, однако, избежали слепого копирования вековых образцов защиты, а внесли кое-что и от себя. Так, например, корабль обладал способностью внезапно утяжеляться в несколько раз и на глазах изумленной публики проваливаться в недра планетных слоев. Испытания показали, что корабль шел вниз легко, как топор, брошенный в водосм. По прошествии опасного момента пилот нажимал кнопку многократного уменьшителя тяжести, и тогда корабль пулей вылетал вверх. Это рацпредложение спасло нескольких путешественников, но вызвало толки среди населения соответствующих планет. Конечно, после проведения подобного приема пилот должен был как можно быстрее уводить корабль в космос, ибо версия «рассосался в атмосфере» становилась крайне непопулярной, а место провала превращалось в одно из самых людных и шумных мест вселенной. Поэтому нажимать на кнопку утяжеления разрешалось в самых крайних случаях.

Другая техническая диковинка — акустика корабельной обшивки — тоже была результатом предусмотрительности изобретателей. Звуки, зародившиеся во внешнем пространстве, свободно проникали в кабину, будто никакой обшивки и не было. Наоборот, любые внутренние звучания корабля акуратно запирались стенками, так что при любых обстоятельствах пилот мог развлекаться музыкой громкого звучания или греметь гаечными ключами.

Экспедиция, облюбовавшая плоскую крышу корабля-валуна под очаг и трапезные сборы, язык за зубами не держала, диапазон интересов изыскателей узостью не грешил, и любопытнейшая информация лилась потоком в уши затаившегося марсианина.

Сначала, разумеется, он не понимал из этих разговоров ничего. Но потом эластичные органические пластинки, искусно вшитые в борта пиджака, вдосталь наглотались новыми словами, а длинные цепи молекул перетряхнули их и пустили в электроды в виде расшифрованных импульсов, пригодных для усвоения мозгом. Импульсы обработали нужные участки мозга путешественника, вложив в них «знание новых слов», и мало-помалу марсианин начал постигать смысл откровенных, несбивчивых разговоров метеоритчиков.

Наиболее ценные данные марсианин скрупулезно отдиکتывал записывающему устройству — сбор данных о жизни Земли во всем ее многообразии был, собственно, одной из главных целей командировки. Внимательно прослушивались и беседы на космические темы: что они, земляне, успели узнать о космосе?

Хотя он и понимал, что в этом плане слишком придирайтесь к землянам не стоит, все-таки губы его частенько раздвигались в улыбке. Бывало и хуже: им овладевал непроизвольный хохот, и тогда он катался по кабине, зажимая себе рот, будто опасаясь, что стенки не выдержат и чинно сидящие над ним у костра услышат эти рыдающие звуки.

Что поделаешь, мы должны простить такое поведение марсианину. Ведь действительно наши знания о космосе еще очень слабы, свидетельство тому — неослабное обилие открытий, преподносимых нам небесными науками.

Но иногда марсианину, прямо скажем, было не до смеха. Как-то раз, например, разговор закрутился вокруг тайны «бристаньского пришельца», и дед Захарыч принялся клясться и

божиться, что упал-то с неба тот самый валун, на котором они все сейчас сидят и прихлебывают чай.

— Вот те Христос! Чтоб мне провалиться!

Зря горячился дед, не подозревая, что еще мгновение — и его обещание сбудется самым полным образом. Рука марсианина, решившего было, что тайна открылась, дрогнула и потянулась к кнопке «утяжелителя». Но, к счастью для экспедиции, которая ухнула бы в тартарары вместе с кораблем, сработай только хитроумное устройство моментального провала, дед был поднят на смех и самоконтроль снова вернулся к марсианину.

— А как же «Петр Столбняков в разгар цветущей природы»? «Накопил и машину купил» как же? Что же, дед, чашушки эти господь бог на камушке расписал? — под гул повального хохота спросил наверху чей-то задорный голос.

Старик не нашелся что ответить, смутился и затих.

Получив в свое распоряжение новый язык, марсианин не упускал случая для тренировок в разговоре и шлифовки оттенков произношения. Невидимым образом он участвовал в спорах, принимая то одну, то другую сторону, и иногда точка зрения, в итоге получавшая господство на валуне, внутри валуна оказывалась разгромленной начисто.

Войдя в полемический азарт, марсианин стучал в потолок.

— Эй, наверху, что вы там мелете! Да ведь фракции космических лучей...

Потом марсианин спохватывался, вспоминал об особенностях своего положения и кончал спор в спокойных тонах, сам для себя.

Если всем надоедали разговоры, то кто-нибудь заводил песню, рвущуюся в дремлющие леса удалыми раскатами или медленно уплывающую в темноту леса. Марсианин не отставал и тут.

На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся наши следы, —

подтягивал он, и легкая грусть вкрадывалась в марсианское сердце.

...Все это осталось позади — и диспуты и хоровые пения. Теперь вот — молодые березки, жухлые пеньки, влажный воздух да вопрос «на каком языке думаю?». Отдыхая на пеньке, марсианин искал ответа, но так и не разобрался во всей этой

чехарде загаданных для разгадки мыслей, слов, стилистических оборотов. Да и не все ли равно в конце концов на каком? Он твердо знал, что при случае легко объяснится с первым встречным, ну, а дальше — дальше видно будет.

И марсианин решительно зашагал вперед, через овраги и холмы, туда, где не ищи березок, травяной росы и воздух, наверное, не так свеж, но зато вздымаются каменные громады, ревет плотный поток автомобилей и светофор мигает ярче звезд первой величины.

«В большой город!» — и ноги марсианина то пружинили на податливых мхах, то легко возносили тело его над положенными, как шлагбаум, стволами, дрогнувшими в бурю.

Постовой Платков заканчивал вахту в хорошем настроении. Сменщик должен был вот-вот объявиться, а ни одного происшествия. Ни паездов, ни смятых буферов — порядок! В левом кармане гимнастерки приятно оттопыривается стопка копий штрафных квитанций — не стыдно и в отделении показаться. Учи-учи этих растяп-пешеходов, а все зря. Лезут, неумелые, на рожон. И Платков косил глаза то на оттопыренный нагрудный кармашек, то на антиударные часы — именной подарок за четкость и дисциплинированность. Да, все верно, еще десять-пятнадцать минут — и по домам. Прощайте, лихачи-таксисты, и, дорогой светофор, тоже прощай!

Постовой оторвал взгляд от дареного циферблата и рассеянно посмотрел вниз, на магистраль. Посмотрел и — зажмурился. Господи, наваждение, такого и быть не может. Метрах в тридцати от постовой будки, там, где два бешеных потока лимузинов смешивались в один кипящий, изрыгающий вулканные газы клубок, какой-то пешеход силится прорваться на другую сторону улицы.

— Эх ты, деревня гужева! — сквозь стиснутые зубы процедил Платков. Он привстал с сиденья, да так и застыл, впившись в картину, скорая развязка которой не вызывала никаких сомнений.

— Ну сейчас! Ах, пронесло! Ну! И-их! — страшным голосом комментировал события постовой. Любая мера все равно уже не могла бы отодвинуть драматического финала.

Водители транспорта тоже находились во власти неизбежных законов двустороннего скоростного равнения: уж лучше

давить одного, чем лихорадочным торможением пускать под откос всю газующую по четырем рядам шоферскую братию. Водители, бледнея, проносились мимо зазевавшегося смертника, но — странное дело — сам попавший в беду человек, казалось, и в ус не дул перед лицом неминуемой гибели. Почерк его походки оставался безупречным. Легкая, танцующая ритмика движений нарушителя сразу бросалась в глаза постового, и тот понял, что перед ним не пьяница, не деревня гужева, а пешеход редкостно высокого класса, легенда постовых.

Шоферам же со стокилометровых скоростей было не до тонкостей смертельной пантомимы — лишь бы пронесло! Они так и не поняли, что их волнения напрасны. Точными, словно заученными движениями пешеход небрежно уклонялся от летящих прямо на него тонных махин — и ничего! — метр за метром приближался к заветному тротуару. А через один зазевавшийся лимузин он просто-напросто перемахнул, будто и не лимузин это вовсе, а так, учебное пособие, и тут же рядом промелькнуло еще одно искаженное лицо таксиста.

Тут уж оцепенение, застудившее профессиональные действия Платкова, вдруг как рукой сняло. Не мешкая, врубил он сигнал красного цвета. Не для спасения, а так, по инерции; чудесный незнакомец сам по себе стоял уже на краю дальнего тротуара и счастливой улыбкой провожал уносящиеся по проспекту экипажи.

Будто ветром перенесло — стоял через секунду Платков на той стороне в полуметре от нарушителя. Радостно дыша, он впитывал в себя каждую черточку, каждую отметину прохожего, готовясь обнять его как друга, без вести пропавшего да вдруг воскресшего из мертвых. Все-таки обнять случайного человека он не решился, а только крепко пожал руку.

Незнакомец же гнул свое — смотрел недоуменно, мол, что за недоразумение?

— Вы... вы чемпион! — вырвалось у постового.

— Чемпион? — не понял прохожий.

— Ну, как бы это выразить... — постовой и сам чувствовал, что данный термин не охватывает всего случившегося.

— А-а! — Он, кажется, понял состояние свидетеля происшествия. — Ну, что вы, чемпион. У нас это забава для подрастающего поколения.

— У вас? — спросил постовой, представив проезжую часть, кишачую хлопотным поколением. — В каких же краях?

— В иных мирах, — засмеялся неизвестный, испытующе глядя в лицо постового, и, подумав, добавил: — на Марсе.

— Секрет, значит, — понимающе улыбнулся Платков и тут увидел сменщика. Пожав на прощанье руки, они пошли в разные стороны, влекомые судьбой момента. Постовой — сдавать смену, а марсианин дальше, по течению людских тротуарных потоков.

— Понимаешь, — услышал марсианин за спиной отдаляющийся голос постового, — не происшествие, а сказка...

— Сказка жить помогает, — рассеянно отозвался сменщик.

Марсианин шагал по тротуару вместе со всеми, но все знали, куда они спешат, у него же определенных планов пока не созрело. Присмотреться к окружающему порядку, научиться избегать элементарных ошибок, вроде той, что допустил он только что, — пожалуй, и все.

Скоро он разглядел, что переходят улицу в определенных местах, отчерченных белыми линиями или прорытых под землей. В других же местах на такой риск никто не решался — очевидно, ввиду недостатка физической подготовки. Сам-то он резал автопотоки, как нож масло, — составная часть утренней зарядки любого марсианина. Да и не было у него такой уж первейшей необходимости в злосчастной пробежке через магистраль. Просто захотелось взбодриться, привести нервы в порядок. Но теперь-то он будет начеку. Прежде чем что-либо совершать, смотреть, как совершают привыкшие ко всему горожане. Как это говорили там, в ложбинке, прежде чем браться за пилу: семь раз отмерь — один отрежь!

Нет слов, жизнь города во все времена отличалась сложностью, запутанностью, быстротекучестью. Обернулся, глядь — а уж все по-иному. Марки автомобилей, тщательные наряды жителей, ширина улиц, выражение лиц, линия спины. Вчера — жилетки, брелоки, пролетки, цилиндры, телесная тучность. Сегодня — таксомотор, кепи, плащ «болонья», легкоатлетизм в рисунке фигуры. А завтра?

Конвейер жизни не знает остановки. Конструируя этот конвейер, природа позабыла снабдить его красной кнопкой с надписью: «Стоп». А может, и не забыла, да пронесло нас мимо кнопки этой, промчало, вот и летим к новым горизонтам.

Жизнь, дела, открытия — все становится увлекательней,

полнокровней. Грубый физический труд требуется все реже. На глазах сокращается рабочий день. Исчезают тяготы быта. Каждый чувствует, как расправляются плечи, глубже становится вдох и выдох, свежееет воздух, каждому становится легче.

Взамен возникают новые проблемы, техника усложняется. Там, где раньше годились и бухгалтерские счета, теперь не обойдешься без саморешающей электроники. Специалисты хватаются за голову перед лицом замкнувшихся в себе, неисчерпаемых тайн природы и темпов усложнения индустрии. Им уже не хватает суток, чтобы быть в курсе последних новинок смежных дисциплин. Да, специалистам, наверное, становится все труднее и труднее. Что же, на то и несут они высокое звание мастеров своего дела.

Уж если и специалист иногда призывает на помощь кибернетическую голову, чтобы разобраться в происходящем, то простому марсианину, лишенному совета наставников и оторванному от своих исследовательских центров, по-видимому, предстояло просто утонуть в пучине этих проблем.

На том Марсе, с которого прибыл межпланетчик, все необходимое для жизни добывалось совсем иными способами. Металлы, ткани, энергия, механизмы — многие даже не знали, откуда появляются эти совершенно бесплатные товары на прилавках магазинов. Заводы, построенные в незапамятные времена глубоко под землей, надежно поставляли предметы любой степени необходимости без всякого вмешательства потребителей — жителей планеты. Надежная, проверенная веками автоматика не знала сбоев, и длинные эскалаторы выносили наверх столько разного добра, сколько требовал жизненный максимум населения и немного сверх того — резерв, значит.

Среднему марсианину, привыкшему к столь прекрасному порядку вещей, трудно понять, из-за чего бьются люди Земли, лишенные пока что сказочно совершенной автоматике. Однако в свое время марсианин-межпланетчик крепко проштудировал курс истории, где рассказывалось, что и марсиане когда-то стояли у станка, знавали план и перевыполнение его, не жуждали прогрессивки, в общем каждый получал по труду. Теперь эта книжная история встала перед ним во плоти и крови.

Он быстро понял, зачем универсальным магазинам нужны витрины, а продавцы обязаны сначала взять пестренькие банковские билеты, а уж потом выдать товар. Понял, почему вместо того, чтобы сесть в двухместный моментолет и через счи-

танные минуты выпрыгнуть на теплый приокеанский песок, толпы парятся в душном иллюзионе, где мечутся картинки и люди с вожделением взирают на этот самый песок. И почему подметки на ходу отрываются — тоже понял.

«У них еще все впереди, — думал он, глядя на запыленных горожан, штурмующих пригородные электрички. — Будет и моментолет, и океанский пляж, и бицепсы, чтобы шест нес над десятиметровой отметкой, тоже будут. Это от них не уйдет...

Денег марсианину не требовалось, пищи тоже: зарядился на несколько месяцев вперед. Ночлег? Ну что же, гостиница, конечно, словно создана для него, да ведь каждому свое. Подвесившись в превосходном, приспособленном для этой цели мешке к макушке густой ели, он проводил в загородной чаще восхитительные, полные привлекательных снов ночи.

Лесная жизнь пачинается рано. Ухнет в последний раз сова, сомлеют в горизонтальном свете плоские туманы — и пошел мощный поток птичьего щебетанья. Тут уж не до снов. Марсианин спускался к ручейку, умывался, балансируя на скользком от росы камне, неторопливо засовывал в дуло мешок и, немного сожалея об отсутствии привычного комплекса утренней гимнастики, устремлялся в город. С первыми электричками...

...Так и шли дни командировочного, человека-межпланетчика. В трудах, в залах библиотек. Незаметно интроскопируя колпировальным аппаратом длинные, уходящие в перспективу ряды книг, он получал микроотпечатки и прессовал их в квадратные таблетки. Таблетки складывались в пустотелый патрончик. Патрончик хранился в заднем кармане брюк.

Иногда он вытаскивал его, тряс перед ухом. Патрончик жужжал с каждым днем все полновеснее. Он набивал его кропотливо, размеренно, как набивают порох в гильзу охотничьего патрона. Он набивал его и тряс у самого уха.

— Скоро домой! — подпевал он сам себе. — Этот патрончик взорвется там громче тысячи бомб. Он убедит их: командировка сюда, на Землю, важнее всех мероприятий. В открытую, без утайки, на «ура!». Большим коллективом на больших звездолетах! В полдень.

Вот, читайте, смотрите, слушайте! На Земле — подобные нам. Тоже ищут себе подобных. Не мы их, так они нас найдут. Им не легко сейчас, жизнь сложна. Они борются за новый мир, иной быт. Кто поможет им, как не мы? Вспомните наше про-

шное, собственное. Разве не помогли бы мы ему, если б могли? Прошлому не поможешь? Вот оно. Смотрите, слушайте, читайте.

Мы привезем им наши чертежи, наши библиотеки. Пусть знают. Пусть разом перемахнут через барьер времени. Перемахнут — и окажутся рядом с нами. Медленна лет арба. Бык дней пег. Они готовы, они выдержат. Их бог — бег! Сердце их — барабан! — так настраивал себя марспанип, погромыхивая патрончиком, как бубном, в такт каждой мысли.

Он помнил: суровы вожди его планеты. Осмотрительны. Скажут: «Надо подождать. Посмотреть, как они там еще себя покажут, зарекомендуют. Лет сто, двести. Готовы ли к Вышшим Истиннам. А пока пошлем одного. Пусть обоснуется среди них. Смотрит. Не открываясь. Докладывает. Лет сто, двести. А там решим окончательно...»

Он знал, такой разговор будет. Потому готовился к нему тщательно, без суеты, расписав дни командировки на самое неотложное: киносъемка, звукозапись, копирование текстов, личные наблюдения.

Светлели напластования утренних туманов, просыпалась в гнезде птица, выкрикивала неважно что, прочищая горло, и пускала пронзительный, чистый звук. Ручей, ранняя электричка, в город, в город...

А в брестаньском заповедном лесу жизнь вошла в привычную колею. Тот же дед Митрий Захарыч Пряников обходит дозором дремучие уголья свои, топчет тропинки, крутит крепкие самокрутки. Те же ветра, изнемогая, рвутся по-над ельниками да березняками, сквозят по просекам, гнут скрипучие стволы. Захарыч ставит жесткую ладонь к уху, слушает: «Аль идет кто?» Осторожничает! Запала в стариковскую душу история с павшим камнем. Все ждет, не вернется ли к месту тот, из камня выбежавший, ночной человек. Да нет, по всем приметам пока что в отсутствии, глаз лесника зорок.

И камень тот, чемодана вроде который, чаи еще на нем экспедиция раскидала, на месте пока лежит. Заворачивает к нему дед о своем поразмыслить, о далях небесных повздыхать. Придет, рукой обхлопает, обойдет с четырех сторон, головой покачает. Задумается.

Лежит пока камушек, что ему сделается. Да долго ли отлеживаться осталось? Дни идут, стучат механизмы времени, отсчитывают. Каждому часу — свой момент!

СЕДЬМОЙ ЭТАЖ



О п слыл трудным мальчиком. Он слыл трудным лет с шести, когда папа и мама впервые заговорили с ним о школе. Это было в марте. Они сказали ему, что вот пролетят весна и лето и в сентябре он пойдет в школу. Папа вспомнил свой первый школьный сентябрь — каштаны были еще зеленые, как в мае. Мама ничего не вспоминала, мама только вздохнула и сказала, что время не стоит на месте. А он вдруг рассмеялся и заявил, что в школу не пойдет. Мама сделала большие глаза, а папа очень спокойно спросил у него:

— Значит, ты хочешь остаться невеждой?

И он ответил папе, тоже очень спокойно:

— Да, папа.

И тогда папа объяснил ему, что он мелет вздор, потому что человек не может всерьез судить о том, чего не знает. А для него, Гришки, или, короче, по-домашнему, Гри, школа и невежество — это просто слова, лишённые смысла.

— Просто слова, — повторил папа.

И тогда Гри опять рассмеялся, а папа сказал ему:

— Перестань смеяться: смех без причины...

Папа не договорил, потому что Гри прервал его и очень серьезно произнес:

— ...это поливитамины.

Папа сказал, что его сын жалкий рифмач и что сам он, папа, в детстве тоже был таким, но в школе, когда он занялся серьезным делом, все это слетело с него, как осенняя кора с платана.

— И ты сделался цвета слоновой кости, как облинявший осенний платан.

— Ты угадал, сын, — сказал папа. — Но не забывай, есть разные способы окраски...

— Например, — весело произнес Гри, — отодрать за уши. Я опять угадал, правда, папа?

— Да, — согласился папа, не колеблясь, — и мы сейчас убедимся в этом на собственном опыте. Гри, подойди ко мне, пожалуйста, поближе — отсюда я не достану тебя.

Гри встал у кресла справа, отец ухватил его за ухо и, притянув к себе, крепко обнял. Мама сказала, что этот вариант она предвидела с самого начала, и сын немедленно поддержал ее:

— Да, мама.

— Гри, — сказал папа, — ты стал болтлив, как электронная гадалка из комнаты смеха. Но я знаю, ты полюбишь школу и будешь прилежно учиться. Только дай мне, пожалуйста, слово, что не будешь торопиться с ответом, пока не познакомишься по-настоящему со школой.

— Хорошо, папа, — сказал Гри, — если тебе очень хочется отложить правду, отложим ее. Но ты сам говорил мне: правду надолго откладывать нельзя.

— Так, — кивнул папа и хотел еще сказать, что, если бы мы всегда точно знали, где правда, к человечеству вернулся бы золотой век. Но он не сказал этого, и потом, когда Гри ушел к себе, он решил, что в присутствии сына не следует увлекаться нравственными и социальными обобщениями, потому что преждевременная зрелость — это нередко преждевременная грусть.

— Ты должен быть с Гри построже, — сказала ему жена.

— Да, — ответил он, — я могу приказывать ему молчать, но приказывать ему не думать я не могу. Даже если бы это разрешалось законом.

Через полчаса Гри постучался в комнату отца.

— Войди, — сказал отец, — но помолчи две минуты. Я должен дописать фразу.

Усевшись в кресле, Гри наблюдал за отцом и постепенно, от стоп к животу, погружался в бархатное, как от человеческого тела, тепло. Такое же бархатное тепло Гри обволакивало на берегу моря, когда в перегороженной каменной запруде перед ним млели крабы, прогретые солнцем. Никто, кроме него, Гри,

не замечал, как меняется окраска панцирей у них, как завихряются струйки воды в оранжевых клешнях, как меняется взгляд черных испуганных глаз. Прежде он думал, как все: у краба всегда испуганные глаза, потому что краб всегда тащит их. Но потом много раз он видел у них другие глаза: тоже вытаращенные, но тусклые и безучастные. Поначалу он решил, что эти крабы попросту больны, но внезапно, когда рядом пронеслась серебристая фиринка, краб, только что больной и безучастный, делал отчаянный паучий рывок. Промаяхнувшись, секунд десять-пятнадцать он судорожно подгребал клешней песок, а потом снова каменел.

Однажды он показал своих крабов папе и спросил, как они меняют цвет своих панцирей. Папа ответил, что здешние крабы неспособны менять окраску, а то, что Гри видит, просто сумма физических факторов — толщина слоя воды, угол падения солнечных лучей, свечение неба, движение воздуха, — которые воспринимаются им как игра красок на панцирях. Почему именно на панцирях? Ну как почему, удивился отец, да просто потому, что именно на них сосредоточено внимание человека.

— Кстати, — заметил отец, — ты и сам мог бы это сообразить, Гри.

«Да, — подумал Гри, — я и сам мог бы это сообразить, но крабы-то меняют свой цвет на самом деле. На самом деле. Неужели и папа не замечает этого?»

Гри огорчался, когда отец не поддерживал его, но это длилось очень недолго — до того самого дня, когда отец в разговоре с матерью, понизив зачем-то голос, сказал, что не только разные поколения, но даже люди одного поколения видят и толкуют мир по-разному, и это, вероятно, первейшее условие постижения мира.

— И в конечном итоге, — добавил папа уже во весь голос, — прогресса.

Дня через три после этого Гри нашел в папиной библиотеке книжку о Джордано Бруно — человеке, которого сожгли за то, что он не хотел думать так, как другие. Но это было очень давно, утешал себя Гри, полтысячи лет назад. А потом он нашел другую книжку — и ему стало страшно, потому что этой книжке было всего сто четырнадцать лет и автор ее рассказывал о жестоких пытках, которым подвергали люди людей только за то, что одни видели и думали не так, как дру-

гие. И всегда почему-то были правы те, что казнили, и всегда были не правы казненные. А потом приходили новые поколения и новые судьи, и черное становилось белым, а белое — черным. И это был уже последний суд, которого никто не пересматривал...

Отец дописал фразу и сказал Гри, что, пожалуй, лучше всего посидеть у окна.

— Хорошо, — сказал Гри, — я тоже люблю сидеть у окна.

В руках у Гри был альбом, и отец потянулся к пульта сгенной мебели, чтобы выдвинуть столик, но Гри остановил его:

— Не надо, папа. Альбом будет лежать у тебя на коленях. Можно?

Отец подвинулся, и теперь они сидели в кресле рядом. Отец листал страницы молча, мальчик тоже молчал, потому что никто не требовал у него объяснений. Перелистав весь альбом, отец вернулся к двенадцатой странице, где в джунглях пряталось чудовище, напоминавшее игуанодона, и спросил, какая страна здесь изображена.

— Сельвас, среднее течение Амазонки, — объяснил Гри. — Вчера доктор Мануэль из Белу-Оризонти рассказывал по телевидению, что он готовит новую экспедицию в долину Мадейры. Он говорил, что пора, наконец, развенчать Амазонку — принцессу Тайны.

Слушая сына, отец закрыл глаза. Потом, чуть-чуть приоткрыв их, так что Гри не мог понять, видит его отец или нет, сказал:

— Доктор Мануэль вправе строить какие угодно планы. Но мой сын мог сообразить, что в джунглях такой исполин, как игуанодон, не прожил бы и одного дня, потому что деревья, лианы и топи превратили бы его в беспомощную глыбу мяса.

— Ты прав, папа, я не подумал.

— Да, — кивнул отец, — и я очень рад, что ты понимаешь это. Но я не беспокоюсь, Гри, в школе тебе дадут знания упорядоченные, а не случайные, и таких алогизмов ты допускать не будешь.

Первого сентября Гри отправился в школу. Каштаны были еще зеленые, как в мае. На пятипалых листьях платана лежала серебристая сентябрьская пыль — тонкая и легкая, как пыльца с крыла капустницы.

Кроме Гри, в классе было еще тринадцать мальчиков и девочек. Учительница Энна Андреевна построила их парами и сказала, что осмотр школы они начнут с верхнего, седьмого этажа, чтобы не подыматься лишний раз на лифте.

На седьмом этаже было тихо, как в музее энтомологии. Три стены каждой комнаты были заняты электронными аппаратами, четвертая — огромным, от стены до стены, окном. Посреди комнаты стояла парта, за этой партой сидел мальчик. Во всех комнатах сидели мальчики, и только в одной, предпоследней, Гри увидел девочку. А последняя вообще пустовала. Энна Андреевна вдруг рассмеялась — он был очень странный, ее смех, в тишине загадочного седьмого этажа — и сказала, что здесь сидят непослушные дети и последняя комната ждет не дождется какого-нибудь новичка. Но Энна Андреевна, конечно, уверена, что из ее класса в эту комнату никто не попадет.

— Так, дети? — весело произнесла учительница.

— Так, — ответили дети очень серьезно, очень тихо.

На шестом и пятом этажах были учебные лаборатории, на четвертом и ниже — классные комнаты. Во дворе особняком стояли два одноэтажных дома — школьные мастерские и спортзал. Спортзал был, собственно, тремя залами — бассейном, баскетбольной площадкой и отсеком легкой атлетики. В бассейне Энна Андреевна разрешила искупаться тем, кто умеет плавать. Пятеро, оказалось, не умеют. Гри был очень удивлен, а учительница прижала этих пятерых к себе и очень бодрым голосом сказала, что это сущий пустяк — научиться плавать, и через полгода они будут плавать так, что даже акула за ними не угонится.

— Так, дети? — опять спросила учительница, весело, звонко.

И дети ответили очень серьезно, как в первый раз:

— Так.

Гри посадил рядом с девочкой. Девочку звали Илой. Гри пол-урока рассматривал ее, а она ни разу не глянула в его сторону и во время перерыва сказала, что разглядывать человека во все глаза неприлично и, кроме того, он, Гри, мешает ей этим своим разглядыванием.

— Но, — возразил Гри, — человек должен уметь сосредоточиться, и тогда ему никто не будет мешать. Ты не умеешь сосредоточиваться.

— А ты невоспитанный мальчик, — Ила только чуть-чуть, самую малость, повысила голос, — и я скажу учительнице, чтобы она пересадила меня.

На следующем уроке Энна Андреевна сделала Гри первое замечание. Она так и сказала:

— Гри, я делаю тебе первое замечание.

— Да,— подтвердил Гри,— первое,— и еще сообщил при этом, что он умеет считать до миллиона.

Энна Андреевна очень внимательно и долго смотрела на него, а потом вдруг улыбнулась и сказала:

— Это очень хорошо, что ты умеешь считать до миллиона. Дети, кто-нибудь еще умеет считать до миллиона?

Над партами поднялись тринадцать рук. И тогда Энна Андреевна велела всем опустить руки, а Гри разрешила сесть на место.

Дома Гри нарисовал в альбоме тринадцать рук с глазами на ладонях и сверху написал: «Он умеет считать до миллиона». А потом он нарисовал бегемота, носорога и слона в террариуме, отгороженном рвом, и подписал снизу: «А вы умеете считать до миллиона?» И, подумав немного, добавил: «А на вас смотреть прилично?»

Вопрос был нелепый, и Гри знал, что вопрос этот нелепый, ведь для того и существовали зоопарки, чтобы люди могли рассматривать зверей. Но почему, думал Гри, рассматривать зверей можно, а людей нет? Люди рассматривают зверей, чтобы побольше о них узнать. А разве Илу он рассматривал не для того же? И наконец, разве не для того человеку глаза, чтобы смотреть и видеть? И все-таки учительница встала на сторону Илы, и мама, если бы она была при этом, тоже поддержала бы Илу. А папа?

— Папа, скажи, почему неприлично разглядывать человека?

— Условность, Гри, люди так договорились между собой. Но нужно ли это? — Папа пожал плечами. — Я думаю, это прошлое, которое люди просто не успели еще пересмотреть.

Полгода, от сентября до марта, тянулись бесконечно долго. У Гри было странное ощущение, будто эти полгода втятеро больше всей его прежней жизни. Каждый день на каждом уроке Энна Андреевна говорила: «А теперь, дети, пойдем дальше», но Гри почему-то не чувствовал этого движения вперед. Наоборот, очень часто у него возникала твердая уверенность, что

они движутся вспять, что они возвращаются на искоженные дороги и непонятно, зачем петляют на этих дорогах. Это было вроде того, как если бы они сейчас, на уроках алгебры, вдруг затеяли палочки писать.

А Ила чуть не после каждого урока говорила своей подружке Лане:

— На этом уроке было очень интересно.

И Лана отвечала ей важно:

— Да, было очень интересно. Энна Андреевна знает все на свете.

А потом они говорили о глупых детях из прошлого, которые даже в пятом классе изучали еще арифметику, хотя арифметика — всего лишь частный случай алгебры.

Гри однажды не выдержал и сказал этим девчонкам, что еще ни одному человеку не удалось установить разницу между хвастовством и лживостью.

— А когда слушаешь вас, так и вовсе понимаешь, что этой разницы нет.

Девочки пожаловались учительнице. Энна Андреевна велела Гри извиниться. Встав у кафедры, Гри извинился, а вернувшись на место, вдруг сказал:

— Но ведь это им все равно не поможет.

Вечером у Гри был разговор с отцом, потому что накануне Энна Андреевна звонила отцу в институт. Папа сказал, что Гри огорчает его. Гри сидел в кресле напротив и, глядя отцу прямо в глаза, терпеливо ждал, когда же он перейдет к делу по существу. Наконец папа вздохнул и сказал, что он, Гри, не совсем не прав, но люди живут в обществе, а коль скоро это так, они должны подчиняться условностям, потому что без условностей нет общества.

— Значит, — спросил Гри, — я не имел права говорить этим девчонкам правду?

— Нет, — папа отвечал неторопливо, спокойно, — ты не только можешь, ты должен говорить правду. Но при этом ты обязан уважать мнение другого человека, каким бы оно тебе ни казалось.

— А они, — Гри все так же смотрел отцу в глаза, — могут говорить, что им вздумается, потому что люди, о которых они говорят плохо, уже мертвы и не могут ответить им?

— Нет, — улыбнулся отец, — они тоже не должны так говорить, но перед мертвыми не извиняются. А если извиняются,

то просто потому, что находятся живые, которые присваивают себе право говорить от имени мертвых и представлять их волю.

— Хорошо, — сказал Гри, — я понял, папа.

— Да, — кивнул отец, — я вижу.

Ночью была гроза. Это была первая весенняя гроза в нынешнем марте. Сначала по крышам и стеклам дупил град, как будто тысячи чудовищ одновременно выплевывали миллионы своих зубов. Потом хлынул дождь, который был даже не дождь, а сплошной, как из необъятной, величинной с небо, трубы поток воды. Потом грохнул гром, сверкнула молния — и небо стало зеленым, того электрического зеленого цвета, какой бывает у искровых разрядов.

Наутро после грозы взошло солнце, какого уже давно не было. Гри отлично знал, что земная жизнь никак не влияет на солнце, что солнце за ночь не могло измениться и уж во всяком случае никак не могло стать моложе. И все-таки он видел юное солнце, которое ничего общего не имело со вчерашним — вялым солнцем февраля.

Гри вышел из дому в восемь пятнадцать — за четверть часа до уроков. Школа была в пяти минутах ходьбы, и Гри всегда отворял школьную дверь в одно и то же время — восемь двадцать. Но сегодня Гри едва передвигал ноги. Если так ходить, думал про себя Гри, заявившись в школу после звонка или, в лучшем случае, со звонком. Такого у них в классе еще не случилось, и Энна Андреевна скажет, что это необычайное происшествие и о нем непременно надо поговорить. Ила выступит первой и наверняка начнет так:

— Меня лично поведение Гри удивляет с первого дня.

Потом выступит Лана и скажет, что она лично в первые дни ничего такого не замечала в поведении Гри, но вскоре она увидела то же, что видит ее подруга Ила.

Прямо перед школой стоял двенадцатизатяжный дом Института морского животноводства, а рядом, против главного его входа, была остановка монорельсового трамвая, соединявшего институт с берегом моря. Гри не собирался садиться в трамвай, но случилось так, что у остановки они оказались одновременно, и мальчик случайно нажал кнопку «Трап», и автомашинист отворил дверь навстречу трапу-эскалатору, который в секунду забросил Гри в средний отсек трамвая.

До берега было всего сорок километров — десять минут езды с двумя остановками. Но это были первые в жизни Гри

сорок километров и десять минут, проведенные самостоятельно, и они нисколько не были похожи на те, что бывали прежде, и так же мало они будут походить на те, что придут впоследствии. Строго говоря, это были даже не просто первые сорок километров и десять минут, — это были единственные и неповторимые километры-минуты, на которые Гри предстояло оглядываться всю жизнь, до последнего ее дня.

Гри сидел в кресле у иллюминатора. Кроме Гри, в отсеке не было никого, и он чувствовал себя первым человеком на Земле. Первым и самым могущественным, желания которого реализуются так же быстро, как возникают. Дважды по воле Гри трамвай останавливался, дважды платформы подкатывали эскалаторы, хотя внизу, на Земле, не было никого, кто нуждался бы в них. Только одного Гри не мог сделать — продлить или сократить стоянку, потому что тридцатисекундная стоянка в интервале от восьми до десяти утра и от семнадцати до девятнадцати была неизменной. Но Гри нисколько не чувствовал себя из-за этого слабее, как не чувствовал себя слабее оттого, что невозможно остановить солнце или устроить лунное затмение.

До первой остановки дорога проходила между жилыми домами города. Но отдельных окон Гри не видел — перед ним все время вилась сверкающая стеклянная лента, волнистая, как дорога перед глазами автомобилиста.

Потом, после первой остановки, пошли заводы и огромное сплошное синее небо, которое в жилой части города показывалось только клочками. На северо-востоке в небо упирались четыре гигантские трубы — это были те самые трубы завода-музея, которые в хорошую солнечную погоду просматривались и с крыши-солярия дома, где жил Гри. Вечерами, когда темнело, на них загорались красные огни — сигналы самолетам. Папа объяснял Гри, для чего заводу нужны были такие трубы, но Гри все-таки не понял этих объяснений, потому что сам же папа говорил, что в середине двадцатого века люди уже изобрели реакторы и солнечные аккумуляторы. И даже еще за сто лет до них один химик говорил, что топить можно бумажными деньгами, а сжигать нефть — это преступление.

Вторая остановка была тоже в черте города, но дальше, до самого берега, тянулись сады и луга, которые сплошным кольцом окружали город. Гри дважды видел это кольцо с вертолета, державшегося в десяти километрах от земли, и оба

раза оно представлялось ему почему-то огромным зеленым обручем, в котором исполнил Гильгамеш замкнул игрушечные дома игрушечных людей. А здесь, на земле, не было никакого обруча — были стометровые эвкалипты, были гигантские секвойи и необъятные баобабы. Но на фоне белесого мартовского неба, границы которого терялись в море и за холмами, они выглядели просто большими деревьями, и даже соседство кленовидных платанов не давало верного представления о всамделишных их размерах. Это казалось Гри непонятным: он давно уже привык, что размеры предмета постигаются в сравнении. Но почему же все-таки стометровые гиганты выглядят обыкновенными деревьями, хотя кленовидный платан, высотой в шестнадцатиэтажный дом, рядом с ним — не более малыша, спрятавшего в коленях у отца голову? Ведь если бы он, Гри, встал подле такого дерева...

Глаза Гри внезапно, как в испуге, расширились, но Гри не испугался — Гри смеялся, потому что он сам, без помощи папы, сделал огромное открытие: человек все предметы сравнивает с собою, и только тогда он по-настоящему постигает их размеры.

Через минуту инерция, которая при отправлении прижимала Гри к спинке кресла, стала упорно отрывать его от этой самой спинки. Появились столбы подвесной дороги — сначала они замелькали стремительно, в дымке, как пальцы, мгновенно проносившиеся у самых глаз, потом они стали походить на стоймя поставленные трубы, изгибающиеся книзу, потом они выпрямились и, чередуясь строго параллельно, остановились вовсе. Мегафон объявил: «Станция Акватория. Конечная».

Три гигантских водоема — для китов, моржей и дельфинов — были расположены вдоль берега. Собственно, это были участки моря, отгороженные железобетонным молом. Мол, оборудованный прожекторами, уходил вглубь на сто метров. Дно было усеяно тупыми шипами — наблюдательными постами, связанными с землей тоннелем.

В правом ближнем углу водоема для дельфинов располагалась игровая акватория, принадлежавшая детям. Акваторию населяли исключительно верховые дельфины, лексический запас которых составлял не менее ста слов. За двенадцать лет существования игровой акватории не было ни одного несчастного случая, но детей, отправлявшихся в плавание на дельфинах, непременно снаряжали спасательным

поясом. Снаряжали только потому, что не решались пренебречь такой ничтожно вероятной случайностью, как внезапное помутнение рассудка у ребенка или дельфина.

Надев пояс, Гри через стационарный гидрофон приказал дельфину номер сто тринадцать прибыть в четвертый сектор.

Спустя полминуты дельфин номер сто тринадцать, по кличке Део, прибыл в четвертый сектор. Гри стоял рядом, метрах в десяти, и терпеливо ждал, пока он подойдет поближе. Но дельфин не двигался, тогда Гри поманил его пальцем. Део прекрасно видел Гри, манившего его, но с места все-таки не двинулся. Разозлившись, Гри назвал Део ослом и побежал к сходням, подле которых застрял упрямый дельфин. Пробегая, Гри увидел под ногами у себя синюю тройку. Она была так неожиданна, что он едва не споткнулся о нее.

Усевшись на Део, Гри долго и нежно просил у него прощения на человеческом языке. Слов этого языка Део не понимал, но в интонациях его никогда не ошибался. Део поправился этот мальчик, который беспрестанно болтал, держа у рта переносной гидрофон, и он безукоризненно выполнял все его команды, хотя это было не очень легко: рядом снова были десятки других дельфинов с детьми, и нужно было рассчитывать каждый маневр до сантиметра. Когда они вышли в юго-западный квадрант, Део, мчавшийся с тридцатикилометровой скоростью, едва не сшиб дельфиниху Кел. Гри был в восторге, и Део, благоразумный, вежливый Део, тоже был в восторге.

— Ззззз! Тц! Зззз! — трещал, как зуммер, восхищенный Део.

— Не понимаю, — хохотал в ответ Гри, и дельфин, увлеченный игрой, трещал еще отчаяннее, чтобы доставить мальчику удовольствие.

Вода в акватории была подогрета до тридцати двух градусов, но часа через три Гри почувствовал озноб, который возникает от долгого купания даже в теплой воде. Део повернул к северо-западу, чтобы выйти в первый сектор. Сначала Гри не понял маневра дельфина, но, когда они стали выходить прямо к сходням, он стал колотить Део ногами по бокам и кричать в гидрофон «Цз, цз, цз!», требуя поворота на развернутый угол. Дельфин остановился, терпеливо ожидая, пока маленький человек не опомнится. Пробышевав с минуту, Гри успокоился и сам попросил Део высадить его на берег. Тело

дельфина опять заскользило в воде — мягко и бесшумно, как отполированное стекло. Даже у колен мальчика вода уже не всходила, как прежде, пенистыми бурунами, а ответвлялась плавными струями.

Присев на сходнях, Гри подтянул к себе Део и прижался щекой к его шершавой голове. Потом мальчик поднялся и пошел своей дорогой по берегу. До поворота он оглянулся дважды, помахал рукой и что-то крикнул. Вскоре мальчик исчез, а Део по-прежнему не оставлял своего места в первом секторе, откуда просматривалась вся дорога, до самого поворота.

Пробило двенадцать — время, когда кончаются уроки. Еще пять минут — и Энна Андреевна поведет класс в школьное кафе. Второй завтрак ребята заказали утром, после первого урока, и теперь достаточно нажать кнопку, чтобы получить свой заказ. Гри, как и все, проделывал это пять раз в неделю, за исключением субботы и воскресенья. А сегодня он этого не сделает — впервые с тех пор, как пошел в школу. На мгновение у Гри появилось неприятное чувство отчуждения и заброшенности, но только на мгновение: стеклянные двери кафе «Аквариум» открывались так же послушно, как в школьном, и пахло здесь так же вкусно и привычно, как в школьном.

Через четверть часа Гри вышел. Свернув на усыпанную галькой дорогу, Гри остановился. Строго говоря, останавливаться было незачем, потому что все дороги теперь, когда время близилось к часу, вели домой. Но то, что было бесспорно и очевидно до кафе, после кафе вдруг утратило свою очевидность. Гри переминался с ноги на ногу, сухо скрежетала галька, протяжно свистели скворцы, а ветер, с торопливым шепотом пробегавший по роще, не то увещевал, не то звал за собою, но тихо, чтобы услышал его только тот, кто должен услышать.

На станции ударил электрический колокол: очередной поезд монорельсовой дороги отправился в город. В роццо отчаянно залился скворец.

Свистнув в ответ, Гри зашагал по галечной дороге.

В роще было сумрачно, как летом в комнате, когда свет пробивается сквозь щели штор. Звуки здесь были тоже другие — они оставались в том месте, где возникли, привязанные к птице, дереву или жуку, пробиравшемуся под сухими

листьями. Даже ручей, который беспрестанно жевал что-то на всем своем пути, и тот не отпускал своих звуков ни на дюйм от русла.

Никогда прежде Гри не слышал такой тишины, как здесь. Это была удивительная тишина, которая совсем не походила на ту, что он устраивал себе дома, когда оставался один. Гри сгреб к туе ворох сухих, слежавшихся листьев и уселся на них, опершись спиной о мягкую податливую хвою дерева: так было удобнее слушать тишину.

Солнечное пятно лежало у ног мальчика, ослепительно яркое, как прищелец из другого мира. Над пятном подымались прозрачные дымки, и воздух на мгновение, как зеркало под человеческим дыханием, становился матовым. Потом пятно внезапно, каким-то удивительным скачком, которого Гри не успел заметить, увеличилось до размеров океана, и над этим океаном клубились пары, и клубы их были огромны, как грозовые тучи. Самое удивительное, однако, было то, что посреди океана, как только что в роще, стояла туя и подле нее, прислонившись к хвое, по-прежнему сидел он, Гри.

Однажды Гри почудилось, что вдали, на горизонте, поднялась гигантская волна и устремилась прямо на него. Гри съежился, приготовившись нырнуть под эту волну. Но вдруг оказалось, что это вовсе не волна, а сизая, во всю длину горизонта коса тумана.

Коса была неподвижна, а между нею и мальчиком океан клокотал беспрерывно, всходя бесчисленными гейзерами, которые пульсировали, как струи асинхронных фонтанов.

Несколько раз Гри отчетливо видел голову гигантской серой змеи с двумя плоскими саблевидными зубами. Гри объяснял себе, что это вздор, потому что змей с саблевидными зубами никогда не было, но голова появлялась опять, и всякий раз с новыми подробностями: маленькие волосатые ушки, немигающие и вытянутые, как зрачок у кошки, белые глаза, изумрудный гребень и огромные, с крылья птеродактиля, плавники.

Страха у Гри не было. Наоборот, какая-то злая сила стремительно росла в нем, требуя немедленной атаки на чудовище. Но против этой злой силы восставала другая сила, которая удерживала Гри и не допускала помутнения его мысли безрассудной яростью. Чудовище подбирало плавники, готовясь к броску. Гри заскрежетал зубами, дыхание его стало

медленным и тяжелым, кожа головы напряглась, стягиваясь к темени.

Подобрав плавники, чудовище взметнулось над океаном, и миллионы градин одновременно посыпались Гри на голову. Гри закрыл глаза и схватился руками за голову, но градины отчаянно лупили его по рукам, пробивая их насквозь. Самое главное, твердил про себя Гри, открыть глаза, надо открыть глаза — и все пройдет.

Когда Гри открыл глаза, ни океана, ни серой змеи с плавниками уже не было. Града тоже не было — вся поляна была усеяна шишками туи, тусклыми, как запыленный лист кактуса. Гри подобрал несколько шишек — они были поразительно похожи на карликовых морских ежей. Потом он ссыпал их с ладони на голову, но теперь это были всего-навсего упругие шишки, вовсе не походившие на градины.

Солнечное пятно по-прежнему лежало у ног мальчика, но уже не слева, как раньше, а справа. На пятне сновали муравьи, расчерчивая его изломанными и непонятными, как схема международных авиалиний, трассами. Сначала все муравьи были неразлично похожи, но, выбрав наугад двух муравьев, Гри уже не оставлял их — и оказалось, даже эти двое вовсе не похожи друг на друга: один, с едва заметным коричневым отсветом, был медлителен, другой, с блестящей, как черное зеркало, чернотой — суетлив; один беспрерывно останавливался, дотошно осматривая свой груз, другой — волок свою ношу безостановочно, напрямик, и, если по пути случался другой муравей, он и тогда не сворачивал с дороги, перебираясь вместе с грузом прямо через своего родича. Самое любопытное, что родич при этом нисколько не бунтовал: замерши, он терпеливо ждал, пока тот, черный и блестящий, как черное зеркало, не переберется со своим грузом.

Внезапно Гри услышал напряженное, как у электромотора-лилипута, жужжание. Жужжание шло от дуба, который был слева, но сколько Гри ни всматривался, ни возле дуба, ни здесь, ближе к туе, на глаза не попадалось ничего, кроме синюшного воздуха, пронизанного лучами солнца. Затем жужжание стремительно, как будто без скачка даже, переместилось и повисло у Гри над теменем. Гри запрокинул голову и, прежде чем почувствовал щелчок по носу, успел заметить в воздухе золотисто-сизый всплеск. Гри на ноги упал изумрудный жучок-златка, а огромная оса-церцерис, которая уронила

его, войдя в крутой вираж, вдруг взмыла кверху и унеслась прочь, так что Гри даже не успел уследить, куда именно.

Златка была мертва. Во всяком случае, сколько Гри ни покалывал ее, она оставалась неподвижной, как мертвое существо, которое не знает боли. Но лохматые ножки жука были по-живому гибки, а прозрачные крыльца под жестким хитиновым панцирем эластичны и влажны, как у только что пойманного кузнечика. Значит, решил Гри, он живой и всего лишь притворяется мертвым, чтобы его выбросили. Но, известное дело, такого притворства хватает жуку на одну, самое большее, две минуты. Однако через две минуты и даже через пять и десять златка оставалась по-прежнему неподвижной и не делала ни малейшей попытки сбежать. Тогда Гри выбрал место, где муравьи сбились такой плотной кучей, что и иглу не поставишь стоймя, и бросил туда златку. Сначала муравьи пархнулись от глыбы, свалившейся на них с неба, но полусекунды оказалось им достаточно, чтобы оправиться от испуга, и они набросились на златку: в том месте, где только что была златка, вырос муравьиный холм, ныряющий в собственное свое путро.

Гри прождал с минуту, но и теперь, когда нужно было и, главное, можно было бежать, златка оставалась неподвижной. Веткой туи Гри разогнал муравьев, поднял златку, еще раз согнул и разогнул ворсистые ее лапки, приоткрыл хитиновые надкрылья и, ощупав крыльца, положил в карман.

Солнечные лучи были по-прежнему ярки, но теперь все они норовили прижаться к земле, и угол между ними и землей составлял уже едва ли тридцать градусов. Гри знал: эти лучи будут никнуть к земле со все увеличивающейся скоростью и часа через два сникнут вовсе, как поваленные деревья: после пяти вечера мартовское солнце садится быстро.

Набив карманы шишками туи, Гри вышел на галечную дорожку. Минут через двадцать у дорожного знака Гри свернул налево — по указателю «Станция Акватория».

Домой Гри вернулся к шести часам. Двери были раскрыты настежь, Гри обошел все четыре комнаты — в квартире никого не было. Включив телефонного секретаря, Гри услышал голос Энны Андреевны: «Ваш сын сегодня не явился в школу. Прошу сообщить причины».

«Странно,— подумал Гри,— о том, что мне известно до

мельчайшей подробности, оказывается, ничего не знают ни папа, ни мама, ни Энна Андреевна, про которую Лана говорит, что она знает все на свете».

Выложив пишки на стол, Гри вынул златку. В сумерках она отсвечивала золотисто-зелеными пятнами с матовыми краями. Гри включил настольную лампу — появились фиолетовые тона, которых прежде не было. Гри положил златку на спину и прижал ее брюшко карандашом: брюшко было мягкое. У дохлых часа уже через два-три оно стекленеет и становится хрупким, скрипучим. Но, может, прошло все-таки слишком мало времени и поэтому златка еще не заду-бела?

Повседневная посуда хранилась в столовой, хрустальная — в маминной комнате, в эллипсоидной горке. Мамина комната была ближе. Гри не выбирал — Гри взял то, что было ближе: бокал розового хрусталя с тремя ромбовидными ножками. Забросив жука в бокал, Гри сыскал листок плотной бумаги, продырявил его и прикрыл им посудину. Затем Гри уселся подле стола и уставился на златку. Однажды ему показалось, что златка шевельнула лапками. Но настоящей уверенности не было: предметы, даже заведомо неподвижные, когда смотришь на них долго и пристально, начинают оживать — раньше всего начинают струиться ребра и всякие тонкие линии. Гри закрыл глаза, протер их — нет, златка была совершенно неподвижна.

Внезапно со стены заговорил папин голос:

— Гри, ты слышишь меня? Отвечай, ты слышишь меня?

Только теперь Гри заметил, что карманная рация, которую он еще недели три назад спрятал в ящик, висит на стене. Самое удивительное, что Гри не увидел, когда вошел, красного индикатора — сигнала включения.

— Да, папа,— крикнул Гри,— слышу. Я дома.

— Так,— сказал отец.— А мама знает, что ты дома?

— Мама не звонила. Но она, наверное, сейчас позвонит.

Папа не ответил. Он даже не сказал обычного своего «хорошо», которое давало Гри ощущение порядка и благополучия.

Минуты через три позвонила мама. Едва Гри снял трубку и сказал «это я», мама немедленно объявила ему, что он негодный мальчишка, что у него нет сердца, что он не любит и не щадит свою мать.

Папа и мама пришли одновременно. Мама на ходу приняла таблетку, папа принес ей четверть стакана воды — обычную ее порцию, а Гри терпеливо ждал, пока все войдет в рамку, которой уже, наверное, тысяча лет: папа и мама сядут в кресла, а сын встанет у стола. Если же он, невоспитанный мальчишка, обопрется, чего доброго, о стол, ему скажут: опусти руки по швам. Гри давно уже хотел спросить, почему так говорят — «по швам»: ведь никаких швов на самом деле у него нет. Но этот вопрос обязательно приходил Гри в голову тогда, когда вообще никаких вопросов нельзя было задавать. Сначала Гри стал вплотную к столу, но тут же пришлось отступить на полшага, потому что с правой рукой просто невозможно было совладать: она так и норовила лечь на стол. Гри почувствовал, что папа улыбается. Но это, конечно, только почувствовал ему, потому что лицо у папы было жесткое, с плотно сомкнутыми губами и глазами, в которые Гри очень не хотелось сейчас смотреть. Но первые слова, произнесенные папой, были именно про глаза:

— Гри, смотри мне в глаза.

— Я смотрю, папа,— сказал Гри, уводя взгляд к окну.

— Гри,— повторил папа,— смотри мне в глаза.

Гри сделал все, чтобы у него получилось это — прямой взгляд в папины глаза,— и у него наверняка получилось бы, если бы не мамино внезапное вмешательство:

— Да разве он может смотреть отцу в глаза! Осталось же у него хоть в глазах немножко стыда, немножко совести.

Гри никогда не мог понять этой маминой склонности противопоставлять его же глаза, язык, нос — бесстыжие глаза, болтливый язык, длинный нос — ему самому. Папа тоже, видимо, не очень понимал в этих случаях маму, потому что, выслушав ее, он напоследок говорил ей очень тихо, почти шепотом:

— Через пять минут мы с Гри зайдем к тебе.

В нынешний раз все произошло точно так же, если не считать одной совершенно новой и не очень понятной фразы, которую произнесла мама:

— Пусть будет по-твоему, но ты слишком либерален с ним. Это не приведет к добру.

Папа ничего не ответил, папа только улыбнулся и чуть-чуть поднял брови, и лицо у него от этого сделалось вмиг удивительно добрым, таким добрым, что Гри тоже

вдруг заулыбался, как будто все неприятности были уже позади.

Когда мама вышла, папа велел Гри сесть в кресло и обстоятельно рассказать, во-первых, почему он прогулял уроки, и, во-вторых, где он провел целый день.

Гри рассказал папе, какое было сегодня утро, какое солнце и небо. Нет — он может дать самое честное слово, — он ничего не продумывал заранее, просто ноги сами привели его к Институту морского животноводства, а там — ну, папа же знает — совсем рядом станция монорельсовой дороги. А дорога ведет к берегу, а у берега — акватория, а в акватории — дельфины. А потом, когда идешь с берега, если свернуть влево, — роща. Да, Гри совсем забыл: по пути к роще — кафе «Аквариум», и второй завтрак у него был в этом кафе.

Папа слушал Гри молча, папа умел слушать — он не давал наводящих вопросов, не ловил на слове, не всплескивал руками и не качал сокрушенно головой. Иногда у Гри появлялось странное чувство: папа вроде здесь, перед ним, и вдруг исчезает. То есть не совсем исчезает, а как бы утрачивает привычное лицо и становится всем, что окружает Гри. Самое удивительное, при этом Гри все-таки очень отчетливо видел папу, сидящего в кресле.

— Папа, — сказал Гри, — а златка, которую мы нашли, жива?

Папа улыбнулся. Теперь Гри уже точно знал — папа улыбается на самом деле. Но Гри не заметил своей обмолвки, а отец заметил и не поправил сына, потому что с минуту назад, когда Гри рассказывал о роще, он был там уже не один, как днем, а вдвоем с отцом, и златку они нашли тоже вдвоем. А перед этим отец явственно услышал напряженное, как у электромотора-лилипута, жужжание. И оба они, отец и сын, вскинули головы одновременно.

Потом Гри, не спрашивая разрешения, бросился к подоконнику, схватил посудину со златкой и поставил ее перед папой.

— Смотри, папа, какие у нее гибкие лапки. И брюшко мягкое. А помнишь, когда мы бросили ее муравьям, она даже не пыталась бежать. Почему? Значит, она в самом деле мертвая?

Папа вдруг рассмеялся. Гри тоже рассмеялся — он всегда смеялся заодно с папой.

— Нет, — сказал папа, — златка не мертва и не жива: она

в промежуточном состоянии. Оса-церцерис своим ядом парализовала ее нервную систему, но одновременно предохранила златкино тело от гниения. Законсервировала, так сказать, блюдо для своих личинок. Но минимум жизненных функций у златки сохраняется. А в общем это все-таки консервы, не больше. Кстати, теперь люди консервируют свою пищу по рецепту церцерис. Даже термин такой появился — церцерирование.

Папа опять рассмеялся. Гри тоже, но в этот раз Гри перестал смеяться много раньше и стал требовать, чтобы и папа успокоился. Гри потянул папу за рукав раз десять, прежде чем добился толку. Наконец папа утих, хлопнул Гри по плечу и произнес слова, за которые ему всегда доставалось от мамы:

— Валий, сынок!

Но на следующий вопрос Гри папа не мог ответить. Он прямо так и сказал: не могу, и никто, пожалуй, этого не может. Поразительно, но факт — люди, как и двести лет назад, не знают, почему именно златку выбирает церцерис, как отличает она златку от других жуков, хотя сами златки потрясюще различаются — златка дубовая несколько не похожа на тополевую, а золотоямчатая и вовсе белая ворона в семействе златок.

Гри слушал очень внимательно, а затем, когда папа неожиданно смолк, задумавшись о чем-то далеком — это по его глазам было видно, что о далеком, — спросил, могла ли бы Энна Андреевна объяснить поведение церцерис-златкоубийцы.

— Сомневаюсь, — ответил папа.

«Сомневаюсь», — повторил папа, а Гри отчетливо слышал голос учительницы, которая втолковывала ему, Гри, что оса руководствуется своим инстинктом, и этого сегодня вполне достаточно, а истерпывающий ответ он получит в седьмом классе на уроках биокibernетики и парапсихологии.

Папа все еще думал о чем-то своем далеком и, наверное, поэтому не обратил внимания на слова Гри: «Я не хочу в школу»..

И тогда Гри еще раз сказал:

— Папа, я не пойду в школу.

Теперь папа услышал слова Гри и опять, как прошлым летом, почти год назад, попросил Гри не молоть чепухи. Но Гри в третий раз повторил слова про школу, и папа уже

ничего не говорил о молотье ченухи, а очень строго сказал, что завтра они пойдут в школу вдвоем.

Потом папа задел бокал, бокал полетел на пол, и ромбовидные его ножки откололись. Мама была раздражена до крайности, потому что хрустальные бокалы с ромбовидными ножками ее любимые, а кроме того, она еще раз убедилась, как велики силы хаоса и энтропии.

— Да,— сказал папа,— ты совершенно права. Наши предки, с их примитивным образным мышлением, говорили об этом так: пришла беда, отворяй ворота.

— О, тебе всегда очень весело!

— Не всегда,— возразил папа, улыбаясь, и поцеловал маму в обе щеки, оба глаза, оба уха и лоб, потому что испокон веков семь — священное число.

Гри всегда безошибочно определял, хорошее или дурное настроение у Энны Андреевны. А сегодня впервые Гри растерялся: учительница, как обычно, была очень вежлива, очень предупредительна, один раз даже назвала его «мой мальчик», но все это было чуждо тому привычному, устоявшемуся, повторявшемуся изо дня в день. Энна Андреевна уже знала, что Гри прогулял уроки — папа позвонил ей еще вчера, чтобы она не беспокоилась,— и к тому же знала, что Гри не хочет учиться в школе. Гри не догадался о папином разговоре с учительницей. Но что могло перемениться, если бы он догадался? Ведь ничего обидного в том, что ему, Гри, не нравится школа, для Энны Андреевны не было. На ее месте могла быть другая учительница, и все равно Гри не захотел бы идти в школу. Разве Гри не нравится Энна Андреевна? Нет, она обыкновенная, как все люди, и для Гри она такая же, как все другие люди. Конечно, Ила и Лана восхищаются ею, потому что она — «такая особенная, особенная, самая лучшая», а у Гри эти телячьи восторги вызывают только отвращение. Но сама-то Энна Андреевна здесь ни при чем.

Нет, дело совсем в другом — просто на уроках Гри скучно. Почему именно скучно, Гри не может объяснить. Ила говорит, что в школе очень интересно: сегодня не знаешь — завтра узнаешь, сегодня не понимаешь — завтра все поймешь. А у Гри почему-то все как раз наоборот: сегодня — понятно, а завтра — нет. И самое удивительное, по-настоящему хорошо

Гри чувствует себя тогда, когда понятное вдруг оказывается непонятным, а простое — таким сложным, таким запутанным, что даже папа объяснить не может не только ему, Гри, но и самому себе. И кроме того, на уроках почти никогда не говорят о главном — о том главном, чем постоянно занята голова Гри. Когда Гри задает вопросы, Энна Андреевна обязательно отсылает его к будущему: «Это изучают в пятом классе, это — в седьмом, а это — в десятом. Наука, Гри, — это прежде всего система, и в основе ее — движение от простого к сложному».

Папа тоже так говорит: наука — это система. Но то ли голос у папы другой, то ли глаза другие, но эти же слова, когда произносит их папа, звучат иначе — и мир вокруг не тускнеет.

— Дети, — сказала Энна Андреевна, когда прозвонил звонок, — Гри вчера прогулял уроки. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо: послушаем сначала Гри.

— Ну, — начал Гри, — я встал, сделал зарядку, умылся, позавтракал и в четверть девятого вышел из дому. До школы мне пять минут ходьбы, но вдруг я увидел трамвай, который идет к морю...

— А разве ты раньше его никогда не видел? А если бы тебе встретился самолет, который отправляется в Африку или Патагонию?

— Помолчи, Ила, — одернула ее Энна Андреевна.

— В Африку или Патагонию? — переспросил Гри. — Самолет не мог встретиться. Вертолет — да, а самолет — нет.

— Гри, — сказала Энна Андреевна, — ты отвлекся, рассказывай по порядку.

Больше Гри не прерывали, и он повторил слово в слово вчерашний свой рассказ: про дельфина Део, рощу, муравьев и церцерис-златкоубийцу. Нет, про церцерис было уже не простое повторение, потому что Гри вспомнил и папины объяснения. Но никто не знал, что Гри пересказывает папины слова, и получилось так, будто Гри было известно все с самого начала.

Первой подняла руку Ила. Конечно, сказала она, то, что рассказывал Гри, не лишено интереса. Но подумайте, воскликнула она, что произойдет, если каждый школьник будет поступать, как ему вздумается. Дисциплина обязательна для всех, и пусть Гри не думает, что для него мы будем делать исключение. Это давным-давно, когда люди были еще не очень

умные, существовали всякие принцы и принцессы — люди голубой крови. А теперь каждый очень хорошо знает, что у всех людей кровь одного цвета — красного.

Потом взяла слово Лана. Прежде всего она объявила, что целиком присоединяется к мнению Илы. Но, кроме того, ей хочется выразить свое возмущение эгоизмом Гри, который заботился только о своем собственном удовольствии и нисколько не задумался о неприятностях и волнениях, которые он доставил маме, папе и Энне Андреевне. Конечно, она не думает, что Гри специально делал назло, но ведь эгоизм потому и эгоизм, что он позволяет человеку видеть только самого себя.

После Ланы выступали еще Лим, Ада и Сол. Да, сказали они, проступок Гри очень серьезный, но мы должны не осуждать Гри, а помочь ему, потому что ошибиться может всякий: автомобиль на четырех колесах — и то опрокидывается.

— Я думаю, Лим, Ада и Сол правы, — Энна Андреевна улыбалась, и теперь было ясно каждому, что настроение у нее хорошее. — А сейчас дадим слово Гри.

Признает ли он свой проступок? Да, признает. Понимает ли он, что причинил беспокойство родителям и Энне Андреевне? Понимает и просит Энну Андреевну извинить его. А перед папой и мамой он извинится дома, но, если ребята настаивают, он может сделать это здесь, в классе.

Гри выждал минуту — никто не настаивал, и он заговорил снова:

— А в школе мне не нравится, и на уроки я ходить не буду.

Едва он произнес эти слова про школу и уроки, Ила вскинула руку. Но в этот раз Энна Андреевна не дала ей слова, в этот раз Энна Андреевна сама взяла слово.

— Если Гри, — сказала она, — так упорствует, пойдем ему навстречу, дети: с нынешнего дня Гри освобождается от уроков в классе. С нынешнего дня он будет учиться на седьмом этаже, в отдельной комнате.

И дети вспомнили загадочный седьмой этаж, и мальчиков, сидящих там в одиночестве среди электронных машин, и пустовавшую в начале года последнюю комнату — ту самую, о которой Энна Андреевна тогда говорила: «Из нашего класса, я уверена, сюда никто не попадет».

— Но, — Энна Андреевна сделала паузу, — когда Гри по-

настоящему исправится и захочет снова вернуться к нам, мы всегда найдем для него место.

Через четверть часа Гри и его отца лифт поднял на седьмой этаж. Здесь их встретил старик с белыми, как шерсть оленя-альбиноса, волосами и синими глазами, такими синими, что они казались кусочками неба, имеющими форму человеческих глаз.

— О Дин Григорьевич,— воскликнул радостно старик,— я безмерно счастлив видеть вас. А это кто? Ваш сын? Рад познакомиться, молодой человек: я — Гор Максович. А вы... Гри? Григорий, стало быть, Динович. Рад, безмерно, рад, Григорий Динович, приветствовать вас в здешних эмпиреях. Путь-ка, пройдемте в ваш кабинет.

Старик все время улыбался. И самое непонятное, Гри тоже почему-то хотелось улыбаться, даже не улыбаться, а смеяться — до колик под ложечкой, как будто возишься на траве с собакой, которая нет-нет да лизнет тебя щекотно то за ухом, то в нос, то в губы. Папа тоже улыбался, но только вначале, а потом, когда Гор Максович заговорил о каком-то их общем знакомом со странным именем Элу Большой, папа перестал улыбаться. Он только кивал головой и щурил изредка глаза. Этот папин прищур Гри хорошо знал — он появлялся всегда, когда папа бывал недоволен собой.

— О, вы преувеличиваете, Дин Григорьевич,— заторопился вдруг старик,— Элу Большой великопепен, и вы, конструктор, можете им гордиться. Но эмоциональный анализ тестов дается ему, скажем откровенно, на троечку с плюсом.

Папа вздохнул:

— Вы чересчур снисходительны, Гор Максович: тройка с минусом — красная цена ему.

Гор Максович отчаянно запротестовал и в поисках подкрепления сослался на то далекое время, когда уважаемый Дин Григорьевич, тогда еще в возрасте своего сына Гри, сидел в этой же, куда они сейчас прибыли, комнате и неистово доказывал, что электронный учитель-2, или, как называли его все, Элу-двочник, завышает оценки.

— О,— поднял палец старик,— самокритичность, Дин Григорьевич,— да, но самобичевание — нет. Нет!

Гри остановился у стола посреди комнаты.

— Садись,— приказал Гор Максович, кладя ему на голову руку.— Расскажи, как ты провел вчерашний свой день.

Сначала расскажи устно, а потом письменно — на этих вот бумаженках.

— А кому рассказывать? — спросил Гри.

— Никому,— поднял старик плечи.— Если, конечно, не считать, что ты сам можешь быть своим слушателем. Отец, наверное, рассказывал тебе фаблю о старичке-чудачке, который разговаривал с самим собою на улице. «Папаша,— обратился к старичку один заботливый юноша,— что это вы сами с собою разговариваете?» — «Э, юноша,— ответил ему старичок,— приятно, знаете, поговорить с умным человеком». Ну, за работу, Гри, — неожиданно строго произнес последнюю фразу Гор Максович.

Папа и Гор Максович вышли — Гри остался один. Сначала его занимали мысли о веселом старичке, потом о папе, который, оказывается, придумал эту машину — Элу Большого, потом о собрании в классе, о разбитом хрустальном бокале и, наконец, о вчерашнем утре, когда было так же много солнца, как нынче. Гри щелкнул языком, пытаясь воспроизвести голос Део, но получилось не очень похоже, потому что не было скрипа — жесткого скрипа туго отворяющейся двери.

Теперь Гри готов был приступить к заданию, но что-то неловое было в том, что надо рассказывать себе о себе же. В самом деле, что мог он рассказать себе такое, чего бы прежде не знал? Ведь это он сам все видел, он сам все слышал, передумал и дважды уже пересказал — сначала папе, потом ребятам в классе.

В комнате было очень тихо, и тишину эту можно было слушать, как ту, которая была в роще. Гри прислушался — в Элу Большом что-то монотонно потрескивало и через каждые пятнадцать секунд щелкало, вроде резак отсекал пересохшую хитиновую пленку. Потом раздался всплеск, и Элу Большой затцикал — точь-в-точь как восхищенный Део. Гри рассмеялся и сказал Элу Большому, что тцикать он умеет, а вот разговаривать с ним, как с Део, все равно нельзя. Део можно даже рассказать про вчерашний день, и он бы наверняка все понял — и глаза у него стали бы веселые, и трещал бы он в своем дельфиньем восторге, как зуммер, который забыли отключить.

— Тц! Тц! Ззззз! — затрещал Элу.

— Ну, хорошо,— сказал примирительно Гри,— все равно

ведь надо рассказывать кому-нибудь, а кроме тебя, здесь никому меня слушать.

И Гри снова рассказал про удивительный вчерашний день и ни разу при этом не запнулся — ни разу до того самого места, когда вдруг ни с того, ни с сего показалось очень важным установить, куда же именно жалит шерцерис свою жертву. «Если в надкрылья, то, наверное, ничего не получится, — рассуждал вслух Гри, — потому что они хитиновые. Значит, в мягкое какое-нибудь место. Но откуда оса знает, что именно в мягкое место надо?»

Отвратительное беспокойство наседало на Гри с устрашающей быстротой: сначала Гри прислонился к окну — внизу, в школьном саду, играли дети, — потом стал шагать по комнате, потом привязался к Элу Большому, требуя от него ответа, и в конце концов обзвал его болваном и вдобавок хлопнул еще ладонью по зеленому глазу.

Элу молчал, но почти одновременно с ударом, который нанес ему Гри, отворилась дверь — вошли Гор Максович и папа.

— Что же это вы, Григорий Динович, — всплеснул руками старик, — прямо как йети необразованный: не получается, так срываете свой гнев на том, что подвернется под руку. Согласитесь, Григорий Динович, так нельзя: Элу этого не заслужил. Вы слышите, как он, бедняга, вздыхает?

Элу Большой вздохнул дважды — сначала долго и тяжело, особенно на вдохе, а потом коротко с резким выдохом.

Всматриваясь в Гри своими синими, со смешинкой, глазами, Гор Максович сказал, что пора заняться письменной работой. В дверях старик еще раз обернулся и, пригрозив пальцем, напомнил: ярость и гневливость не украшают истинного мужа.

Работу Гри закончил к полудню — через два часа с четвертью. Когда пробило двенадцать, Гри удивился — время было другим, с иной протяженностью.

— Как будто вовсе не было времени, — сказал он папе и Гору Максовичу.

— А может, его и на самом деле не было? — спросил старик серьезно, и в нынешний раз Гри показалось, что он насколько не шутит.

Гор Максович аккуратно сложил листки, исписанные Гри, и торжественно отворил перед ним дверь:

— До тринадцати часов, Григорий Динович, вы свободны. Будь у меня столько времени, я бы первую половину его уделил бассейну, а вторую — завтраку и десятиминутной прогулке.

— Можно, папа? — неуверенно спросил мальчик.

— Гри,— пожал плечами отец,— здесь распоряжается Гор Максович. И если бы Гор Максович рекомендовал мне отправиться в бассейн, я не стал бы терять попусту времени.

Спустя минуту Гри на третьей скорости уже пересекал школьный сад.

— Ну, а теперь посмотрим, что же нам скажет Элу Большой,— сказал старик.

Включив экран, Гор Максович сначала забормотал, потом пустил каскад гм-гм-гм, модулируя его от невнятного хмыканья до безукоризненной артикуляции, и произнес трубным голосом электронного информатора:

— Итак, дорогой Дин Григорьевич, за вчерашний день ваш сын выдал двести восемьдесят единиц информации по шкале Розова-Анжу вместо шестидесяти, положенных учебной программой. Это по устному рассказу. А теперь посмотрим, что даст нам письменный вариант. Ага, ага, ага... двести сорок. Это без графологического анализа. Подождем минутку, одну минутку... так, еще шестьдесят. Итого, стало быть, триста.

— Да,— Дин Григорьевич торопливо барабанил пальцами по панели,— но совершенно очевидно, что устный рассказ текстуально не уступает письменному и уже хотя бы поэтому содержит больше информации.

— Вот именно,— подхватил старик,— но не в чистом ее, так сказать, обнаженном виде, а в скрытых эмоциональных формах, представленных исключительно в модуляциях голоса и пантомиме. Голосом, глазами, руками человек досказывает то, что не удалось облечь в слово. А Элу Большой этой информации не учитывает. Для Элу существует сигнал только в слове. Между самым одаренным мимом и каменной бабой для Элу нет никакой разницы.

Пересекая комнату по диагонали, Дин Григорьевич всякий раз непроизвольно останавливался посредине — в том месте, где диагонали расходились. Потом он решительно направился к окну и минут пятнадцать, не отрываясь, смотрел вниз. В школьном саду играли ребята — как сто и двести лет назад,

они рядились в индейцев, бегали наперегонки, восторженно визжа при успехе и хмураясь при неудачах. Что мог сказать об этих ребятах Элу Большой? Ничего: по Элу, эти дети не были носителями информации.

Потом вдруг среди играющих в саду ребят появился Гри. Он мчался вприпрыжку, имитируя бег лошади. Дин Григорьевич улыбался. Он думал о том, что информация, которую выдал вчера и сегодня этот мальчик, индуцировала в мозгу у него, отца, мысль-лавицу. Кто знает, может, именно в ней выкристаллизуется конструкция нового Элу. Об этих мысль-лавинах впервые заговорил в прошлом веке математик Тьюринг. Он полагал их исключительным свойством одаренных людей. Но, возможно, Тьюринг ошибался? Наверняка ошибался; во всяком случае, временная характеристика этой функции совершенно необходима: дети-то почти всегда мыслят творчески. Тысячи детских «почему», изнуряющих взрослого человека, это и есть цепная реакция, мысль-лавица Тьюринга.

Почему же мы не доверяем детям? Что происходит, когда дети вырастают, с этими их мысль-лавинами — исчезают они спонтанно или подавляются извне? Альберт Эйнштейн признавался, что он чересчур долго был ребенком. Иными словами, то, что другими решено было уже окончательно и бесповоротно, для него оставалось загадкой. И в этом его первое преимущество: когда все ясно, нет нужды открывать, нет нужды познавать.

Однако где-то ведь надо остановиться — нельзя безоговорочно полагаться на мироощущение детей. Лень, праздность, легкомыслие, пустое фантазерство — это тоже дети. Но что такое, в сущности, лень? Если отбросить всякие нравственные приговоры, то лень — просто-напросто нежелание системы функционировать в заданном направлении. Но полноценное функционирование — естественное состояние всякой нормальной самоорганизующейся системы. Почему же она сопротивляется? Неужели она инстинктивно оберегает истинное свое «я», которое надобно раскрыть? Стало быть...

— Странно, — сказал неожиданно вслух Дин Григорьевич.

— Ничего странного, — возразил стоявший рядом с ним человек. — Жил некогда в Ясной Поляне удивительный старик. Впрочем, тогда он еще не был стариком. И написал он, человечище этот, забавную статейку: «Кто у кого учится?»

И доказывалось в этой статейке, что мы — опытные и всеведущие — учимся у детей.

— Да,— рассмеялся Дин Григорьевич,— во всяком случае, наиболее разумные из варварского племени взрослых. Но кто может указать подлинные границы истины? Самое трудное — вовремя остановиться. Прежде людям это не слишком удавалось. А теперь? Я знаю, вы видите Гри уже здесь, у себя, но...

— Короче,— внезапно прервал его Гор Максимович,— мой старомодный дед определял такие ситуации яснее: и хочется и колется. Гри должен остаться здесь, на седьмом, по классу спецпрограммы — десять лет за семь плюс «зеленая дорога» спонтанным влечениям. Но его отец боится... ммм... промаха. С одной стороны, он не решается потворствовать склонностям своего сына, с другой — не решается им противодействовать.

— Да,— кивнул Дин Григорьевич,— ваш старомодный дед прав. У меня нет уверенности, что незаурядная наблюдательность и впечатлительность — это и есть истинный Гри. Через три года — что три! — через год все это может улетучиться без следа. А память о недавней твоей исключительности — не легкая память.

— Превосходно, превосходно,— воскликнул старик,— а позвольте узнать, чей же удел может предвосхитить ваш Элу? Чьей судьбой он вправе распорядиться? Всякой, только не вашего сына! Так? Извольте ответить: так? И вообще на кой, собственно, черт тогда ваш мудрый Элу?

— В том-то и беда,— вздохнул Дин Григорьевич,— что мудрости у него не больше, чем у нас с вами. Школьная система во все века — оговорки не меняли дела — основывалась на абсурдной аксиоме: человек стандартен по существу своему. Дифференциация же, за редчайшими исключениями, оказывалась уделом лишь будущего, когда воспоминания о школе были уже, как воспоминания о первой любви,— красочны, элегичны и бесполезны. Но ведь и Элу видит только прошлое и настоящее, да и то лишь уголком глаза. А греческие мойры и римские парки,— расхохотался Дин Григорьевич,— по-прежнему запирают нас на замок, ключи же забрасывают в будущее.

— И это все? — сухо спросил старик.— Значит, сперва сыщем ключи, а потом и решим, как быть нам с сыном единокровным?

— Не гневайтесь, дорогой учитель...

— Не валяйте дурака, Дин. И не забывайте, что между этими двумя предметами — замком и ключом — иногда лежит целая человеческая жизнь.

— И потому, — радостно подхватил Дин, — да здравствует отмычка! Но вспомните Гана Брунова — вундеркинда, который в семь лет забавлялся интегралами, а в двадцать оказался заурядным программистом с незаурядным самомнением, чуть не приведшим его к самоубийству.

— Отлично, — миролюбиво заговорил старик, — вы оберегаете Гри от душевной драмы, возможность которой железно предусматривается теорией вероятности и вашим житейским опытом. А каково придется взрослому человеку, который вдруг обнаружит, что по вине отца и школы он сделал вдесятеро меньше того, что мог сделать? Заметьте, я ничего не говорю об интересах общества, которому нужны не заколдованные хранилища энергии, а действующие установки.

Стремительно повернувшись, Дин Григорьевич поднял руку, будто намеревался нанести удар чему-то невидимому, что стояло между ним и стариком, но вдруг зажужжал зуммер, нетерпеливо, настойчиво, — и в раскрывшуюся дверь влетел Гри. Лицо его было пунцовым, и мутные струйки пота, выброшенные височными родниками, торопливо сбегали к подбородку.

— Папа, — закричал он, — а угадай, кто первым пришел к финишу? Я, я! И все, кто был в бассейне, удивлялись и спрашивали, когда это я научился так плавать.

— Все, кто был?

— Все!

— А может, не все? Трудно ведь сразу всех увидеть и услышать.

— Нет, папа, все.

— Ну, что вы об этом скажете, Гор Максович? Встречали вы когда-нибудь такого отчаянного хвастуна? И учтите, еще каких-нибудь три месяца назад этот человек обвинил своих товарищей в бахвальстве, которое просто синоним глупости. Гри, расскажи эту историю Гору Максовичу.

— Папа, но я же не хвастаю. Это было на самом деле: все удивлялись и спрашивали.

— Еще бы, — сказал Дин Григорьевич, — ведь бахвалы все-

видящи и всеслышащи: у них четыре глаза и четыре уха — по числу сторон света.

Гри опустил голову и стоял так, с опущенной головой, пока Гор Максович не приказал ему занять рабочее место. А потом, еще до того, как Гри взялся за уроки, Гор Максович вдруг стал вспоминать вслух, каким неумным хвастуном был Дин, отец Гри. Дин Григорьевич делал страшные глаза, прижимал палец ко рту, хватался за голову, но Гор Максович был неумолим, а в заключение еще сказал, что дети должны знать о своих отцах только правду.

— Так, Гри? Я правильно говорю?

— Да, — ответил Гри тихо, не подымая головы.

— И тогда, — добавил Гор Максович, — они будут лучше своих отцов. И в этом смысл прогресса.

На следующий день главный школьный методсовет по рассмотрении предварительных итогов обследования на год исключил Гри из числа учащихся класса общей программы. В тот же день Гри перешел на седьмой этаж под начало Гора Максовича.

Вечером мама накрыла праздничный стол. Папа был недоволен: не надо, говорил он, это лишнее. Но мама много, очень много смеялась и твердила, что теперь не средневековье, а пуританство и аскетизм уже давно не добродетели. Потом пришли гости. Женщины, как будто сговорившись, повторяли в один голос:

— Это Гри? Я бы не узнала его — как он вырос!

Мама рассказывала о необыкновенных его успехах, и всякий раз, оборачиваясь к нему, добавляла:

— Только не задирай носа, Гри!

Когда гости ушли, папа сказал, что лавровый лист — тяжелый лист, и венки из него сломили не одну шею.

— Дин, — голос у мамы был ласковый, с легким укором, как прежде, когда после бокала шампанского, поднятого за успехи Гри, она журила сына и требовала скромности, — Дин, не надо социологии, не надо философии. Я хочу радоваться. Просто радоваться, понимаешь?

— Нет, — рассмеялся папа, — не понимаю. Я как жирафа: в понедельник промочил ноги — в пятницу, глядишь, насморк.

Спустя три недели, во вторник, пятнадцатого апреля, Гри вторично прогулял уроки. Домой он вернулся к трем часам — как положено. Вечером в четверг позвонил Гор Максович —

он просил Дина Григорьевича, если возможно, заглянуть в школу.

По пути в школу каждый был занят своим: Гри гадал, рассказал или не рассказал Гор Максович папе о прогуле, а Дин Григорьевич упорно подавлял искушение спросить сына, не знает ли тот, зачем он, отец, понадобился учителю.

Гор Максович встретил их у дверей и немедленно, прямо с порога, провел Дина Григорьевича к столу, на котором распластался огромный лист, испещренный зигзагами.

— Смотрите, друг мой, и удивляйтесь. Я снова вижу Афродиту, рожденную из пены,— шумел он, тыча пальцем в лист,— и только тот, кто слеп, увидит здесь лишь ломаных чреду.

Дин Григорьевич не был слеп, но пеннорожденной Афродиты он все-таки не видел: трехнедельная табель-кривая Гри с десятого дня падала все круче и к шестнадцатому дню стала вовсе отвесной, застряв где-то между сорока и пятьюдесятью единицами, — единиц на пятнадцать ниже обычной нормы первоклассника. Но на восемнадцатый день она круто, до отметки триста сорок, взмыла кверху, а вчера — девятнадцатый рабочий день — поднялась еще на тридцать единиц. Семнадцатый день на графике не был обозначен.

— Гор Максович,— вполголоса произнес Дин,— здесь пропущен семнадцатый день.

— Нет,— сказал старик, протянув руку в сторону Гри,— это здесь он пропущен. Где ты был, Гри, во вторник? Вы слышите: в энтомологическом саду. Почему тебе захотелось именно туда? Изумительно, исчерпывающий и в высшей степени оригинальный ответ: не знаю, просто так захотелось. Почему ты не рассказал о прогуле отцу? Ага, понятно: не хотел огорчать его. А теперь, Гри, выйди и погуляй четверть часа.

Едва в конце коридора утихли шаги Гри, декламаторский зуд оставил Гора Максовича. С минуту оба они — и старик и Дин Григорьевич — молчали, а потом старик подошел к Элу Большому, положил ладонь на его зеленый глаз и сказал:

— Эти слова не для него, но, право, я без колебаний признал бы его гением педагогики, если бы он с упреждением хотя бы в одну-две недели отыскивал пути активизации информационного потока моих школяров. Почему Гри захо-

телось именно в энтомологический сад? Почему только на семнадцатый день, хотя кривая начала откровенно падать с десятого дня? Почему?

— Не знаю, ничего не знаю, — шептал Дин Григорьевич, — симптомы есть, но прогнозов нет. Элу просто бездарный констататор. И чтобы понять это, мне понадобился сын, мой собственный сын. Интуиция вела Гри. Но как долго она будет служить ему? Элу показывает меру его одаренности. Но я должен знать меру устойчивости этой одаренности, иначе — она призрак... призрак, который может раствориться в первых же лучах рассвета.

— Нет, Дин, не то, — воскликнул старик, — исследователь не вправе ставить так вопрос — «все — или ничего». И как бы вам ни хотелось узнать тысячепроцентно гарантированное будущее уже сегодня, ничего не получится. Может быть, это достанется вашему сыну, а может, только его правнуку. Но если ваш новый Элу заглянет на неделю, на месяц вперед, мы двинемся втрое быстрее и увереннее.

«Втрое быстрее и увереннее», — машинально повторил Дин Григорьевич, досматривая картину, которая возникла перед ним еще до того, как старик обрушился на него с упреками и разоблачениями. Уже с месяц она неотступно преследовала его, эта картина: автомобиль идет на огромной скорости по солончаку, и фары его высвечивают солончак перед машиной метров на двести, а дальше, до горизонта, — сплошная темень. Ему нестерпимо хочется увеличить скорость, но, чтобы увеличить скорость, надо увидеть всю дорогу — до горизонта.

Но как, как может он увидеть ее всю? И под силу ли это человеку вообще? А что, если мойры и парки — вовсе не гениальное прозрение человеческой интуиции, а всего лишь заманчивый и удобный поэтический образ?

Хорошо, допустим, так, допустим, невозможно просмотреть дорогу в деталях, но хотя бы направление определить возможно! Ведь работа системы во времени — это и есть направление. Но что он, собственно, знает о системе, которая называется Гри, о системах, которые под миллиардами имен прыгают, грустят, валяют дурака сейчас на всех шести континентах!

Когда он сконструировал своего Элу, президент Академии педагогики на годичном собрании объявил, что школа обу-

лась, наконец, в семимильные сапоги. И все аплодировали словам президента, как будто эти самые семимильные сапоги не пылились уже добрые полсотни лет в музеях космонавтики, ядерной физики и даже музеех медицины. И никто не вспомнил при этом, что педагогика по-прежнему сама величает себя наукой, и никто не вспомнил при этом раблезианской аллегии президента Академии наук: когда дети играют в ихтиандров и авиандров, глупо и бесчеловечно разубеждать их — надо подождать, пока они вырастут.

— Удивительно,— сказал вдруг громко Дин Григорьевич,— педагогика, древнейшая человеческая наука, только начинается. А может... Тоска, дедушка Гор.

— Дин,— очень строго, очень сурово произнес старик,— перестань ныть, иначе я выставлю тебя за дверь. За четверть века ты мог, ты должен был стать мужчиной. Когда ты учился, был только Элу-двоечник, а теперь есть Элу Большой. За ним придут Элу Максим, Элу Магнус, Элу Ультрамагнус и...

— ...и в этом смысл прогресса.— Дин Григорьевич улыбнулся, но глаза его оставались грустными.— И все-таки сегодня мне... нам трудно, труднее, может быть, чем четыре с половиной века назад Коменскому, чем триста лет назад — добрейшему Песталоцци.

— Нет,— воскликнул Гор Максимович,— нет...

И в то самое мгновение, когда он сделал шаг, чтобы ухватить своего оппонента за полу куртки, Гри, названивая еще, отворил уже дверь и прямо с порога объявил, что ему надоело слоняться по саду, где тыщу раз останавливают и поучают. Лучше посидеть здесь, с Элу Большим. Почему с Элу? Потому что Элу говорит лишь, что правильно и что неправильно, и никаких внушений не делает.

— Вы слышите, Фома вы,— поднял старик палец,— Элу учит, но не поучает! Сделайте так, чтобы и в постылом ворчуне Горе не было нужды здесь, на седьмом, чтобы Элу Магнус, Элу Великий, вытеснил отсюда всю эту компанию — Элу Большого и старика Гора.

— А время? А...— Дин Григорьевич показал глазами на сына: «А он?»

— Не надо, друг, трагедий! — декламаторский зуд вновь овладел стариком.— Что есть трагедия? Неверие всего лишь, пустое лишь неверие и страх!

Переводя клавиши Элу на оранжевое свечение, Гри выступил рассказ на свободную тему — «Жизнь и правы перцеприс-златкоубийцы». Старик включил сигнал «Тихо! Идут занятия!» и занялся своими табель-графиками.

Дин Григорьевич сначала склонился над сыном, а затем, минут через пять, подошел к окну — школьный сад и игровые площадки были пусты. Только солнца внизу, на земле, было много, фантастически много. И опять, как еще до того, когда старик в первый раз обрушился на него, перед ним возник автомобиль и солончаковая степь, высвеченная фарами метров на двести, не больше. Свет был далеко на горизонте — тонкой дугой он опоясывал землю, а между ним и высвеченным солончаком была сплошная темень.

Педагогика, древнейшая человеческая наука, только начинается.

Видимо, он произнес эти слова вслух. Да, вслух — вот и желтый сигнал загорелся «Порядок нарушен», и старик грозит ему пальцем, кивая на красное «Тихо! Идут занятия».

И УВИДЕЛ ОСТАЛЬНОЕ...



Ю

И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

А. Пушкин

1

Юпитер бушевал. Отсюда, с каменистой Ио, было видно, как по его гигантскому диску, закрывавшему полнеба, ходили бурные смерчи. Казалось, гигант пульсировал, то опасно приближаясь, то удаляясь. Казалось, его беспокойная атмосфера вот-вот сорвется, не выдержав чудовищной скорости вращения, и накроет дымным одеялом маленькую Ио, космостанкер «Апшерон» и его экипаж.

— Ух ты,— сказал напряженно-бодрым голосом штурман Новиков и языко поежился.— Разыгрался Юпик. Это он всегда так, Радий Петрович?

— Нормально,— ответил командир танкера, голос его переливался разрядами.— На экваторе турбулентно, на шапках — поспокойнее. Для Юпитера погода — баллов на пять. Только не надо про него так... фамиллярно. Планета серьезная.

Новиков прыжком приблизился к башенке автоматической станции, поднял крышку, посмотрел на ползающие по экрану зеленые зигзаги.

Не раз приходилось ему видеть это зрелище в учебных фильмах, но одно дело — учебный фильм, другое — оказаться лицом к лицу с чужой, разнузданной стихией.

— Напряженность Ю-поля у красной черты,— сказал он.

Володя Заостровцев, бортинженер, быстро взглянул на Новикова, но промолчал. Сегодня с утра он и двух слов не вымолвил.

Нижний край Юпитера был обгрызен острозубчатым гори-

зонтом Ио. Именно оттуда должен был появиться контейнерный поезд, и все трое не сводили с горизонта глаз.

Командир танкера поднял руку к шлему, словно намереваясь почесать затылок.

— Здесь-то что,— сказал он.— Четыреста мегаметров до него. Санаторий. А побывали бы вы на Пятом — вот там сейчас неуютно.

— Ну да, там ведь вдвое ближе,— отозвался Новиков.— А вы были на Пятом?

— Бывал. С одним планетологом. Мы тут на всех спутниках ставили первые автостанции.

Володя Заостровцев пнул носком утяжеленного башмака ледяную глыбу, сказал:

— Радий Петрович... Улетать надо отсюда...

— Это почему же?

— Не знаю. Только чувствую — надо поскорее уходить.

— А контейнеры? — возразил Новиков.— С чего это ты расчувствовался? Боишься, так сидел бы дома.

— Да-а-а,— продолжал командир,— на Пятом и горизонта, в сущности, нет. Стоишь, как на камешке, а этот,— он кивнул на Юпитер,— стена стеной, руку протянуть боязно. Так что ничего, Заостровцев, бывает, если в первый раз. Около Юпитера всегда эти... кошки по сердцу скребут. Нормально.

— Да нет, Радий Петрович,— стесненно сказал Володя,— я не то что боюсь, а... сам не знаю... Конечно, без контейнеров нельзя.

Командир взглянул на часы.

— Теоретически буксир должен вернуться через пятьдесят минут,— сказал он.— Но плюс-минус полчаса всегда возможно: плотность его атмосферы,— он снова кивнул на Юпитер,— вещь уж очень непостоянная. Наши контейнеры там мотает, как деревья в бурю.

Новиков представил себе, как, огибая планету, сквозь толщу бушующих, насыщенных энергией газов мчится буксир — космический беспилотный корабль с длинным хвостом вакуумных контейнеров. Поезд догоняет Красное Пятно и, войдя в его плотную среду, уравнивает с ним скорость. Распахиваются приемные горловины, и вещество Красного Пятна со свистом всасывается в контейнеры. Хищника загоняют в клетку. Пятно, впрочем, и не заметит ничтожной убыли...

Буксир приведет поезд на Ио, автопогрузчик поставит контейнер на место — несколькими рядами они опояжут тело танкера, — и тогда можно стартовать. Можно прощально помахать ему ручкой: не сердись, старик Юпитер, ты не прав, — или как там говорили древние?

Потом Радий Петрович аккуратно посадит танкер на космодром «Луна-2», и они выйдут наружу и увидят привычный спокойный лунный пейзаж — невысокие кольцевые горы, изрезанную трещинами почву. После Ио, утыканной острыми иглами скал, с ее глубокими ущельями, залитыми черным метановым льдом, с ее зловеющим небом, Луна покажется особенно уютной, обжитой.

Космодромная команда примет контейнеры с материей Красного Пятна и опорожнит их в подлунные резервуары. А они, экипаж танкера, после карантинного душа сядут в вездеход — и в городок. Там можно будет, наконец, вылезти из скафандра и неторопливо пройти в салон. Сбегутся в салон ребята, пойдут вопросы: ну как зачетный? Он, Новиков, помедлит, потягивая из стакана пахучий витакол, небрежно скажет: «Тряхануло нас возле Юпика... Думал — прощай, дорогая...» И остальные практиканты будут завидовать ему черной завистью, потому что они еще нигде не бывали, если не считать учебных рейсов на Марс в качестве дублеров, а он, Новиков, уже «свалил» зачетный. Да, дорогие товарищи, нет больше студента-практиканта Новикова — есть штурман-кибернетик Новиков, космонавт. Сам Платон Иванович, руководитель практики, привинтит к его куртке значок. Немного он, Новиков, запоздал: Первая звездная уйдет без него. Но уж во Вторую попадет непременно. На Земле ему теперь в общем-то делать нечего...

А Радий Петрович Шевелев думал о том, что это, наверное, последний его рейс к Юпитеру. Может, и вообще последний рейс. Сорок восемь лет, потолок космонавта... Возраст, когда, по выражению пилотов, начинает «барахлить вестибулярка». Что ж, он немало новых трасс проложил в Системе. Взять хотя бы эту — к Юпитеру. Трасса сама по себе нетрудная, но зато конечный ее пункт...

Давно уже догадались астрофизики, какой могучей энергией насыщена бешеная атмосфера планеты-гиганта. Ю-энергия, сосредоточенная в Красном Пятне... Красное Пятно было старой загадкой. Огромное — сто мегаметров в поперечнике, —

плыло оно по двадцатому градусу иовиграфической широты, иногда бледнея, словно выцветая, но никогда не исчезая.

В прошлое противостояние люди и не помышляли о Ю-энергии. Теперь же, при нынешнем противостоянии Юпитера, были сделаны первые попытки зачерпнуть загадочное вещество Красного Пятна. Около трех лет назад Рейнольдс — «человек без нервов», как называли его космонавты, а уж они-то понимали толк в таких вещах,— бесстрашный Рейнольдс приблизился к Красному Пятну настолько, что зачерпнул его вещество бортовым контейнером. Он радировал об этом событии в свойственной ему манере: «Ущипнул красного медведя». Но через двадцать минут тон его передач резко переменялся. Рейнольдс сказал: «Не помню, что происходит». Он повторил это дважды спокойно, будто в задумчивости. Потом он сказал: «Боюсь, что потерял...» Никто ничего больше не узнал о Рейнольдсе: связь прервалась на середине фразы. Корабль не отвечал на вызовы. Рейнольдс не вернулся.

Но люди упрямы. Потомки смельчаков, под парусами пересекавших океаны, уходивших на собачьих упряжках без единого прибора связи во льды Антарктики, шли в бешеную атмосферу Юпитера. Под этой бездонной атмосферой скрывалась неведомая до сих пор поверхность планеты, сжатая колоссальным давлением, разогретая до сотен тысяч градусов, где вещество, насыщаясь энергией, перетекало в Красное Пятно....

Среди первых разведчиков был и он, Шевелев. Именно ему принадлежала идея построить на Ио танкерный порт, с которого беспилотный корабль поведет к Красному Пятну контейнерный поезд. И теперь танкерные рейсы Луна — Ио — Луна сделались обычными. Материя Красного Пятна оказалась необыкновенно компактной и насыщенной энергией, так что вопреки сомнениям ее доставка вполне окупалась. Ю-материя, казалось, была прямо-таки специально создана для двигателей новых галактических кораблей класса СВП — Синхронизаторов Времени — Пространства,— которым предстояло выйти за пределы Системы.

За пределы Системы... Этой затаенной мечте Шевелева не суждено сбыться. Он еще поспорит на Совете, он докажет, что может потягаться с любым молодым, но в глубине души Радий Петрович знал, что отлетал свое. К звездам уйдут молодые...

А Володя Заостровцев чувствовал приближение того странного состояния, которое уже несколько раз испытал и которое пугало его. Он пытался «переключиться». Вызывал в памяти земные картины.

Белые корпуса Учебного центра в зелени парка. Сверкающий на солнце небоскреб Службы Состояния Межпланетного Пространства — там работает на радиостанции оператор Антонина Горина. Тоня, Тося — смуглое живое лицо, мальчишеская стрижка, насмешливые карие глаза. И ничего-то нет в ней особенного. В Учебном центре были девушки куда привлекательнее Тоси. Но с тех пор как Володя Заостровцев в День моря впервые увидел Тосю, бесечно хохочущую, танцующую на воде, с той самой минуты другие девушки перестали для него существовать. Он подскочил к ней, и они закружились в вихре брызг, музыки и смеха, но тут Володя зацепился поплавок за поплавок, потерял равновесие и плюхнулся в воду...

Воспоминание отвлекло его, но ненадолго. Тягостное ощущение не проходило, нарастало... Выразить это словами было невозможно. Ни сравнений, ни аналогов. Каждый раз по-новому...

Теперь по экватору Юпитера неслись огромные бурые облака — ни дать ни взять стадо взбесившихся быков. Они спибались, медленно меняя очертания, рвались в клочья. Слились в сплошную зубчатую полосу. Будто гигантская пила рассекала планету пополам — вот-вот распадется...

Полыхнуло красным. Грозные отсветы легли на каменные пики Ио, на лед в расселинах, на гладкое тело космотанкера. Диск Юпитера с края залился огнем. Вот оно, Красное Пятно... Оно разбухало на глазах, ползло под экватором, свет его становился пугающе-резким. Новиков невольно втянул голову в плечи.

— Вторые светофильтры поднять, — раздался в наушниках голос командира. — Алексей, посмотрите, что там с поездом?

Новиков склонился над щитком автостанции. Вслед за Красным Пятном должен был появиться из-за диска Юпитера буксир с контейнерами. Но его не было. Это было неправильно: поезду задана круговая орбита со скоростью Пятна. Но поезда не было.

«Нет как нет, ну прямо нет как нет», — навязчивые стукали у Новикова в памяти слова старой песенки.

Он усталился на Пятно. Оно уже почти полностью выползло из-за края. В нем крутились желтые вихри, выплескивались быстрые языки — не они ли слизнули поезд?..

— Нет поезда! — крикнул Новиков. — Пропал поезд!

Володя Заостровцев вдруг Новиков. — Судорожно застучал кулаками по щиткам светофильтра.

— Не могу! — прохрипел он. — Жмет... Давит...

— Что жмет? — Командир шагнул к нему.

И тут в уши ударил ревун тревоги — монотонный, прерывистый, безразличный.

— Быстро в шлюзкамеру! — крикнул командир.

Володю свело в дугу. С ним творилось непонятное. Новиков и командир потащили его под руки.

Хлопнула автоматическая дверь, вторая, третья... Сгрудился в лифте. Вверх! Ревун оборвался. Что там еще? Он не мог выключиться до старта, но он выключился. Это было неправильно... непонятно.

Дверь остановившегося лифта поползла в сторону — командиру казалось, что она ползет отвратительно медленно, он рванул ее, протиснулся в кабину. Не снимая шлема, забыв спустить светофильтр, бросился к пульта, пробежал пальцами в рубчатых перчатках по пусковой клавиатуре. Далеко внизу взревели двигатели, танкер рвануло. Радий Петрович глубоко провалился в амортизатор сиденья, привычная тошнотность перегрузки подступила к горлу.

Новиков и Заостровцев упали в свои кресла. Некоторое время все трое молча возились с шлемами, тугими шейными манжетами, выпутывались из скафандров. Каждое движение давалось с трудом, а труднее всех было Володе. Крупные капли пота катились по его щекам.

Раньше всех увидел Радий Петрович. Потом Новиков. Его рука, протянутая к блоку программирования, медленно упала на колени.

Приборы не работали. Ни один.

— Ничего не понимаю... — Командир беспокойно вертел головой, переводя взгляд с экрана на экран.

Он переключил масштаб координаторов. Ввел усиление. Перешел на дублирующую систему. Больше он ничего не мог сделать.

Экраны ослепли. Тонкие кольца и меридианы гелиоцентрических координат ярко светились, но точки положения ко-

рабля не было видно ни на экране широкого обзора, ни на мелкомасштабном. На экране для непосредственного астрономического определения вместо привычной картины звездного неба была серая муть, ходили неясные тени.

Командир с усилием повернулся в кресле и встретил застывший взгляд Новикова.

— Определитесь по полям тяготения,— бросил он раздраженно, потому что Новиков должен был сделать это и без команды.

И не поверил своим ушам, услышав растерянный голос Новикова:

— Гравикоординатор не работает...

Командир уперся в подлокотники, попытался подняться, но ускорение придавило его к креслу. Оно-то работало исправно...

Двигатели мчали танкер вперед. Вперед — но куда? Приборы не показывали положения корабля в пространстве. Было похоже, что какая-то неведомая сила разом вывела из строя все наружные датчики. Корабль очутился в положении человека, внезапно ослепшего посреди уличного потока.

«Мы стартовали часа на полтора раньше расчетного времени,— лихорадочно соображал командир.— Ио всегда обращена к Юпитеру одной стороной, и танкер стоял на этой стороне. Стартовый угол известен. Сейчас, когда корабль идет на малой скорости, надо ложиться на поворот. Но как рассчитать поворот без ориентации?.. В поле тяготения Юпитера нет ничего постоянного. Поворачивать вслепую? Ю-поле прихватит на выходной кривой, а ты и не заметишь... Не заметишь, потому что гравикоординатор не работает».

Новиков между тем возился с пеленгатором. Ведь на крупных спутниках Юпитера стоят радиомаяки — на Ио, на Каллисто, на Ганимеде... Нет. Молчат маяки. Вернее, музыкальные фразы их сигналов не доходят до «Апшерона».

— Хотя бы один пеленг... Хотя бы одну точку...— Новиков повернулся к командиру.— Что делать, Радий Петрович?

Командир не ответил. Он уже знал, что ничего сделать нельзя. Даже послать на Луну аварийный сигнал. Радиосвязи не было. Надеяться на чудо? Где угодно, только не в Ю-поле.

Ну что ж... На Земле труднее: вокруг все родное, земное, и можно увидеть в окно кусок голубого неба, и мысль о том, что все это будет теперь без тебя, невыносима. В Простран-

стве же — Шевелев знал это — чувство Земли ослабевало, помимо воли приходило то, что он называл про себя ощущением потусторонности...

Ослабевало? Ну нет! Вот теперь, когда гибель была неотвратимой, он понял, что ни черта не ослабевало чувство Земли. Наоборот!

Надо было что-то сказать ребятам. Командир посмотрел на них. Заостровцев лежал в кресле, задрав голову вверх и бессмысленно вытаращив глаза. Руки он вытянул перед собой, пальцы его вздрагивали, как бы ошупывая воздух.

Ну что им сказать? Разве что два слова: «Будьте мужчинами»... Радий Петрович вдруг замер, пораженный догадкой: так вот что случилось тогда с Рейнольдсом, вот что не договорил он в последней радиограмме — он потерял ориентацию! У Рейнольдса, так же как и у него, Шевелева, внезапно ослепли приборы. Ю-поле прихватило ослепший корабль Рейнольдса, он врезался в Юпитер. Непонятная, никем не предвиденная энергосвышка... Надо сообщить на Землю. Один шанс из тысячи, что информация попадет к людям, но все равно он обязан сообщить.

Радий Петрович включил аварийную звукозапись и собрался с мыслями. Информация должна быть краткой и исчерпывающей.

Тут он услышал щелканье клавиш задающего блока. Молодые — штурман и бортинженер — сидели, голова к голове, у пульта вычислителя. Заостровцев теперь не щупал пальцами воздух — он медленно водил растопыренной пятерней от себя к экрану. К экрану, на котором светились кольца координат, но по-прежнему не было точки положения корабля.

— Сейчас... — бормотал Новиков, щелкая клавишами. — Только вот введу исходные... влияние Сатурна... Эфемериды... Давай направление, Вовка!..

«Какое еще направление? — подумал командир. — С ума они посходили!..»

— Что вы делаете? — резко спросил он.

Ему пришлось повторить вопрос дважды, но ответа он так и не дождался. Те двое, должно быть, просто забыли, что на корабле есть командир.

— Не так, не так! — стонал Заостровцев, мучительно гримасничая и рубя ладонями воздух. — Не понимаешь...

— А как? — хрипел Новиков.

— Слушай меня, Алеша... Слушай! Мы здесь... Да, здесь... Значит, выходная кривая... Вот... вот ее направление, понимаешь?

— Понял!

Снова защелкали клавиши. Новиков откинулся, уставясь на результатную панель вычислителя.

Мертвая тишина.

— Программа готова, — неуверенно сказал Новиков.

2

А все началось, пожалуй, с того вечера, когда Володя Заостровцев ощутил потребность в стихосложении. Время для занятий такого рода было крайне неподходящее: шел последний месяц предвыпускной практики, после которой их группе предстояло перебазироваться на Луну и там ожидать зачетных рейсов.

Но Володя был влюблен. И поэтому ранним вечером он заперся в своей комнате, легкомысленно отодвинул в сторону схему охлаждения плазмопровода и на очищенный уголок стола положил лист бумаги. Затем он взял авторучку и... сразу понял, что не умеет писать стихи. Пришлось сбегать в библиотеку и обратиться к справочной литературе. Володя узнал, что стихосложение, оно же версификация, является системой организации стихотворной речи и что на свете есть дактиль, анапест и даже какой-то амфибрахий. Сведения были полезные...

Проще всего было разработать программу, закодировать ее и поручить создание стихотворения универсальной логической машине. Такая машина была в штурманской службе, но там не обошлось бы без огласки, а этого Володя не хотел.

Тогда он решил написать стихи по методу машинной логики, но без машины. Как в старину учились кавалерийскому строю без лошадей, маршируя «пеший по-конному». Это, кстати, исключало операцию кодирования, поскольку Володя совмещал функции программиста с функциями машины. И он храбро приступил к созданию алгоритма задачи. Заготовив рифмовые пары и выписав их колонкой с правой стороны листа, размеченного на строки и слоги, он составил словарный

фонд применительно к специфике будущих стихов: существительные — глаза, волосы, сердце; прилагательные — любимый, нежный, золотистый; глаголы — страдать, зажигать...

Затем он приступил к чисто машинной части работы — к заполнению слоговых клеток с соблюдением логических увязок. Пришлось изрядно поломать голову, но в общем принцип «пеший по-конному» дал результатный выход — стихи, сделанные на уровне электронного мозга. Володя вполголоса перечитывал их, отсчитывая слоги на пальцах, исправлял, отделывал:

*Твои кудри — златых завитков — геликоид антенны,
Телепато — вибратор, направленный в сердце ко мне.
А глаза — персептрон электроно-оптической системы
На чудесной, в полтысячи миллимикров, волне...*

Да, это были стихи посерьезнее, чем у лириков прошлого. Они, погрязшие в мистике, только и делали, что писали «о нити той таинственной, что тянется звеня, той нити, что с Единственной могла б связать меня». Володя шел принципиально новым путем.

Когда программа была исчерпана, Володя набрал Тосин номер по видеофону, чтобы прочесть ей стихи. Номер был занят, изображение не появилось, но сквозь частые гудки Володя вдруг услышал голоса. Что-то там не сработало, и он оказался подключенным третьим. Не желая получать чужую информацию, Володя положил палец на кнопку отбоя, но... разговор-то шел о нем!

Тося рассказывала кому-то из своих подруг, что он, Володя, скучный, слишком серьезный и его психоконфликт вовсе не подходит к ее, Тосиному, комплексу. Она любит, чтобы было весело, а Володя если и сострит, то раз в две недели. «Ты всего-то две недели и встречаешься с ним», — сказала подруга. «Ну и что! — ответила Тося своим низким голосом. — Значит, он всего один раз и сострил. Что? Ну конечно, дело не только в этом, но мне с ним скучно...»

Володя отключился. Некоторое время он стоял, тупо глядя на зеленый глазок видеофона. Потом схватил листок со стихами, скомкал и что было силы швырнул в отверстую пасть мусопровода.

Схема охлаждения снова заняла на столе свое законное место. Из-за ее переплетений возникло смуглое живое Тосино

лицо. Нет, так дело не пойдет. Прежде всего надо как следует разобраться в характере отношений...

Володя взял лист миллиметровки и крупно надписал сверху: «Анализ моих взаимоотношений с Тосей Г.». Раздумывая, припоминая подробности встреч и настроений, он постепенно построил график. По оси абсцисс было отложено время, по оси ординат — сила чувства в условно принятых Володей единицах. Красная кривая выражала отношение Володи к Тосе, а синяя — ее отношение к нему. На точках переломов стояли краткие пояснения: «пляж», «на концерте», «диспут об искусстве»...

Володя так углубился в анализ, что не заметил, как вошел и остановился за его спиной Алексей Новиков.

— Хм,— произнес Новиков.— Ты бы действовал в логарифмическом масштабе. Смены настроений были бы выразительнее.

Володя быстро прикрыл график рукой.

— Мысль,— согласился он.— Вместо величин чувства откладывать их логарифмы...

— Эх ты, досужий анализатор. Ну-ка, Вовка, говори, что у тебя стряслось?

Деваться было некуда. Пришлось рассказать о подслушанном разговоре.

— Как мне реагировать, Алеша?

— Надо отомстить,— твердо сказал Новиков.

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. Наши предки считали месть благородным делом. Постой, как это... «Незвиздел я света, булат загремел, прервать поцелуя злодей не успел». Кстати, ты не знаешь, что такое булат?

— Какой-то старинный железоуглеродистый комплекс,— уныло сказал Володя.— Ты тоже находишь, что я скучный и недостаточно часто остроу?

— Постой, постой! — Новиков крупно запагал по комнате.— Отличная мысль, Вовка! Брось свой анализ, пойдем на свалку.

— Зачем на свалку? — удивился Володя.

— За орудием мести! Сегодня я видел, из мастерских выбросили кучу металлического хлама. Пойдем, пока его не увезли на переплавку.

Тося пришла на свидание на двадцать минут позже нормального опоздания. При малейшем движении платье за ней вспыхивало разноцветными искрами и все время меняло цвет.

— Куда пойдем? — деловито спросила Тося.

— Посидим здесь, — предложил Володя. — Мы почти не бываем вдвоем.

— Сегодня бал у астрофизиков, у них всегда очень весело... Но если хочешь, посидим.

Они сели на скамейку под старыми тополями. В парке сгустились синие сумерки. Испуганно крикнула какая-то птаха.

— Ну, что у тебя? — спросила Тося, поправляя волосы и рассыпая микроразряды. — Сдаешь зачеты?

— Сдаю, — кивнул Володя. — А у тебя что нового?

— Ничего. Сегодня было очень много переговоров с Лунной, все насчет Первой Звездной, у Чернышева такой приятный голос, даже когда он сердится. Он требовал скорее прислать какое-то снаряжение. Тебе не надоело сидеть?

— Скоро наша группа улетит на Луну. — Володя взял Тосину руку в свои ладони. — Тося, я хотел тебе сказать...

Тут он вспомнил наставления Алексея. Он отпустил Тосину руку и вытащил из кармана маленький прибор в серебристом пластмассовом корпусе. Щелкнул кнопкой — матово засветился круглый экран.

— Я устала сидеть. — Тося поднялась, обдав его дождем искр. — Что это? Я таких видеофончиков еще не видела.

— Это не видеофон. — Володя надвинул на экран прозрачный щиток, расчерченный тонкой сеткой. Под сеткой побежал зеленый зигзаг. — Это телеанализатор биотоков мозга. Здесь, на экране, то, что у тебя на уме...

Тося невольно отодвинулась. Она не знала, что Володя с Алексеем потратили бездну выдумки на соединение воедино испорченных деталей ультразвукового глубокомера, корабельного компаса и лунного почвенного термометра.

— Ты плохо ко мне относишься, Тося, — печально сказал Володя. — Ты считаешь меня... м-м... недостаточно веселым. Ты решила... м-м... перестать со мной встречаться. Видишь, вот здесь — семь и две десятых. Куда же больше?.. Будь здорова, Тося.

Он сунул приборчик в карман и пошел прочь.

— Володя, стой!

Но он не оглянулся. Тося озабоченно смотрела ему вслед. Потом достала зеркальце, поправила волосы — это помогло ей справиться с растерянностью. Чтобы окончательно прийти в себя, она попробовала сформулировать оценку тому, что произошло. И формулировка была найдена.

— Чудак, — тихо сказала Тося.

После объяснения с Тосей Володя провел бессонную ночь. Пытаясь отвлечься, он заставлял себя думать о системе энергостабилизации двигателя типа КО-За (в просторечии — «коза»), но заснуть не удалось. Зато на утренних занятиях он проспал два учебных фильма подряд — «Влагодетельная обработка венерианского воздуха при заполнении дыхательных отсеков» и «Обеспечение безопасности при текущем ремонте вспомогательных плазмопроводов». Во второй половине дня он сдавал практикум по приготовлению пищи в вакуумных условиях и только вечером, окончательно освободившись, отправился к Новикову, чтобы отвести душу.

В широких коридорах жилого корпуса было шумно: из-за полуоткрытых дверей слышались смех, музыка, голоса спорящих. По местному неписаному закону двери вечером не закрывались — чтобы каждый проходящий по коридору легче мог выбрать, куда пойти.

В комнате Новикова на выдвинутых из стен сиденьях разместились человек восемь парней и девушек. Алексей демонстрировал свою коллекцию старинных песен. Он обычно переписывал их со старых грампластинок или сам напевал на поликристаллы, придавая голосу соответствующую окраску преобразователем формант.

— А вот, — объявил он, — старинная солдатская песня. Если не ошибаюсь, относится ко времени наполеоновских войн.

Он включил кристаллофон, и его же голос, которому искусственные форманты придавали грозную силу, свойственную, по его мнению, солдатам тех времен, запел:

По-о-хранцузски — бутен-брот,
По-о-хранцузски — бутен-брот.

Володя шагнул к двери, делать тут было нечего.

— погоди! — окликнул его Новиков и приглушил звук. — Ребята, управляйтесь сами. Где фруктовый сок — вы, к сожалению, знаете не хуже меня. Уходя, выключите включенное и приберите разбросанное. У нас с Володей срочное дело...

По дороге на пляж Володя доложил другу о разговоре с Тосей, и Новиков одобрил его поведение. Они молча поплавали при дунном свете, потом уселись на лодочных мостках.

— Как, по-твоему, Алеша... Что такое любовь?

— Раз ты спрашиваешь, значит уже изучил вопрос. Знаю я твою манеру.

Да, Володя прочел много книг. Но у старых авторов он не нашел никаких указаний о методике поиска Единственной. Они были многословны в описаниях, но четкого ответа — почему такой-то полюбил именно такую-то, а не другую, — ответа давать не желали, хотя читать их было интересно. Новые же авторы слишком увлекались математическим исследованием психокомплекса.

Когда-то Стендаль классифицировал фазы развития любви и ввел понятия «кристаллизации чувств». Ну да, полимеры тогда не были известны, а то бы Стендаль назвал эту фазу «полимеризацией чувств».

Все здесь тайна. Великая загадка рода человеческого...

«Королева играла в башне замка Шопена, и внимая Шопену, полюбил ее паж...» Полюбил бы паж королеву, если бы она играла не Шопена, а... ну, скажем, Баха? Или Стравинского?

Герцогиня Джозиана полюбила Гуинплена. Ромео и Джульетта. Тристан и Изольда... Старинные новеллы, которые кончались стандартной фразой: «Они жили долго, и любили друг друга, и умерли в один день», — прекрасная наивная мечта...

— А все-таки, что такое любовь? С научной точки зрения...

Спрашивая это, Володя был готов к тому, что Новиков примет его высмеивать или же с серьезным видом понесет чепуху. Ни того, ни другого, однако, не последовало. Новиков сидел неподвижно, обхватив колени, и молчал.

— Любовь — это некое остроизбирательное тяготение, полов, — сказал он наконец.

— Пожалуй... А чем ты объяснишь избирательность? Родством душ?

— Душа! Мистическая гипотеза.

— Помнишь древние легенды — бог разделил людей на половинки, разбросал по свету, и они ищут друг друга...

— Бог — тоже отвергнутая гипотеза.

— Постой! — Володю внезапно осенило. — Бога нет, и души нет — прекрасно. А любовь есть?

— Отвяжись, — тихо сказал Новиков.

— Нет, позволь, позволь! — насканивал Володя, развивая мысль. — Души нет, бога нет, а в организме человека нет ни одного элемента, не входящего в таблицу Менделеева. Ну-ка сделай логический вывод!

Новиков молчал.

Володя, вдумчиво подбирая слова, сделал вывод сам:

— Так вот: любовь, то есть появление избирательного взаимного тяготения полов, есть результат биоэлектрохимических процессов в клетках мозга и, следовательно, может быть изучена и моделирована наравне с памятью, наследственностью и прочими продуктами реакций РНК и ДНК. Согласен?

— Допустим, — нехотя сказал Новиков. — А дальше что?

— Ну, как ты не понимаешь? Эта идея позволит создать... — Володя запнулся. — Ну, что ли, локатор любви... Анализатор любви, — проговорил он уже увереннее. — Анализатор, который обеспечит правильный выбор Единственной. — Володя воодушевился. — Да, это мысль! Анализатор исключит ошибки. Представь себе, Алешка, никаких страданий влюбленным.

— Представляю себе! — с неожиданной злостью ответил Новиков. Он вскочил и принялся натягивать брюки. — Представляю твой анализатор любви! Белые шкафы, набитые микромодулями. Блок кодирования, счетно-решающий блок, дешифратор. Двое парней с тестерами лазают за панелями, устраняют замыкания. Ты встречаешь на улице блондинку анатомического типа Тоси и приглашаешь ее «анализироваться». Для начала — экспресс-анализ крови и прочего. Вам надевают манжетки сфигноманометров. Вам бреют головы и мажут их контактной пастой для датчиков суперэнцефалографа. Я оптимист и полагаю, что теменную кость удалять не будут...

— Что с тобой? — озадаченно спросил Володя.

А Новикова несло:

— Вам вкалывают в нервные места китайские иглы. Аппа-

лизатор гудит, мигает цветными сигналами. Старший оператор говорит: «Молодые люди, посмотрите друг другу в глаза. Так, а теперь — через гипнофильтр А-27. Благодарю вас. Жора, отцепляй от них датчики». Блок дешифровки выстреливает голубой бланк с розовыми амурами: «Не можете любить друг друга». И ты идешь искать следующую девушку...

Новиков ожесточенно махнул рукой и зашагал по мосткам к берегу.

В середине следующего дня они встретились на лекции по защите от излучений.

— Я думал о твоём анализаторе, — сказал Новиков вполголоса. — Не знаю, нужен он человечеству или нет, а вот посмотри-ка на эту схему.

Он протянул Володе свежий номер академического журнала, раскрытый на статье С. Резницкого.

— Тут какая-то гипотеза о биологическом коде сонастроянности. Статья мудреная, с ходу не осилишь. А вот схема, по-моему, интересная...

3

Радий Петрович привык командовать людьми и приборами. Он привык ощущать приборы как продолжение своего зрения, своего слуха, своей воли. Кроме того, он привык видеть перед собой за координатной сеткой экрана знакомую картину звездного неба. Видеть свое положение в Пространстве — без этого летать было нельзя.

Теперь, когда корабль оглох и ослеп, Радий Петрович не то чтобы просто испугался, а был ошеломлен странным ощущением собственной ненужности и невозможности управлять ходом событий. Он перестал быть командиром, и это, кажется, было страшнее, чем врезаться в Юпитер.

А врезаться могли каждую секунду.

Оцепенение первых минут прошло. Как мог он, командир, допустить, чтобы двое мальчишек, впервые вышедших в Пространство...

— Куда?! — крикнул он так, как не кричал еще никогда в жизни. — Куда направили?

Губы его прыгали, голос срывался. Он видел их белые лица на мутном фоне бокового экрана. Заостровцев не оглянул-

ся на окрик. Руки его безжизненно висели по бокам кресла, взлохмаченная голова лежала на панели управления двигателями. Как раз под его щекой медленно ползла вправо стрелка поворотного реактора.

Новиков посмотрел на командира. Лицо его было странно искажено — будто одна сторона отставала от другой.

— Сейчас, Радий Петрович... Минутку...

Новиков потянулся к переключателям мнемосхемы — самым дальним на пульте. Перед командиром засветилась масштабная схема: Юпитер, спутники, кольца их орбит, красная линия пути корабля...

Но ведь это была линия рассчитанного курса, ее не с чем было сравнить, потому что внешние датчики системы ориентации не подавали на мнемосхему истинного курса.

Радий Петрович представил себе, как «Апшерон» на выходной кривой углубляется в Ю-поле — углубляется дальше, чем следует...

Кроме того, на развороте кораблю предстояло пересечь орбиты десятка спутников Юпитера — а ведь Каллисто и Ганимед почти с Землю величиной. Конечно, возможность столкновения практически исключена, но когда движешься без информации извне, то и мелкие спутники — дико кувыркающиеся в пространстве ледяные и каменные глыбы — кажутся неправдоподобно близкими.

— Вы не могли считать курс без внешних датчиков, — жестко сказал командир. — Я запрещаю...

Тут он осекся. Он был командир и мог запретить что угодно, но, запрещая, он должен был продиктовать свое решение. А решать что-либо в этой дикой ситуации было невозможно.

Новиков тряс за плечи сидевшего рядом Володю.

— Да очнись ты! — кричал он ему в ухо. — Вовка, очнись! Что дальше? Корректировать надо!

В отчаянии он крутанул Володино кресло, сгреб пятерней его волосы, мокрые от пота.

Володя вдруг дернулся, открыл глаза.

— Поправки! — обрадованно заорал Новиков. — Чего уставился, баран, поправки давай!

Мутные глаза Володи прояснились. Он расправил плечи, потянулся, на его худом лице появилась улыбка, показавшаяся командиру идиотской.

— Так хорошо, — тихо проговорил Володя. — Так не давит... не крутит... Надо было сразу боком...

Новиков притянул его голову вплотную к своей.

— Давай, милый, — лихорадочно шептал он. — Поправки давай.

И снова командиру показалось, что они сошли с ума.

Из дальних времен парусного флота перешло в космонавтику железное правило: при живом капитане рулем не командуют. А эти двое командовали. Они колдовали над блоком программирования, вводили поправки. Они вели корабль, а он, командир, смотрел на них, ничего не понимая и все острее ощущая свою ненужность...

Время шло. Космотанкер, все еще разгоняясь, описывал выходную кривую, которая, как опасался командир, могла оказаться безвыходной. Опасались ли этого те двое? Похоже, им было безразлично. Теперь они не суетились у пульта. Откинувшись в креслах, они спали. Володя то и дело ворочался, как будто пытаясь забраться на сиденье с ногами, сжаться в комок. Обхватывал голову руками, стонал. Новиков лежал безжизненно, уронив лобастую голову на грудь.

Да, они спали.

Командир понял, что будить их бессмысленно. Все стало сплошной бессмыслицей с тех пор, как по ушам ударил ревун. Он еще раз посмотрел на мнемосхему, по которой, удлиняясь неприметно для глаза, ползла красная кривая. Тупо подумал, что не эта вымышленная кривая, а та, истинная, по которой шел корабль, могла в любой момент оборваться грохочущей гибелью. Он сам удивился безразличию, с которым об этом подумал. Перенапряжение брало свое. Командир закрыл глаза.

4

Чудеса начались с того, что Володя Заостровцев опоздал на рейсовый корабль. Ждать его, понятно, не стали, хотя Новиков убедительно взывал к руководителю практики. Рейсовый ушел на Луну по расписанию, увозя всю группу практикантов, а Володя остался на Земле. Растерянный и виноватый, он более суток околачивался на космодроме, надоедал

диспетчерам и перегружал запросами киберинформаторы, пока его не подобрал Резницкий.

Биофизика Резницкого он немного знал по спецсеминару и его напумевшей статье в последнем номере «Человека и космоса» — «К вопросу об особенностях математической статистики кода телепатического комплекса в условиях поворотных ускорений».

Резницкий вез на Луну внеплановым рейсом десятка полтора ящиков, исписанных устрашающими надписями. Володя прилип к нему, как вакуумный пластырь к метеоритной пробоине, и Резницкому, крайне не любившему беспорядка, не удалось от него отделаться.

Они сидели вдвоем в тесной пассажирской кабине грузовлета. Когда окончился разгон и включили искусственную тяжесть, Резницкий пошел в грузовой отсек. Он долго, придирчиво проверял и подтягивал крепления ящиков. Володя молча помогал ему.

— Почему вы опоздали на свой рейс? — сухо спросил Резницкий. — Вы что — не имели информации о времени отхода?

— Часы у меня отстали, Сергей Сергееч, — жалобно сказал Володя, стихийно применив уловку, которая считалась устаревшей еще в XX веке, когда в часах применялись пружинные двигатели.

Врать было противно, но правду Володя сказать не мог: все равно никто и никогда не поверил бы ему...

Вчера ранним утром он шел к северным воротам космопорта, шел не по дороге, как остальные практиканты, а напрямик, по тропинке. В свежем предрассветном воздухе травы пахли по-ночному отчетливо. Володе казалось, что он чувствует запах каждой травинки, каждого полевого цветка в отдельности. Какая-то особенная острота восприятий... Вдруг он остановился. Ничто не преграждало ему пути, а шагнуть вперед он не мог. Машинально, еще не отдавая себе отчета, он свернул и запагал по росистой траве, мягко шелестевшей под ногами. Он как бы искал проход в невидимой, неосязаемой стене. Прохода не было, он чувствовал это. С ним творилось что-то непонятное. Он забыл о времени, забыл обо всем — его будто выключили. Он вернулся к тропинке и убедился опять, что не может идти по ней вперед. Снова пошел вдоль невидимой преграды. И только когда drog-

нула земля и над космопортом, опираясь на клубящийся черный дым, поднялся корабль, только тогда Володя пришел в себя. Он с легкостью перешагнул «преграду» и пустился бежать, хотя прекрасно понимал, что теперь спешить бессмысленно. С удивлением он обнаружил, что бродил по полю больше часа...

Резницкий хмыкнул. Молча повытаскивал из кармапов катушки пленки, аккуратно расставил перед собой на выдвижном столике и, прищурившись, стал разглядывать их на свет по очереди.

— У меня есть проектор, — сказал Володя.

Он отдал проектор Резницкому, а потом, немного помедлив, вытащил анализатор. Собственно, это еще не был заветный Анализатор Любви. Но это уже была и не та светящаяся игрушка, которая так озадачила Тосю. Целый месяц после того памятного свидания они с Новиковым все свободное время возились с анализатором. Толку от прибора пока не было никакого. Новиков вообще не верил в это дело. Он помогал другу только из «сугубо кибернетической любознательности». А Володя был упрям. Он твердо знал, что анализ любви — дело не менее сложное, чем сама любовь.

Задумчиво разложил он перед собой панели с микромодулями и, вооружившись тестером, погрузился в хитросплетения схемы. Он забыл обо всем — о постыдном опоздании, за которое еще предстоит держать ответ на Луне, о коварстве — этом рудиментарном спутнике любви, и о Резницком тоже.

А между тем Резницкий уже шесть минут пристально наблюдал за ним.

— Насколько я помню, — раздался его высокий голос — Володя вздрогнул от неожиданности, — насколько я помню, вы не очень усердствовали на моем семинаре. С чего это вас повело на бионику? — Он пригляделся к пестрой мозаике микромодулей. — Да еще, насколько я понимаю, на нейросвязи высшего порядка?

— Видите ли... — Голос у Володи отсырел, пришлось прокашляться. — Нам с товарищем пришла в голову мысль откровенно... э-э... одного частного случая биоинформации...

Резницкий подождал немного, не последует ли более вразумительного объяснения, потом спросил:

— Вы как будто стажируетесь на бортинженера? Так, так. А товарищ ваш кто — биофизик?

— Нет, он штурман-кибернетик.

У Резницкого в уголках губ прорезались ехидные складочки.

— А третьего у вас нет — скажем, парикмахера?

Володя посмотрел на него, медленно, обиженно моргая. Резницкий ткнул длинным пальцем в середину панели:

— Совмещаете биоизлучения двух особей?

— Почти так, — тихо ответил Володя. — Это узел совмещения настроений.

Резницкий откинулся на спинку кресла и нежно погладил себя по щеке, как бы проверяя качество бритья.

— Ну вот что, Заостровцев. Расскажите все по порядку.

Володя заколебался было. Но Резницкий так и излучал спокойную заинтересованность сведущего человека. И Володя начал рассказывать, опуская, впрочем, детали личного свойства.

В предплюзовом вестибюле было двое: Севостьян, который должен был встретить и дезинфицировать внерейсовый корабль, и Алексей Новиков, встречавший Володю. Кроме них, тут крутились две симпатичные дворняги — Диана и Спутник. Их завез на Луну кто-то из космонавтов и, будучи пламенным почитателем Жюль Верна, дал им клички собак Мишеля Ардана. Собаки оживленно бегали по вестибюлю, обнюхивали герметичные стыки плюзовых дверей.

— Ньюхают, — говорил Севостьян. — Им радио не нужно. Они без радио знают, что Резницкий прилетит. Такой серьезный человек, а любит эту нечисть. Я ему докладываю: блохи от собак. А он мне: блох, дескать, давно вывели. Объясняю: у собак блохи сами собой заводятся, а он смеется...

Вскоре после прибытия пассажиры внерейсового — Резницкий и Заостровцев — появились в вестибюле. Новиков тут же отвел Володю в сторону:

— Что случилось? Ты ведь шел с нами, а потом куда-то исчез.

— Потом расскажу, — ответил Володя, — если сумею.

— Ладно. Ты скажешь Платон Ивановичу вот что...

Тем временем собаки бурно прыгали возле Резницкого. Биофизик потрепал их за уши, а потом преподнес по большому куску колбасы.

— Вот вам еще один феномен,— сказал он, остро взглянув на Володю. — На Земле собаки чувствуют хозяина на большом расстоянии, более того — они точно знают время его прихода. Ну, это общеизвестно. Новейшая теория телеодорации, гипотеза Арлетти — Смирнова... Но объясните мне такое: уже который раз я прилетаю сюда — заметьте, не в определенное время,— а собаки задолго до прилунения занимают здесь выжидательную позицию. Ждут не то меня, не то колбасу — не знаю, у меня еще нет достаточной информации.

— Запах, — несмело сказал Володя. — Телеодорация эта самая...

Резницкий быстро замахал на Володю руками, будто отгоняя пчелу.

— Да бросьте вы эти словечки! Теленатия, телеодорация и прочие явления дальней биологической связи — всего лишь частные случаи. Все это жалкие обрывки того мощного канала информации, которым, очевидно, неплохо умеют пользоваться Диана и Спутник.

Володя чувствовал себя бесконечно усталым — не от полета, а от разговора с биофизиком во время рейса. У него даже затылок болел. Тут на выручку подоспел Новиков.

— Извините, Сергей Сергеевич, — сказал он. — Заостровцеву надо срочно к руководителю практики.

Тут и Резницкий спохватился:

— Ай-яй, как бы на транспортере мою аппаратуру не перекантовали! — Он побежал к грузовым лифтам, на ходу обернулся, крикнул: — Вечером загляните ко мне в девятнадцатую!

Володя, запинаясь, изложил руководителю практики вполне правдоподобную версию относительно своего опоздания, придуманную Новиковым.

— Жаль, жаль, Заостровцев, — пробасил руководитель, не глядя на Володю и водя пальцем по списку практикантов. — Были вы у меня на хорошем счету. Хотел я вас включить в танкерный рейс к Юпитеру, а теперь, само собой, придется заменить... — И он, водя пальцем по списку, забормotal: — Заремба, Зимников, Зикмунд...

Володя, ошеломленно моргая, смотрел на ползущий по списку палец, в котором, казалось, сосредоточились все беды последнего времени — коварство Тоси, неудача с анализато-

ром, странное происшествие по дороге в космопорт, биофизическое невежество, выявленное Резницким...

— Платон Иванович, — осторожно напомнил Новиков, — мы с Заостровцевым тренировались в паре, хорошо сработались...

— Верно, — согласился руководитель. — А я и вас заменю. — Палец его устремился вниз по списку. — Новоскольцев, Нордман...

Тут они взмолились оба — Заостровцев и Новиков. Перебивая друг друга, они ссылались на достижения своих вестибуляторных аппаратов, на качество психотехнических тестов и даже на поперечное сечение мышц. Они зывали к человеколюбивую руководителю. И руководитель сдался. Он покачал массивной головой и убрал палец со списка.

— Ладно, — прогудел он. — Разыщите Радия Петровича Шевелева, командира космотанкера «Апшерон», поступайте в его распоряжение. Рейс будет зачетным. — Он сунул список в карман, грозно добавил: — И учтите: то, что вам сходило у меня, у Шевелева не сойдет.

Вечером они протиснулись в тесную каютку Резницкого.

— Очень рад, — сказал биофизик. — Вы сумеете поместиться на этом сиденье? Ну и прекрасно. — Он спрятал в ящик стола катушки пленки, а из другого ящика вынул пакет с бананами. — Угощайтесь.

— Володя говорит, вы осмелили наш анализатор, — сказал Новиков, быстро счищая с банана кожуру.

— Володя говорит неправильно, — ответил Резницкий. — Я не осмелял. Просто не вижу смысла в таком приборе. Ваша затея напоминает мне эпизод из одной книги. Жаль, нет ее под рукой. В общем один тип рисуется перед дамой, хочет показать образованность и, между прочим, заявляет: в коже у человека есть микроскопические железки с электрическими токами. Если вы встретитесь с особью, чьи токи параллельны вашим, то вот вам и любовь. Что-то в этом роде.

— Здорово! — Новиков засмеялся.

— А что за книга? — спросил Володя.

— Это у Чехова. В сущности, вы делаете то же самое — только кожно-гальванический рефлекс заменили современными микромодулями.

— А по-моему, — сказал Володя, — прибор все-таки не лишен смысла.

— Приборы, приборы... — Резницкий горько усмехнулся. — Человек, окружив себя куполом техносферы, все больше порывает с природой. Не потому ли природа не желает отдать ему те инстинктивные знания, которыми так щедро одарила низшие существа? Вернуть надо утраченные инстинкты, вот что скажу я вам.

— Все-таки, — возразил Володя, — странно вы говорите, Сергей Сергееч. Без этой самой техносферы человек беззащитен перед природой. Ваш возврат к природе — это что же... конец цивилизации?

Резницкий поморщился.

— Только не надо меня пугать, — мягко попросил он. — Договоримся сразу, что цивилизация — процесс необратимый. Я говорю всего лишь об одном из ее направлений. Благоустроявая планету, создавая наилучшие условия для духовной и физической жизни, человечество не заботилось и не заботится о сохранении некоторых инстинктов. Чрезвычайно важных инстинктов. Мы перестаем доверять самим себе. К чему, когда есть приборы? — Резницкий навел на Володю обличительный палец. — Да что далеко ходить? Вот вы затеяли приборчик, которому хотите передоверить одну из величайших человеческих эмоций. Вы хотите взвесить, измерить и препарировать саму любовь!

Он даже задохнулся от негодования.

— Может, вы и правы, Сергей Сергееч, но ведь человеческий мозг в роли анализатора эмоций не очень-то надежная штука. Сколько ошибок, сколько несчастий...

— Да пусть ошибаются! — вскричал Резницкий. — Оставьте роду человеческому хоть это! Что это, к дьяволу, за жизнь без единой ошибки, вроде ответа первого ученика! Вы докатитесь до того, что предоставите приборам определять, где добро и где зло. Без позволения прибора вы пальцем не пошевелите для спасения погибающего!

— Ну, это уж слишком, Сергей Сергееч, — сказал Новиков.

— Пожалуй, — согласился Резницкий. — Я сознательно преувеличиваю, чтобы вы поняли, к чему можно прийти, если не спохватиться вовремя.

Он потянулся к панели над столом, ткнул пальцем в одну кнопку, в другую — засветился экран, на нем возник безрадостный лунный ландшафт. Потом на экране поплыли кори-

дору и отсеки лунного городка — мастерские, обсерватория, пустой салон, по которому слонялся робот-пылесос, затем возник склад, забитый ящиками, и тут Резницкий остановил изображение.

Новиков невольно усмехнулся, глядя, как он манипулирует рукоятками и разглядывает ящики со всех сторон.

— Куда они задевали девятый? — бормотал Резницкий. — Тысячу раз им говорил... Ах, вот он!

— Сергей Сергеевич, — сказал Новиков, когда биофизик выключил экран. — Ну хорошо, человечество что-то там потеряло по дороге. Скажем, умение находить след по запаху. Но зато оно приобрело кучу новых инстинктов.

Теперь палец Резницкого устремился на Новикова.

— Правильно! Управление механизмами стало почти инстинктивным. Мы, не задумываясь, оперируем кнопками и педалями, которые стали продолжением наших рук и ног. Отлично! Но мы расплачиваемся за это потерей полезных природных инстинктов. Вот вы упомянули запах. Мы с вами различаем только самые резкие, сильные запахи. А для собаки окружающий мир — это прежде всего запахи. Приходилось вам видеть, как заболевшая собака плетется в поле и безошибочно выбирает нужную лекарственную траву? Снабдите таким обонянием химика — как упростит это его работу, сколько приборов он выпшвырнет на свалку за ненужностью! Мы забыли про свои природные анализаторы, разучились ими пользоваться. Включать их и выключать по своему...

Резницкий внезапно оборвал тираду и посмотрел на Володю.

Володя сидел в странной позе — он сильно нагнулся, упер локти в колени и обхватил ладонями голову.

Резницкий взял его за руку, тихонько отвел ее от головы, нащупал пульс. Володя выпрямился, глубоко вздохнул. Увидев перед собой взволнованные лица, он слабо улыбнулся.

— Что с тобой? — сказал Новиков. — Переутомился, что ли?

— Не знаю... Да, наверно... — Володя покрутил головой и решительно встал. — Да ничего, все в порядке, — сказал он.

— Переволновался, — авторитетно заключил Алексей. — Ну, пошли спать.

— Надо еще место найти, — сказал Володя. — Сегодня все каюты забыты. Кончится когда-нибудь жилищный кризис на Луне?

— Вы, я слышал, летите с Шевелевым к Юпитеру? — спросил Резницкий.

— Да, танкерный рейсик, — небрежно ответил Новиков. — Зачетный. Сергей Сергееч, а что за ящики у вас?

— Для экспедиции Чернышева. Аппаратура для исследования биосферы населенных планет. Если таковые окажутся.

— Первая Звездная, — со вздохом сказал Володя. — Завидую вам, Сергей Сергееч.

— Можете не завидовать, я не лечу, — сухо сказал Резницкий. — Земные дела как гири на ногах.

— Чернышеву завидую, — медленно сказал Новиков.

— Земные дела... — повторил Резницкий. — Кстати, он только недавно женился, Федя Чернышев.

— Знаю, — сказал Новиков. — Пошли, Володя. Покойной ночи, Сергей Сергееч.

Они молча шли по коридору, думая каждый о своем. Тут по всему городку разлился пронзительный звон. Щелкнуло в динамиках общего оповещения. Раскатистый голос возвестил:

— Внимание! Выход на поверхность запрещен! Всем р-работающим на поверхности — срочно в помещения! Солнечная хромосферная вспышка, восемь минут, готовность ноль! Повторяю, всем р-работающим на поверхности...

Динамики грохотали, многократно отражаясь от коридорных стен. Зашипели двери шлюзовых камер. Гул голосов, быстрый топот ног...

Володя остановился, схватил Новикова за локоть.

— Ну что? — спросил тот. — Долго будешь стоять?

Володя молча двинулся дальше, но теперь Новиков остановил его:

— Ты какой-то растерянный. Что с тобой происходит?

— Не знаю, — сказал Володя. — Да нет, ничего.

На этот раз условное лунное утро совпало с земным. Успокоившееся Солнце желтым диском стояло в черном небе. Спокойно горели крупные звезды. Белый выпел на мачте

противометеоритной службы обещал на ближайшие двое «суток» полную безопасность.

Радий Петрович Шевелев вышел из главного шлюза со своим экипажем — Новиковым и Заостровцевым. Решили пешком пройти «по хорошей погоде» до космодрома, чтобы там начать подготовку танкера к рейсу.

Новиков скорее плыл, чем шел: отталкивался от поздравитой лунной почвы, плавно перелетал через какой-нибудь камень, мягко опускался, снова отталкивался.

Володя передвигался мелкими скачками. Мысли его были невеселыми. То, что случилось с ним по дороге в космопорт, и вчерашнее происшествие пугали его. Странно: сидел у Резницкого, нормально разговаривал — и вдруг накатилось что-то, сдавило горло. Какое-то нервное расстройство, а теперь еще и страх... Страх перед непонятым в самом себе... К врачу — нельзя. Сразу отставят от полетов. Рассказать Алеше? Но тут и слов не найдешь, чтобы объяснить...

А вокруг шла будничная жизнь. Из шлюза хозяйственного отсека повар выволок огромный бак, поднял его без особых усилий и поставил под прозрачный антирадиационный навес. Это придумал кто-то из селенитов, как называли себя жители городка: варить компот в вакууме на раскаленной лунной почве. Вакуумный компот был на редкость вкусен, и, пока шел двухнедельный лунный день, его варили неукоснительно.

Вдоль склона кратера Эратосфена полз тяжелый вездеход с буровой вышкой: где-то собирались бурить на воду.

Вздымая пыльные вихри, прошла колонна оранжевых трейлеров международной стройки. Они везли оборудование на строительство экваториальных шахт. Полторы сотни наклонных колодцев должны были в не очень отдаленном будущем принять термоядерные заряды. Тогда люди на время покинут Луну. Беззвучно грохнет залп из полутораста шахтных стволов, разгоняя вращение Луны, чтобы уравнивать земные и лунные сутки и уменьшить резкие перепады температуры поверхности, доходящие до трехсот градусов. Лунный климат станет мягче...

Пешеходов обогнала машина с белой полосой на борту. Из люка высунулся человек, присмотрелся к опознавательному номеру на скафандре Шевелева и крикнул так, что в шлемофонах задребезжало:

— Доброе утро, учитель! Что — молодых выводите?

Это был Федор Чернышев, командир Первой Звездной.

Он остановил вездеход. За щитком гермошлема его широкое, бровастое лицо расплылось в улыбке. Улыбка была не простая, многослойная: было в ней и почтение к учителю, и невольный оттенок торжества («обогнал я вас, Радий Петрович»), и нечто покровительственно-дружелюбное, адресованное молодым.

— Залезайте, места хватит, — сказал командир Первой Звездной.

Молодые протиснулись на задние сиденья, а Радий Петрович уселся рядом с Чернышевым.

— Ну-ну, — усмехнулся Шевелев, — посмотрим, как ты баранку крутишь.

— Баранку? — удивился Чернышев, трогая вездеход с места.

— Был когда-то такой прибор управления... Взял бы ты меня, Федя, с собой. Ну хоть этим... от тамошнего населения имущество сторожить.

Чернышев улыбнулся смущенно.

— Что поделаешь, Радий Петрович. Клянусь кольцами Сатурна, не хотел я лезть в пекло поперед батьки, да так уж Совет решил.

— При прочих равных, — тягучим голосом сказал Шевелев, явно подражая кому-то, — Совет отдает предпочтение младшему. Ладно, лети, — оборвал он самого себя. — Я, по правде, в СВП не очень-то. Мудреная система, не для меня.

— Ох, скажу я вам, Радий Петрович, СВП — это... слов не найду. Сказка!

— Синхронизатор Времени — Пространства, — задумчиво произнес Радий Петрович. — Для женатых, конечно, хорошо: быстро обернешься туда-обратно.

Возле космотанкера Чернышев высадил пассажиров, помахал рукой и повел вездеход дальше — туда, где на недалеком лунном горизонте высился гигантский конус СВП.

Радий Петрович обвел взглядом свой экипаж.

— Так вот, — сказал он другим, служебным голосом. — Перед вами космотанкер «Апшерон» системы Т-2, четвертой серии. Специфика: наличие наружных контейнерных поясов, предназначенных...

— Мы проходили Т-2, — сказал Новиков, глядя на далекий корабль Чернышева.

— Иначе бы вы не находились здесь, — отрезал Шевелев. — Прошу не перебивать. Назначение контейнерных поясов...

5

Радий Петрович шевельнулся в кресле и, еще окончательно не очнувшись от забытья, понял, что перегрузка кончилась и автомат включил искусственную тяжесть. И еще каким-то особым командирским чутьем он догадался, что все на корабле в порядке.

Приборы работали.

Рядом с красной программной кривой на мнемосхеме появилась золотистая фактическая. Они шли рядом, переплетаясь.

Да не приснилось ли ему то, что было? Нет, не приснилось: кривая истинного курса шла не от старта. Она появилась недавно. Возмущение Ю-поля «отпустило» приборы, и теперь корабль ориентировался в Пространстве. Все в порядке.

Он посмотрел на молодых. Они спали.

Радий Петрович привык смотреть на молодых людей с точки зрения их пригодности к космонавтанию. Полагал, что нажимать кнопки, побуждая автоматы к действию, сумеет каждый. Потому и ценил превыше всего в молодых космонавтах спокойствие, собранность и — в глубине души — физическую силу и статью.

Эти двое там, на Луне, не очень ему понравились. Внешность у Новикова, верно, была не плоха; однако парень показался ему излишне бойким и несколько дерзостным в разговоре. Заостровцев тоже был не хлипок сложением, во взгляде пришибленным, неуклюжим. Не нравились Шевелеву его растерянные глаза.

Теперь, после того, что случилось, он смотрел на них по-другому. На своем межпланетном веку Радио Петровичу доводилось видеть немало всякой невидальщины. Никогда не забыть ему ревущих призраков Нептуна; там, в пустоте, где никакого звука быть не может, от этого раздражающего

рева сдавали нервы у самых закаленных разведчиков Космоса. Помнил он дикую гонку: корабль уходил от неожиданного потока сверхбыстрых метеоритов на таком режиме, что температура плазмы превысила критическую и просто каким-то чудом не произошла катастрофа. Помнил нападение металлических бактерий на корабль у берегов свинцового озера в Стране Персефоны на Меркурии. Да мало ли что могло приключиться за полтора десятка лет с человеком в Космосе!

Но чтобы человек без прибора сориентировался в Пространстве — такого не было. Такого не могло быть.

Радий Петрович подошел к спящему Заостровцеву, всмотрелся в его лицо. Обыкновенное лицо — худощавое, небритое. Что за непонятная, нечеловеческая сила в этом неуклюжем парне?

Он перевел взгляд на Новикова. Крутой лоб, четкий рисунок подбородка — с виду этому больше пристало бы... что?.. Творить чудеса?

Разбудить их, расспросить толком... Странная, непривычная робость овладела командиром.

Радий Петрович провел ладонью по щеке, затем, повинаясь мгновенному импульсу, прошел в туалетную и уткнул лицо в эластичную подкову биовибратора. Бритье, массаж освежили его. Он вернулся к пультам и услышал хорошо знакомое трезвучие радиовызова и вслед за ним низкий неспокойный голос женщины: «Танкер «Апшерон»! Танкер «Апшерон»! Здесь ССМП. Почему не отвечает Луне-два? Луна-два вас не слышит. Танкер «Апшерон»!..»

Вот как, дело уже дошло до Службы Состояния Межпланетного Пространства! Видно, связисты Луны отчаялись отыскать их, забили тревогу и теперь за дело взялась самая мощная радиостанция Земли. Командир включил сигнал ответа, быстро заговорил:

— Земля, здесь — «Апшерон», вас слышу!

Через некоторое время зазвенел женский голос:

— Слышу! Командир Шевелев, вас слышу! Сообщите состояние экипажа!

Радий Петрович откашлялся. Надо покороче, не стоит пока вдаваться в подробности.

— Корабль и экипаж в порядке, — сказал он. — Контейнеры взять не удалось. Энерговспышка Красного Пятна...

И тут произошло нечто невообразимо-недопустимое: командиры толкнули в плечо, отжали от микрофонной сетки. Бортинженер Заостровцев взволнованно кричал в микрофон:

— Тося, это ты? Тося, ты меня слышишь?

В ответ посыпалась радостная скороговорка:

— Ой, Володя, я так беспокоилась, прямо не могу! Почему ты не... Ты меня слышишь, Володя?

Вот-вот, и в считанные минуты связи началось бы выяснение идиотского вопроса, кто кого как слышит. Но идиотский разговор не состоялся. На далекой Земле Тося услышала голос командира Шевелева:

— На место, Заостровцев! — И после короткой паузы: — Повторяю: непредвиденная энерговспышка уничтожила контейнерный поезд. Был вынужден стартовать до срока. Сообщите Луне — задержать отправку очередного танкера.

— Вас поняла, — ответила Тося. И неофициальным тоном добавила: — Радий Петрович, что все-таки случилось? Тут очень волнуются...

«Что все-таки случилось, — подумал командир. — Хотел бы я знать, что все-таки случилось...» Он сказал:

— Корабль длительное время находился в сложных условиях... в условиях отсутствия ориентации. Подробнее сейчас не могу.

Радий Петрович выключился. Он посмотрел на бортинженера взглядом, не предвещающим ничего хорошего.

— Вы, Заостровцев, — начал он тоном, соответствующим взгляду. И вдруг, неожиданно для самого себя, закончил: — Вы, кажется, о чем-то хотели поговорить с оператором ССМП? — И повернулся в кресле, уступая место Володе.

Теперь, когда «Апшерон», ведомый автопеленгатором, шел по нормальной трассе, молчание стало невыносимым. Командир молчал, потому что не знал, как начать разговор об этом, говорить же о другом было просто невозможно. Новиков молчал... Кто его знает, почему молчал Новиков? Он щелкал клавишами, задавая вычислителю ненужные задачи. Откинул зачем-то крышку блока программирования и разглядывал его пестрые потроха. Он был необычно суетлив и явно не находил себе занятия.

Володя Заостровцев молчал, потому что в человеческом

словаре не было слов, которые могли бы выразить то, что с ним произошло. Но в то же время он понимал, что от него ждут каких-то объяснений. Он перебирал в памяти события последних недель, но спать одно с другим не удавалось. Сплошная стохастика... Пестрая вереница обрывочных картин, и среди них — тьфу, пропасть! — ярче всего лунные псы Диана и Слутник, прыгающие вокруг Резницкого. И еще, как бы со стороны, он видел самого себя на зеленой тропинке — той тропинке, где он беспомощно топтался, не в силах перешагнуть... что перешагнуть?..

«Положение хуже собачьего, — подумал он с отвращением. — Та понимает, только сказать не может. А я — ни понять, ни сказать...»

Новиков ожесточенно поскреб затылок и прервал затянувшееся молчание:

— Я знал одного парня, он помнил наизусть первые пять листов девятизначной таблицы логарифмов.

— К чему вы это? — сказал командир и, не дожидаясь ответа, обратился к Володе: — Как вы сориентировались, Заостровцев?

Володя ответил не сразу. Он медленно шевелил пальцами, и Радий Петрович с интересом смотрел на эти пальцы, будто ожидая от них чего-то.

— Ну вот, — неуверенно начал Володя. — Знаете, бывает, что идешь в темноте... и вдруг чувствуешь, что впереди, очень близко, стена... Что-то срабатывает внутри — и останавливаешься...

— Иногда расшибаешь лоб, — вставил Новиков.

Командир махнул на него рукой.

— Дальше, Заостровцев, — попросил он.

— Стены... — Володя говорил словно в полусне. — Только не прямые... и движутся... Давят... душат... А я ищу, где проход. Сам не знаю, как...

— Ну и ну, — сказал командир. — Если бы сам не видел, ни за что бы не поверил. Откуда у вас такое... чутье?

— Действительно, — сказал Новиков. — Вроде рыбы в электрическом поле. Или птицы в магнитном.

Володя испуганно уставился на него:

— Ты... на самом деле думаешь, что у меня развилось это... рыбе или птичке?

Новиков пожал плечами.

В обсуждении рейса участвовали космонавигаторы, астрофизики и специалисты по приборам. Ввиду того что район Юпитера, ранее относившийся к шестой категории, проявил непредусмотренную опасную активность, было решено перечислить его в восьмую категорию, а также оборудовать Ио, Каллисто и Ганимед новейшими регистрирующими приборами высокой защиты и начать дополнительные исследовательские работы. Кое-кто высказался за разработку системы беспилотных рейсов к Юпитеру непосредственно с Луны.

Решение было обстоятельное. Лишь одного не хватало в нем — анализа бесприборной космонавигации, осуществленной практикантом Заостровцевым В. М. в условиях суммарных полей высокой напряженности. Так следовало бы записать это.

Это не было записано по той простой причине, что командир «Апшерона» умолчал о случившемся.

Незадолго до посадки Володя попросил его ничего никому не рассказывать. «Почему?» — удивился командир. «Я бы хотел сначала во всем разобраться сам», — сказал Володя. Командир подумал, что Володя имеет на это полное право. «Хорошо, — сказал он. — Но если вам потребуется засвидетельствовать, что произошло, я охотно это сделаю».

— Временно вышли из строя внешние датчики приборов, — коротко доложил Радий Петрович на обсуждении. — Выбрались чисто случайно. Должен особо отметить выдержку и хорошую профессиональную подготовку практикантов Заостровцева и Новикова.

Подробностей у него не выпытывали. Давно прошли времена, когда в подобных случаях назначались комиссии, проводились дотошные расследования, составлялись пухлые акты. Давно уже медицина научно обосновала недопустимость лишних расспросов людей, нервная система которых подверглась угнетающему воздействию, — тем более это относилось к межпланетникам, возвращающимся из тяжелых рейсов. Достаточно того, что они сочтут нужным доложить.

Правда, кое-кто был удивлен. Командира Шевелева знали как человека крайне скупого на положительные характе-

ристики. Не помнили случая, чтобы он в такой превосходной степени отрекомендовал необлетанных новичков.

Новикову и Заостровцеву было объявлено, что рейс зачтен и отныне они допущены к космоплаванию в пределах Системы. Сам Платон Иванович привинтил к их курткам значки космонавтов.

— Ох, и тряхануло нас возле Юшика, — рассказывал Новиков в салоне, потягивая терпкий пахучий витакол. — Ду-мал, прощай, дорогая!

И практиканты, ещё не сдавшие зачетных рейсов, слушали его со вниманием. Они завидовали его удачливости и дерзкой фамильярности, с которой он отзывался о Юпитере.

Пассажиры высыпали из рейсового и направились к вертолетной стоянке. Хорошо было дышать не спецсмесью из дыхательного аппарата, а чистым земным воздухом. Хорошо было идти не по изрезанной трещинами лунной почве, а по зеленой траве, по земле, по Земле.

У вертолета Радий Петрович крепко пожал руки Заостровцеву и Новикову. Здесь, в обычной куртке, без скафандра, командир «Апшерона» выглядел очень земным, быть может, чуточку постаревшим.

— Запишите номер моего видеофона, ребята, — сказал он. — Буду рад вас видеть.

Володя сел в вертолет с Новиковым и Резницким. Не успела, однако, машина взлететь, как он попросил Новикова приземлиться.

— Что еще за причуда? — проворчал Новиков. — Что ты там потерял?

— Ну, на минуточку, — сказал Володя. — Видишь справа тропинку? Вот там.

Резницкий и Новиков были единственными людьми, которым он рассказал обо всем, в том числе и об этой тропинке. И теперь они поняли Володю.

Вертолет сел. Володя пошел по тропинке — вначале быстро, а потом все более замедляя шаг. Новиков и Резницкий молча следовали за ним.

Впереди было разрыто. Поперек тропинки, вправо и влево от нее желтели кучи вынутого грунта. Подошли к траншее,

заглянули в нее. Там копошились, выбрасывая песок, землеройные кроты-автоматы.

— Энергонный кабель, — тихо сказал Резницкий. — Наверно, будут ремонтировать. Или укладывать новый.

Володя обернулся к нему, посмотрел широко раскрытыми глазами.

— Энергонный кабель, — сказал он. И вдруг засмеялся.

Каждое утро Новиков тащил Володю к морю. Они плавали, прыгали в воду на пристежных крыльях, ходили под парусом.

Но с каждым днем Новикову приходилось все труднее. Володя упирался, ни за что не желал покидать свою комнату.

Он чувствовал, как обострилось в нем то, непонятное. Казалось, что кабели, провода, беспроводные линии энергопередач — все, что густо оплетает человеческое жилье, — кричало ему в ухо, в мозг: «Я здесь!.. Мы здесь!..» Он вздрагивал, когда щелкали обыкновенным выключателем. Невинная магнитная подвеска для мыла била по нервам. Проходя по улицам городка, по парку, он вдруг начинал ощущать каменную тяжесть в ногах — будто его притягивали подземные ступки металлических руд. Или неожиданно являлось ощущение текучей воды...

Ему было страшно. Страшно от сознания, что он перестал быть нормальным. Он читал — еще в детстве, — что были когда-то, в средние века, ведуны, рудознатцы, искатели воды. Их услугами пользовались, но жизнь они кончали в тюрьмах и на кострах. Было ли у них то же, что теперь возникло у него? Ах, если бы кто-нибудь из них поднялся из глубины веков, чтобы можно было его расспросить...

Он сторонился людей. Наотрез отказался от встреч с Резницким: знал, что тот потащит его на исследование, душу вымочит учеными разговорами...

Тося? Она много раз вызывала его по видеофону. Он не отвечал на вызовы. Зачем он ей нужен такой... ненормальный... Она может только пожалеть. А сама испытает... гадливость, брезгливость? Нет, не то. Ну, испытает неприятное чувство, какое порождает отклонение от нормы. Шестопя-

лость, например... Человеку не полагается быть ведуном, ясновидцем.

Он не хотел ее жалости.

Остаться одному. Совершенно одному...

Бежать? Уйти от людей?

Да, остается только это...

7

В этот день районная метеослужба по просьбе любителей старинного спорта проводила грибной дождь. Лес, примыкавший к городку, был невелик, и поэтому дождь краешком прихватывал корпуса Учебного центра. Цветные фрески из истории завоевания Космоса на стенах домов посуровели и резко обозначились под дождем. Мальчишки, радостно гогоча, бегали босиком по теплым лужам.

Новиков с завистью смотрел на них из окна своей комнаты. «Может, с ними? — думал он. — Нет, неудобно все-таки. Кто-нибудь увидит из окна, скажет: «А еще космонавт!» Какой-нибудь педант типа Резницкого». Он со вздохом отошел от окна, сорвал со стены гитару и повалился в качалку. Пальцы ударили по струнам, и Новиков в полный голос запел песню тех недавних времен, когда не было не только кораблей СВП, но и фотонных:

Оборотный воздух для дыхания,
Для питья — возвратная вода,
И хлорелла — чертово создание —
Наша межпланетная еда!

От яростных аккордов дребезжали стекла. Новиков заорал припев:

Хлорелла, хлорелла, хлорелла,
Куда мне уйти от тебя?..

Тут он умолк: в открытых дверях стоял Резницкий. Штаны биофизика были засучены до колен, туфли он держал в руке.

— Прекрасный дождь, — сказал Резницкий высоким голосом. — Ничего, если я у вас немножко наслежу?

— Да сколько угодно! — Новиков сорвался с места. — Садитесь в качалку, Сергей Сергееч!

Резницкий оглядел стены, размашисто расписанные древними знаками зодиака.

— У вас очень мило, — сказал он. — А я, знаете, с удовольствием прошелся босиком. Древний инстинкт человека...

«Инстинкты, инстинкты, инстинкты», — мысленно пропел Новиков на мотив «Хлореллы».

— Вот что, Алексей, — заговорил Резницкий, прилепывая босыми ногами по натекшим лужицам. — Я считаю, что ваш друг достаточно отдохнул. Пора взяться за работу.

— За какую работу?

— Его состояние требует серьезного исследования.

— Вряд ли он согласится.

— Почему? — удивился Резницкий.

— Тяготит его эта история, Сергей Сергееч. Знаете, что он мне сказал? Хочу, говорит, быть нормальным человеком, а не ведуном каким-то... Приемником информации...

Резницкий схватился за голову, закричал:

— Как он не понимает! То, что с ним происходит, это и есть истинно человеческое!

— Попробуйте объяснить ему, — хмуро сказал Новиков.

— И объясню. Мы без конца исследуем ориентационные способности животных, ломаем себе голову над бионическим моделированием, обрастаем горами приборов — один сложнее другого. И мы забыли, черт побери, что мы тоже живые! Человек не рождается с термометром под мышкой. Термометр находится в нем самом, как и многое другое. Приходилось вам видеть змею?

— Змею? — ошалело переспросил Новиков.

— Да, змею — ту самую, которая в древности была символом мудрости. Так вот, змея ощущает изменение температуры на одну тысячную градуса, это известно давным-давно. Есть бабочки, которые воспринимают одну молекулу пахучего вещества на кубометр воздуха. Одну молекулу! Но человек был всем — и рыбой и птицей, и он сейчас проходит все эти стадии в эмбриональном развитии. А родившись, немедленно хватается за приборы...

— Позвольте, Сергей Сергееч...

— Не позволю! — Резницкий угрожающе помахал мокрой туфлей. — Мы носим в себе великолепный природный аппа-

рат для восприятия широчайшей информации об окружающем мире — и сами же глушим его, ибо то, чем не пользуемся, атрофируется...

У него не хватило дыхания. Новиков немедленно воспользовался паузой:

— Разрешите мне все-таки сказать. Может, вы и правы насчет инстинктов. Но как понимать то, что творится с Володей? Истинно человеческое, вы говорите? Значит, по вашему мнению, у Заостровцева всего лишь пробудился инстинкт ориентации в пространстве, который дремлет у нас в подкорке? То, что изначально связывает человека с его предшественниками на Земле, со всякими там рыбами и змеями?

— Видите ли, Алеша, если взять суммарное воздействие магнитного и гравитационного полей...

— Не согласен! Простите, Сергей Сергеевич, я не согласен. Наденьте на птицу скафандр и забросьте ее в Космос. Ни черта не сориентируется она, скажем, в Ю-поле.

— Конечно, в условиях, не похожих на земные...

— Значит, инстинкт тут ни при чем! Здесь что-то новое. Качественно новое. — Новиков усмехнулся. — Вы провозглашаете анафему приборам, а ведь то, что случилось с Володей, — результат воздействия прибора. Надо уж признаться, Сергей Сергеевич. Прибор-то основан на схеме из вашей последней статьи...

— Я это заметил, — сказал Резницкий, задумчиво глядя на Новикова. — Из моей схемы и вашей отсебятины получился удивительный биогенератор. Как эта штука работает, я пока представляю себе весьма смутно. А вот результат налицо — Заостровцев.

— Почему же со мной ничего не произошло?

— Откуда я знаю? Очевидно, сказались индивидуальные особенности. Кроме того, я не уверен, что с вами завтра или через неделю не произойдет чего-нибудь экстраординарного.

— Вы так думаете? — Новиков обеспокоенно уставился на биофизика.

— Да не в этом дело. Необычайно важен сам факт... Трансцензус! — Резницкий вскочил, забегал по комнате. — Именно трансцензус! Переход границы, считавшийся недопустимым... Новый этап познания, качественный скачок в развитии человека. Ай-яй-яй! Вы не можете понять всей

грандиозности... впрочем, и я еще не могу охватить в полной мере...

— Нужно ли это, Сергей Сергееч?

Резницкий круто повернулся, стал перед Новиковым, недоуменно помигал.

— Что — нужно?

— Ну, этот ваш трансцензус. Все-таки удобнее и проще пользоваться приборами, чем...

— Да, да, понятно, — быстро сказал Резницкий. — Человек не вправе по собственному усмотрению менять самого себя — вы имеете в виду это? Тут мы, наверно, не найдем общего языка.

— Я имею в виду... Извините, Сергей Сергееч, я думаю сейчас не о человечестве. Я очень боюсь за Володю.

Биофизик опять зашагал по комнате.

— В одном я уверен, — сказал он после долгого молчания: — емкость человеческого мозга вместит такой поток информации.

Он сказал это твердо, но вид у него был немного растерянный — так по крайней мере показалось Новикову.

— Идемте к нему. — Резницкий направился к двери.

— Погодите, Сергей Сергееч. По-моему, вам надо обуться.

— Ах да, — сказал биофизик.

Они спустились этажом ниже. Володи дома не оказалось. Они засели в его комнате и взялись за видеофон. Они обзвонили библиотеки, лаборатории и вообще все места, где мог находиться Володя. И отовсюду отвечали: «Нет, не был».

— А может, он у той девушки, — начал Резницкий, — из-за которой...

— Исключено, — сказал Новиков. — Впрочем, на всякий случай.

На экране появилась верхняя половина Тосиного лица — видно, она вплотную подошла к аппарату.

— Не был, — сказала она.

Экран сразу потух.

Они просидели до поздней ночи. Беспокойство перешло в тревогу.

— Что-то они сегодня затянули дождь, — сказала Тося.

— Что? — спросил Володя.

Она пристально посмотрела на его каменное лицо.

— Мне кажется, ты все время к чему-то прислушиваешься. И совсем не слышишь меня.

— Да нет, я слышу. Ты сказала про дождь...

Тося прошла по беседке, в которую их загнал ливень. Подставила ладонь струйке, стекавшей с крыши.

— Володя, почему ты избегаешь меня? Я ужасно волновалась, когда вы там, у Юпитера, молчали так долго.

Володя не ответил.

— Конечно, если ты больше веришь тому дурацкому прибору... — В ее низком голосе прозвучала обида. — Мало ли что я думаю, я вообще очень быстро думаю, если вчера было одно, то сегодня другое... Вообще, по-моему, ты от этого прибора сам не свой. Слышишь, что я говорю?

Володя вскинул на нее глаза. Лицо его ожило.

— Тося, — сказал он тихо, — ты сама не знаешь, как ты права. Так оно и есть, я сам не свой.

Тося быстро под села к нему, продела руку под его неподатливый локоть.

— Я должна все знать.

Это было новое в их отношениях. В ее голосе прозвучало такое, словно она заявляла на него, Володю, свое право. И еще в ее голосе была озабоченность, от которой ему вдруг стало легко. Он словно бы перешагнул мертвую точку, за которой осталось то, что затопляло мозг.

И он рассказал ей все.

Тося ни разу не перебила его. Даже когда он умолкал на долго. Он не смотрел ей в лицо, только чувствовал на щеке ее дыхание.

— Значит, ты можешь видеть... — она запнулась. — Видеть то, что не видят другие?

— Ты понимаешь, я не вижу. И не слышу. Только чувствую, что это у меня внутри... Вот здесь... и здесь... — Он указал на горло, на переносье. — Но чаще всего — где-то глубоко в мозгу. И я не могу от этого избавиться.

— В общем ты видишь... ты видишь остальное.

Некоторое время они молчали. Дождь барабанил по крыше беседки, остро пахло свежестью, мокрой листвой. Сверкнула молния, фиолетовый свет на мгновение заполнил беседку. Коротко проворчал гром. Тося ойкнула, прижалась теплым плечом.

«Вот так мне хорошо, — думал Володя. — Совсем хорошо...

Нет. Она просто меня жалеет. Она понимает, что я не как все... и жалеет. Сейчас она вскочит, поправит волосы и скажет, что сегодня бал у философов... И уйдет. Уйдет к н о р м а л ь н ы м людям».

— Все-таки ты какой-то ненормальный,— тихонько сказала она, и Володя вздрогнул. — Я так и не поняла, почему ты прятался от меня столько времени?

Он посмотрел на нее с надеждой и радостью.

— Я боялся прийти к тебе таким... Я боялся, что сойду с ума. Ты знаешь, я хотел бежать. Куда глаза глядят. На необитаемый остров. Где нет энергоизлучений, нет реакторов, нет людей... И к тебе я пришел... просто посмотреть на тебя...

В Тосиной сумочке тоненько запищал видеофонный вызов. Она нетерпеливым движением поднесла видеофон к лицу, нажала кнопку. Увидела озабоченное лицо Новикова.

— Извини, Тося,— сказал он.— Куда-то запропастился Володя. Он не был у тебя?

— Не был,— отрезала она и выключилась.— Володя,— сказала она, глядя на него в упор,— если ты хочешь на необитаемый остров, я, конечно, с тобой поеду. Только, по-моему, нам будет хорошо и здесь. Подожди! — она отвела его руки.— Ты говорил, что тебе не дают жить излучения. Но ведь они всюду. На необитаемом острове ты никуда не уйдешь от теллурических токов, от магнитного поля... да просто от грозы — вот как сейчас.

— Гроза? — изумился Володя.

— Ну да. У них всегда получается фаврид, когда выключают дождь.

— А ведь верно, была молния! — Володя выбежал из беседки и остановился на мокрой траве, раскинув руки.— Я ее видел, понимаешь, просто видел... Значит, это можно в себе... выключать?

Тося мигом очутилась рядом.

— Вот видишь,— сказала она.— Ты должен был сразу прийти ко мне.

«ОДНИМ МЕНЬШЕ»

Самосвал выехал из ворот базы и помчался по шоссе, разбрызгивая лужи. Пешеходы поспешно переходили на другую сторону тротуара, поближе к домам. А веселый шофер скалил желтые прокуренные зубы...

За спиной Виктора Николаевича глухо стукнула дверь парадного. Он сделал шесть медленных шагов, спустился на тротуар. Мимо, перепрыгнув сразу через три ступеньки, пробежал куда-то молодой лаборант. Виктор Николаевич улыбнулся мимолетной мысли. Когда-то и он, пожалуй, не замечал ступенек, ведущих к двери лаборатории. Тогда он принадлежал к числу «подающих надежды». А теперь ему уже 49 и он всего-навсего научный сотрудник, еще не защитивший кандидатской диссертации.

Виктор Николаевич медленно брел по аллее, размышляя о законченной серии опытов.

«Михайлову несладко,— думал он.— Столько времени, столько усилий, а результат совсем не такой, какой предсказывала его теория. Может быть, настало время высказать мое предположение?»

Он окользнул взглядом вниз и на мгновение остановился. На правой манжете брюк виднелась темная полоса грязи. Опять жена будет ворчать, ругать его шаркающую, как у старика, походку. Но что поделаешь: стоит ему задуматься, как он начинает волочить ноги.

Виктор Николаевич заковылял дальше, и снова мысли его вернулись в лабораторию. В тот день выяснилось, что раздражение группы нейронов, названных «Узлом К», приводит к лихорадочному возбуждению всего организма, к тому, что силы его удесятерятся.

Почему же препараты, снимающие раздражение с «Узла К», не действуют на буйнопомешанных? — спрашивали себя сотрудники лаборатории и не находили ответа, оставались в тупике.

И только он, Виктор Николаевич, подошел к проблеме иначе: а за счет чего удесятерятся силы? Этот вопрос привел его к интересной гипотезе.

Громыхая и лязгая, самосвал завернул за угол на проспект. Здесь водитель на минуту остановил машину и выскочил купить папиросы. На ходу раскрыл пачку, усаживаясь, привычным движением губ перебростил папиросу в угол рта. Самосвал рванул с места...

«Если высказать — засмеют чего доброго, — думал Виктор Николаевич. — Слишком уж это смахивает на сказку и на то, что я хочу перескочить сразу десять ступенек. «Горелым пахнет», — сказал бы Юра. Но ведь опыты второго контроля указывают на это. И если верить индийскому профессору...»

Он остановился перед витриной магазина, полюбовался новым телевизором, вздохнул. Если купить даже в рассрочку, то жене не хватит на путевку... А вот когда он, наконец, защитит диссертацию... Но чтобы ее спокойно защитить, лучше не приобретать репутации «сказочника» в науке.

Я скажу Михайлову: у организма должен быть неприкосновенный запас энергии, который контролируется определенным нервным центром. А он ответит: «Вы так думаете?» — и прищурится, склонив набок голову, словно готовясь клянуть. Я спрошу: откуда берутся у человека нечеловеческие силы в минуты опасности? Почему случается, что умирающий, от которого уже отвернулись самые опытные врачи, силой воли, невероятной жаждой выжить совершает чудо и выздоравливает? Жажда жизни и сила воли — сфера духовного. Должна же она найти резервы в области материального, в организ-

ме. Очевидно, резервы находятся под очень суровым контролем и открываются лишь в самые критические моменты. Больше того, наш организм похож на сверхосторожного генерала, который не решается двинуть в дело резервный полк, все считая, что время не наступило, упуская последний момент. А при буйном помешательстве контроль со стороны нервной системы ослаблен, резервы энергии высвобождаются — и у человека появляется невесть откуда невероятная сила...

Ишь ты, разболтался, говорит себе Виктор Николаевич, улыбается. Не спеши. Ведь Михайлов не станет безучастно слушать. Он оборвет на полуслове, небрежно процедит: «Это философия, а не наука». Что ты ему ответишь?

Я покажу ему результаты опытов, которые мы провели с Аркадием. Это уже не рассуждения, а наука. Я скажу: по всей видимости, «Узел К» контролирует неприкосновенный запас энергии. Поэтому его раздражение дает картину буйного помешательства без расстройства сознания. Животное дергается, извивается в конвульсиях, совершает разрушения просто потому, что высвобожденная энергия ищет выхода. Между прочим, вспомним, что этот нервный центр очень трудно возбудить. Вспомним еще, что в момент смерти в организме происходит взрыв энергии, который мы называем «Некробиотическим излучением». Это погибшая энергия. А почему бы не попробовать использовать ее при жизни? Представьте результаты: продление жизни, победа над любыми болезнями...

«Постой, постой! — мысленно воскликнул Виктор Николаевич. — А что, если подать эту гипотезу именно как сказку? Допустим, как фантастический рассказ, прочитанный в каком-нибудь сборнике? И если я к тому же стану высмеивать его, то Михайлов по обыкновению захочет поспорить и начнет защищать. Завтра же сделаю это!»

Губы Виктора Николаевича шевелились в лад мыслям, слабая улыбка, как отсвет, озаряла лицо. Задумавшись, он шагнул с тротуара на мостовую...

Самосвал вынырнул из-за поворота. Водитель увидел фигуру на шоссе. Истошно завизжали тормоза. Поздно. Губы водителя посинели, задергались. В углу рта заплескала недокуренная папироса...

Толпа собралась мгновенно, гораздо быстрее, чем подоспела «Скорая помощь». Врач выскочил из машины, подбежал к пострадавшему. Прошло несколько минут — и человек в белом халате медленно выпрямился:

— Он умер.

Санитары положили труп на носилки...

Люди все еще не расходились. Пожилая женщина прижала руку к груди, мужчина пытался успокоить ее:

— Что поделаешь, одним меньше...

На него выразительно посмотрели, а он огрызнулся:

— На Земле три миллиарда человек. Если не станет даже миллиона, никто не заметит.

Он очень торопился в поликлинику на процедуры. Врачи не говорили ему, что болезнь неизлечима, что жить ему осталось совсем немного.

И никто пока не мог знать, что против его болезни все же имеется средство — высвободить неприкосновенный запас энергии. Но среди трех миллиардов, населяющих Землю, уже не было того одного человека, который знал, как это сделать...

РАССКАЗЫ О ПУТЕШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЕНИ



ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

Я

тщетно обшаривал карманы. Увы! Потерянное не находилось.

— Простите,— спросил я своего спутника,— где у вас можно получить носовой платок?

— Носовой? Что вы имеете в виду? Или это какая-то игра слов?

— Никакой игры! В него сморкаются.

— Простите... что?

— Сморкаются. У меня насморк.

— ??

— Ну, воспаление... слизистой оболочки носовой полости.

Не говоря ни слова, мой собеседник остановил движением руки автоматический вездеход и распахнул передо мной дверцу.

— Куда мы? — спросил я.

— К лучшему специалисту по уху, горлу, носу. Немедленно.

...Но в приемной пришлось подождать. За стеной шла какая-то сложная операция. Мимо нас то и дело мелькали подтянутые фигуры сестер и грузные — консультантов.

Родственники больного ждали рядом с нами. Высокая женщина, видимо мать, вышагивала из конца в конец приемной. Маленькая полненькая девушка забилась с ногами в кресло и беспощадно терзала собственные ногти («Ага, от этой привычки они не избавились!»).

— Что за операция? — осторожно поинтересовался я.

Мать остановилась возле нас.

— Мой сын — калека. Мы узнали о его несчастье, когда Коле едва исполнилось полтора года. И скрывали от него... Товарищи сына тоже участвовали в этом заговоре. Но больше всего помогало нам богатое Колино воображение. А болезнь его тогда не умели лечить. Но появилась она... — Женищина сердито отвернулась к стене.

Девушка вскочила на ноги.

— Да, появилась я! Я согласилась бы стать его женой, будь он трижды калекой, будь он дальтоником или страдай поэтической глухотой! Но если лечение возможно? И врать я — я ему не могу.

Я только хотел спросить, что же все-таки с Колей, но мой спутник помешал:

— Простите, мне придется отлучиться. Надо найти вам нового гида на сегодняшний вечер. Ужасно обидно, но мне сейчас сообщили, что мой брат не сможет вас сопровождать.

— А что с ним?

— Да понимаете, проглядела Карибская морская охрана. Какая-то акула прорвалась к пляжу и отхватила брату пол-ноги.

— Вы говорите так спокойно?!

— Ну что вы, мне очень неудобно... Но дня через три он уже сможет быть вашим гидом, не беспокойтесь.

— А нога?!

— Вырастет, пустяк. Вон там, — он кивнул в сторону кабинета врача, — действительно тяжелый случай.

— Какой все-таки?

Девушка горьким шепотом ответила:

— Мой жених от рождения лишен музыкального слуха. Отрешен от мира музыки! Там ему дарят целый мир... Но всякая операция опасна. Нет, я не хочу вызывать у вас грустных мыслей. Знаете что, при этой больнице — лучшая в нашем секторе северного полушария коллекция ароматзаписей...

...Профессор деловито укреплял у меня на теле приборы для анализов, а я говорил ему:

— Все-таки симфония запахов не искусство. Иначе мы бы до него додумались раньше вас!

— Додумались бы! Не искусство! — возмутился профес-

сор.— А вы пробовали слушать музыку с пробками в ушах? Или глядеть на картину сквозь повязку из марли?

— Не понимаю сравнения. При чем...

— При том. У вас же у всех носы были заложены! Разве тут до искусства ароматов? А ну, ложитесь, сейчас я за вас возьмусь...

Когда все закончилось (очень быстро), я робко поинтересовался у профессора, как прошла предыдущая операция.

— Очень, очень тяжелый и сложный случай. Но все, кажется, кончилось благополучно. А вот завтра... Даже не знаю.

— А что, случай еще труднее?

— Да. Медицина, возможно, здесь бессильна. Речь идет о восстановлении литературного вкуса...

НАШЕСТВИЕ

В один прекрасный весенний день 2074 года Он и Она сидели на скамеечке посреди тропического леса-заповедника. Неподалеку под пальмой прикорнул доставивший их сюда везделет.

Даже ветер стих, чтобы не мешать им. И на сотню километров вокруг не было ни живой души. Но в тот миг, когда Его губы приблизились к Ее губам, раздалось странное шипение, неведомая сила оттолкнула влюбленных друг от друга, и на скамеечке между ними неведомо откуда появился маленький бородатый старичок.

Мгновенно оценив ситуацию, незнакомец испуганно произнес:

— Простите, я не думал... — Но тут же оправился от смущения и сменил извиняющийся тон на торжественный: — Вы, конечно, извините мое вторжение, когда узнаете, что я гость из далекого прошлого...

Старик не успел договорить — юноша обхватил руками плечи и горестно прошептал:

— Провалиться мне сквозь землю! Еще один! — Он повернулся к девушке. — Честное слово, я не нарочно.

— Я понимаю, — холодно сказала Она.

— Зато я не понимаю! — запротестовал гость. — Почему вы не радуетесь?

Юноша, пересиливая себя, ответил:

— Это в шестимиллионный-то раз? Первому мы еще радовались.

— Но ведь я изобрел машину для путешествия в будущее! И первый ее опробовал!

— Преклоняюсь,— деловито сказал Он.— Мы вас проходили в школе... Но тут... Машина просто дала перелет. И те, кто выехал позже, прибыли раньше. Это бывает. Не расстраивайтесь. Лучше скажите-ка вот что,— мрачное лицо юноши оживилось.— Почему гости из прошлого появляются всегда в самых неподходящих местах и в самое неподходящее время? Ведь вся теория вероятности летит в антимир! Совет мудрых и тот ничего понять не может. Нельзя ли тут что-нибудь сделать, а?

— Ему в четвертый раз не дали объясниться мне в любви,— обижено вздохнула Она.

— Еще раз простите... А ваш вопрос... Вы же знаете, раз в школе меня проходили, что машина времени вместе с пассажиром не путешествует. Она только выстреливает им, забрасывает его на столько-то лет — конечно, приблизительно — в будущее. А свойства пространства-времени таковы, что человек, перемещающийся во времени, движется и в пространстве, причем нельзя заранее предвидеть...— Великий изобретатель перешел на лекционную манеру изложения.

— Это мы и без вас знаем.— Юноша явно потерял всякий интерес к собеседнику.

— Э... простите, но как будет со мной? Вы ведь, конечно, уже изобрели машину для путешествия в прошлое? Я хочу домой.

— Если бы! Все шесть миллионов собирались заглянуть в будущее одним глазком и тут же отправиться обратно. Разве иначе их столько бы полетело? Всем отчаянно хотелось поскорее вернуться к родным и знакомым. Восемь лет назад, после первых визитов, Совет мудрых переключил на соответствующие работы сорок миллионов физиков и математиков. Правда, некоторые из них считали, что такая машина невозможна, так как нарушился бы закон причинности.

Но нам-то не привыкать к вольному обращению с законами природы... А пока проблема не решена, великий Нурден предложил переправлять гостей подальше в будущее — в те годы, когда во времени научатся ездить в оба конца.

Миллиончика четыре мы так и переслали. Но тут один поэт вдруг догадался спросить: «Если путешествие в прошлое возможно, то почему к нам никто не прибыл из будущего?» И работы пришлось свернуть. Пересылать гостей в будущее тоже перестали — это означало бы перекладывать свои заботы на чужие плечи.

— Какие заботы?

— Вас же приходится и утешать, и лечить, и целые десятилетия переучивать...

Великий Нурдень занял свое место за кафедрой и обвел зал добрыми глазами.

— Кажется,— начал он,— я могу вас обрадовать. По нашим подсчетам, только что прибыл последний из шести миллионов двадцати четырех тысяч пятисот тридцати трех человек, отправленных в нашу эпоху из 1974 года. Второе нашествие придется пережить примерно через два века. Примем тех, кого послали на триста лет вперед. Но до тех пор мы успеем подготовиться...

Кафедру, за которой стоял Нурдень, закачало. И, больно стукнув физика в бок, рядом с ним возник молодой и ужасно смущенный человек.

— Это вы, Николай? — ахнул академик.— Но вы же прилетели из прошлого первым, лет восемь назад, и мы вас тут же отправили в будущее...

— Простите, недолет,— растерянно прошептал незванный гость.

ПОТОМКИ ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ

Петру было грустно. Здесь, в Беловежской пуще, его предки охотились на медведей и зубров. Но даже о зубрах известно куда больше, чем о людях прошлого. Сколько документов утеряно безвозвратно! Вот и возникают споры, вроде вчерашнего!

Он включил аппарат вечной памяти.

Сергей, педагог со столятидесятилетним стажем, говорил рассудительно, но пылко:

— Молодой философ Вородис недавно выдвинул новую

гипотезу о литературе прошлых эпох. Он утверждает, что даже отрицательные герои в книгах древности — обобщенные, но реальные образы. Просто смешно! Неужели на маленькой планете Земля нашлось место хотя бы для одного Гобсека? Урии Гипа? Иудушки Головлева? Ведь их черты противоречат нравственной природе человека! Я не знаю, зачем потребовалось отрицать тот очевидный и общепризнанный факт, что вся большая литература на протяжении многих столетий была научно-фантастической. Великие писатели прошлого показывали человечеству, к чему могут привести зародыши дурных чувств и страстей. Увы, до нас дошли лишь отдельные отрывки из немногих книг. Только это еще позволяет нашему юному другу бороться за свою опрометчивую гипотезу!

Поворотом рычажка Петр оборвал вспыхнувшие аплодисменты. И тут же услышал:

— Дружище, ты уже здесь! — И в следующую секунду он оказался в объятиях Намре Буга.

Мгновенье — и недавно изученным приемом Петр перебросил товарища через плечо и приготовился к отражению новой атаки. Но Намре Буг, смеясь, поднял руки вверх:

— Сдаюсь! Побережем силы для медведей.

— А как старички из общества защиты животных?

— Да ну их! Требуют, чтобы каждому медведю после борьбы предоставлялись три дня отдыха. И предлагают еще раз сузить шкалу разрешенных приемов. Это после того, как какой-то увалень на Иллинойской спортбазе сломал лапу старому гризли.

— Фу! Этак нам никогда не догнать предков. Так и останемся на веки вечные хилыми потомками богатырей. Человечество вырождается на глазах! Ты слышал о последней находке археологов?

— А что такое?

— Обнаружили обрывки двух древних печатных книг. В одной из них утверждается, что человек будущего, то есть нашего времени, будет жить без зубов и без волос, на его руках останутся только по два пальца. В другой — что часть людей станет странными ночными животными — морлоками. Непонятно, почему авторы пришли к таким выводам. Но предки предупреждают. Срочно собран Совет мудрости.

— Ага, спохватились! То-то уже предложено использовать

для спортивной борьбы львов, тигров и крionoмусов с планеты Фай, — злорадно отметил Намре Буг.

Друзья остановились у скромного сорокаэтажного здания на большой поляне.

Перед входом стояла великолепная скульптура, изображающая борьбу человека с медведем. На постаменте горели древнерусские буквы: «Трех белок и соболя взял и того же дни... пятнадцать медведей оборол».

— Вот позавидуешь, — сказал Намре Буг, — в день можно было встретиться с пятнадцатью, а теперь жди очереди месяца.

— А вдруг в рукописи пропущен срок, за который он поборол медведей?

— Не будь таким осторожным, товарищ программист! Если мы с тобой справимся за день с пятком медведей, то, представляешь, наш предок! Могу сообщить тебе как историк: сохранились особые документы, которые за точность зовут былинами. В них говорится о людях, носивших посохи в сорок пудов — шестьсот сорок килограммов и вырывавших из земли дубы с корнем.

— Позволь с тобой не согласиться, — начал Петр, но тут их перебил голос, хозяин которого предпочел остаться невидимым:

— Только что получено от генеральной медицинской коллегии важное сообщение. Наконец-то девушкам разрешено принять участие в борьбе с медведями. Естественно, мы все уступили спортсменкам очередь. Как вы, товарищи?

— Разумеется, — вздохнули друзья.

— Нет, пора придумывать какой-то новый вид спорта, — покачал головой Петр.

— Давай разработаем правила по вырыванию деревьев с корнем, — подхватил Намре Буг.

— Хорошо бы, — с сомнением произнес Петр. — Только что скажет комиссия по озеленению?

НОВОЕ ОРУЖИЕ

Пьеса в четырех действиях с прологом



Памяти Виктора Стружинского

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Иванович Шардецкий — академик, физик-ядерщик, руководитель КБ-12, 60 лет.

Олег Викторович Макаров — заместитель министра, 48 лет.

Петр Иванович Самойлов — руководитель поисковой группы, 35 лет.

Ашот Карапетян — инженер поисковой группы, 30 лет.

Валернер

Якубович

Штерн

Саминский

Сердюк

} начальники отделов и лабораторий КБ-12.

Илья Степанычев — аспирант.

Сотрудник Министерства иностранных дел СССР.

Бенджамен Голдвин — физик, лауреат Нобелевской премии, 65 лет.

Френсис Гарди — доктор физики, ассистент Голдвина, 35 лет.

Джон Кейв — второй ассистент Голдвина, 29 лет.

Джошуа Клинчер — полковник, затем бригадный генерал, 45 лет.

Эдгар Хениш — сенатор, председатель комиссии по проблемам ядерной политики, председатель правления «Глобус компании», 60 лет.

Военный министр США, 50 лет.

Мартин Дубербиллер — делец, 60 лет.

Кеннет — доктор математики, руководитель отдела в Институте математических игр, 40 лет.

Инженеры КБ-12, студенты и преподаватели Массачусетского технологического института, адъютанты, корреспондент и т. д.

Во всех действиях сцена разделена пополам: в левой части показываются события в Советском Союзе, в правой — события в Соединенных Штатах. По ходу дела освещается то левая, то правая сторона сцены.

Между первым и вторым и между вторым и третьим действиями проходит по году.

Пролог. «Персона нон грата»

Освещена левая часть сцены. Комната в Министерстве иностранных дел СССР. Шкаф с бумагами, шкаф с книгами, желтый несгораемый шкаф, телефон на тумбочке, стол письменный, стулья обыкновенные. За окном видна близкая стена высотного здания. За столом — Сотрудник МИДа.

Степанычев (входит). Можно? Здравствуйте. Вызывали?

Сотрудник вопросительно смотрит.

Степанычев, аспирант физико-технологического института. Вернулся из Соединенных Штатов.

Сотрудник. А... «персона нон грата»! Проходите, садитесь...

Степанычев проходит и садится.

Ну, рассказывайте!

Степанычев. Что рассказывать-то?

Сотрудник. Как что? Всё... Вас направили на стажировку по какой специальности?

Степанычев. Надежность электронных устройств.

Сотрудник. Вот видите: надежность устройств. Зачем же вы... (*Берет бумагу, читает*): «...учитывая вышеизложенное, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки денонсирует въездную визу подданного СССР Степанычева Ильи Андреевича и...» Нет, не то. М-м... ага, вот оно, вышеизложенное! «...намеренно скрывал свое подданство, вел беседы, направленные на подрыв существующего в США общественного строя, пытался собирать сведения, затрагивающие безопасность государства...» (*Кладет бумагу.*) Вот и рассказывайте!

как же это так у вас получилось? Наша страна осуществляет культурный обмен, оказывает вам доверие, а вы? Зачем скрывали подданство? Вели беседы? Собирали сведения? Кто вас об этом просил?

Степанычев. Да ничего я не скрывал, не вел и не собирал!

Сотрудник. То-ва-рищ Сте-па-ны-чев, из ничего ничего и не бывает. А вас посреди стажировки выслали из Штатов с такой (*потрясает*) бумагой! Как добирались-то?

Степанычев. Из Фриско... из Сан-Франциско, то есть, через Токио и Владивосток.

Сотрудник. Выходит, даже не разрешили пролет над территорией США. Ого! Вот видите. Кругосветное путешествие совершили... Магеллан, Гагарин и аспирант Степанычев! Но, между прочим, вас посылали не в кругосветное путешествие. Как же так?

Степанычев. Ох, ну просто стихийное бедствие какое-то: попал — и ничего не поделаешь! Ума не приложу: чего они на меня взелись? Вызвали в полицию, забрали визу и — в двадцать четыре часа...

Сотрудник. Давайте-ка по порядку. Куда вы определились на стажировку?

Степанычев. В Кембридж в штате Массачусетс. В Массачусетский технологический... (*Задумался.*) Пойдите! Может, эти мои разговоры им не по душе пришлось?

Сотрудник. Какие такие разговоры? Рассказывайте.

Степанычев. Э, споры всякие! Знаете, я мечтал хорошо поработать в МТИ. Еще бы, институт Норберта Винера, родина кибернетики! А вышло (*машет рукой*) совсем не то...

Затемнение. Освещается правая часть сцены. Лаборатория электронной техники в МТИ. Блоки вычислительных машин, путаница проводов, приборные стенды с надписями на английском языке. На стене учебные таблицы машинных программ. За широким, во всю стену, окном — кубистический пейзаж американского города. На переднем плане группа студентов и преподавателей МТИ.

1-й студент. Нет, этого русского надо положить на лопатки! Они там, в России, не привыкли к честной спортивной борьбе мнений.

2-й студент. Дик, смотри, пришел Клод Ренинг с кафедры социологии. (*Указывает на человека средних лет в очках и строгом костюме.*) Ну, держись, Степентчэйв!

Степанычев (*взводит с папкой в руке. Увидев группу, морщится, но выжимает улыбку*). Доброе утро!

Общее: Доброе утро! Привет, Ил!

1-й студент (*с полупоклоном*). Привет среднему совету от средних американцев!

Преподаватель. Ил, я хочу познакомить вас с одним интересным человеком. Он, кстати, разделяет многие ваши взгляды. (*Подводит Ренинга.*) Клод, это Ил Степентчэйв, наш стажер из России. Ил, это Клод Ренинг.

Степанычев и Ренинг кивают друг другу.

Ренинг. Фред прав, я действительно разделяю многие ваши взгляды. Но мне не нравится ваша теория прибавочной стоимости!

Степанычев. Собственно, это теория Маркса. И чем же?

Ренинг. Видите ли, она слишком упрощает существо дела. По Марксу, получается, что бизнесмены отнимают у рабочих большую часть производимого ими продукта. Возможно, это и так с точки зрения рабочих, но, согласитесь, что это совсем не так с точки зрения бизнесмена. Вы не можете отрицать, что бизнесмен, вкладывая капиталы в новое дело, сильно рискует. Он может разориться! И прибыль, которую он потом получает, это справедливая плата за риск — разве не так?

Степанычев. Простите, а что заставляет его рисковать?

Ренинг. М-м... желание получить прибыль, разумеется.

Степанычев. Так что здесь причина, что следствие?

1-й студент. Ну-у! Это слишком схоластично!

Степанычев. Ладно, давайте не схоластично. Например: гангстер, когда грабит банк, рискует?

Ренинг. Разумеется.

Степанычев. И его добыча тоже плата за риск, так? Тогда, простите, в чем же разница между гангстером и бизнесменом?!

Оживление в группе.

Р е н и г. О, это слишком уж упрощенно! Это для пропаганды!

Затемнение. Снова освещается правая сторона. Та же лаборатория, вечер. Газосветные трубки под потолком. За окном огни ночного города. Группа спорящих в несколько ином составе. Дым от дюжины сигарет. В центре — посоловевший С т е п а н ы ч е в.

П р е п о д а в а т е л ь (наступает на Степанычева). ...Если вы не собираетесь на нас нападать, то зачем же вооружаетесь ракетами и ядерными боеголовками? Почему ваши атомные подлодки плавают в Атлантике и в Тихом океане?

С т е п а н ы ч е в. А почему ваши подводные лодки плавают у наших берегов? Почему вы наращиваете ядерное вооружение?

П р е п о д а в а т е л ь. Ну, мы-то понятно. Мы не хотим, чтобы повторился Пирл-Харбор. А вот вы...

С т е п а н ы ч е в. А мы не хотим, чтобы повторился сорок первый год!

1-й студент. Ил, а вас специально инструктировали, как отвечать, да?

2-й студент. Кстати, Ил, почему это ваши газеты никогда не сообщают о советских подземных ядерных взрывах, а только о наших?

Затемнение. Освещается левая сторона сцены: комната в МИДе.

С т е п а н ы ч е в. ...И так — полгода. Споры везде, со всеми и обо всем. О загадочной русской душе и демократии... об однопартийной системе, втором фронте, третьей силе, четвертом измерении, пятой колонне, шестом чувстве... Мама родная! Какая тут могла быть стажировка по надежности!

С о т р у д н и к. Однако это не то, товарищ Степанычев. Со всеми нашими там ведут подобные разговоры, дело обычное.

С т е п а н ы ч е в. Но... может, меня взяли на заметку?

С о т р у д н и к. Конечно, взяли. Всех наших там берут на заметку...

Затемнение. Освещается правая сторона: кабинет полковника Клинчера в Управлении стратегической разведки. Пластмассовые жалюзи на окнах. Сумеречный свет. На столике магнито-

фон. Возле в креслах Клинчер и лейтенант (в котором можно узнать одного из участников спора) слушают запись.

Голос Степанычева. ...Вы накапливаете оружие — и мы накапливаем оружие. Но разница все-таки в том, что у нас на этом деле никто не наживается!..

Клинчер (*выключает магнитофон*). Для стажера из России он слишком хорошо владеет английским языком...

Лейтенант. И затрагивает слишком широкий круг тем, сэр. Не похож на узкого специалиста.

Клинчер. Да, да! Не упускайте его из виду, лейтенант.

Затемнение справа. Освещается комната в МИДе СССР.

Сотрудник. Но все это ни о чем не говорит. За это не высылают, тем более с такими ужасными намеками... Вы сказали, что сначала определились в Массачусетский институт. А потом?

Степанычев. Потом... ну, я понял, что работы здесь не будет. Перевелся в Калифорнийский университет в Беркли. На кафедру профессора Тиндаля. Но поработать не успел. Через две недели меня выслали.

Сотрудник. Так, так... А в Беркли с кем знакомились, беседовали?

Степанычев. Почитай, что ни с кем. Только с работниками кафедры. Да и то бесед избегал, хватит. Впрочем... еще с одним человеком раза два поговорил: с Френком... с Френсисом Гарди, физиком. Интересный парень!

Сотрудник. И о чем же вы беседовали с этим интересным парнем?

Степанычев (*пожимает плечами*). Да... ни о чем, собственно...

Затемнение слева. Освещается правая сторона: кафетерий в лабораторном корпусе Калифорнийского университета. Никелированные стойки с готовыми блюдами. Кофейный агрегат. За столиками питаются студенты и преподаватели. От стойки с подносом в руках идет Степанычев, ищет места. Подходит к столу, за которым в вольной позе сидит Френк.

Степанычев. Здесь свободно?

Френк. Прошу! (*Наблюдает, как Степанычев расставляет тарелки и чашки.*) Новенький?

Степанычев (*усаживается*). Да.

Френк. Физика?

Степанычев (*принимается за еду*). Нет.

Френк. Химия?

Степанычев. Нет.

Френк. Математика, наконец?

Степанычев. Нет... Надежность электронных устройств.

Френк. А вы не очень общительны, специалист по надежности.

Степанычев. А так оно надежней.

Френк. Возможно, возможно... И откуда?

Степанычев. Из... (*поколебавшись*) из Массачусетского технологического.

Затемнение справа. Освещается комната в МИДе СССР.

Сотрудник. Значит, вы скрыли от него, что вы из СССР?

Степанычев. А с какой стати я должен сообщать это каждому случайному собеседнику? Мне уже надоело...

Сотрудник. Но, выходит, такой факт был?.. Продолжайте, пожалуйста.

Затемнение слева. Освещается кафетерий. Степанычев ест, потом берет перчатки, трясет над тарелкой. Безрезультатно.

Френк. Отказ... Или как у вас говорят: сбой?

Степанычев. Перец, наверно, кончился. (*Ест.*)

Френк. «Чем вас привлекает наша фирма? Сколько вы зарабатывали раньше? Сколько откладывали? Есть ли у вас девушка? Жена? Любит ли она одеваться по моде? Любите ли вы кино? Бейсбол? Гонки автомобилей? Любит ли это ваша девушка или жена? Какие суммы вам предстоит выплатить по покупкам в рассрочку? Какую религию вы исповедуете?»

Степанычев поперхнулся, изумленно смотрит на него.

Э, да вы совсем-совсем зеленый, надежность устройств! Еще не заполняли эту Великую Механическую Исповедь для специалиста, поступающего на работу в фирму? Ничего, не отчаивайтесь. Скоро и ваши сто сорок ответов будут набиты на перфоленту для оценки в вычислительной машине. Только не

вздумайте в графе «Какую религию вы исповедуете?» поставить прочерк или, боже упаси, написать «атеист»! Не наберете проходной балл. Даже самые вольнодумствующие интеллигенты стыдливо пишут «агностик», что значит: верящий в непознаваемое.

Степанычев. А... почему?

Френк. Потому, что надо быть как все. Оценочные машины не любят оригиналов. Человек как все не опасен. От него нельзя ждать ничего великого и неожиданного. Он будет любить бейсбол, девушек, гонки, приспособливаться к обстоятельствам, стараться в поте лица.

Степанычев крутит головой, принимается за второе блюдо.

У вас дети есть, надежность?

Степанычев. Да. Сын.

Френк. А вот у меня нет. Хотя я мог бы прокормить не одного. Боюсь. Боюсь будущего...

Степанычев. Послушайте, зачем вы мне это говорите?

Френк. Зачем? Просто так... как в поезде. А может, потому, что вы мне чем-то симпатичны, надежность электронных устройств. Наверно, тем, что у вас все впереди: и удачи и разочарования... *(Откидывается на стуле.)* И наука у вас симпатичная: надежность. Есть в ней что-то добродетельное, солидное — как в потертых штанах, которые носят десять лет.

Степанычев смотрит на него с той степенью выразительности, которая обычно предшествует хорошему мордобою.

Хотите что-то сказать?

Степанычев *(вздыхнув)*. Нет. Я лучше поем.

Френк *(закуривает)*. Только теперь никто не носит брюки десять лет, все меняется быстрее: одежда, люди, машины, страны... Мир поздно спохватился с этой вашей надежностью. На Земле все возрастает и возрастает запас энергии, то есть по законам термодинамики она переходит во все более неустойчивое, ненадежное состояние. Однажды энергия высвободится: бжик! — и все. Так что надежностью тоже заниматься не стоит.

Степанычев. А чем же стоит?

Френк. Пожалуй, астрономией. Сидеть у телескопа, наблюдать далекие-предалекие миры, сознавать свое ничтожество, ни-

чтожество нашего мира. И утешать себя, что, если мир лопнет, во вселенной ровно ничего не изменится. Планетой больше — планетой меньше...

Степанычев (*допивает кофе, ставит чашку*). Короче говоря, вы — физик-ядерщик?

Френк (*удивленно*). О-о! Быстрое, но верное умозаключение. Это как же вы постигли, надежность?

Степанычев. Очень просто. По комплексу неполноценности.

Френк. Это уже интересно! Вы считаете, что у нас, ядерщиков, развит комплекс неполноценности? Это отчего же?

Степанычев (*он поел и теперь тоже не прочь позабавиться*). Известно отчего: от двух с половиной нейтронов. Тех самых, что выделяются в среднем на одно деление ядра урана или плутония.

Френк. А при чем здесь они?

Степанычев. Да все при том же. Чем была ваша ядерная физика, пока не открыли цепную реакцию с этими двумя с половиной нейтронами? Да вас никто и знать не хотел! Только тем и вознеслись, что напугали людей атомной бомбой... и сами ее испугались! Все ваши изобретения держатся на этих несчастных двух с половиной нейтронах: реакторы, бомбы, получение изотопов, атомные подводки... Так что сама ваша наука неполноценна, висит на тоненькой ниточке цепной реакции. Разве можно ее сравнить, скажем, с электроникой, где используются сотни явлений природы? Эксплуатируете одно явление и сами его толком не понимаете! Что, если, к примеру, при делении ядер станет выскакивать только один нейтрон? А? Все, нету ядерной физики. Или наоборот: четыре нейтрона на деление? Тоже крышна — и науке и всем... Вот так, два с половиной нейтрона! (*Встает.*)

Френк (*ошеломленно*). О, парень, ты, я вижу, не так прост!

Степанычев. Ладно. Приятно было побеседовать. Пока... цепная реакция! (*Уходит.*)

Затмение справа. Освещается комната в МИДе СССР.

Сотрудник. Ну зачем же вы с ним так-то!

Степанычев. Послушайте, живой я в конце концов человек или нет! Он сидел, портил мне аппетит и настроение... могу же и я испортить ему настроение.

Сотрудник. И вы еще с ним разговаривали?

Степанычев (*скучным голосом*). Ну, встретились еще разок в кафетерии, беседовали. Его заело мое отношение к ядерной физике, он старался меня переубедить...

Сотрудник. А вы что же, знаете ядерную физику?

Степанычев. Да как вам сказать? Работать бы, конечно, не смог, а приятную беседу отчего не поддержать!

Сотрудник. Ну, ну, рассказывайте, о чем вы беседовали.

Степанычев. О господи, да ведь вам-то совсем это неинтересно будет слушать!

Сотрудник (*встает*). Дорогой товарищ Степанычев, мне вас действительно неинтересно слушать, вы правы. Мне совсем неинтересно вытягивать из вас слово за словом! Мне вообще вся эта история была бы глубоко неинтересна, если бы... (*поднимает палец*) если бы вас после ваших неинтересных разговоров не выслали из Штатов как подозреваемого в шпионаже!

Степанычев. После этого — еще не значит вследствие этого.

Сотрудник. А вследствие чего же? Чего?

Степанычев пожимает плечами.

Ну вот что (*протягивает листы бумаги*) — садитесь и опишите подробно ваши беседы с этим Френсисом Гарди: что вы говорили, что он говорил. Не упускайте ничего. Пишите разборчиво, с полями, на одной стороне листа. Дадим на заключение специалистам.

З а н а в е с

Действие первое. Цепная реакция

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Освещена левая часть сцены: домашний кабинет академика Шардецкого. Одна стена сплошь из книг. Старомодный письменный стол, заваленный бумагами и журналами. Шардецкий сидит в кресле у окна, на коленях портативная пишущая

машинка; что-то печатает. Входит Макаров. В руке у него желтый номерной портфель; с такими портфелями не ходят по улице — их возят в машине.

Макаров. Разрешите, Иван Иванович? Добрый день, как ваше дражайшее?

Шардецкий (*поднимает голову*). О, Олег Викторович! Вот не ждал! (*Ставит машинку на подоконник.*) Здравствуйте, рад вас... (*Пытается подняться, но болезненно морщится, опускается.*) А, черт... когда у нас научатся лечить ревматизм, вы не знаете? С самой войны маюсь.

Макаров (*усаживается рядом на стул*). К ревматизму надо относиться серьезно, Иван Иванович. Как утверждают врачи: ревматизм лижет суставы, но кусает сердце! Пчелиные укусы, говорят, помогают. Не пробовали?

Шардецкий. А! Хорошая погода — вот она действительно помогает. Само проходит... Олег Викторович, если вы станете меня уверять, что оставили дела в министерстве, чтобы посудачить со мной о влиянии пчел на течение ревматического процесса, то я вам, простите, не поверю.

Макаров. А я и не буду вас в этом уверять, Иван Иванович... (*Отпирает и открывает портфель, достает сколотые листы.*) Я к вам вот по какому вопросу. Недавно из Соединенных Штатов выслали одного нашего стажера. По подозрению в шпионаже. Причиной высылки стали вот эти изложенные им самим разговоры. Нам их переслали из МИДа на заключение. Почитайте, пожалуйста.

Шардецкий (*берет листы*). С кем же этот молодой человек так неосмотрительно побеседовал?

Макаров. С неким Френсисом Гарди, доктором физики.

Шардецкий. Гарди, Гарди... знакомая фамилия... Ага, есть, вспомнил: Бенджамен Голдвин и Френсис Гарди, монография «Свойства электронных и мюонных нейтрино». Переведена и издана у нас в прошлом году. Очень толковая книга, скажу вам. Стало быть, этот Гарди — сотрудник Голдвина. Что ж, почитаем...

Затемнение слева; виден только — в неярком луче прожектора — читающий Шардецкий. Освещается правая сторона сцены: все тот же кафетерий в Беркли. Негр-уборщик ставит стулья вверх ножками на столы. За столиком на переднем пла-

не — Степанычев и Френк. Перед ними тарелки, банки с пивом.

Френк. Нет, Ил, ты не прав: цепную реакцию нарушить нельзя. Пробовали воздействовать и температурами, и давлениями, и средами — чем угодно. Распад и деление ядер — явления незыблемые.

Степанычев. Незыблемые — пока не нашли что-то влияющее на свойства ядер. И атомы когда-то считались незыблемыми!

Френк. Но что — действующее?

Степанычев. Не знаю, откуда мне знать! Это вам надо искать и знать, ядерщикам. А то — ломаете атомы, как дети игрушки... Ведь ничего нет удивительного, что атомные ядра разрушаются. Все разрушается, я в этом разбираюсь. Металл ржавеет, скалы рассыпаются, приборы портятся. Звезды и те гаснут или взрываются. Ничто не вечно... Удивительно другое: есть атомные ядра, которые не распадаются совсем. Это уникам в нашем мире.

Френк. Ядра стабильных изотопов? Что же здесь удивительного: в таких ядрах мал запас внутренней энергии... *(Отхлебывает пиво, режет сосиску, встращивает над ней перечницу. Безрезультатно.)* Что за черт, никогда у них перца нет!

Степанычев *(увлеченно)*. Вот здесь и обнаруживается у нас с тобой разный взгляд на предметы. Вы, ядерщики, принимаете устойчивость ядер в силу факта. Нашли удобное оправдание: мало внутренней энергии. И еще — магические числа частиц в ядре. Слово-то какое: магические числа! И где? В науке! Да уважающий себя электрик удавился бы от позора, если бы в его науке обнаружили такие числа!.. А вот с точки зрения теории надежности стабильных изотопов в природе не может быть.

Френк. Это почему же?

Степанычев. Потому, что ядро — система, взаимодействующая с окружающей средой. Такие системы не могут существовать бесконечно долго. Стабильные же ядра существуют именно бесконечно долго! Иначе из миллиардов миллиардов ядер хоть малая часть распадалась бы, как и в радиоактивных изотопах.

Френк. Их не может быть, однако они есть. С этим нельзя не считаться, теория надежности. *(Отхлебывает пиво.)*

Степанычев. Значит, есть не только они. Наверно, в природе существует какой-то процесс, поддерживающий устойчивость таких ядер. Процесс — а не магические числа! А для радиоактивных веществ этот процесс нарушен.

Френк. Гм... что же, по-твоему, радиоактивность — это какая-то болезнь атомных ядер?

Степанычев. Именно! Именно, черная магия! И вы не лечите эту болезнь, даже наоборот: заражаете радиоактивностью все новые и новые атомы. Сколько было естественно радиоактивных веществ, а?

Френк. Десятка полтора, не больше.

Степанычев. А сейчас?

Френк. Сейчас... сейчас любое вещество можно сделать радиоактивным. Техника простая.

Степанычев. А обратно перевести вещество из радиоактивного состояния в спокойное вы можете?

Френк. Нет. Это атомы пусть сами — когда распадутся.

Степанычев. Вот то-то и оно! Выходит, вы изучаете не «жизнь» ядер, а их «смерть» — распад и деление. Хороши были бы медики, если бы они изучали только, как умирают пациенты!

Френк *(откидывается на стуле, смотрит на Степанычева)*. Слушай, теория надежности, ты считаешь, что это возможно?

Степанычев. Что именно?

Френк. Найти процесс, который удерживает ядра в устойчивом состоянии? *(Задумчиво.)* Ведь такой процесс действительно должен быть. Ядро, сгусток энергии. Его распирают электрические силы, стягивают ядерные. В нем все движется, как в капле жидкости: протоны, нейтроны, мезоны... И эта капля живет вечно! Ведь даже в радиоактивных веществах ядра живут очень долго — распадается-то лишь малая доля их. Распадающийся и делящийся уран дотянул от сотворения Галактики до наших дней, миллиарды лет. В этом что-то есть...

Степанычев. По справедливости такой процесс должен быть. Это не дело: только и уметь, что переводить материю в неустойчивое состояние. Это действительно добром не кончится.

Френк. Взорвать дом легче, чем построить его, теория надежности. С ядрами то же самое. И процесс стабилизации, если он есть, настолько же сложнее распада ядер, насколько строительство города сложнее бомбежки...

Степанычев. Но, по-моему, это все-таки возможно. Есть намерения.

Френк. Какой?

Степанычев. Законы распада атомных ядер и законы отказов элементов электронных машин математически одинаковы... Вот смотри... *(Пишет на бумажной салфетке.)* Тебе это ни о чем не говорит?

Френк. Говорит. Та же экспоненциальная зависимость... Но ты не равняй элементы машин и ядра, Ил. В электронных машинах можно покопаться тестером, что-то перепаять, заменить негодную схему хорошей. А к ядрам не подпаяешься, уважаемая теория надежности. И одно другим не заменишь. Их даже в электронный микроскоп увидеть нельзя. Да... А жалко!

Степанычев. Чего?

Френк. Мечты: овладеть процессом стабилизации ядер... Знаешь, когда-то, по молодости лет, меня потянуло в ядерную физику. Потянуло на величественное и ужасное, захотелось пережить драматизм поисков и открытий, потрясти мир чем-то похлестче ядерной бомбы. *(Усмехается.)* Теперь-то я вижу, что это было глупо. Все вышло не так. «Проблема левовинтового нейтрино» — как же, потрясешь этим мир! Набираю глубину познаний, лысину, к концу жизни буду знать все — ни о чем... Да и не нужно это — потрясать мир. Хватит. Но тогда зачем же я работаю? Для чего живу? *(Помолчал.)* А вот ради такой мечты стоит постараться. Повысить устойчивость мира, в котором мы живем. Лечить атомные ядра. Овладеть веществом полностью!

Степанычев. Ну вот и действуй.

Френк. Легко сказать — действуй. Легко сказать, теория надежности. Развитием наук движут не мечты, а факты. Фактов же нет. Нет данных, как стабилизировать ядра... Черт побери, если бы на эту проблему бросить столько денег и сил, сколько ушло на создание ядерного оружия, нашли бы и факты, и теории, и способы. Все получилось бы. Но кто бросит деньги? Кому это нужно? У тебя много денег, Ил?

Степанычев *(разводит руками)*. Увы...

Френк. У меня тоже «увы»!

Негроборщик *(подходит к столику)*. Джентльмены, мне пора закрывать...

Затемнение справа. Освещается комната Шардецкого.

Шардецкий (*возвращает листки Макарову*). Занятно. Так что же?

Макаров. Я вспомнил ваш доклад о далеких перспективах в исследовании ядра. Вы ведь о том же говорили, Иван Иванович.

Шардецкий. Ну, говорил, говорил... что я говорил! Я больше толковал о нерешенных проблемах, чем о перспективах. Устойчивость и неустойчивость атомных ядер — действительно большая проблема. До сих пор понять не можем: почему в куске урана в данный момент одни атомы распадаются, а другие нет? Почему именно эти, а не те? Многие считают, что это в принципе невозможно понять. А управление стабильностью ядер... о, это настолько далекая перспектива!... Нет, я решительно не понимаю, чем вас взволновал этот разговор, Олег Викторович?

Макаров. Да, собственно, тем, что после этого разговора аспиранта Степанычева в двадцать четыре часа выдворили из Штатов.

Шардецкий. Гм... тоже верно. Это действительно непонятно. Голдвин давно отошел от ядерных бомб, занимается с немногими сотрудниками академической проблемой нейтрино. «Замаливает грехи», как он выразился при встрече со мной на конференции в Женеве.

Макаров. Может, не такая это далекая перспектива, Иван Иванович? Может, американцы этим уже занимаются?

Шардецкий. И наш аспирант нечаянно прикоснулся к тайне? Гм... все это, знаете ли, слишком уж как-то... детективно. А может, и просто с перепугу выслали, сдуру? Известное дело: полиция.

Макаров. Возможно. А если нет? Понимаете, что это значит, если американцы сейчас развивают такую работу?

Шардецкий. Также верно... И такие работы может вести именно Голдвин с сотрудниками. С применением нейтрино.

Макаров. Одним словом, Иван Иванович, требуется ваше мнение по существу дела. Допускаете ли вы, что американцы ведут работу по управлению стабильностью ядер и что именно поэтому они заподозрили аспиранта Степанычева в шпионаже?

Шардецкий. Э, Олег Викторович, вы требуете от меня слишком многого. Я специалист, эксперт. Знаете, как в судопроизводстве: эксперт не уличает убийцу, а лишь устанавли-

вает причину смерти. Остальное — дело следователей и суда... Я могу высказать лишь свое мнение, не более. Мнение это такое (*переходит на профессорский тон*): наличие в природе процесса стабилизации атомных ядер в принципе не противоречит нашим знаниям о ядре, но и только. Сам этот процесс мы не знаем и не наблюдали, никаких сведений о нем в мировой литературе нет. Чтобы перейти к практическим исследованиям стабильности ядер и тем более к управлению этой стабильностью, надо как минимум иметь на руках либо экспериментальное открытие самого процесса, либо теорию строения материи, на порядок более глубокую, чем нынешняя. А лучше бы и то и другое вместе. Я могу сказать, какая требуется теория. Она должна объяснить, почему элементарные частицы имеют именно такие, а не иные значения масс и электрических зарядов. Должна предсказать, какой именно атом радиоактивного вещества и в какое именно время распадается... понимаете? Такой теории нет. И открытия тоже нет.

Макаров. А если американцы сделали это открытие — и утаили его? Ведь дело-то серьезное.

Шардецкий. Гм... Олег Викторович, повторяю, я не знаю такого открытия. Если они его сделали, то и мы сделаем. Сейчас ядро исследуют десятки тысяч физиков, и на долю фатального случая остается очень немного — открытия предпрешаются всем ходом развития науки... Короче говоря, Олег Викторович: министерство желает заказать нам такую работу?

Макаров. Да как вам сказать...

Шардецкий. Что ж, мы можем заняться этой проблемой в плане исследования возможности, без гарантированного выхода в практику. Работа будет стоить... да, пожалуй, миллионов пятьдесят. С меньшими деньгами за это дело не стоит и браться. Согласны?

Макаров. Ну... о чем вы говорите, Иван Иванович! Кто же вам даст пятьдесят миллионов на исследование возможности? А если это (*показывает на бумаги*) все-таки недоразумение и у вас ничего не выйдет? Спросят: куда смотрели, на что деньги тратили? С меня спросят, не с вас.

Шардецкий. А-а! Вот такие вы все и есть. Вам вынь да положь, что за границей уже сделали. Тогда и деньги найдутся, и площади, и оборудование: догоняй, Шардецкий!

Макаров. Так ведь очень уж вы неопределенное заключение даете, Иван Иванович. Не под пятьдесят миллионов.

Шардецкий. Иного дать не могу. Наука не позволяет.

Макаров. Да... Стало быть, серьезных оснований считать, что американцы ведут такую работу, пока нет?

Шардецкий. Надо подождать. Олег Викторович. Если они ее ведут, это в чем-нибудь да проявится. А пока действительно что-либо предпринимать рановато.

Макаров. Так-то оно так... Но почему же они его выслали?..

Затемнение слева. Освещается правая часть. Уже знакомый нам кабинет полковника Клиндера в Управлении разведки. В креслах у стола: Клиндер, сенатор Хениш и Френк. Слушают запись.

Голос Степанычева. ...Есть намск.

Голос Френка. Какой?

Голос Степанычева. Законы распада атомных ядер и законы отказов элементов электронных машин математически одинаковы. Вот смотри... Тебе это ни о чем не говорит?

Клиндер. Ну и так далее... *(Выключает магнитофон.)*

Френк. Скажите, полковник, а нельзя ли, чтобы в перечнице, кроме микрофона, был еще и перец?

Клиндер *(добродушно)*. До этого техника еще не дошла: или — или... Я пригласил вас вот зачем, доктор Гарди. Мне, специалисту, трудно судить о научном содержании ваших бесед с этим русским...

Френк. Кто русский? Ил?!

Клиндер. Как, он вам не сказал, что он советский подданный и коммунист? *(Многозначительно переглядывается с Хенишем.)* Что ж, это еще более усугубляет... Да, мистер Гарди, ваш знакомец Ил — Ильз Андрейвич Степентчэйв — о, эти русские имена! Он направлен в Штаты якобы на стажировку. В ваших беседах с ним меня, как контрразведчика, насторожило вот что. Понимаете ли, есть старый, но верный шпионский прием: высказывать собеседнику ложные соображения, с тем чтобы тот опроверг их истинными сведениями. Сказал бы: не так, а вот так. А?

Френк. Не хотите же вы сказать, что Ил шпион? Неужели такие, как он, бывают шпионами?

Клиндер *(улыбается)*. А какие же? С поднятым воротником и в дымчатых очках, как в комиксах? Именно такие они и бывают: простые, обаятельные, умные люди... Так вот, этот

прием прямо чувствуется в его словах. Он будто наводил вас на одну и ту же тему разговора, а?

Френк. Но... разве я выдал какую-то тайну?

Клинчер. Все зависит от того, что он хотел узнать, док. У меня сложилось впечатление, что этот Степентчэйв пытался выведать кое-что о какой-то новой работе в области ядерного оружия. Ну, скажем, по этой... по стабилизации атомных ядер.

Френк. Я ничего не знаю о такой работе.

Клинчер. Что ж, может быть, именно это ему и требовалось узнать: что мы не ведем таких работ.

Френк. Но... почему именно у меня? Я занимаюсь нейтрино.

Клинчер. Будем говорить прямо, доктор Гарди. Очень важно точно установить, действительно ли разговор этого русского с вами носил разведывательный характер. Если да, то это говорит о том, что они ведут такую работу в области стабилизации ядер и послали к нам агента, чтобы выяснить, как обстоят дела у нас. И мы даже сможем определить, в каком направлении они развивают такую работу. Если нет — развеять наши подозрения, и дело не получит дальнейшего хода.

Френк. Вот оно что... Нейтрино. (*Задумчиво барабанит пальцами по подбородку.*) Конечно же, нейтрино! Ах, черт, как мне это раньше в голову не пришло. Вполне возможно.

Клинчер. Итак, вы считаете?..

Френк. Минутку, полковник, мне надо хорошенько подумать, вспомнить...

Клинчер. Да, да, припомните хорошенько, как вел себя этот стажер. Магнитная запись фиксирует далеко не все.

Френк. Далеко не все, вы правы... Скажите, а Ил... этот русский... он будет арестован?

Клинчер. Если вы дадите нам прямые улики — разумеется.

Френк. Прямых улик я дать не могу. Но и развеять ваши подозрения, полковник, тоже не могу. Я еще раз перебрал в памяти наш последний разговор... похоже, что он действительно хотел у меня что-то выведать. Было в его поведении что-то такое... ну, вот если бы в перечнице, кроме микрофона, был и киноаппарат, это удалось бы заснять.

Клинчер. Настороженность? Цепкость внимания?

Френк. Да, да... И теперь мне понятно, почему именно у меня, у специалиста по нейтрино, он пытался нечто выведать.

Видите ли, полковник, после кафе мы зашли в... в место, где еще, по-видимому, не установлены микрофоны. Хотя можно было бы и там, скажем, в писсуарах... было бы очень практично.

Хениш поворачивает голову и внимательно смотрит на Френка. Но на того уже нашло вдохновение, и взглядом в упор его не смутить.

И там он... таким полунамеком спросил: не считаю ли я, что процесс стабилизации ядер можно раскрыть с помощью нейтрино? Станный вопрос для специалиста по надежности, не так ли?

Клинер. Разумеется! И что же вы ответили?

Френк. Ничего, полковник. Эту тайну я не выдал русским. Хотя я считаю, что именно с помощью нейтрино в этом деле можно немало достичь. Очень немало!

Хениш. Простите, док, а вы уверены, что правильно поняли поведение и смысл намеков этого русского? Понимаете: это очень важно!

Френк. Конечно! Не мог же я, физик, спутать нейтрино с нейтроном. Впрочем, вы вольны принять или не принять к сведению мои догадки. Дело ваше.

Клинер. Доктор Гарди, кто у русских считается видным специалистом по нейтрино?

Френк. Шардецкий. Академик Иван Шардецкий.

Клинер. Шардецкий, Шардецкий... что-то знакомо. *(Подходит к столу, роется в бумагах.)* Ага, вот! *(Хенишу.)* Все сходится, сенатор. Вот телеграмма. *(Читает.)* «Соединенные Штаты Америки, Калифорния, Беркли, университет. Председателю оргкомитета Международного симпозиума по физике слабых взаимодействий Бенджамену Голдвину. Президиум Академии наук СССР извещает, что в виду болезни академик Шардецкий не сможет участвовать в симпозиуме. Ученый секретарь академии Ю. Петин». В виду болезни... что может быть тривиальней такого предлога! Просто Шардецкому теперь незачем лететь через океан и самому все выведывать. Стажер успел передать, что мы такую работу не ведем... О, я чувствую, русские придадут большое значение этим исследованиям!

Хениш. Хм, возможно... Скажите, доктор Гарди, а кто у нас наиболее авторитетный специалист в области нейтрино?

Френк. Конечно же, Бен, Бенджамен Голдвин, мой шеф.

Хениш. Вот как! Хм...

Клиничер. Пожалуй, у нас больше нет к вам вопросов, доктор Гарди. Хочу только предупредить вас о необходимости хранить в тайне наш разговор.

Френк *(встает)*. Разумеется. У меня тоже одно пожелание, полковник: если вы намереваетесь привлечь для консультации Бена... профессора Голдвина, я думаю... вам лучше не ссылаться на меня.

Хениш. Почему, док?

Френк. Потому что... мы с ним работаем вместе. Мы, можно сказать, друзья, и мое мнение может повлиять на его мнение. Бен очень деликатный человек в отношении своих сотрудников. А ведь в столь важном деле нужна объективность, не так ли?

Клиничер. Он прав, сенатор, он абсолютно прав. Здесь важна полная объективность и непредвзятость суждений! Благодарю вас, док. Вы оказали нам большую услугу. Всего доброго!

Хениш. Всего доброго, доктор Гарди. Надеюсь, мы еще увидимся!

Френк. Всего доброго! *(Уходит.)*

Клиничер *(возбужденно прохаживается по кабинету)*. Все-таки чутье разведчика не обманывает. Я с самого начала подозревал этого русского. Что вы скажете, сенатор? Я думаю доложить министру. Если русские развернули такую работу...

Хениш. ...то нам нельзя отставать, так? Боюсь, что я не смогу вас поддерживать, полковник. Слишком все это сомнительно, косвенно. Беседы, телеграмма...

Клиничер. А вы что же — ждете, что русские пришлют нам телеграмму, что они ведут работу в области стабилизации ядра, сенатор? Именно такой телеграмме я бы и не поверил. Сомнительно, косвенно... Да перст божий, что мы узнали от русских хоть это. И потом не забывайте, сенатор, что доктор Гарди не только свидетель, но и специалист. Он знал, что говорил.

Хениш. Да, но почему он это говорил?

Клиничер *(бросается в кресло)*. Послушайте, старый, хитрый, прижимистый Хениш! Вы своей мнительностью можете шокировать даже контрразведчика. В любом поступке человека вы выискиваете скрытые причины. Уверен, что вы и меня сейчас подозреваете в стремлении выдвинуться на этом деле!

Хениш. Ну... а разве нет, полковник?

Клинчер. Видите ли, сенатор... прежде всего я честно служу своей стране, оберегаю ее безопасность. Разумеется, я рассчитываю на ее признательность. Говорят, плох солдат, который не стремится стать генералом. В этом отношении мы, военные, все одинаковы... Но не это движет моими поступками, сенатор. Черт побери, почему вы думаете, что парень сказал не то, что думал.

Хениш *(встает)*. Не знаю, полковник, не знаю. Мне тоже надо оберегать интересы налогоплательщиков, а вы их намереваетесь ввести в новые расходы...

Клинчер. Только ли налогоплательщиков, сенатор?

Хениш. Хм... где у вас вмонтированы микрофоны, полковник?

Клинчер. Что вы, сенатор! В этих стенах?!

Хениш. Именно в этих стенах и надо держать ухо востро... *(Направляется к двери.)* Словом, не знаю, полковник. Мне надо подумать. Старый, хитрый, как вы выразились, прижимистый Хениш никогда не ошибался — и не намерен ошибаться впредь.

Затемнение. По авансцене освещенный лучом прожектора проходит Френк. Останавливается. Разводит руками.

Френк. Ничего не поделаешь, Ил. Извини. Наука требует жертв — так пусть этой жертвой будешь ты!

Затемнение

КАРТИНА ВТОРАЯ

Освещена правая сторона сцены. Кабинет военного министра США. Одну стену занимает световое табло: карта мира в меркаторовской проекции; она наполовину прикрыта шторами, но видны бегающие огоньки траекторий спутников. В углу возле карты-табло стол-пульт, за ним адъютант в наушниках. Во время действия он что-то переключает: на карте-табло меняется расположение сигнальных огней, негромко переговаривается в микрофон, записывает. На другой стене портрет покойного Джеймса Форрестала. На окнах звездно-полосатые

портьеры. За обширным столом министр; он в штатской одежде. Вокруг стола сидят Клинчер, Хениш, профессор Голдвин и математик Кеннет.

Министр. Итак, первое слово специалистам. Профессор Голдвин, возможен ли в принципе способ управления свойствами атомных ядер на расстояниях?

Голдвин. В принципе... м-м... в принципе это не противоречит законам природы. Точнее: запретам, налагаемым на превращения вещества в энергию... началам термодинамики, постулатам квантовой механики, теории относительности и так далее. Однако...

Министр. И следовательно, возможно оружие, которое, к примеру, сможет выводить из строя ядерные боеголовки? Или взрывать их?

Голдвин. М-м... любое изобретение может быть превращено в оружие. Но от принципиальной возможности до практического разрешения проблемы — огромное расстояние. Мы не располагаем пока соответствующими знаниями о ядре.

Клинчер. Но, профессор, разведывательные данные говорят, что русские...

Голдвин. Наука не строится на разведывательных данных.

Министр *(улыбается)*. Вы осторожны, как настоящий ученый, док.

Голдвин. А я такой и есть, сэр.

Хениш. Профессор, как по-вашему, если бы такая работа делалась — в каком направлении надо было бы вести исследования?

Голдвин. М-м... думаю, что в области физики слабых взаимодействий, в области нейтрино. Они наиболее легко проникают в ядра.

Клинчер *(министру)*. Вот видите, сэр. Подтверждается!

Голдвин. Но, повторяю, у меня нет уверенности, что русские ведут такую работу. Слишком мало знаний. Для управления ядрами надо иметь на руках открытие, равновеликое открытию радиоактивности. А его нет.

Министр. Полковник, мнение профессора Голдвина не согласуется с вашими данными. Уверены ли вы в них?

Клинчер. Видите ли, сэр...

Министр. Да или нет? Уверены ли вы в них настолько,

чтобы, к примеру, взять на себя ответственность за организацию такой работы у нас?

Кли н чер. Да, сэр. Безусловно — да. И кроме того, я проверил свои выводы методами кибернетики, сэр. Доктор Кеннет, прошу вас.

Кеннет (*встает*). Мы, сэр, ввели в вычислительную машину сведения, любезно предоставленные полковником Клинчером (*полупоклон*), данные о ситуации в мире. Просчитали возможные варианты поведения нашего, с позволения сказать, потенциального противника. Могу подтвердить, что министр Клинчер пришел к верному умозаключению. Машина выдала такой же вариант. Вот программа и решение, сэр. (*Кладет на стол министра папку.*)

Министр. Думаю, это лишнее, полковник. Я могу доверять своим сотрудникам и без вычислительных машин... Благодарю вас, доктор Кеннет. Мы не будем вас долее задерживать.

Кеннет. Да, сэр, я понимаю. Всего доброго! (*Уходит.*)

Министр. Сенатор, у вас еще остались сомнения?

Хениш. Признаюсь, я сдался уже после высказываний профессора Голдвина, сэр. Откровенно говоря, я ждал от него категорического заверения, что такая работа невозможна и не имеет смысла. Но коль скоро это не так...

Министр (*выходит из-за стола. Он небольшого роста, с большой головой и коротким туловищем*). Итак... итак, случилось то, чего я ждал и чего опасался. Равновесие сил в мире может снова резко нарушиться. (*Подходит к карте-табло, отдергивает штору, смотрит на восточное полушарие.*) И на этот раз начинают они...

Голдвин. Простите, сэр, нет оснований считать, что русские — если они действительно ведут такую работу — добьются успеха.

Министр. Профессор, в свое время вы участвовали в создании атомной бомбы. Скажите: тогда, в самом начале работы, у вас была уверенность в успехе?

Голдвин. М-м... ее не было до испытания в Аламогордо, сэр.

Министр. Однако вы работали. Я понимаю вас, профессор: вы чувствуете ответственность перед наукой. Но поймите и нас, политиков, а если?.. Если русские скрыли какое-то важное открытие и сейчас разрабатывают его? Вы понимаете, ка-

кую угрозу может представлять это для нашей обороны, для нашего ядерного щита? Мы только недавно завершили создание противоракетной системы «Найк-Зевс» стоимостью в шестьдесят миллиардов долларов — и она может оказаться бессильной против нового оружия русских! Мы все должны испытывать беспокойство от этой мысли. Высокая ответственность за судьбы мира, профессор, заставляет нас быть осторожными и предусмотрительными! (*Возбуждается от собственных слов.*) И даже, если хотите, более предусмотрительными, чем осторожными! Нам надо быть готовыми ко всему. Мы сможем эффективно сдерживать коммунизм, только если будем готовы отразить каждое действие красных мощным противодействием! И даже, если хотите, опередить своим противодействием их действие! Я уверен, что все мы: и вы, сенатор, и вы, профессор, и вы, полковник, — отнесемся к данной проблеме как достойные представители американского народа и свободного мира. Я жду от вас, сенатор, поддержки в конгрессе при истребовании дополнительных ассигнований на работу...

Х е н и ш. Думаю, комиссия не будет противиться. Если на одной чаше весов несколько десятков миллионов долларов, а на другой — наша безопасность, надо ли сомневаться, что перетянет.

М и н и с т р. Отлично сказано, сенатор! Я всегда считал вас достойным представителем нашего народа. Я жду от вас, полковник, согласия организовать этот проект.

К л и н ч е р. Я согласен, сэр.

М и н и с т р. Я был уверен в вас, полковник! Я жду от вас, профессор, согласия руководить исследованиями. На вашу долю остается только наука, док. В сущности, вы будете заниматься тем же, что и раньше, только в более широком масштабе... Итак?

Г о л д в и н. М-м... боюсь, что нет, сэр. Мне эта затея не по душе. Кроме чисто научных сомнений, мне не по душе то, что исследования, которые, пока надлежит вести в чисто академическом плане, попадают в сферу политических и военных дел. Мне не хотелось бы возглавить новый тур в ядерной гонке... Еще никому не ясно, куда могут привести исследования, а мы уже намереваемся опередить в них русских. Это гонка к пропасти, господа!

М и н и с т р. И это говорите вы, один из создателей нашей ядерной мощи?!

Голдвин. Да. И мне не по душе, что снова разыгрывается та же история! Тогда мы воевали с нацистами. И я, как и все, был уверен, что необходимо опередить Гитлера в создании атомной бомбы... Но русские — не Гитлер, сэр! И мы не воюем с ними.

Министр. Вы... вы плохой американец, мистер Голдвин! Голдвин. Уж какой есть, сэр.

Молчание.

Хенриш. Разрешите мне, сэр?

Министр кивает.

Профессор, открою вам ужасную тайну: я тоже считаю, что русские — не Гитлер. Но давайте смотреть на вещи трезво. Между нами и русскими существует соперничество. Когда и почему оно возникло, какие цели преследуют обе стороны — не об этом речь. Таков мир, таким он нам достался от наших предшественников. И вы не можете не согласиться, что это соперничество до сих пор не вылилось в истребительную войну только благодаря равновесию сил и прежде всего ядерному равновесию. Если они нас — то мы их, мы их — они нас. Обе стороны ничего не выигрывают. Но представьте, что это спасительное для мира равновесие нарушилось: русские обрели оружие, нейтрализующее нашу ядерную силу. А у нас его нет... Что будет тогда?

Министр. Да! Что тогда, профессор? Не бывает равновесия слабого с сильным — только сильного с сильным! И русские не преминут с нами разделаться, уж будьте покойны! Видит бог, мы не хотим войны. Но если они нас, то мы их — на этом держится мир! Так что во имя сохранения мира, во имя безопасности Америки и западной цивилизации мы предлагаем вам взяться за работу, профессор!

Голдвин молчит.

Клинер (нервно). Я не понимаю ваших колебаний, профессор. Речь идет о гигантском проекте, об исследованиях... и каких!

Хенриш. И в конечном счете может оказаться, что вы правы: такое оружие невозможно, наши опасения преувеличены. Что ж, лично я только вздохну с облегчением.

Министр. Итак, профессор?

Голдвин молчит.

Хениш. Как жаль, что я забросил физику ради политики! Меня не пришлось бы долго уговаривать.

Голдвин. Вы были физиком, сенатор?

Хениш. Да. И тоже ядерщиком. Но это было еще до войны, задолго до Великого Ядерного Бума. Я опубликовал только одну статью — о пузырьковой модели ядра. Может быть, помните, профессор?

Голдвин. М-м... припоминаю. Была опубликована в «Физикал ревью», в тридцать восьмом или в тридцать девятом году. Какой университет вы окончили?

Хениш. Пенсильванский... Ах, далекие милые годы! *(Конфиденциально.)* Министр ждет вашего ответа, профессор.

Голдвин. М-да... да, да. Я размышлял вот о чем, господа: могли ли действительно русские не опубликовать важное открытие в области физики ядра? Прецедента этому еще не было... Я спросил себя: если бы ты, Бен, сейчас открыл нечто вроде цепной реакции деления и знал, что из нее выйдет потом, — ты опубликовал бы сведения о ней? Ради признания, ради славы, ради Нобелевской премии? Нет. Я бы не сделал этого... Так почему русские ученые не могут поступить так? М-м... и кроме того, доводы... особенно коллеги Хениша, довольно основательны. *(Министру.)* Я согласен заняться такими исследованиями, сэр. Но только исследованиями!

Министр. Вот и отлично, док! Разумеется, только исследованиями, мы пока не вправе требовать от вас большего. А организацию работ возьмет на себя полковник Клинчер, проницательности которого мы обязаны раскрытию этой важной проблемы. Надеюсь, вы согласитесь с ним сотрудничать, профессор?

Голдвин. М-м... а вы какой университет окончили, полковник?

Клинчер. Вест-Пойнт, сэр.

Голдвин. А-а-а, кавалерист?

Клинчер *(оскорбленно)*. Военный стратег, сэр!

Голдвин. М-м... ну, да все равно. *(Встает.)* Разрешите откланяться, господа! *(Уходит.)*

Министр. Ох, эти яйцеголовые! Откровенно говоря, мне

не нравятся настроения этого Голдвина. Не поискать ли нам кого-нибудь другого, полковник?

Клинчер. К сожалению, выбирать не приходится, сэр. Специалистов по нейтрино немного, а такого класса, как Голдвин, просто нет. Я думаю, нас не должны занимать его взгляды, сэр. Пусть исповедует что угодно, лишь бы делал то, что мы хотим.

Министр. Нужно будет заставить его делать это, полковник!

Клинчер (*замявшись*). Боюсь, что я... что мне... во всяком случае, в нынешнем положении — трудно иметь достаточное влияние, сэр. Вы же видели, как он со мной разговаривал.

Хениш. Полковник прав, сэр. Они очень чтят звания и чины, эти яйцеголовые.

Министр. Понимаю. Когда законопроект будет утвержден, мне, думаю, удастся убедить президента присвоить вам, Клинчер, звание бригадного генерала — учитывая важность работы. Итак, за дело... генерал! (*Встает, давая понять, что аудиенция окончена.*)

Клинчер и Хениш уходят. Тотчас поднимается адъютант.

Адъютант (*подходит к столу, кладет несколько бланков*). Дневные сводки, сэр.

За дверью.

Клинчер (*Хенишу*). Примите мою благодарность, сенатор. Не ожидал!

Хениш. Не стоит. Генералом больше, генералом меньше — это уже ничего не меняет. (*Уходит.*)

Клинчер (*жмет себе руку*). Поздравляю вас, генерал! Поздравляю! За работу! Что ж, в конце концов этот болван Гровс мог, а я не смогу?!

Затемнение. Освещается левая сторона сцены. Кабинет Макарова в министерстве. Столы, составленные буквой «Г», коверная дорожка, телефон с коммутатором, коричневый сейф. За столом Макаров.

Входит, слегка прихрамывая, Шардецкий.

Макаров. Иван Иванович, рад вас видеть в добром здравии!

Шардецкий. Здравствуйте, Олег Викторович. Я к вам, как гоголевский городничий, — с пренеприятнейшим известием... *(Быстро проходит, усаживается.)* Американцы закрыли нейтрино.

Макаров. В каком смысле — закрыли?

Шардецкий. Не в физическом, разумеется. Из последних выпусков американской литературы по ядерной физике исчезли публикации по нейтрино и слабым взаимодействиям, хотя еще месяц назад они превалировали.

Макаров. Ого... такое уже было!

Шардецкий. Да. Так было с публикациями по делению урана — когда начались работы по созданию урановой бомбы. Так было с публикациями по термоядерному синтезу — когда начались работы по водородной бомбе. Тут прямая аналогия. Кроме того: симпозиум по физике слабых взаимодействий, который должен быть в феврале в Сан-Франциско отменен.

Макаров. Могу еще добавить: недавно конгресс США утвердил дополнительные ассигнования в размере пятидесяти пяти миллионов долларов на исследовательскую работу по министерству обороны... Значит, это всерьез, Иван Иванович!

Шардецкий. Всерьез. И они сами указывают нам направление работы... Спасибо им хоть за это! *(Встает, прихрамывая, шагает по кабинету.)* Но если так — куда идем, а? Камо грядеши, мир? Управление устойчивостью ядер — ядер, из которых состоит все и вся на Земле. Вы представляете, что это может значить? Взрывы зарядов докритической массы, то есть ядерных бомб, на складах или реакторов на атомных электростанциях и кораблях. Или наоборот: ядерные материалы утратят свои свойства. Или станут радиоактивными обычные вещества, вода, например... Черт знает что! *(Садится.)* Знаете, я ехал к вам в такси, разговорился с водителем. Речь зашла о ядерных делах... не только наши с вами умы они занимают, эти дела. Знаете, что сказал таксист? «Перебить, — говорит, — надо всех этих ядерщиков, пока не поздно!» А?

Макаров. Э, глупые, безответственные рассуждения!

Шардецкий. А что? Может, в этом и состоит сермяжная правда: истребить нас — и все? Да, но почему именно нас? Почему не политиков, от которых зависит: пустить ядерное оружие в ход или нет? Не военных, которые разрабатывают стратегии с применением ядерного оружия? Не рабочих атомных заводов наконец, которые тоже ведают, что творят?

Все эти люди могли бы заняться чем-то иным. А мы, физики, что — делаем, что умеем. Ядро — ваш хлеб... (*Трет лицо.*) Простите, Олег Викторович, я ужасно всем этим расстроен.

Макаров. Э, Иван Иванович, не принимайте все так близко к сердцу! Есть ситуация в мире, в ней надо действовать соответственно — и все. А таксист — что таксист?.. Ну, так беретесь?

Шардецкий. За что? Ах, вы об этом! Гм... Теперь я буду страховаться, Олег Викторович. Вы ведь небось сразу навалите на нас правительственное постановление: умри, но сделай. А если не сделаем? Мало знаем об этой проблеме. Если не откроем этот процесс?

Макаров. Откроете, Иван Иванович, вы — да не откроете? Помните, как было в сорок шестом году? Важно было знать, что есть атомная бомба. Так и сейчас... Не такие американцы дураки, чтобы без ничего отвалить на работу пятьдесят миллионов. Выходит, они что-то знают. Значит, возможно! Вы же сами говорите: они подсказывают направление поисков — нейтрино. Кому же, как не вам?

Шардецкий. Гм... а если все-таки не выйдет? И спросят вас: куда смотрели?

Макаров. Как куда? На Соединенные Штаты Америки, передовую в техническом отношении державу. Теперь-то все проще, Иван Иванович. Теперь: надо!

Шардецкий. Тоже верно... Что ж, входите с предложением в правительство, Олег Викторович. Надо, куда ж денешься...

Макаров. Да-а, опять мы отстали от Штатов... Ну, ничего. Догоним. Не впервой!

Занавес

Действие второе. Поиски в потемках

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Освещена левая половина сцены. Кабинет Шардецкого в КБ-12. Широкое окно. За ним обычный для исследовательских организаций пейзаж: ящики с нераспечатанным оборудованием, баллоны с сжатыми газами, мачты и трансформаторы вы-

соковольтной подстанции. Далее — снежное поле и на горизонте темная бахрома подмосковного леса. На стене кабинета — небольшая коричневая доска, таблицы радиоактивных семейств и портрет И. В. Курчатова. На столе микрофон селектора. В кабинете: Шардецкий, Штерн, Саминский, Сердюк, Валернер, Якубович и Самойлов. Идет оперативка.

Шардецкий. Начнем по порядку. Первый экспериментальный. Прошу, Исаак Абрамович. Чего достигли за последний месяц?

Штерн. Исследовали нейтрино-мезонные взаимодействия на средних энергиях. Ничего нового, Иван Иванович. Думаем сдвинуться к большим энергиям.

Шардецкий. Сколько опытов провели?

Штерн. Более двух тысяч. По пять опытов в каждом поддиапазоне. Просмотрели девятью пять тысяч «трековых» снимков.

Шардецкий. Солидно. Что ж, переходите к большим... Второй экспериментальный отдел — прошу, Игорь Алексеевич.

Саминский. Нам было задано отработать методику генерации нейтрино на встречных пучках заряженных частиц в ускорителе. По данной теме были проведены все запланированные эксперименты, восемь семинаров. Подготовлены для публикации в закрытых сборниках пятнадцать статей...

Шардецкий. Ну, а генерация нейтрино?

Саминский. Не получается, Иван Иванович... Мы следуем в точности вашей теории, но...

Шардецкий. Игорь Алексеевич, ваша задача: добиться генерации, а не следовать моим теориям. Не выходит по моей, примените голдвинговскую, боровскую, выдумайте свою. Важно — достичь!

Саминский. Понимаю, Иван Иванович. Будем пробовать.

Шардецкий. Давайте... Третий экспериментальный, прошу.

Сердюк. Изучали воздействие нейтрино и антинейтрино от уранового реактора на гамма-радиоактивный кобальт и альфа-радиоактивный уран-235. Результат отрицательный.

Шардецкий. Сколько облучений выполнили?

Сердюк. Более трех тысяч.

Шардецкий. Тоже солидно. Значит, и эта возможность

отсекается. Пробуйте теперь облучать ядра нейтрино малых энергий, Евгений Сергеевич.

Сердюк (*морщится*). Их очень трудно обнаруживать, Иван Иванович, мало сечение захвата.

Шардецкий. Так не заниматься этим, что ли? Искать там, где светло? Усовершенствуйте способы отсчета нейтрино... Дальше. Лаборатория плазмы, прошу.

Якубович. Генерация нейтрино в высокотемпературной плазме идет, но очень неустойчиво. Опыты требуют более точной теории устойчивости плазмы, коей, к сожалению, нет.

Шардецкий. А почему нет? Теоретический отдел!

Валернер (*нервно*). Теоретический отдел, теоретический отдел, чуть что, сразу теоретический отдел! Теория строится на основе опытных данных, Иван Иванович. Точная теория — на основе достаточных опытных данных. Через две точки можно, как известно, провести множество окружностей — определенную же окружность можно построить лишь по трем точкам! Пока что плазменники дали нам, образно говоря, лишь две опытные точки. Этого, увы, недостаточно!

Якубович. Так вы ж меня извините, Шарль Борисович, по трем точкам я и без вас окружность построю.

Валернер. Так и вы меня извините, дражайший Илья Васильевич! Не об окружности речи!

Шардецкий. Все ясно. Иван кивает на Петра...

Валернер. А Петр на Ивана, вот именно! И примирить эти две возможности, Иван Иванович, нет никакой возможности.

Шардецкий. Тоже верно... Ну, а чем порадует нас группа «Эврика»?

Самойлов (*рассеянно*). Мы что? Мы ничего. Работаем. Обнаружили еще полдесятка «комариных эффектиков»... да что толку? Ни за какой не ухватишься. Все их можно объяснить. Нам такие не надо.

Шардецкий. Ясно... (*Раздраженно.*) Почему вы опять небритый, Петр Иванович? Сколько раз я вас просил хотя бы на совещания являться без этой щетины на щеках!

Самойлов (*трогает щеку*). Думаете — поможет?

Шардецкий. Поможет не поможет — извольте придерживаться хорошего тона. (*Помолчав, ко всем.*) Что ж, товарищи, продолжаем искать. Пусть вас не огорчает, что весь этот год мы получали одни отрицательные результаты. И отрица-

тельное знание — знание. Знание того, что по этому пути идти нельзя, надо выбирать иные. Чем больше мы отседем неудачных вариантов, тем ближе будет удачный. Есть в природе процесс стабилизации ядер, не может его не быть... Все.

Командиры расходятся. У стола остается Саминский.

Саминский. Иван Иванович, я хотел бы обсудить с вами тему диссертации. И просить вас быть ее руководителем.

Шардецкий. Какую же вы выбрали тему?

Саминский. «Некоторые аспекты методики генерации нейтрино на встречных пучках в синхротроне».

Шардецкий. Помилуйте, Игорь Алексеевич, но ведь генерации вы еще не добились!

Саминский. Для написания диссертации это не имеет решающего значения, Иван Иванович. От соискателя требуется доказать свои возможности в научных изысканиях...

Шардецкий. Так вы же сначала докажите эти свои возможности работой. От чужой теории боитесь отклониться! Самому думать надо. Как угодно, но я категорически против такой диссертации.

Саминский *(встает)*. В таком случае... мне ничего не остается, как... словом: вот! *(Кладет на стол заявление.)*

Шардецкий. Что ж... удерживать не в моих правилах. *(Подписывает заявление.)* У вас все?

Саминский *(берет заявление; теперь он неподчиленный и может резать правду-матку)*. Нет, не все! Насчет этого вашего утешения, Иван Иванович, что и отрицательный результат — результат... так знайте: таким способом хорошо ловить льва в пустыне! Вот так-с! Да-с!

Шардецкий. Тоже верно... Не забудьте хлопнуть дверью.

Саминский уходит, хлопая дверью. Шардецкий, сгорбившись, сидит за столом. Входит Макаров — он в модном зимнем пальто, в пыжиковой шапке, с портфелем.

Макаров. Добрый день, Иван Иванович! *(Раздевается, вешает пальто на стойку.)* Вот решил вас навестить, поглядеть, как дела, не нужно ли чего.

Шардецкий. Здравствуйте, Олег Викторович. С приездом. *(Трет правую сторону головы, морщится.)*

Макаров (*садится у стола*). Вы нездоровы, Иван Иванович?

Шардецкий. Э, пустяки, не обращайтесь внимания. Просто я теперь точно знаю, какая часть моего мозга ведает научными делами. Вот эта (*показывает*) — от виска до затылка... Плохи дела, Олег Викторович. Год прошел, как сон пустой. В пересчете на коллектив — четыре тысячи лет... Вот сейчас уволился один начальник отдела. Пустой человек, посредственный исследователь, а неприятно. От меня никто никогда не уходил, разве что сам прогонял... (*Встает, прихрамывая, шагает по кабинету.*) Мне уже неловко перед сотрудниками. Год назад я перед ними заливался на семинарах: что-де при нынешнем уровне экспериментальной техники, при наших знаниях, при нашем оснащении весь пятидесятилетний путь от открытия Беккереля до термоядерной реакции можно пройти за несколько месяцев. И это действительно так: можно... если иметь соответствующее открытие. А его нет.

Макаров. В чем же суть ваших затруднений? Я, конечно, отстал, но вы, пожалуйста, объясните, чтобы я отчитался в Москве.

Шардецкий. Объяснить можно... объяснить все можно. А вот сделать... Словом, так. (*Подходит к доске, рисует мелом круг, в нем — малые кружки.*) Вот атомное ядро, система из десятков частиц — нуклонов. Когда-то, миллиарды лет назад, во вселенной конденсировались облака ионизированного водорода... уплотнялись, загорались звездами. Потом часть звезд взрывалась. Так получились тяжелые атомные ядра. Сначала в них был избыток энергии — ну, еще бы: взрыв звезды не шутка. Излучением частиц и электромагнитных квантов ядра отдали избыток энергии в среду, успокоились. Не все, впрочем, некоторые, естественно радиоактивные, до сих пор успокаиваются. По сути, естественная радиоактивность — это отголосок тех давних взрывов звезд, в которых сотворились вещества... И вот над каким вопросом мы сейчас бьемся: взаимодействуют ли ядра с окружающей средой непрерывно или только в актах распада, который может произойти раз в миллиард лет? Может, и вовсе не произойти. Почему действительно ядра так долго «остывают»? Стаканы с чаем остывают все одинаково, а не так, чтобы один вчера, второй через тысячу лет, третий никогда... Это, если хотите, вопрос философский: или ядро — идеальная система, созданная навеки неким божеством, или оно

связано с окружающей материей и непрерывно, как и все прочее, обменивается с ней энергией? Если идеальная — значит, все в воле господа, физикам здесь делать нечего. Захочет бог — ядро распадется, будет цепная реакция, взрыв, атомная война, что хотите. Не захочет — ничего не будет...

Макаров. Бог-то бог, да и сам не будь плох.

Шардецкий. Тоже верно... Итак, если ядро взаимодействует со средой, надо уловить это взаимодействие и управлять им. Умозрительно: взаимодействует. И именно с нейтрино, ничтожной всепроникающей частицей. Здесь, если угодно, доказательство от противного: Солнце и звезды излучают столько нейтрино, что каждую секунду через нас с вами проходят миллиарды миллиардов миллиардов этих частиц. Потоки нейтрино проникают Землю так, будто она прозрачна для них, будто ее вовсе и нет. Но она-то есть! И на пути каждого нейтрино — миллиарды ядер. Мы не обнаруживаем обычно никаких изменений в ядрах, облученных нейтрино, но значит ли это, что их нет? Может, мы просто не можем их уловить? *(Вздыхает.)* И мы действительно не можем пока уловить такие изменения.

Макаров. Да, сложно... Что же все-таки сделано?

Шардецкий. Почитай, что ничего, Олег Викторович. *(Стирает рисунок.)* Отбраковали несколько десятков вариантов... но сколько еще вариантов впереди, я не знаю.

Макаров *(начинает волноваться)*. Но как же так, Иван Иванович! Мы вас всем обеспечиваем, средств не жалеем, дефицитное оборудование закупаем... Вот, кстати, на днях прибывает из Японии комплект лучевых анализаторов со сверхвысокой разрешающей способностью. Полтора миллиона валютой отдали. Пожалуйста, берите!

Шардецкий. Не нужны нам пока эти анализаторы, Олег Викторович. Думать нам надо. Думать!

Макаров. Но ведь никаких сдвигов, никакой гарантии. А американцы работают всюю, Иван Иванович, есть данные. Шардецкий. И что же у них получается?

Макаров. Таких данных нет, но... надо все-таки быстрее.

Шардецкий. Ну, это уж как водится: давай-давай. Даем-даем...

Макаров. А как же вы хотите, Иван Иванович! Ведь у вас одна тысяча девятьсот сорок специалистов с высшим образованием исследования ведут. Должны же что-то найти!

Шардецкий. Тожe верно... А может, лучше будет, если мы ничего не найдем, а? Пусть люди управятся с тем, что уже есть.

Макаров. Ну вот видите, какие у вас настроения! А ведь сами брались за работу, инициативу проявляли! Как хотите, а я эти японские анализаторы вам заразнаряжу.

Шардецкий. Зачем?! Чтобы в случае чего уйти в кусты: мол, все меры принял, всем обеспечил — они виноваты? Перестраховываетесь?

Макаров *(встает)*. Вы забываетесь, товарищ Шардецкий!

Шардецкий *(устало)*. Извините, Олег Викторович... я скоро на свою тень кидаться начну. Эх, Олег Викторович, в науке один начальник — природа. И ее действия не обжалуешь ни в какие инстанции...

Затемнение

КАРТИНА ВТОРАЯ

Освещена правая сторона. Обширная приемная в исследовательском Центре «Нуль». Кресла, столы, телефоны. Друг против друга двери в кабинеты Голдвина и Клинчера. В углу демонстрационная модель атомного ядра из разноцветных шаров. Видна часть кабинета-лаборатории Голдвина: лабораторный стол с приборами, книжный шкаф, часть пульта, прозрачная стена из свинцового стекла, за ней — реакторный зал в перспективе. За столом у двери кабинета Клинчера сидит лейтенант, бывший сотрудник и нынешний адъютант Клинчера.

Клинчер *(входит, бодро)*. Доброе утро!

Лейтенант *(вскакивает)*. Доброе утро, сэр!

Клинчер. Что у нас на сегодня?

Лейтенант *(протягивает бумагу)*. Вот, сэр, целый список желающих посетить Центр.

Клинчер. Опять... *(Просматривает список.)* Мистер Реджишальд Глориан, руководитель исследовательского отдела «Америкен атомик корпорейшен», желает познакомиться с направлением и перспективами работ... Стюарт Бигль, член правления «Коламбия реакторс компани», просит познакомиться... Мартин Дубербиллер, член правления «Интернейшнл бизнес

машин компани»... Так, так... «Юнайтед эвиэйшен энд Ракетс компани»... «Дейтерий-Тритий корпорейшен»... «Нуклеар флотс инкорпорейтед»... «Белл телефон лаборатори»... «Коммюникейшен сателлайт корпорейшен»... «Дженерал моторс»... словом, еще десяток солиднейших фирм!

Лейтенант. Вы теперь воротила, сэр.

Клинчер. Да, да... это вам, Стивен, не в управлении прозябать. *(Возвращает бумагу, задумчиво.)* Но хотел бы я знать: зачем он это делает?

Лейтенант. Кто, сэр?

Клинчер. Некто, Стивен. Некто, который через третьих лиц дал знать оборонным фирмам, что мы разрабатываем новое оружие. Ведь ни одна компания не передаст такую информацию другой, а они все здесь. Желают ознакомиться... черт бы их побрал!

Лейтенант. Не пропускать, сэр?

Клинчер. Что-о? Из вас не получится деловой человек, лейтенант. Пропустить! Провести их к главному экспериментальному корпусу. Я сам буду давать объяснения.

Лейтенант. И этих, сэр? *(Протягивает другую бумагу.)*

Клинчер *(читает)*. Доктор Ширрер и доктор Мак-Круп из Американского общества врачей-психиатров... А им что нужно?

Лейтенант. Я узнавал, сэр. Доктор Ширрер объяснил так: значительная часть психических заболеваний вызвана распространением ракетно-ядерного оружия. Для оценки перспектив развития своего общества они хотели бы выяснить: как повлияет на психическую конъюнктуру в стране создание нового оружия.

Клинчер. Черт знает что! Нет, этих не пускать — у нас все-таки секретное предприятие.

Лейтенант. Ясно, сэр. *(Берет бумаги, уходит.)*

Голдвин *(входит)*. Доброе утро. Генерал, я еще неделю назад советовал приостановить строительство второго экспериментального корпуса, однако работы продолжают. Почему? Я ведь объяснил, что нет смысла строить его, пока не ясны результаты предварительных опытов.

Клинчер. Мы не можем прекратить работы, профессор. Нас то и дело посещают представители солидных фирм, видные политики и чиновники. Что будет, если они увидят застой? А как идут опыты?

Голдвин. По-прежнему. Подробные сведения вы сможете почерпнуть в отчетах, переданных в архив. *(Направляется к кабинету.)*

Клинчер. Кстати, док, русские закупили в Японии... эти... как их? *(Вынимает блокнот.)* Вот: лучевые анализаторы высокой разрешающей способности. Цена комплекта: миллион шестьсот тысяч долларов... Вот видите, профессор!

Голдвин. Я знаю, что вы скажете дальше, генерал! Я сразу предупредил, что буду исследовать проблему, а не копировать что-то, что делают русские. И мне нет дела до их закупок в Японии, в Парагвае или на Берегу Слоновой Кости. Я веду работу по своему разумению!

Френк *(появляется в дверях)*. Доброе утро! Бен, я ждал вас: запускаем ускоритель на встречных пучках. Пойдемте!

Голдвин. С удовольствием, Френк. *(Направляется к двери.)* Лучевые анализаторы... Как вы думаете, Френк, нам в исследованиях могут понадобиться лучевые анализаторы? *(Уходит.)*

Телефонный звонок.

Клинчер *(берет трубку)*. Генерал Клинчер. Да, лейтенант. Ждут? Отлично. Иду! *(Уходит.)*

Продолжительное затемнение, свидетельствующее, что время идет. Свет. В приемную входит Дубербиллер, полный пожилой человек. Осматривается. Подходит к модели ядра, тычет ее пальцем. Шары колышутся. Заглядывает в кабинет

Голдвина, берет со стола книгу, раскрывает.

Дубербиллер *(читает)*. «...В согласии с явлениями бета-распада лагранжиан четырехфермионного взаимодействия может быть описан как произведение лептонных и нуклонных токов...» Ух, тарабарщина! *(Кладет книгу, выходит в приемную.)* Интересно, на этом ранчо можно найти сифон с содовой?

Входит сенатор Хениш.

Эд! Капитан Хениш, будь я проклят! *(Раскрывает объятия.)*
Хениш. Майор Дубербиллер! Март! Вот так встреча!

Они обнимаются. Рассматривают друг друга.

Дубербиллер. Ах, черт, побери, Эд! Германия, сорок пятый... Какие мы тогда вывезли картины! А ты постарел, Эд.

Хениш. Да и ты не помолодел, Март. Время летит!

Дубербиллер. Эд, ты здесь от «Глобус компании»?

Хениш. Нет. От сената Соединенных Штатов. Я отошел от дел компании, Март. Политика, брат, отнимает все... А ты?

Дубербиллер. От «Интернейшнл бизнес машин». Здесь сегодня целый табун разных представителей. Э, водят, как туристов по Колизею! Я удрал... Эд, ты должен быть в курсе: это, серьезно?

Хениш. Что именно?

Дубербиллер. Ну, то, что толковал нам генерал Клинчер: будто после завершения этих исследований ядерное оружие и все с ним связанное потеряют свое значение. Наша компания вкладывает очень крупные средства в разработку электронных систем управления глобальными ракетами... Ну, о чем говорить: все мы связаны с ядром. А, Эд?

Хениш. Генерал не заинтересован преувеличивать, Март.

Дубербиллер. И когда будет это новое оружие? Лет через пять?

Хениш. Март, я и так сказал тебе гораздо больше, чем следует. Я ведь сенатор.

Дубербиллер. Ну, Эд, мы же вместе воевали!

Хениш. Думаю, что не позже чем через год, Март.

Дубербиллер. Так... ясно. Ясно! Спасибо, Эд. Ну, я, пожалуй, пойду. (*Жмет руку Хенишу.*) Когда вернешься к делам, я к твоим услугам, Эд. Будь здоров! (*Уходит.*)

Хениш *усаживается в кресло, вытягивает ноги, закуривает.*

Клинчер (*входит, бросается в кресло напротив*). Добрый день, сенатор! Уфф... измотали меня эти представители! «Скажите, генерал...», «Объясните, генерал...» Как будто я обязан разбираться в физике, чтобы руководить этой конторой!

Хениш. Обязаны, генерал.

Клинчер. Ну... Гровс обходился без физики, когда ворочал манхэттенским проектом! (*Помолчав.*) Послушайте, сенатор. У меня к вам серьезный и... и неприятный разговор. Да, да. Зачем вы распространяете информацию о направлении исследований в Центре? Ведь потоки представителей фирм — ваша работа, сэр!

Хениш. Вы уверены, сэр?

Клинчер. Я знаю это, сенатор. Я через Управление разведки проследил каналы, по которым фирмы получали информацию, и они сходятся к одному источнику: к вам. Я пом-

ню и ценю вашу поддержку, поэтому мне неприятно знать то, что я знаю. Но, как хотите, мне придется сообщить это министру. Сейчас, когда еще нет надежных результатов, создавать бум вокруг работы!

Хениш. Вы ничего не сообщите министру, генерал.

Клинчер. Вот как!

Хениш. Да. Вы разбираетесь в теории надежности электронных устройств?

Клинчер. Нет... зачем это мне?

Хениш. Хочу вас познакомить с интересными работами в этом направлении одного русского... *(Достает из кармана несколько брошюр, протягивает генералу.)* Полистайте. Они снабжены английскими аннотациями. Там автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на тему «Способы повышения надежности электронных устройств» и три статьи, опубликованные в прошлом году в русских журналах... Кстати, мне не пришлось прибегать к услугам разведки, чтобы добыть эти оттиски, — их легко получить через Международный библиотечный фонд.

Клинчер *(рассеянно вертит брошюры в руках)*. Зачем это мне?

Хениш. А затем, что автором этих статей и диссертации является известный вам стажер Илья Степентчэев, некогда аспирант, а ныне доцент кафедры электроники в Московском физико-технологическом институте. Там написано.

Клинчер *(листает)*. Вот как! Это интересно.

Хениш. Это более чем интересно, полковник...

Клинчер. Генерал, сэр! Бригадный генерал!

Хениш. Это более чем интересно, полковник. Это значит, что стажер Степентчэев не был агентом, выведывавшим наши разработки в области ядерной стабильности. Это значит, что ваши данные о развернутой русской работе в этой области ложны... майор! Это значит, что возглавляемая вами работа стоимостью в пятьдесят миллионов долларов — колоссальная афера... лейтенант Клинчер!

Клинчер. Не спешите унижать меня, сэр! Вы забываете, что эти данные подтвердили вычислительные машины, что с ними согласились специалисты!

Хениш. Машины работают на тех, кто их программирует, сэр. Специалисты — на тех, кто им платит.

Клинчер. Неужели... неужели они обманули меня?

Хениш. Вы хотели, чтобы вас так обманули, Клинчер?

Клинчер. Но... но есть данные, что русские работают!

Хениш. Теперь вашими данными побрезгуют даже репортеры Херста.

Френк *(появляется в дверях)*. Добрый день, сенатор! Каким ветром...

Клинчер. Значит, это все он?! *(Вскакивает, бросается к Френку.)* Ты... ты, грязный провокатор! Ублюдок! Убью!

Хениш. Клинчер, сесть!

Клинчер беспомощно оглядывается.

Сесть!!!

Клинчер. Но ведь... это все он! Он! Боже, что теперь будет? *(Опускается в кресло, закрывает лицо ладонями.)*

Френк. Что с вами, генерал? Что здесь происходит?

Хениш. Ничего особенного, мой мальчик. Просто все раскрылось.

Френк. Что именно?

Хениш. Твоя шутка со Степентчэйвом, Френк.

Френк. Да? Уже? *(Опускается в кресло.)* Жаль... Я думал, у нас есть еще года полтора в запасе. Мы бы успели выйти на верную дорогу...

Хениш. Не выйдете вы на нее и за двадцать лет, парень. Я как-никак тоже физик. Кроме того, я выяснил мнение других физиков, не только Бена Голдвина... Дохлое дело, сынок! *(Хлопает Френка по колену.)* Вы могли обвести такого самонадеянного болвана, как Клинчер... который к тому же желал, чтобы его обманули.

Клинчер делает движение.

Молчать, генерал! Но старого Хениша вам не обвести. Старый Хениш сам кого хочешь обведет!

Френк. Что же вы теперь намерены предпринять?

Хениш. Ничего особенного. Ничего особенного, сынок.

Входит Голдвин с лабораторным журналом под мышкой. Судя по походке, он сильно устал. Оглядывает собравшихся.

Голдвин. Добрый день, сенатор. *(Присаживается к столу, что-то записывает в журнал.)*

Хениш. Добрый день, профессор! *(Поднимается, прохаживается по приемной и, будучи в хорошем настроении, повто-*

рвет.) Добрый день, добрый день! *(Останавливается у модели ядра.)* Это оболочечная модель, профессор?

Голдвин *(не поднимая головы.)* Да.

Хениш. Ага. Ну конечно: красные шары — протоны, белые — нейтроны. Что ж, очень наглядно... Профессор, а вам не кажется, что пузырьковая модель была вернее этой грозди? Ядерные силы — натяжение пленки — электрическое отталкивание протонов — давление воздуха. А?

Голдвин. Нет, не кажется. Пузырьковая и капельная модели слишком примитивны, они не передают строения ядер.

Хениш. Да? Возможно, возможно... Я, конечно, отстал. Постойте, что это? *(Отделяет один шарик от модели, рассматривает.)* Боже мой, резиновые шары «Глобус компани»! Я и не знал, что они до сих пор выпускаются! *(Отрывает нитку, картинно прохаживается по приемной. Климчер и Френк как завороченные следят за ним.)* Покупайте надувные шары «Глобус компани»! Дети, покупайте карандаши, перья, тетради, пеналы только в магазинах «Глобус компани»! «Глобус компани» существует для вас! Покупайте! Покупайте! Покупайте!

Голдвин *(поднимает голову, строго).* Что с вами, сенатор?

Хениш. Воспоминания, док, воспоминания... Ведь с этих шариков все и началось. В 1880 году мой дед Генри Арнольд Хениш открыл в Окленде, штат Калифорния, лавку по торговле игрушками и товарами для школьников. Дед обожал малышей и сам выбирал им все по их вкусу. До своей смерти старый Генри успел сколотить двести тысяч и открыть филиалы во всех городах западного побережья... *(Любуется шариком.)* Ах, девятнадцатый век, тихий, неторопливый девятнадцатый век, когда Земля казалась огромной, паровоз считался чудом техники, а резиновые шары — последним словом химии... Но ничто не стоит на месте. При моем отце Бирайе Хенише «Глобус компани» расширила и ассортимент товаров и обороты: она ставила на науку и росла вместе с веком. И теперь: покупайте масс-спектрографы «Глобус компани»! Покупайте лабораторное оборудование для физических исследований «Глобус компани»!

Голдвин *(смотрит на него с любопытством).* Именно поэтому вы изучали физику, сенатор?

Хениш. Да. Я всегда считал непрочным положение дельцов, которые ничего не смыслят в своих товарах. Такие рано

или поздно прогорают, ибо им приходится доверять специалистам... Конечно, я мог бы стать физиком-профессионалом, но зачем? В сущности, разница между специалистом и спекулянтом невелика. Спекулянт наживается на том, что знает, где дешево купить и где дорого продать, то есть на своих знаниях. Ученый наживается на том же...

Френк. А вы садист, Хениш!

Хениш. Тихо, парень, тихо! Кстати о физике, профессор: сегодняшний опыт, конечно, не дал утешительных результатов?

Голдвин. Нет.

Хениш. А когда ожидаются положительные результаты?

Голдвин. Об этом я определенно могу сказать только через полгода, когда закончим предварительные опыты.

Хениш. А не хватит ли прикидываться, док? Здесь все свои. И все все знают.

Голдвин (*с досадой*). Не понимаю, что вам угодно от меня, сенатор!

Хениш. Вот как... постой! Френк, разве он ничего не знает?

Френк. Нет. Ушли бы вы отсюда, сенатор...

Хениш. Вот это да! (*Хохочет.*) Вот это да! Ну и ну! Ай да Френк, молодчуга, ловчак! Обвести — и кого? Профессора Бенджамена Голдвина, физика с мировым именем, Нобелевского лауреата! И на чем? На физике! Ты далеко пойдешь, мой мальчик!

Френк. Ушли бы вы, Хениш...

Голдвин. В чем дело, Френк? Что здесь происходит?

Хениш. Тихо, парень. Я сам... Дело в том, док, что исходные данные, с которых начиналась работа: будто русские ведут исследования по управлению свойствами ядер с применением нейтрино и что они послали к нам агента, — ложны. Они сфабрикованы полковником Клинчером при деятельном участии вашего верного ассистента и заместителя по экспериментальной части доктора Френсиса Гарди. Просто полковнику Клинчеру очень хотелось стать генералом, а Френку... наверно, ворочать большими делами в науке, да, Френк?

Клинчер вдруг встает, вынимает пистолет, делает шаг вперед, подносит дуло к виску.

Голдвин. Генерал, что с вами?! Опомнитесь!

Хениш. Тсс... не мешайте, это же интересно!

Все в оцепенении смотрят на Клинчера. Тот рассчитывал, что кто-нибудь бросится отнять пистолет, и сейчас стоит, растерянно и умоляюще переводя глаза с Голдвина на Френка, затем на Хениша.

Слушайте, сержант, или стреляйтесь, или не отвлекайте нас от разговора.

Клинчер опускает пистолет, снова подносит его к фуражке. Дуло ходит ходуном. Наконец не выдерживает, жалко — так, что это похоже на всхлип, — усмехается, убегает в свой кабинет.

Никакого чувства юмора у человека! Вы думаете, он делал это от стыда? Из боязни потерять честь? Как бы не так! Просто он понял, что отныне нет генерала Клинчера — хозяина жизни, а есть Клинчер — мой слуга. Это неприятно, что и говорить. Но такова суровая действительность.

Голдвин. М-м... и что же вы намерены предпринять?

Хениш. Я? Ничего. Представьте: ровным счетом ничего.

Голдвин. Не понимаю. Если вы считаете, что наш проект... м-м... афера, ваш долг как сенатора разоблачить ее.

Хениш *(улыбается)*. Мой долг как сенатора... Ах, профессор! Ах, милый наивный девятнадцатый век! Как вы считаете: для чего существуют больницы? Институты? Правительства?

Голдвин *(сердито)*. В больницах лечат людей, в институтах познают новое и применяют его в интересах общества. Правительства же организуют жизнь страны... не понимаю, зачем вы меня спрашиваете об этом.

Хениш. Вы не правы, док. Ах, как вы не правы! Больницы, институты, правительства, равно как и газеты, политические партии, армии, фирмы, существуют для того, чтобы быть больницами, институтами, правительствами, газетами, партиями, армиями... и так далее. Чтобы люди, сотрудничающие в них, могли зарабатывать, преуспевать, властвовать, наслаждаться жизнью. Остальное — побочно... Зачем же я буду нарушать этот установленный богом порядок? Работайте. Исследуйте! Приводите в суеверный трепет дельцов и чиновников размахом опытов. Я полагаю, что в скором времени акции ком-

паний, загруженных оборонными контрактами, начнут падать. Еще бы — сам Голдвин играет на понижение! Кстати, часть акций продается широкой публике, советую и вам прикупить их. Через год-другой, когда ваши исследования окончатся ничем, отчетом на полку, они резко подпрыгнут. Но уже не этих фирм, а «Глобус компании»! И тогда... тогда значение «Глобус компании» будет соответствовать ее названию, а?

Голдвин. М-м... не понимаю, зачем вы говорите это нам сейчас? Уж не из стремления ли облагодетельствовать? Могли бы повременить до тех пор, пока... вы правы, так может стать — наша работа окончится ничем. Вы не находите, что ваше поведение... м-м... несколько непристойно?

Хениш. Профессор, сейчас вы задали мне вопрос, эквивалентный извечному: «В чем смысл жизни?» Действительно, в чем? Мудрецы не знают. Я не мудрец — и я знаю: в том, чтобы победить и насладиться победой! Сегодня день моей победы — умной, хорошо рассчитанной победы. И я могу позволить себе ту роскошь, которую не позволят себе ни монархи, ни президенты: быть самим собой! Потому что — какой ни на есть — я хозяин положения. Я! И вы должны знать: теперь вы работаете на меня. *(Он прогуливается по приемной с шариком в руке — сытенький и наглый. Он хозяин, стесняться нечего. Может даже звучно отрыгнуть при всех.)*

Голдвин. Да... понимаю: вам нечего бояться разоблачений с моей стороны. М-м... но вот что. Негласной целью наших исследований, если хотите, мечтой... — впрочем, что вам до мечты! — было найти способ нейтрализовать ядерное оружие. Разве вы не заинтересованы в этом — просто как человек? Вы осведомлены о запасах ядерного оружия на Земле и отлично знаете, что живых после этой войны не будет.

Хениш. На Земле, профессор. Только на Земле! И этот вариант учтен. Еще лет восемь-десять мир пробалансирует в нынешнем неустойчивом равновесии. И за это время вы... собственно, не вы, а подобные вам «корифеи» в области ракет создадут отменные космические ковчеги: с атомными двигателями, с запасами на многие годы, со всеми удобствами. Построят внеземные станции. А за это мы вас — не всех, конечно, наиболее достойных — пустим в эти ковчеги, когда на Земле станет жарко. И пусть будет что будет! Со стороны это, пожалуй, будет выглядеть даже красиво...

Френк. А остальные?

Хениш. А что — остальные! Нам должно быть так же мало дела до них, мой мальчик, как им до нас... Нет, я, конечно, никому не желаю зла. Надеюсь, вы не разделяете те красивые взгляды, по которым каждый состоятельный человек выходит таким мировым злодеем? Господи, какой же я злодей! Я даже в войну никого не убил и не ранил. Я просто продаю свои товары: резиновые шарики, термостаты, синхротроны, масс-спектрографы. Ну, скоро буду приторговывать атомными подлодками и ракетами, раз есть спрос. Но — не хотите, не покупайте, никто не принуждает. Разумеется, мы, дельцы, используем конъюнктуру, рекламу — без этого нет торговли! Разве нынешняя ситуация в мире — плохая реклама для модных товаров? Но никакого злодейства нет.

Голдвин. Нет, если не считать рекламы, способа заставить людей покупать то, что им не нужно. То, что человеку нужно, он и без рекламы купит.

Хениш *(строго)*. А вот это уже опасные мысли, профессор Голдвин. Если вы рассчитываете благополучно работать у меня, советую вам держать их при себе! Впрочем, мне пора. *(Поворачивается к двери.)* Всего доброго, док! Пока, Френк, гляди веселей. Ты можешь рассчитывать на место в атомном ковчеге, папаша Эд тебя не забудет. *(Уходит.)*

Молчание.

Голдвин. Френк, это правда?

Френк. Да... то есть, собственно, нет... то есть я хотел... Конечно, я ни одной минуты не считал Ила шпионом, не такой он человек. Но я подумал: можно использовать ситуацию... развернуть как следует наши работы по нейтрину. *(С отчаянием.)* Бен, ну почему они... эти лавочники, могут использовать любые обстоятельства для своей выгоды! Почему мы этого не можем?

Голдвин *(с некоторым удивлением)*. А я-то думал, что знаю вас, доктор Гарди... *(Опускает голову.)* Боже, какой позор! Какой стыд! Я, старый человек, который только и хотел, что честно дожить, отдал свое имя, свои знания... и для чего? Чтобы один полковник стал генералом, один делец нажил миллиарды... и один ассистент моей кафедры стал заместителем директора Центра с окладом тридцать тысяч долларов в год. Боже мой!..

Френк *(зло)*. А вам не кажется, что так было всегда, Бен?

Всегда на наших знаниях наживались и преуспевали другие. Потому что преуспевают лишь те, кто умеет любую ситуацию применить к своей выгоде. Вот и я хочу, чтобы мы использовали...

Голдвин. Уходите.

Френк. Не только для себя, Бен, нет! Ведь идея-то правильная. Вы же знаете: это возможно. Ну, трудно, ну, не получается — никогда не бывает, чтобы сразу получилось! Но если бы мы по-прежнему сидели в двух комнатах с Беркли, убивали все время на размещение заказов и поиски оборудования — разве было бы лучше? Кстати, Бен, у меня есть идея опыта, я хотел бы обсудить ее с вами: что, если комбинировать реакторы с плазменными генераторами...

Голдвин. Уходите!

Френк. Ну... не надо так, Бен. Что вы делаете? Вы же сами толкаете меня к ним.

Голдвин (*встает*). И проваливайте к ним! Вы с этим Хенишем родственные натуры. И не смейте больше называть меня Беном! Я не в силах выгнать вас из Центра... ну, куда мне: у вас теперь связи, влияние, папаша Эд! Но я вас знать не хочу. Идите к ним, к черту, к дьяволу, занимайтесь чем хотите, стройте свое благополучие на чужих репутациях и знаниях...

Френк (*умоляюще*). Но, профессор... но, Бен!

Голдвин. Имейте хоть сейчас человеческое достоинство, доктор Гарди. Уходите прочь!

Френк понуриг голову уходит.

Голдвин берет журнал, идет в свой кабинет. Останавливается, беспомощно разводит руками.

Вот теперь я совсем один...

Затмение

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

В правой стороне сцены луч прожектора выделяет фигуру Голдвина. Он ходит по кабинету. Голос его слышен теперь из динамика — это голос его раздумий.

Голос Голдвина. Когда работаешь, как-то забываешь, что вокруг люди. А они есть, они живут и поступают... Ах,

Френк, как ты мог! Что же теперь будет? Неужели этот недоучка прав и мы ничего не достигнем? И будут накапливаться ядерные заряды... а потом рваться, жечь все и вся. Он прав правотой посредственности: чего нет, того не может и быть. И мне нечего возразить ему. Нет главного открытия, главного знания о ядре. Любое исследование начинается с открытия, а я начал до открытия. Поддался иллюзии... Но теперь я должен его сделать, должен! Но как? Да, похоже, что именно нейтрино переносят энергию от среды к ядрам и от ядер к среде. Переносят... как? Берут и переносят... Слова, слова, пустые слова! Нет, не могу. Не могу...

Затемнение справа. В левой части сцены прожектор освещает фигуру Шардецкого. Он в своем кабинете пишет на доске формулы реакций, уравнения. Стирает, снова пишет. Кладет мел.

Голос Шардецкого. Нет, и этот путь никуда не ведет. *(Стирает формулы.)* Но какой? *(Ходит по кабинету.)* Попробуем еще раз. С самого начала... Когда-то возникли частицы, атомы, звезды, планеты. Зачем? Основной целью природы не было создание атомов. Э, вообще у природы не было и нет никаких целей! Да и никакой природы нет, это понятие — вариант бога. Есть развивающаяся материя... Даже не так: изменяющаяся материя. Если системы усложняются — это развитие, упрощаются — деградация... И сама материя не дана нам в ощущениях, иначе бы мы все о ней знали. Мы ощущаем лишь изменения в ней, процессы... И основным процессом в материи есть стремление к устойчивости всех возникающих систем. Стремление... Кто стремится? Куда? Как бессильны слова! Просто: существует то, что устойчиво. Существует то, что существует... Опять масло масляное! *(Садится на стул, обхватывает голову.)* Тяжело! Ах, как тяжело!.. Попробуй осмыслить то, для чего нет слов! Ну, давай еще раз: имеется процесс обмена энергией между ядром и средой. И он связан с нейтрино...

Затемнение слева. Освещается мечущийся по кабинету Голдвин.

Голос Голдвина. Природа выпускала в обращение всякие частицы: устойчивые и неустойчивые. Устойчивые жили... И что же? Почему? Как? Не знаю. Я ничего не знаю!

В природе все устроено либо дурачки просто, либо гениально просто, мы же слишком умны и слишком посредственны... (*Трет щеки ладонями.*) Я ничего не понимаю. Я стар, устал и напуган. Мне страшно: а вдруг от моей мысли зависит — быть миру или не быть? Безумный мир! Разве можно на одного человека взваливать такую ответственность! Что я могу?

Затемнение справа. Проектор освещает Шардецкого. Он стирает записи с доски, отходит.

Голос Шардецкого. И это не то. Ядра, частицы, моменты, кванты... привычные понятия, в которые я вкладываю более глубокий смысл, чем есть на самом деле. Надо что-то совсем иное. Что-то совсем новое. Такое, чтоб ни в какие ворота не лезло. Тогда пойму. Но этого нет... (*Подходит к книжному шкафу, достает книгу.*) Посмотрим, что об этих предметах пишет профессор Голдвин... (*Листает. Луч проектора освещает стоящего рядом * Голдвина.*) Знакомо... Известно... Знакомо... Ага, вот!

Голдвин (*лекторским тоном*). «...Нейтрино. Пока непонятно место этой частицы в строении материи. Протоны и нейтроны образуют ядра атомов. Мезоны, обмениваясь между ними, исполняют роль ядерных связей. Электроны вместе с названными частицами образуют атомы веществ. А для чего в природе нейтрино? Трудно допустить, что оно создано лишь для подтверждения теории Паули о бета-распаде...»

Шардецкий. Справедливо. (*Листает.*) А вот это...

Голдвин. «...Из этой гипотезы можно вывести захватывающее представление, что вселенная представляет собою нейтринное море, а наш мир — лишь волнение на поверхности этого моря. Все наши наблюдения относятся к этой поверхности. Мы еще не проникли в глубинные процессы взаимопревращений в материи».

Шардецкий. Тоже верно. (*Закрывает книгу.*) Что же дальше, профессор?

Голдвин молча отступает. Проектор, освещавший его, гаснет.

Да... жаль. Если бы мы работали вместе, то, пожалуй, осилили

* В физике это называют «туннельный эффект». (*Прим. авт.*)

бы эту задачу, а? (*Возвращается к доске.*) Итак, нейтринное море... Попробуем представить его уравнением. (*Пишет.*)

Затмение слева. Проектор освещает Голдвина. Он стоит у лабораторного стола.

Голос Голдвина. Люди уже привыкли к тому, что есть радиация, реакторы, вырабатывающие плутоний, ракеты, ядерные испытания. Они забыли, что лет тридцать назад этого наваждения не было. Они привыкли к страху... Нет, вздор: к страху привыкнуть нельзя. И страх, страх, страх царит над миром. Перед ядерной войной... и еще множество мелких страхов: не потерять работу, не быть обманутым, не оказаться посмешищем... Прекрасный мир! Мир зеленых лесов и музыки, мир умного труда, мир людей. Труд и гений человека вложен во все: в желтые нивы, в радиомачты, в быстрые самолеты, в асфальт дорог, в стены зданий. Огромный труд для жизни людей! Неужели всего этого может не стать? Безумный мир! Больной мир!.. Надо торопиться, пока не поздно — сделать, что могу. Но что я могу? Немыслимая задача: не просто понять повое — на это меня хватило бы! — а сделать нужное открытие... Как? Как нащупать связь ядра с внешним миром? (*Останавливается у книжного шкафа.*) М-м... что пишет о ядрах и нейтринно мой русский коллега? (*Берет книгу, листает. Луч прожектора освещает стоящего рядом Шардецкого.*)

Шардецкий. «...Мы замечаем лишь те взаимодействия нейтринно с ядрами, при которых происходит радиоактивный распад ядра, то есть только те, что можем заметить с помощью пынешней техники измерений. Но значит ли это, что нейтринно меньших энергий не взаимодействуют с ядром? Думаю, что не значит».

Голдвин. И я так думаю, коллега. Я намеревался обсудить с вами этот вопрос на симпозиуме... но он не состоялся. Что же дальше? (*Листает.*) Расчеты сечений захвата нейтринно... знакомо. О, вот интересная мысль!

Шардецкий. «...По-видимому, нет ничего более устойчивого, чем ядро, которое только что распалось и выделило избыток энергии. Исследование таких ядер представляло бы большой интерес...»

Голдвин. Да, да! Но как их исследовать?

Шардецкий молчит. Лицо его неподвижно. Проектор, освещающий его, гаснет.

Да, да... Мы сейчас роём два туннеля через одну и ту же гору. Каждый — свой. И таимся, чтобы не был услышан стук наших кирок и лопат... Безумный мир! Но постой... в этой мысли — наиболее устойчивы ядра, которые только распались — что-то есть. *(Садится за стол, раскрывает журнал, берет карандаш.)* Прикинем-ка...

Затемнение справа. Полный свет слева. Кабинет Шардецкого. В дверях, прислонясь к косяку, стоит Самойлов. Курит, наблюдает за Шардецким, который возле доски что-то сам себе жестикулирует. Тот, наконец, замечает Самойлова.

Шардецкий *(его застали врасплох, он сердится)*. А вы по-прежнему не бриты, Петр Иванович!

Самойлов *(трогает подбородок)*. Растут, треклятые...

Шардецкий *(смотрит на часы)*. Который час? Мои стали.

Самойлов. Третий.

Шардецкий. Угу! И какое же у вас ко мне дело в третьем часу ночи?

Самойлов. Да я, собственно, так — заглянул на огонек... *(Затягивается, пускает дым в потолок.)* Я говорю: вот мы не знаем, какой атом радиоактивного вещества когда распадется, а клоп знает.

Шардецкий. Какой клоп?!

Самойлов. Обыкновенный. Клопус вульгарис. *(Покуривает.)* Пустил я его давеча на пластинку со слоем радиоактивного кобальта. Ну, он блуждал, петлял... и вылез необлученным. Пять раз гонял его по пластинке — ни одного гамма кванта не схватил. Измеряли.

Шардецкий *(ошеломленно)*. Не может быть... Мистика! Хотя нет, почему же? Может. Действительно, в каждый момент какие-то атомы кобальта взрываются гамма-квантами, какие-то нет. Пройти можно. Как по минному полю. Что же, у клопа какие-то миноискатели есть, что ли? Выходит, он чувствует: какие атомы около него будут распадаться, — и поворачивает от них подальше?

Самойлов. Я так думаю, он изменение нейтринных потоков от ядер чувствует. Должно быть, спокойные и распадающиеся ядра излучают их неодинаково.

Шардецкий. Возможно... Это где же вы клопа-то достали, Петр Иванович?

Самойлов. А я недавно в Свердловск ездил, в командировку. В мягком вагоне. Ну, и не уберегся... Я его, собственно, казнить хотел. А он — избег... Между прочим, я построил его блуждания в пространственно-временных координатах. Есть намеки на закономерность.

Шардецкий. Да-а... Черт знает что! Клоп, а! Гнусное насекомое — и движет физику. Дожили...

Самойлов. А что — клоп? Очень удобный объект наблюдений: плоский, форма эллиптическая. Легко рассчитывать сечения захвата. Муравья, к примеру, пришлось бы интегрировать по сложному контуру... (*Затянувшись дымом.*) Впрочем, стоит попробовать и муравья.

Шардецкий. Что ж, клоп так клоп. Я не гордый. Пойдемте, Петр Иванович, посмотрим, что он может... Значит, «зашли на огонек»? И ехидный же вы человек, Самойлов!

Уходят.

З а в а в е с

Действие третье. Без пяти...

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Освещена левая часть сцены. Большая комната. Столы с приборами и без таковых. В дальней части комнаты установка, похожая на спектрограф, на лазер и немного на самогонный аппарат: кварцевые и металлические трубы, спирали проводов, стеклянные завитушки, соленоиды и т. д. Рядом приборный щит. На стене самодельный лозунг: «Размышлять, размышлять — пока не почувствуешь злость к работе!», и самодельный же рисунок гуашью: Архимед, прикрываясь ладошкой, выскакивает из ванны. Словом, это комната поисковой группы «Эврика».

Идет семинар. За столами Шардецкий, Штерн, Якубович, Сердюк, Валернер, Ашот Карапетян и другие исследователи. У поворачивающейся доски — Самойлов (он сегодня чисто выбрит, при галстукe) заканчивает доклад. Докладывать он не умеет и не любит — и высказывается с некоторым отвержением.

Самойлов. ...Вот так мы поняли, что в пространстве блуждают нейтринные флюктуации. Ну, скажем: отчего небо синее? От флюктуаций, от колебаний плотности воздуха — так, значит! — они и рассеивают синие лучи. Ну, и в пространстве есть колебания плотности нейтрино — так, значит? От них и происходит распад ядер. Когда флюктуация оказывается у ядра, оно выпячивается... ну, как пузырь, у которого часть пленки тоньше — и может лопнуть, распасться... так, значит? Ну, и больше у нас вопросов к насекомым не было — дальше сами смекнули. Раз все дело в колебаниях плотности нейтрино — этим можно управлять. Элементарная статистика: когда плотность нейтрино в пространстве велика — флюктуации малы, так, значит? И ничего они сделать не смогут. И обратно... возмем паровоз. И поставим его вверх колесами...

Оживление в публике.

Шардецкий. Петр Иванович, не резвитесь!

Самойлов. Проверка внимания, Иван Иванович. Продолжаю... да, собственно, чего там продолжать? Все это одна ответственность. Ну, она выражается такими формулами... *(Легким ударом переворачивает доску. Осыпаются меловые символы.)* Желающие могут вызубрить... Давайте я вам лучше покажу это дело в натуре. Будет доходчивее. Ашотик, заведи!

Ашот Карапетян — маленький, усатый и серьезный — идет к установке. Щелкает тумблерами на приборном щите. Загораются сигнальные лампочки. В кварцевой трубке вспыхивает разряд.

Сейчас в ограниченном пространстве — ну, в области вон того куска урапа-235 *(показывает)* — будем повышать плотность нейтрино. Ашот, счетчик!

Ашот укрепляет около образца трубку газоразрядного счетчика. Слышен мерный треск.

Распадается, как обычно, — так, значит? Ашот, реактор.

Ашот работает рукоятками.

Генератор нейтрино... Есть!

Треск стихает. Урановый образец начинает светиться с синезелеными переливами. Возгласы: «Ух, черт!», «Вот это да!» Все бросаются к установке.

Усекли? Уран перестал распадаться — так, значит? А избыток энергии стал выходить из него фотонами — малюсенькими такими порциями. Как, скажем, у больного хворь потом выходит... А все почему? Не стало крупных флюктуаций, от которых лопаются ядра, — так, значит? Переключай, Ашот.

Ашот нажимает кнопки. Свечение пропадает. Счетчик начинает трещать, как прежде. Ашот манипуляторами убирает урановый образец в контейнер. Ставит на его место колбу с водой, опускает в нее трубку счетчика.

Якубович. А это зачем?

Самойлов. А теперь перевернем паровоз вверх колесами. В колбе — вода. Из местного водопровода. Счетчик, как вы можете заметить, в ней безмолвствует: радиации нет. Сейчас уменьшим концентрацию нейтрино... вернее, повысим концентрацию антинейтрино — так, значит? Попрошу всех отойти от установки на два метра! Антинейтрино излучаются пучком, но... не ровен час кого-нибудь заденет. Мне ни к чему выплачивать пострадавшему больничные.

Все отходят. Ашот тянет за собой шнур дистанционного управления.

Давай, Ашот!

Ашот нажимает несколько кнопок. На приборном щите начинает мигать красная полоса. Одновременно раздается частый и резкий треск счетчика. Ашот нажимает еще кнопку: треск переходит в рев.

Достаточно, Ашот!

Тот щелкает тумблерами. Рев счетчика постепенно переходит в частый треск. Треск замедляется.

Стало быть, создали с помощью антинейтрино крупные флюктуации — и они сделали обычную воду радиоактивной. Слышите, как спадает наведенная радиация! Вот все. Попрошу задавать вопросы.

Минуту все молчат. Потрескивает счетчик.

Штерн (*бросается к Самойлову*). Вопросы... какие тут могут быть вопросы! (*Шутливо тузит Самойлова.*) Ах ты, черт, пижон, гений, талантище!

Самойлов. Я что? Я ничего...

Валернер. Качать его, ребята!

Самойлов (*отстраняется*). Иди, я сегодня в новом костюме. Вон Ашота покачай. Или Ивана Ивановича... А вообще: теорию надо было качать — так, значит?

Валернер. У-у... нет в тебе душевного благородства, всепрощения — в такую минуту уесть! Только такая злобная ехидина, как ты, и могла придумать этот опыт с клопом. Что — съел?

Якубович. Ну, теперь я знаю, с какого конца браться за плазму. Ох, и поэкспериментируем! (*Ачно потирает руки.*)

Сердюк. И подумать только — все началось с клопа...

Шардецкий (*выходит к доске*). Вопросов к Петру Ивановичу, я вижу, нет — демонстрация довольно красноречивая. Тогда позвольте мне. Стало быть, теперь мы понимаем что к чему. Знаем, что, меняя концентрацию нейтрино и антинейтрино в пространстве, можно управлять устойчивостью ядер... в принципе можно. На этом экспериментальные исследования временно, до моего разрешения, мы прекращаем...

Шум, гул, возгласы: «Как же так!», «Вот новость!»

Тихо! Будем двигать теорию. Мы должны наперед предвидеть все результаты дальнейших опытов!

Якубович. Вот так так, милое дело!

Самойлов. Ну-у... какие же это будут опыты, если в них все наперед ясно!

Ашот. Почему такие строгости, Иван Иванович? Сейчас, когда все получается, да?..

Шардецкий. Именно потому, что получается, Ашот. И еще далеко не ясно: что именно получится? Помните: когда запускали первые ракеты на Луну, их тщательно стерилизовали, чтобы ненароком не занести на лунную поверхность наши микроорганизмы и — боже упаси! — не заразить тамошние живые существа. Хотя далеко не ясно: есть ли жизнь на Луне — скорее всего нет... А на Земле есть жизнь. Есть! И все живое, все вокруг нас состоит из атомов, имеющих ядра. Поэто-

му мы должны быть так же стерильно осторожны с нейтрино, как наши коллеги — исследователи космоса — с микробами.

Штерн. Что же делать бедным экспериментаторам?

Шардецкий. Готовить генераторы для новых массированных опытов. И — думать. Всем думать. Развивайте далеко идущие гипотезы, продумывайте методики, воображайте все возможные применения открытия. Разрешается выдвигать на семинары самые фантастические идеи — со строгим математическим обоснованием, разумеется. Но — ни одного опыта с нейтрино без моего разрешения! Итак, всем — думать!

Затемнение слева. Освещается правая сторона сцены: кабинет военного министра США. В нем министр, Хениш, Клинчер, Френк и д-р Кеннет. В руке у последнего футляр с чертежами. В углу за столом-пультом — адъютант.

Министр. Почему нет профессора Голдвина?

Клинчер. Я передал ему ваше приглашение, сэр.

Министр (*хмурится*). Он, видимо, считает, что мы здесь занимаемся пустяками! Мне с самого начала не нравился ваш протез, генерал. Боюсь, что он опасен своими взглядами, своими пацифистскими настроениями... Я не верю, что этот человек успешно доведет работу до конца.

Хениш. Откровенно говоря, я тоже, сэр.

Министр. Не саботирует ли он исследования, генерал? Уже два года — и ничего утешительного. А ведь русские не сидят сложа руки. Они могут нас опередить!

Клинчер. Я не думаю, сэр, но... разумеется, я воздействую на Голдвина. Собственно, он сейчас занимается преимущественно теорией. Экспериментальными же работами руководит доктор Френсис Гарди, которого я хочу вам представить.

Министр. Ах, вот как! (*Кивает.*) Очень рад, доктор Гарди. Надеюсь вы не столь пассивны во взглядах и поступках, как ваш шеф?

Френк. Нет, сэр.

Министр. Рад это слышать. Нам надо быть настоящими американцами, доктор Гарди, а уж потом учеными, политиками, военными. Настоящими янки — это главное! Как идет работа, доктор Гарди?

Френк. Заканчиваем предварительные опыты по исследованию свойств нейтринных и антинейтринных пучков. На днях перейдем к решающим. Установки уже готовы.

Хениш. Надо ли так торопиться? Поспешность в науке не принята. Решающие опыты должны быть поставлены солидно.

Министр. Эта работа не только наука, сенатор. Она еще и политика, большая военная политика! А в современной политике выигрывает тот, кто держит противника на мушке.

Хениш. Но еще неизвестно, дадут ли опыты нужные результаты!

Френк. Они дадут результаты! *(Со сдержанной яростью.)* Мы будем вести их еще и еще, пока не добьемся, чего хотим!

Министр. Вот слова настоящего американца! Хорошо сказано, док. Я вижу, экспериментальные исследования в Центре «Нуль» находятся в надежных руках... Но перейдем к делу, господа. Я поручил доктору Кеннету рассмотреть возможные изменения, которые придется внести в нашу глобальную стратегию при появлении нового оружия. Прошу вас, доктор.

Кеннет *(раскрывает футляр, достает из него свернутый чертеж. Оглядевшись, вешает чертеж на крюк. Достает указку. На чертеже — шар без подробностей, в двух крайних точках выделены области, обозначенные буквами А и В. Они соединены пунктирными кривыми и прямой линией через центр шара. Пишет несколько формул и чисел. Выделяется формула $t_2 = \frac{\pi R}{V}$).*

Итак, господа, рассмотрим простую задачу. На противоположных сторонах шара радиусом «R» имеются противостоящие друг другу объекты А и В. *(Указывает.)* Каждый из объектов располагает... э-э... средствами массового уничтожения и средствами доставки их, имеющими скорость «V». Нынешняя ситуация определяется кривизной шара «R», упомянутой уже скоростью средств доставки «V» и временем обнаружения их после старта противной стороной « t_1 ». Время доставки средств уничтожения к объекту-противнику « t_2 » определяется вот этой формулой *(указывает)* и для ракет составляет сорок пять — пятьдесят минут. Время же обнаружения ракет радиолокационными средствами составляет не более десяти минут. Если учесть, что время « t_3 » запуска ракет при состоянии непрерывной готовности составляет не более пяти-шести минут, то понятно, что за время « t_2 » объект-противник успеет ответить равным или большим ударом. Стало быть, эта формула ныне удерживает мир в равновесии.

Министр. Это известно, док. Переходите к существу дела.

Кеннет. Вышесказанное определяет и существо, сэр... Насколько мне известно, в Центре «Нуль» готовится оружие, представляющее, собственно говоря, направленные пучки нейтрино и антинейтрино, распространяющиеся со скоростью, близкой к скорости света. Я не ошибаюсь, доктор Гарди?

Френк. Нет, не ошибаетесь.

Кеннет. Благодарю вас. И действие его будет состоять в том, чтобы вывести из строя ядерные заряды противника, так?

Френк. Да.

Кеннет. Благодарю... Итак, в этом случае скорость доставки оружия к цели равна скорости распространения нейтрино сквозь толщу Земли, то есть близка ко все той же скорости света. Подставив ее значение в указанную формулу и заменив коэффициент «пи» двойкой, мы получим значение времени « t_2 » четыре сотых секунды. Разумеется, ни обнаружить такое нападение заблаговременно, ни ответить на него противная сторона не успеет...

Френк. Простите, доктор, почему вы считаете, что распространение пучков нейтрино есть обязательно нападение? Возможны два варианта. По первому — нейтринный пучок взрывает ядерный заряд, по второму — нейтрализует его. Тогда это оружие защиты, а не нападения!

Кеннет. Физически, доктор Гарди. Только по физике действия, но отнюдь не математически. Я как раз намереваюсь это показать... Итак, обратимся к ситуации, когда обе стороны готовят — именно готовят, а не имеют — такое сверхбыстродействующее оружие, защита от которого ни пассивным способом, ни методом ответного удара невозможна. Легко видеть, что в этом случае для каждой из сторон остается лишь одна логическая функция поведения: опередить противную сторону в нанесении удара, то есть пустить оружие в ход немедленно после его изготовления. При этом важна только скорость нового оружия, а не физический характер его действия. Действительно, если потоки нейтрино от объекта А (*водит указкой*) достигнут ядерных складов объекта В, они вызовут взрывы всех ядерных запасов противника и приведут к его самоуничтожению. Если же потоки нейтрино, напротив, только нейтрализуют ядерное оружие объекта В, то для завершения победы над ним достаточно выпустить по его целям ядерное оружие объекта А при помощи

обычных средств доставки... Других решений данная стратегическая задача не имеет.

Министр. А если... обе стороны пустят оружие в ход одновременно? Что тогда?

Кеннет. Тогда... все, сэр! *(Разводит руками.)* Но это математически невероятно. Время доставки нейтрино — доли секунды. А работы по овладению ими длятся уже два года. Невроятно, чтобы и та и другая стороны завершили исследования в одну и ту же секунду.

Министр. Благодарю вас, док. Скажу, не преувеличивая: я потрясен вашим докладом! *(Выходит из-за стола, приближается к чертежу.)* Итак, все определяется просто: побеждает тот, кто первый нажмет гашетку. Кто первый? *(Подходит к карте, отдергивает шторы. По континентам перемещаются светящиеся пунктиры спутников, в океанах блуждают огоньки патрулирующих подлодок.)* Кто? Мы или они? Кто уцелеет?! Ужасный век! Прошло время, когда войны объявляли дипломаты. Прошло время, когда войны начинались на полях сражений. Сегодня кончилось и время равновесия... Война с русскими уже начата. Начата в лабораториях. Без дипломатических нот, без решений конгресса — все законы гражданские и нравственные бессильны перед войной умов. Действует только закон логики... *(Оборачивается.)* Вы слышите, генерал! Слышите, сенатор! Слышите, доктор Гарди! Мы уже воюем с русскими — и они с нами. И единственный способ выиграть — скорее, скорее закончить исследования! Первыми!!! Видит бог *(поднимает голову)*, видит бог: мы не хотели этого. Но мы сделаем это! Не из-за разницы взглядов, не из-за политического соперничества — теперь все это отходит на второй план. Мы сделаем это, чтобы уцелеть! Не мы их — так они нас!

Френк. Но, сэр, ведь еще нет...

Министр. Никаких «но», доктор Гарди! Никаких «но»! Идет война. На войне выполняют приказы — без возражений и колебаний. Я приказываю: ускорить опыты! Работать круглосуточно! Пустить в ход все установки! Генералу Клинчеру — обеспечить Центр всем необходимым!

Клинчер *(сидя, вытягивается)*. Слушаюсь, сэр!

Френк. Простите, сэр, но природа не войска. Ей не прикажешь!

Министр. Мы должны подчинить природу. Если этого не будет — мы погибли. *(Кричит.)* Вы понимаете, что будет,

если русские первыми сделают это оружие? Не мы их — они нас! Они нас!!! (*Переводит дух.*) Все! Исполняйте приказы, господа. И да поможет нам бог!

За дверь. Первым выходит Френк.

Френк. Ну и дела... (*Замечает вышедшего Кеннета.*) Простите...

Кеннет. Да, сэр?

Френк. Скажите: у вас есть дети?

Кеннет. Да, сэр. Двое.

Френк. Вот как... А я думал: вы робот.

Кеннет. Я математик, сэр! Так же как вы — физик. В функциональном смысле мы с вами отличаемся от роботов.

Френк. Что ж... можно утешать себя и так. (*Уходит.*)

Выходят Клинчер и Хениш. Клинчер быстро удаляется.

Хениш. Спешите, генерал! Вытряхивайте души из яйцеголовых! Ах, какой будет бум! (*Замечает Кеннета.*) Э, скажите, док: что бы вы сделали, если бы вдруг стали миллиардером?

Кеннет (*мрачно*). Построил бы себе атомуубежище, сэр.

Адъютант (*встает из-за пульта, кладет на стол министра бланки*). Утренние сводки, сэр. (*Возвращается к пульту.*)

Министр (*возбужденно ходит по кабинету*). Да, да... Не мы их — так они нас! Не они нас — так мы... Кто? Кто?! Мы — или они? (*Внезапно останавливается. Осторожно подходит к портьеру, колышущейся от сквозняка. Рывком отдергивает ее. За портьерой никого нет.*) Адъютант за пультом невозможно переключает кнопки, записывает доклады постов наблюдения. На карте-табло загораются и перемещаются сигнальные огни.

Затмение

КАРТИНА ВТОРАЯ

Освещена левая часть сцены. Кабинет Шардецкого в КБ-12. У стола Шардецкий, Штерн, Якубович, Сердюк.

Шардецкий. Даю простое задание всем трем экспериментальным отделам. Первое: привести в готовность все реакторы и генераторы нейтринно...

Штерн. А генераторы антинейтрино тоже?

Шардецкий. Нет. Второе: круглосуточно следить за темпом распада радиоактивных веществ... скажем, по урану-235. Примем его за эталон. Третье: организуйте круглосуточное дежурство у реакторов и генераторов. Дальше. Вам самим на время моего отсутствия...

Якубович. Вы уезжаете, Иван Иванович?

Шардецкий. Да. В Москву и... может, еще куда-нибудь придется поехать... На время моего отсутствия вам придется разделить всю полноту власти в КБ. Вы, Исаак Абрамович, — с 8.00 до 16.00. (*Якубовичу.*) Илья Васильевич — с 16.00 до 24.00. (*Сердюку.*) Евгений Сергеевич — с 00.00 до 8.00... Полнота вашей власти будет состоять в основном вот в чем: как только обнаружится отклонение темпа распада урана от обычного — отдать приказ о включении всех генераторов пейтрино на полную мощность.

Сердюк. Это что же — из-за доктрины Кеннета?

Шардецкий. Да, из-за нее. На случай, как бы чего не вышло...

Штерн. Какой же сволочью надо быть, чтобы сочинить такую доктрину! Так изгадить все...

Якубович. И главное: все может быть совсем не так, как он рассчитал. Совсем не так!

Шардецкий. Все, товарищи. Исполняйте.

Начальники отделов уходят. Минуту спустя быстро входит Макаров.

Здравствуйте, Олег Викторович, с чем прибыли?

Макаров. С вопросом, Иван Иванович, с неприятным вопросом. Здравствуйте. Почему приостановили опыты? Именно сейчас, когда все получается, когда надо отрабатывать, проводить испытания... не понимаю!

Шардецкий. Мы идем с опережением заданных сроков, Олег Викторович.

Макаров. Ах, Иван Иванович, о чем вы говорите: какие сейчас могут быть заданные сроки! Вы же знакомы с этой «доктриной опережения» Кеннета? Понимаете, что это значит!

Шардецкий. Это значит, что американцы теряют голову от страха. Думаю, нам не следует догонять их в этом заيجании.

Макаров. Да, но чтобы не терять голову — и, если угод-

но, головы, — нам надо иметь ваши способы наготове. (*Внушительно.*) Иван Иванович, я не вмешивался в ход исследований, пока это были просто исследования. Но теперь уж будьте добры отбатывать способы, проводить испытания. Надо!

Шардецкий. Великое слово «надо»... Послушайте, Олег Викторович, а нельзя ли как-то объясниться с американцами на этот счет? Ну — обменяться информацией о состоянии работ, договориться о координации исследований, может быть, даже вести их совместно. А?

Макаров (*всплескивает руками*). О чем вы говорите, Иван Иванович! Это же оружие! Кто же станет обмениваться информацией о нем со своим потенциальным противником? Да еще в такой обстановке! Какие тут могут быть совместные исследования! Я настаиваю: надо привести все в готовность.

Шардецкий. И тогда?

Макаров. Ну... это вопрос уже не нашей с вами компетенции, Иван Иванович.

Шардецкий. Сейчас нет вопросов не нашей с вами компетенции, Олег Викторович! Мы затеяли эту работу, и мы отвечаем за нее не только перед министром, но и перед всем человечеством.

Макаров. А не много ли вы на себя берете, Иван Иванович?

Шардецкий (*встает*). Много, вы правы. Гораздо больше, чем мне нужно для душевного покоя. Только не я сам на себя беру — навалили. Все люди, которые считали, что начальству виднее, что специалистам виднее, а сами занимались, чем им удобнее и выгоднее, переложили на меня свою долю ответственности за дела в мире. Политики, администраторы, общественные деятели, писатели, которые вместо того, чтобы будить в людях озабоченность за дела в мире, занимались отвлечением умов, тоже спихнули ответственность на нас. Да, на нас — на меня и на вас, Олег Викторович, вы не увиливайте! Сейчас многое зависит от нашей инициативы.

Макаров. Эх... да что от нас зависит? Только что знаем об этом деле больше других.

Шардецкий. И это не так мало.

Макаров. Но и не так много, Иван Иванович. Двадцать лет напряженности, двадцать лет военных приготовлений... Взаимная настороженность уже в психику вошла, в кровь — что тут поделаешь? (*Окончательно расстроившись.*) Я, Иван

Иванович, знаете, как познакомился с этой доктриной — спать по ночам не могу. Это ж действительно голову надо потерять: провозгласить такое!

Шардецкий. Да... (*Нажимает кнопку селектора.*) Внимание! Первый, второй и третий экспериментальные отделы. Доложите готовность.

Голос Штерна. Первый экспериментальный заканчивает приготовления, Иван Иванович.

Голос Якубовича. Второй экспериментальный — готов.

Голос Сердюка. Заканчиваем, Иван Иванович...

Макаров. Значит, готовите испытания, Иван Иванович?

Шардецкий. Нет. В том-то все и дело, что здесь никакие массивированные испытания невозможны, Олег Викторович. (*Помолчав.*) Хорошо, я объясню вам, почему прекратил опыты. Причина простая: нейтрино и антинейтрино проникают на любые расстояния — и всюду могут воздействовать на ядра. Наши лаборатории — это теперь весь земной шар, понимаете? Пустим мы пучки — и американцы могут воспринять это как нападение, шут их знает. Да и вообще... ведь что такое ядро? Сгусток энергии. Если, скажем, из всех ядер планеты одновременно выделится всего одна миллионная миллиардной доли их энергии, Земля вспыхнет ярче Солнца. А теперь и это возможно.

Макаров. Ого!

Шардецкий. Именно, что «ого». И мы еще точно не знаем, что может выйти. (*Трет лоб.*) Будь моя воля, я вообще перенес бы эти опыты куда-нибудь на Луну или на Марс — пока не разберемся... Поэтому — гоним теорию. (*Ходит по кабинету.*) Надо договориться с американцами. Просто необходимо. Ведь это же не просто оружие — это величайшее открытие в истории человечества, величайшее знание о материи! Им нужно пользоваться умно и осторожно... Мы сейчас рассчитываем, Олег Викторович, — вырисовываются такие возможности! Можно будет осуществлять любые превращения в материи: вещества в энергию, энергии в вещество, вещества друг в друга. Это, конечно, более далекая перспектива, чем антиядерное оружие, но... но применять такое открытие как оружие — все равно что забивать гвозди хронометром! Понимаете?

Макаров. Отлично понимаю, Иван Иванович. Ах, как же это все так... Хоть бы знать: что они-то в самом деле сделали,

чего достигли в этой работе? Если ничего — чихали бы мы на все их доктрины, работали бы себе спокойно. Но — не знаем! Я говорю: хорошо было с ядерными бомбами — где ни испытывают, все известно. То по выбросу радиации, то по сейсмическим колебаниям — мимо не пройдет. А в этом деле все темно...

Шардецкий. Я уже спланировал дальнейшую работу по всем правилам научной стратегии, Олег Викторович. Сначала двигаем наших штабистов-теоретиков, тыловиков — снабженцев и наладчиков. Рассчитываем методики, оцениваем возможные результаты. Строим совершенные установки. И тогда — с оперативными картами на руках, с идеями, знаниями, расчетами — начинаем и выигрываем величайшую битву у природы! И вдруг — такая гадость...

Голос Штерна. Первый экспериментальный готов, Иван Иванович.

Голос Сердюка. Третий отдел приготовления закончил.

Макаров (*встает*). Ну что ж, Иван Иванович, давайте пробовать переговоры. Надо! Хотя, откровенно говоря, я не уверен, что из этого что-нибудь получится.

Шардецкий. Но ведь они же люди. Им тоже жить хочется. И можно жить. Отлично можно жить!

Затемнение слева. Освещается правая сторона: кабинет-лаборатория Голдвина. За прозрачной стеной из свинцового стекла — перспектива реакторного зала. Голдвин — без пиджака, рукава рубашки закатаны — за пультом управления реакторами. Рядом у лабораторного стола ассистент манипулирует щупом счетчика Гейгера около прикрытого прозрачным щитком куска урана. Слышны редкие беспорядочные потрескивания.

Голдвин (*вращает рукоятки на пульте*). Повышаю интенсивность. Отсчет!

Ассистент (*подносит щуп к куску урана. Треск учащается*). Без изменений.

Голдвин. Снижаю энергию нейтрино... Теперь, Френк?

Ассистент (*измеряет*). По-прежнему... Джон, сэр. Мое имя Джон. Изменений нет, профессор.

Голдвин. Да, да, Джон. Прошу простить. (*Отходит от пульта к столу. С досадой.*) Да, вы Джон, вы не Френк. Тот бы давно догадался укрепить щуп около образца, а не совать его, как кочергу!

Ассистент. Но, профессор, я одновременно измеряю излучение от урана и от стронция-90.

Голдвин. Так поставьте два счетчика, Джон!

Ассистент. Хорошо, сэр. *(Устанавливает на столе второй прибор.)* А доктор Гарди, профессор, третий день не выходит из своей лаборатории. Ведет опыт.

Голдвин. Мне нет дела до опытов доктора Гарди! *(Листает журнал.)* Итак, сто тридцать четвертый режим тоже неудачен. Испытаем сто тридцать пятый... *(Задумчиво.)* А что, если сразу вывести реактор на критический режим генерации? Опасно, как вы думаете, Френк? А... простите, Джон. *(Возвращается к пульту.)* Ну, попробуем...

В этот миг резко усиливается треск счетчика. Вверху вспыхивает красная надпись «Radiation!». Ассистент выпускает щуп из рук. Треск не ослабевает.

Что такое?!

Ассистент. Это... это русские! Они пустили в ход свое оружие! Радиация растет, мы сейчас все взорвемся! *(Убегает.)*

Треск вдруг стихает. Надпись «Radiation!» гаснет.

Голдвин. Уф-ф... Значит, это еще не русские! Тогда... неужели — он? *(Подходит к телефону, набирает номер.)* Мисс, пригласите ко мне доктора Гарди. Немедленно! *(Кладет трубку.)* Так мы можем доработаться! Неужели он осуществил второй вариант?

Разносится по Центру гулкий радиоголос: «Доктор Гарди, вас требует шеф! Доктор Гарди, немедленно к шефу!» Под эти звуки в кабинет входит Френк. Треск счетчика заметно учащается.

Доктор Гарди, от вашей лаборатории распространился выброс проникающего излучения. Что произошло? Вы не находите, что о подобных опытах следует извещать меня? Вы подвергаете опасности всех!

Френк. Больше не повторится, Бен... простите, профессор. Больше не повторится. Вы позволите? *(Направляется к креслу. Когда проходит мимо лабораторного стола, треск счетчиков еще более учащается. Останавливается, берет щуп,*

водит около тела. Счетчик ревет.) О... более двух тысяч рентген. Н-да...

Голдвин *(с ужасом)*. Боже милостивый, Френк, вы так облучились? Как же?... У вас там отличная биозащита!

Френк. От нейтрино нет защиты. *(Садится.)*

Голдвин. Ах, как же это вы — неосторожно... я сейчас врача! *(Поднимает трубку.)*

Френк. Не надо, Бен, прошу вас! Вы же отлично знаете, что при дозе в две тысячи рентген врачи могут только испортить настроение. Слушайте лучше, что я скажу. Тем более что, судя по приборам, у меня мало времени...

Голдвин делает шаг к нему. Френк поднимает руку.

Нет! Не подходите, пожалуйста. Кто знает, может, она разнее чумы — эта введенная нейтрино-радиация. Сядьте там, Бен. Вот так... Уф-ф! Хорошо, что я вовремя остановил этот процесс. Он нарастал лавиной. Пришлось сбросить в тело реактора все аварийные стержни. Лаборатория тоже получила дозу — ну, да журналом пользоваться можно. Там все записано, Бен, потом прочтете. Словом, так: комбинация реактора и плазменного генератора дает потоки нейтрино, которые быстро возбуждают стабильные ядра. За доли секунды...

Голдвин. Накопление нейтрино в нуклонных оболочках ядер — и мгновенный сброс, как в лазере?

Френк. Да. Вы рассчитали этот случай?

Голдвин кивает.

Вот видите: опыт подтверждает теорию. Режим записан в журнале... впрочем, это я уже говорил. *(Откидывает голову.)*

Голдвин. Вам плохо, Френк?

Френк. Нет еще. Я просто не спал две ночи... Что я еще хотел сказать? Да! Там есть и другая возможность: если снижать концентрацию антинейтрино, все будет наоборот. Повышение устойчивости. Я не успел проверить этот вариант, повернул ручки не в ту сторону. Но должно получиться, это ясно.

Голдвин. Я сейчас проверял именно этот вариант, Френк.

Френк. Да? Вот видите, как все хорошо... как у нас с вами все хорошо. Вы проверяете один вариант, я другой... как всегда. Как будто ничего не было. Ничего и не было — да, Бен?

Голдвин. Д-да, Френк. Ничего не было.

Френк. И отлично. Как в детстве: мири-мири навсегда, кто поссорится — свинья... Вы обо мне подумали немного хуже, чем следовало, Бен. Я просто хотел, чтобы все вышло хорошо... думал, если взяться как следует, то получится... И получилось! Получилось... Только по моему пути идти нельзя, Бен. Это крышка! В нашей Галактике вспыхнет еще одна «сверхновая». И ученые других миров будут ломать головы, пытаясь объяснить ее появление естественными причинами. Надо вертеть ручки в другую сторону, Бен!

Голдвин. Я понимаю, Френк. Так и будет.

Френк. Да, да... Что я еще хотел? Я прикидывал там, в журнале, — есть возможность полного управления ядром. Очень тонкая регулировка энергий нейтрино и антинейтрино, локализация пучков — и все получится. Это... это же золотой век, Бен! Любые запасы энергии, любые превращения веществ, любые структуры... Золотой век, мимо которого человечество пройдет! Потому что это тоже нельзя, Бен. Это оружие. То самое, с великолепной скоростью доставки: от объекта А к объекту В — или наоборот. Это невозможно, Бен!

Голдвин. Я знаю, Френк.

Френк. Что я еще хотел? *(Улыбается.)* Мы сейчас как в аэропорту за минуту до вылета: все, что собирался сказать напоследок, вылетает из головы... *(Поднимается, подходит к лабораторному столу, берет урановый образец.)*

Голдвин. Что вы делаете, Френк, — это же уран!

Френк. Неважно... *(Перекидывает образец с руки на руку.)* Еще неизвестно, кто сейчас больше испускает частиц: он или я... Дерьмовый все-таки металл, этот уран. Окисляется, со всякими средами взаимодействует. Даже столовую ложку из него отлить нельзя. Цвет гнусный... И это дрянцо держит в страхе целый мир! *(Кладет образец обратно.)* Нет, вздор. Не он — люди сами держат в страхе друг друга. *(Возвращается к креслу, шатается.)*

Голдвин бросается к нему.

Ничего, Бен, все в порядке. *(Садится.)* Но на этот раз, кажется, обойдется. В мире все останется по-прежнему. Есть только один путь: грубый, примитивный, но надежный. И мир уцелеет... Правда, этот математик говорил — ну, да что он понимает в физике, робот! Мир уцелеет. Все будет тихо, спо-

койно. Люди вздохнут с облегчением, будут жить. Только одно... только одно: какой мелкой сволочью должен почувствовать после этого себя каждый мало-мальски думающий человек на Земле! Его спасли, ему снисходительно разрешили жить дальше — до новой опасности, когда снова придется трястись от страха, бояться неба, воды, земли, друг друга — всего! Что может быть постыднее! А ведь все в руках их самих, всех людей Земли. И не требуется ни героизма, ни жертвенности... ни даже большого ума. Только одно: понимаешь, что твоя работа опасна для людей, — брось это дело! Найди другое: выращивай сады, сей хлеб, играй в джазе, строй дома — не пропадешь, прокормишь и себя и семью... Но нет, как это: бросить?! Я брошу, а кто-то другой займет мое хорошее место? И я останусь в дураках? Вот так и получается... Крик души: устроиться, устроиться, устроиться! Чтоб меньше работать, больше получать! Урвать, урвать любой ценой! Бегающие глаза, устремленный вид и потные ладони... И все остаемся в дураках. *(Помолчав.)* «Чем вас привлекает наша фирма? Сколько вы получали раньше? Сколько откладывали? Есть ли у вас девушка и любит ли она бейсбол? Какую религию вы исповедуете?» Какое вам дело, что я исповедую, лавочники?! Будь ты проклята, планета лавочников, планета напуганных идиотов! Сгорим — туда тебе и дорога... *(Прикладывает ладони к лицу.)* Нет. Не то... Это у меня от общения с Хенишем, Кеннетом и его высокопревосходительством, господином министром. Не все же такие, как они... А знаете, Бен: первое время мне это льстило. «Разрешите, сэр, представить вам доктора Гарди, руководителя экспериментального сектора Центра...», «Вы настоящий американец, док!» Куда к черту... А теперь, после общения с ними, такое отвращение к жизни, что и умирать не страшно. Зачем они? Для чего они живут на Земле?

Голдвин. Не вспоминайте о них, Френк.

Френк. Да, да... перед смертью полагается вспоминать бога, а не дьяволов. Я веду себя не так, как подобает умирающему, — да, Бен? Не умиротворенно? *(Поднимается.)* Нет во мне умиротворенности! Нет! Человек умирает — это не страшно. Человек смертен. Человечество может погибнуть — вот что страшно. Человечество должно быть бессмертно. Должно! Иначе жизнь теряет смысл... *(Ослабевает, опускается.)* Обещайте рассказать людям обо всем, Бен. Обо всем, что было здесь.

Голдвии. Да, да... *(Подходит к нему.)* Я виноват перед тобой, Френк. Очень виноват, мой мальчик!

Френк *(отстраняет его)*. Не надо, Бен. Не подходите. Вам не в чем винить себя, Бен. Это так естественно для нашего времени: не верить друг другу. И потом — мы уже сказали друг другу «мири-мири навсегда». Навсегда... навсегда... *(Смотрит на часы. Тикает счетчик Гейгера.)*

Занавес

Действие четвертое. Будет ранняя весна

Освещена левая половина сцены: комната поисковой группы «Эврика». Обстановка прежняя, только стену украсило еще одно изречение: «И клоп ползет науке!»—К. Прутков, инженер». Самойлов сидит на столе возле доски. Валернер и Ашот слушают его.

Самойлов. Теперь смотрите. В принципе возможно сфокусировать поток нейтрино в точку размером 10^{-13} сантиметра — так, значит? — и обрабатывать ею каждый нуклон ядра в отдельности. То есть, скажем, так: берем кирпич. Кирпич обыкновенный. Наводим на него пучки нейтрино, в каждом ядре меняем количество протонов и нейтронов в нужную нам сторону — так, значит? — и получаем любые комбинации атомов, любые вещества. Например, образовали прослойки чистого полупроводникового кремния — так, значит? Затем металлические контакты к ним, прожилки алюминия — все это есть в простом кирпиче, так, значит? Образовали емкости, сопротивления, транзисторы, диоды, магнитные ячейки памяти, соединили их по схемам проводниками — нейтринным пучком это будет проще сделать, чем нарисовать мелом, — так, значит? И кирпич обыкновенный стал микроэлектронной машиной, по сложности не уступающей человеческому мозгу!

Валернер. Чепуха, Петр Иванович. Реникса... Надо же еще научиться фокусировать нейтрино в такие пучки.

Самойлов. Сам ты реникса, Шарль Борисович! Теперь научимся. Главное — в принципе это возможно...

Валернер. Э! *(Подходит к доске, берет мел.)* Слушайте

лучше о более близкой возможности: как дарма добывать энергию... (*Пишет на доске символы и числа.*) Вообще мне от Ивана Ивановича влетит, что я не тем занимался, но — не мог. Не мог оторваться. Ведь это же хоть сейчас пробовать можно! Смотрите: если облучать вещества нейтрино таких энергий — любые вещества, заметьте, атомный номер не играет роли, — то из ядер будет выделяться тепловая и световая энергии. Медленно и постепенно. С саморегулировкой, да...

Ашот. Ну, подумаешь. Это мы в опытах получали, да?

Валернер. Что вы получали?! Вы в опытах красивый пшик получали — вот что вы получали! А это можно делать в масштабах континентов. В масштабах планеты. Почву можно прогревать в зоне мерзлоты. Воду в холодных океанах. Климат изменять! Они получа-али... Или воздух греть в городах — как в квартирах. Улицы освещать и дороги — самосветящимся воздухом. И главное: затрат-то энергии никаких. Вся энергия уже имеется в ядрах... Вы понимаете, братцы: через десять лет жителям Чукотки, Новой Земли и прочих там Таймыров будет казаться чушью, нонсенсом, искажением советской действительности, что когда-то они кутались, замерзали, когда у них под ногами была неистощимая мощь и нежность атомных ядер! У них не будет полярной ночи, будут сплошные ядерно-полярные сияния!

Ашот. Это что! (*Вскакивает, подходит к доске.*) Вот ты слушаешь лучше. Берем обыкновенные металлы — да? — облучаем их нейтрино — да? — превращаем все протоны в нейтроны — да? — имеем сверхпрочный ядерный материал. Для любых температур! Для любых напряжений! Все можно им делать, да!

Самойлов. Верно, Ашотик! Верно, Шарль Борисович! И это можно. Теперь все можно... Ух, ребята, и какое же мы огромное дело своротили, а? Ведь, по сути, только теперь ядерная физика выходит на настоящую дорогу. Раньше-то, раньше болботали, что получение искусственных изотопов в реакторе — современная алхимия. Мура то была, а не алхимия! Ведь получались радиоактивные изотопы, а из них разве что делается! А теперь... теперь все будет по-настоящему. Нейтринные пучки — и микроэлектронные «мозги» для тех, кому не хватает, — так, значит? Нейтринные пучки — и самообогрев Ледовитого океана, таймырские пляжи в пальмах, яблоневые сады и апельсиновые рощи в бывшей тундре! Нейтрино — и

ракеты, запросто пролетающие сквозь Солнце! Нейтрино — и светящиеся облака горкоммунхоза для освещения парков и улиц! Нейтрино — и тоннели в горах... ну, облучили ненужную часть горы — и она превратилась в воздух, так, значит? Нейтрино — и... ух, ребята! *(Хватает на руки Ашота, кружит его по комнате.)* Ух, Ашотик!

Ашот *(дрыгает ногами)*. Пусти! Пусти, говорю! *(Самойлов ставит его на пол. Он одергивает пиджак, топорщит усы.)* Я тебе что — девушка, да? — на руках меня носить!

Самойлов. Нет, скажи: разве мы не молодцы? В два года сделали такое дело. А ведь с чего начинали!

Ашот. Вот, вот... сэбя не похвалишь, сидишь, как оплеванный, да?

Самойлов. Нет, а что же! Вот вернется Иван Иванович, я из него душу вытряхну, а добьюсь разрешения начать опыты!

Входят Макаров и Шардецкий.

Ашот. Ну вот — начинай, да? Вытряхивай...

Шардецкий. Здравствуйте... *(Устало опускается на стул.)*

Макаров. Здравствуйте, товарищи. *(Шардецкому.)* Может, лучше у вас в кабинете, Иван Иванович?

Шардецкий. Э, все равно... Здесь это началось, пусть здесь и кончится. *(Самойлову.)* Петр Иванович, будьте добры, пригласите сюда всех руководителей отделов и лабораторий.

Самойлов. Хорошо... *(Направляется к телефону.)*

Короткое затемнение. Свет. В комнате человек двадцать начальников отделов и лабораторий.

Шардецкий. Олег Викторович, начните, пожалуйста, вы.

Макаров. Хорошо. *(Выходит к доске.)* Значит, вот какие обстоятельства, товарищи. В течение последних дней наше правительство предпринимало энергичные попытки договориться с Соединенными Штатами Америки о мирном применении нейтрино-генераторов, об исключении вашей работы и аналогичной работы у них из военной сферы. Переговоры велись и через дипломатические каналы, и через научные, и на самом высоком уровне... Но договориться не удалось. В Америке сейчас, после провозглашения известной вам «доктрины опережающего удара», обстановка истерии. Любые наши действия, любые попытки обменяться мнениями по существу дела поли-

тики и военные в Соединенных Штатах воспринимают как подвох, как попытку разведать, какая у них степень готовности нейтринного оружия. Могу, например, сообщить, что американское правительство отказало Ивану Ивановичу Шардецкому в его просьбе поехать в США, чтобы обсудить с американскими ученым и экспертами эту проблему. Отклонило оно и альтернативное предложение командировать американских физиков к нам. Тогда... Иван Иванович, может, дальше вы сами?

Шардецкий. Нет, продолжайте, пожалуйста. У вас хорошо выходит...

Макаров. Гм... Тогда в правительстве был заслушан доклад Ивана Ивановича о возможностях нейтрино-генераторов, а также доклады наших военных и политических деятелей. И на основе всего этого (*торжественно повышает голос*) с целью устранения военной опасности нашему государству и всему миру было принято предложение академика Шардецкого о единственно возможном в сложившейся обстановке варианте применения нейтринных генераторов...

Шардецкий (*поднимается*). Что это за вариант, я скажу сам. Собственно, вам всем он ясен, товарищи. Надо будет запустить все генераторы на излучение нейтрино малых энергий, с тем чтобы резко повысить их концентрацию в Земле и околоземном пространстве. Этим самым...

Валернер (*вскакивает*). Но позвольте, Иван Иванович! Это же... конец!

Шардецкий. Этим самым мы на долгое время повысим устойчивость атомных ядер всех тяжелых и сверхтяжелых элементов...

Самойлов (*хватается за голову*). И это предложили вы?! Вы — физик! Да вы понимаете, что это значит!

Шардецкий. Да, я понимаю, что это значит! Это значит, что все радиоактивные вещества перестанут излучать частицы и гамма-кванты. Это значит, что прекратятся цепные реакции деления, погаснут реакторы — все, в том числе и наши, испускающие потоки первичных нейтрино.

Самойлов. Да это же конец ядерной физики и ядерной техники! Теперь к ядру сто лет не подступиться...

Ашот (*вскакивает*). А как же все наши применения, наши расчеты? Вы же сами предлагали нам думать, Иван Иванович!

Валернер. А способ добычи тепловой и световой энергий из ядер? Я... я ночи не спал. Рассчитывал и... и мечтал, как

это будет! (*Голос его дрожит.*) Это же запасы энергии для человечества на тысячи лет. А теперь... эх!

Самойлов (*рывком переворачивает доску, показывает свои записи.*). Вот способ, как нейтринными пучками осуществлять любые структуры и превращения. И методика уже рассчитана. Я выполнил ваше приказание, товарищ директор! Вы же сами говорили! И установку уже спроектировал... (*Ломает палочку мела.*) Я вам что — Ванька?!

Штерн. Действительно, Иван Иванович, как же так? Мы же губим будущее! Будущее, которое уже вот-вот... почти в руках.

Шардецкий. Тихо! Тихо... Зачем вы говорите все это мне? Разве я не мечтал о тех грандиозных проблемах, которые может решить наша работа? Да, все это можно. И ничего этого не будет... И не смотрите на меня так, будто я вас обманул, будто я виноват. Не смейте на меня так смотреть! Не я виноват. Мы не знаем, как вели и куда завели свою работу американцы. Мы не знаем, на что может толкнуть их страх. Будущее... Будущее должно быть — это прежде всего. Будут люди жить дальше — решат остальные проблемы; и насчет энергии и насчет материалов и структур. Не так — так иначе, не через год — через десятилетие... но решат! А если нет — и говорить не о чем. И чтобы спасти мир, спасти будущее, мы должны, обязаны... Не думал, что придется мне говорить такое, не думал и дожить — закрыть свою науку. Это была великая наука. Интереснее ее я ничего не знал... и, наверное, уже не узнаю. Но не ко времени она пришлась...

Валернер. Ядерная физика — и была! Как о покойнике... Эх! Пятнадцать лет работы, пятнадцать лет жизни — псу под хвост! (*Отходит к окну.*)

Самойлов. Иван Иванович, но ведь мы губим и мирные применения ядра: атомные электростанции, изотопы... как же?

Шардецкий. Придется искать другие способы, скажем, полнее использовать энергию Солнца. Ничего не поделаешь... Сейчас нельзя сохранить мир, не поступившись этим.

Макаров. Товарищи, к порядку! Не надо так отчаиваться. Вы не дали даже договорить Ивану Ивановичу. Он не сказал, что эту меру решено применить только в качестве ответной — если американцы начнут действовать. Может, все и обойдется...

Открывается дверь. Вбегает Якубович. Он бледен.

Якубович. Иван Иванович, минуту назад темп распада урана уменьшился на полпроцента!

Шардецкий. Ну вот... Не обошлось, Олег Викторович. Значит, американцы применяют первый вариант. Действуйте, Илья Васильевич, вы ведь дежурный.

Самойлов *(шагает навстречу Якубовичу)*. Стой! Ты его делал, это открытие?! *(Ко всем.)* Ну, товарищи, что вы? Может, это так? *(Подбегает к окну.)* Смотрите: ночь, звезды, снег... все тихо. Не может быть, чтобы они начали. Нельзя это, нельзя! Ведь мы убиваем открытие! Такое открытие!

Якубович *(после колебания)*. Вы лучше сами, Иван Иванович. Я — не могу.

Шардецкий *(подходит к окну)*. Ночь, звезды... Двадцать второго июня сорок первого года, помнится, была такая же звездная ночь. *(Поворачивается к Самойлову, яростно.)* И нас били! За самонадеянность били, за доверчивость, за беспечность! Смертным боем били... Так вот: этого больше не будет. *(Быстро подходит к телефону, набирает номер.)* Первый экспериментальный? Говорит Шардецкий. Включить все нейтрино-генераторы в заданном режиме! *(Набирает другой номер.)* Второй экспериментальный? Шардецкий. Включайте все генераторы. На полную мощность, да. *(Набирает третий номер.)* Третий экспериментальный? Включить нейтрино-генераторы на полную мощность. Да, я! *(Кладет трубку.)* Вот и все...

Тихо в комнате. Все сидят неподвижно. От совершающихся где-то в сети мощных переключений помигивает свет под потолком.

Самойлов *(крутит головой)*. Хорошо было в каменном веке. Не сходятся двое во взглядах на жизнь — ну, его камнем, тот его дубиной. И объяснились. До чего это было возвышенно и благородно!..

Валернер. Смотрите! *(Показывает в окно.)*

Кто-то тушит свет, все сходятся к окну. За окном, освещая комнату, разгорается клубящееся зелено-синее зарево.

Макаров. Что это, Иван Иванович?

Шардецкий. Радон, почвенный радиоактивный газ. Только теперь он избавляется от излишней энергии не альфа-частицами, а множеством световых квантов.

Валернер. Красиво горит наша наука...

Самойлов (*стоит, сжав кулаки*). Убивают открытие, убивают открытие! Клубись, зеленый дым, клубись... Все уходит сейчас с тобою, зеленый дым. Опадает яблоневый цвет с садов в тундре — не вырастут сады. Обрушиваются тоннели в горах. Не будет блистающих над дорогами и городами облаков. Топор страха рубит пальмы на берегу Ледовитого океана... Те, кого мы могли насытить и обогреть, будут голодны и холодны. Те, кого могли вылечить, останутся больными. Страх, будь он проклят, страх — мохнатое чудище на паучьих лапах — топчет нашу мечту, нашу работу...

Ашот. Пойдем отсюда, Петро, да? Не надо смотреть. Пойдем, пожалуйста, да?

Самойлов (*идет с Ашотом к выходу, тоскливо и мечтательно*). Эх... убить бы сейчас кого!

Затемнение слева. Освещается правая сторона: кабинет военного министра. Он пуст. Только адъютант работает за столом-пультom.

Пирней (*входит*). Доброе утро! Ф-фу... насилу пробрался через пикеты! Джеймс Пирней, корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн». Несколько слов с министром.

Адъютант. Ждите. Скоро будет.

Хениш (*входит*). Доброе утро! (*Адъютанту*). Министр?

Адъютант. Ждем с минуты на минуту, сэр.

Пирней. Сенатор Хениш, если позволите, я проинтервьюирую вас. Джеймс Пирней из «Нью-Йорк геральд». (*Вынимает блокнот.*) Что вы, как председатель сенатской комиссии по ядерной политике, можете сказать о слухах, будто в исследовательском центре Голдвина—Клинчера создано новое оружие, действие которого якобы нейтрализует ядерное оружие? Знаете, сенатор, общество начинает трясти от этих слухов: акции оборонных компаний летят, пикетчики буйствуют...

Хениш. Я пришел к министру, чтобы требовать расследования деятельности Центра Голдвина — Клинчера, мистер Пирней. Можете это записать. У моей комиссии есть основания считать, что слухи о «новом оружии» распускают безответственные левые элементы нашего общества, играющие на руку русским и мировому коммунизму. Они стремятся подорвать экономику страны и создать неуверенность в завтрашнем дне.

Моя комиссия располагает неопровержимыми данными, что никакого оружия в Центре Голдвина не создано и не может быть создано...

В дверях появляется министр, за ним Клинчер. Адъютант встает. Министр прикладывает палец к губам, слушает.

Все это предприятие является грандиозной научной аферой, мистер Пирней!

Клинчер (министру). Вы слышите, сэр? Я ведь говорил...

Министр (подступает к Хенишу). Значит, это вы...

Хениш. Я не вправе скрывать от американского народа... записывайте, Пирней, записывайте! — что деньги налогоплательщиков потрачены впустую.

Министр. Значит, вы... вы ложно ориентировали меня?

Клинчер. Он с самого начала все знал, сэр!

Министр. Молчать! Все вы, все... Никому нельзя верить. Значит, это вы, Хениш, дали знать русским, что у нас ничего еще не готово? Или вы не Хениш, а Иваноф? Сколько вам заплатили русские?

Хениш. Я не позволю так со мной разговаривать, сэр!

Резко звучит зуммер на столе-пульте. Министр вздрагивает.

Адъютант. Прямой вызов, сэр. Японское море.

Голос из динамика, перебиваемый помехами: «Алло, Вашингтон! Алло! Говорит командир подводной лодки «Энтерпрайз». Полчаса назад отказал реактор. Всплыли в районе с координатами: 125 градусов восточной долготы, 39 градусов 14 минут северной широты. Ремонт реактора невозможен. Ждем помощи и буксира. Капитан-лейтенант Бирнс».

Министр (смотрит на карту-табло. На ней в районе Японского моря начинает мигать зеленая лампочка). Вот... вот оно. Они начинают выводить из строя наши атомные лодки. Кто это сделал? (Поворачивается к сенатору.) Вы?! (К Клинчеру.) Вы?! Ну что ж, мы погибнем, но и вы погибнете вместе с нами! Все! Все! (Осторожно подходит к портьеру, кладет руку на задний карман. Рывком отдергивает портьеру. За ней никого нет.)

Адъютант. Прикажете направить буксир, сэр?

Министр. Что — буксир! Что — буксир, полковник! Это начало — и конец. Все сразу. Все...

Клинчер пятится к двери, исчезает. За ним исчезает Хениш. Снова зуммер. Голос в динамике кричит: «Алло! Говорит подводная лодка № 21! Отказал реактор, отказал реактор! Исправить не можем. Всплываем в территориальных водах русских. Нас могут интернировать. Радируйте, что делать. Шлите помощь! Прием!»

Спротивляться! Не сдаваться! Атомный залп!

Адъютант. Но... приказ об атомном залпе отдает президент, сэр.

Министр. Президент! И он красный, и он коммунист! Все вы, все...

Зуммер. Голос из динамика: «Алло, докладывает командир подводной лодки «Трешер-2». Отказал реактор, отказал реактор. Всплываем в русской зоне. Затирают льды. Радируйте, что делать. Шлите помощь. Прием!»

(Смотрит на карту. Там мигает уже семь зеленых лампочек.)
Вот оно! Значит, они нас... все по Кеннету. Задача имеет только одно решение. И ничего поделать нельзя.

Зуммер. Голос: «Алло, докладывает служба наблюдения восточного сектора. Наблюдаем всплытие советских подводных лодок.

Видим с самолетов три лодки... четыре... пять...»
Пять красных мигающих лампочек загорается на карте-табло в Атлантическом океане.

Теперь они — залп. Все по Кеннету, задача имеет только одно решение...

Зуммер. Голос: «Алло, докладывает служба наблюдения Тихоокеанского сектора. Наблюдаем всплытие советских подводных лодок. Семь подлодок... восемь...»

Они нас! Они нас... Как в страшном сне, когда убивают — и не можешь пошевелиться.. Нет! Нет! Надо решить эту стратегическую задачу. Решить сейчас. Значит, если они нас — мы их... нет, мы их — они нас... Нет, не то! Мы — нас, они их... Они нас — мы их... Что это я? *(Трет виски.)* Бедная моя голова!

Адъютант. Что же делать, сэр? Надо что-то делать!

Министр. Тсс... тихо. Я решаю стратегическую задачу. Они нас — мы их. Нет, они их — мы нас... Нет, не то.

У него сейчас такое интересное лицо, что Пирней не выдерживает, наводит фотоаппарат. Белый свет лампы-вспышки.

Что — уже?! (Прикрывает лицо.) Уже! А-а-а-а! (Выбрасывается в окно.)

Адъютант вскакивает, бросается к окну. Смотрит. Поворачивается к Пирнею.

Пирней (растерянно). Я только хотел...

Затемнение справа. Освещается левая сторона сцены: кабинет Шардецкого. За окном медленно угасает зелено-синее зарево.

Шардецкий и Макаров смотрят на него.

Шардецкий. Вот и все...

Макаров. А вы посидели за эти два года, Иван Иванович. Совсем белый стали.

Шардецкий. Да. В Москве, Олег Викторович, непременно сообщите в Министерство сельского хозяйства: в этом году весна наступит на две недели раньше, чем обычно. И пусть не опасаются, будто это оттепель, каприз погоды — нет. Будет ранняя дружная весна.

Макаров. И это вы рассчитали, Иван Иванович?

Шардецкий. Да. Мы все рассчитали... все, что можно рассчитать. Пусть хоть это используют.

Затемнение слева. Освещается правая сторона: кабинет-лаборатория Голдвина. Из окна и из реакторного зала в комнату льется зелено-синее свечение. Голдвин в кресле отдыхает. У пульта ассистент.

Ассистент. Цепная реакция замедлилась, профессор!

Голдвин. Выдвигайте все стержни, выводите реакторы на критический режим. И распорядитесь, чтобы это сделали в остальных лабораториях. Я устал.

Ассистент. Но... это же опасно!

Голдвин. Теперь не опасно, Френк. Не опасно, мой мальчик.

Ассистент. Я Джон, сэр! Джон Кейв, пора привыкнуть.

Френка Гарди уже нет в живых! (*Осторожно поворачивает рукоятку на пульте. Учащается треск счетчика*). Вы слышите, профессор! Мы... не облучимся, как доктор Гарди?

Голдвин (*встает, подходит к пульту*). Да, вы Джон. Конечно, вы Джон, а не Френк, — тот никогда не сказал бы такую глупость. Пустите! (*Резко вращает рукоятку. Говорит в микрофон.*) Внимание, всем лабораториям вывести стержни из реакторов. Все стержни! (*Ассистенту.*) Мы не успеем облучиться, Джон Кейв, не пугайтесь. Через час-другой ядра успокоятся.

Свечение в реакторном зале начинает угасать. Счетчик потрескивает реже, чем раньше.

Ассистент. Цепная реакция замирает, профессор! Это при выведенных-то стержнях. Значит...

Голдвин. Значит, реакторы сделали свое дело — и теперь погаснут надолго. Вот и все, Френк... (*Поворачивает кресло к окну, садится. Лицо его освещает зеленый свет. Голос его звучит теперь из динамика.*) Прощай, великая наука! Как и все другие, ты возникла в поисках истины. Мы развивали тебя из самых лучших побуждений. Ни на какую другую не истратил мир больше труда и денег, чем на тебя. И ни от какой другой он не получил меньше пользы, чем от тебя... Все, что хотят от себя сейчас люди: чтобы ты не принесла им вреда. Пусть будет так! Так ты хотел, Френк. Я думаю о тебе, как о живом... да ты и в самом деле жив. Ты в гораздо большей степени жив, чем те люди, что каждый день умирали от страха за свое благополучие...

Появляются Клинчер и Хениш.

Клинчер. Что все это значит, профессор? Что вы сделали?

Голдвин (*оборачивается*). Выполнил работу, за которую брался, генерал. А, коллега Хениш! Как ваши дела? Надеюсь, акции «Глобус компании» стоят высоко?

Хениш. Вы... вы... нарочно устроили этот трюк, чтобы разорить меня! Но не выйдет, нет! Через день-два ваши дурацкие эффекты прекратятся, распад и деление ядер восстановится. Все будет по-прежнему! Я свое возьму!

Голдвин. Вы напрасно оставили физику, Хениш. Тогда бы вам легче было понять, что ни через день, ни через год ра-

диоактивность не восстановится. Заряда устойчивости хватит лет на пятьдесят... если не на все сто. У людей будет достаточно времени поразмыслить.

Клинчер быстро отходит к телефону, снимает трубку, набирает номер. Хениш бросается к тому же телефону, нажимает рычажки, вырывает у Клинчера трубку. Идет борьба.

Клинчер. Позвольте, сенатор, я первый! (Вырывает трубку.)

Хениш. Нет, уж вы позвольте!

Борьба. Победила армия. Хениш летит на пол.

Клинчер (быстро набирает номер). Белый дом? Говорит генерал Клинчер. Немедленно соедините меня с президентом...

Хениш поднимается, оглядывается.

Господин президент? Докладывает бригадный генерал Клинчер, руководитель исследовательского Центра «Нуль». Рад сообщить, господин президент, что работы по...

Хениш хватает с лабораторного стола массивный прибор, обрывает провода, бьет Клинчера по голове. Тот роняет трубку, опускается на пол.

Ассистент (хватается за голову). Что вы делаете! Это же гальванометр!

Хениш (лихорадочно набирает номер). Алло, Стюарт! Это Хениш. Продавайте все акции. Все, что мы накупили. Да, все, вам говорят!

Голос Голдвина. Дорогую цену заплатило ты за страх, человечество. А ведь это не последняя опасность на твоём пути.

Хениш. Продавайте! Продавайте! (Голос его срывается.) Продавайте!!!

З а н а в е с

ЗАПИСКИ ИЗ БУДУЩЕГО



Глава первая

Все ясно. Лейкоз, лейкемия. В моем случае — год, может быть, два. Мир жестокий и голый. Кажется, я никогда его таким не видел. Думал, что все понял, все познал и готов. Ничего не готов.

Подхожу к окну. Мерзко и сыро на дворе. Декабрь без мороза и снега. Какие странные деревья: черные, тонкие ветви, ни единого сухого листика. Все снесло ветром, ни одного не осталось.

Люди бегут под фонарями в черных пальто.

Мне уже некуда спешить. Мне нужно теперь оценивать каждую минуту. Секунду. Нужно поддержать ее в руках и с сожалением опустить. В корзине времени их все меньше и меньше. Обратного взять нельзя: они тают безвозвратно.

Не надо высокопарных фраз. Всю жизнь мы немножко рисуемся, хотя бы перед собой.

Вот этот анализ крови на столе, под лампой. Жалкий листочек бумаги, а на нем — приговор. Лейкоцитоз — сотни и сотни тысяч. И целый набор патологических форм кровяных телец.

Трудное положение было у Давида сегодня. Не позавидуешь. Хорошо, что я имею дело с собачками. Имел дело.

— У тебя с кровью не все в порядке, Вая. Нужно лечиться.

Так мы и не произнесли этого слова — лейкоз. Я прикинулся дурачком, а он небось подумал: «Слава богу, не понял».

Люба еще не знает. Тоже будут упреки: «Почему ты не пошел раньше? Сколько раз я тебя просила!..»

«Каждый умирает в одиночку».

Фраза какая точная.

А хорошо, что у меня никого нет. Почти никого. Конечно, Любе будет очень плохо, но у нее семья. Обязанности. Нужно скрывать, держать себя в руках. Если постоянно тормозить эмоции, то они и в самом деле исчезнут. Закон физиологии.

Вот теперь и не надо решать эту трудную проблему. Все откладывали: «Подождем еще лет пять, дети будут взрослые, поймут...» И я так боялся этого момента, когда все нужно будет открыть.

Теперь не нужно. Дотянем так. Больной — и осуждать не будут. Да и не за что будет осуждать.

Каждый — в одиночку.

Нет, ну почему все-таки я?! Разве мало других людей?! Я ведь еще должен столько сделать!

Только вошел во вкус, ухватился обеими руками... И... пожалуйста! Приехали! Черт знает что!.. Почему?!

Это, наверное, изотопные методики помогли. «Мирный атом». Все сам возился. Пусть бы занимались другие. Стоп! Не подличай. Каково бы было, если бы, например, у Юры? Нужно завтра же всем проверить кровь...

Почему мы так мало знаем? Рак, лейкоз — стоят проблемы перед нами, как и двадцать лет назад. Химия? Вирусы? Радиация?

Разгадка будет. Скоро. Уверен. Уже всерьез взялись за самое главное — механизм клеточного деления. ДНК. РНК.

Но уже не для меня.

Наверное, мне не стоит читать об этих лейкозах. Нужно положиться на Давида — хороший врач и приятель. Хватит того, что прочел в медицинской энциклопедии: «...от одного до двух лет». Чем больше знаешь, тем больше все болит. Вчера еще ничего, почти ничего не чувствовал, а теперь — пожалуйста! — уже в подреберье тяжесть, уже десны саднит, голова кружится.

Так, наверное, и буду все прислушиваться к своему телу. Потеряю свободу. Еще одну свободу. Всю жизнь оберегал ее, а теперь совсем потерял.

Пробуют пересадки костного мозга. Нужно разыскать статьи...

Может быть, удастся обмануть? Вдруг вылечусь? Опять войду в лабораторию без этих часов, отсчитывающих минуты? (Снова фраза.)

Не нужно обольщаться, друг. Привыкай к новому положению. К смерти. Дрожь по спине. Жестокое слово.

Так жалко себя! Хотя бы Люба пришла, приласкала. Погладила по голове. Просто погладила.

Позвонить? Может быть, запрет уже ни к чему?

Нет. Еще нельзя. Не нужно осложнений.

Странное ощущение. Как будто спокойно шел по дороге и вдруг — пропасть. Думал, вот впереди такой-то город, такая-то станция. Интересные дела, хорошая книга. И все исчезло. Осталось несколько метров пыльной дороги с редкими цветочками на обочине. И назад нельзя.

А что там было, позади? Было много хорошего. Много.

Все меняется. Вчера еще спрашивал себя: «Повторить?» Нет, пусть идет вперед. Только вперед! А сегодня не прочь присесть и подождать. Посмотреть на цветочки.

Но уже нельзя.

Тело еще не верит. Как будто смотрю на сцену, где разыгрывается жалостливая пьеса. Знаю, что конец будет плохой, но можно сказать: «Это не со мной!»

Походим. Семь шагов от стола до шкафа. Еще семь — обратно. Туда — обратно. Туда — обратно. Некому даже оставить вещи. Как некому? А лаборатория? Будет у них своя библиотека, обстановка для кабинета или комнаты отдыха.

За стеклом перед книгами — сувениры. Их кому? Ослик из Стамбула. Статуя Свободы — из Нью-Йорка. Волчица кормит Ромула и Рема. Маленькая химера с Нотр-Дам. Воспоминания: конгрессы, доклады, аплодисменты, шум приемов. Все уйдет со мной.

Бешено размножаются эти клетки там, в костном мозге. Так и вижу, как они делятся одна за другой. Одна за другой. Выпрыгивают, юные и голые, в кровеносное русло. Наводяют меня всего.

Хочется крикнуть: «Спасите!»

Трудно одному.

Позвать Леньку? Он еще не знает. Расскажу. Поплачусь.

И что? Что он скажет, кроме банальных слов утешения? Которые будут ему самому противны. Разве что напьется. Не нужно. Ни с кем не нужно об этом говорить. Хватит Давида. Во всяком случае, пока есть свобода и воля.

Будут еще последние недели. Придется в больницу. Не хочу. Знаю, как там, — сам был и врачом и пациентом.

Протянуть как можно дольше дома. Еда, лекарства? Друзья и девушки из лаборатории будут приходить. (Люба, паверное, даже тогда не сможет.) Сколько хлопот им будет со мной!

Лучше уж в больницу. Можно прикрыть глаза и сказать: «Я устал». Облегчение на лицах: долг выполнен, можно уйти.

Опять окно. Черные, голые ветки. Ветер. Одиночество.

Казалось, давно привык, смирился. Даже доволен: никто не мешает. А теперь стало грустно.

Музыку? «Красные... помидоры... кушайте... без меня!»

Не может быть. Не может быть, что нет выхода. Вот так не верят люди в смерть. А врач виновато разводит руками: «Нельзя помочь».

Кофе? Рефлекс — 10 часов. Еще три часа работы. Работа? Она уже не нужна. Но кофе попьем.

Может быть, это сон? Дважды в жизни мне снился рак — было так же, если не хуже. Просыпался: «Ох, как хорошо!»

Хозяйство у меня какое налаженное! Кофе самый лучший. Мельница. Мощная. Венгерская кофеварка. Хорошая порция для одного.

Жду, пока закипит. Просто жду. Лучше бы выпить водки, да жаль, не привык. Теперь было бы кстати. Выпил и спл.

Какой приятный вкус! Кофе прибавляет оптимизма.

Мой друг, ведь ты считаешь себя ученым. Это так много — ученый. Человек, который может все разложить по полочкам. Оценить. Установить связи, создать системы. И кроме того, он должен быть смелым. Владеть собой.

Остановись. Вытри слезы и слюни. Умирать еще не сейчас.

Попробуем взглянуть на вещи трезво. Перед лицом смерти. Но лучше без фраз. Взять бумагу и написать, как привык делать всегда.

Дано: я и болезнь. Найти оптимальное решение: что делать и как жить, чтобы получить максимум удовольствия и минимум неприятного.

Запишем: я — известный профессор-физиолог, 47 лет. Если закончу работу, то сделаю крупный вклад в медицинскую науку.

Мог бы уже сделать, уже сидел бы в академиках, если бы не разбрасывался. Помнишь? Сколько ошибок! Сколько лет даром пропало! Вот теперь бы их, эти годы!

Поздно сетовать. А вдруг что-нибудь придумают? Стоп!

Ну, а теперь «вклад» будет? Уверен?

Да, да, уверен. Все есть: идеи, методы, техника, коллектив. Эти мальчишки и девочки. Милые, хорошие...

Вернемся к теме. Записано: «Получить максимум удовольствия.

Источники: а) Творчество. Воплощение».

Любое творчество? Нет, только то, которое на пользу людям. А что? стыдно, что мы, теоретики, так мало даем врачам. Но они тоже какие-то странные, мирятся с примитивными представлениями, с ошибками. Не суди. Им трудно, когда больные умирают. Вспомни, как сам лечил. Давно.

Октябрь сорок второго. Юный зауряд-врач в прифронтовом госпитале служит первый месяц. На дежурстве просмотрел газовую гангрену. Утром ведущий хирург ампутировал раненому бедро. Умер. «Плохо, Ваня, очень плохо». Всю жизнь помню, лучше бы побил.

Итак, сколько «любви к человечеству» и сколько «удовольствия от творчества»? Не знаю. Поровну. Может быть, второго даже больше.

«Источники: б) Удовольствие от жизни. Книга. Театр. Поэсть. Ванна...»

Все это не очень. Хорошо в субботу, когда устал, а в отпуске тоска. Следовательно, функция от первого, от работы. И я, пожалуй, уже сыт этим. Мало интересного.

Врешь, наверное, друг. Когда подойдет ОНА — «Еще бы чашечку кофейку»; посмотреть на огонь; послушать прибор.

Не знаю. Пока нет.

Что будет «в»? Любовь?

Обидел меня, наверное, бог в этом деле. Что-то всю жизнь не получалось. Не хочется вспоминать. Только теперь есть она — Люба.

Моя милая. Моя единственная. Сорок лет ей скоро, дети большие, а для меня она все равно что девочка. Всегда хо-

роша: когда грустная и когда веселая. Глаза у нее, как у газели. Я не видел газелей, но такие должны быть у них глаза. Самое главное — умная. Порой кажется, что всю ее знаю, «потолок» ее ума вот, передо мной, а она вдруг возьмет и блеснет какими-то оригинальными идеями. Если бы побольше честолюбия и свободного времени, могла бы быть профессором. Несомненно. А характер? Вспыхнет, наговорит обидных, несправедливых слов. А на другой день звонок: «Знаешь, я была неправа». И — женщина... Впрочем, я не ценитель, опыт мал.

Самые банальные слова оживают для меня и блестят, когда думаю о ней.

Жалко как... Никого уже у нее не будет. И еще муж. Ревности у меня совсем нет к нему, но ей плохо.

«Источник удовольствия» — это не те слова. «Источник страдания».

Ты все-таки врешь, мой друг, даже в своем теперешнем положении! Получал больше, чем давал. И был трусоват. Эгоистичен. Помнишь, несколько лет назад был период, когда все можно было поломать? Павел пил, гулял с другими, дети знали и спокойно ушли бы с Любой.

А ты? Да, виноват. Что-то лепетал: «Подожди, подожди...» А сам боялся потерять свободу. Старый холостяк, боялся, что помешают. Потребуют внимания и заботы. Конечно, плохо ли? Свои скромные потребности ты удовлетворяешь. Плюс интеллектуальные разговоры. Тайна придает всему романтический отблеск. Остальное время можешь копаться в книгах и формулах, придумывать теории. Дискутировать с Ленкой или с ребятами за холостяцким столом.

В общем снимаешь сливочки.

А ей ведь очень трудно. Работа, дети, вечный обман, и есть еще спальня.

Оправдания твои — «сама пришла» — ничего не стоят. Ничего. Она полюбила. Если ты такой честный, взял и удержал бы ее. Жениться все равно не собирался. Да и не любил еще тогда.

Все ясно, можешь продолжать.

Что ж, нужно продолжать. Ученый всегда должен смотреть правде в глаза.

Хватит спорить: «в» — любовь — исключается.

Итак, максимум удовольствия дает работа. Это так ясно,

что не нужно было анализировать. Залезать в дебри и получать пощечины.

Впрочем, они полезны. Уменьшают жалость к собственной персоне.

Никого ты пока не осчастливил. Детей не народил и не воспитал. От твоей науки люди пользы пока не получили. Разве что ребята-помощники написали диссертации. Но и их еще нужно проверить, могут ли они двигать науку.

Хорошо. Примем к сведению. Задача все равно только одна: довести до конца начатую работу. Оправдать свое существование.

— Еще чашечку кофе, Иван Николаевич. Для оптимизма.

Остыл. Подогреть... Впрочем, чего жалеть, сварим новый.

Видимо, мне нужно составить план работы. Очень люблю составлять планы. Они имеют смысл, даже если выполняются наполовину. Теперь отставания допустить нельзя. Нет резерва времени.

Задача: создать электронную модель, имитирующую деятельность внутренних органов и их взаимодействия при различных патологических процессах.

Пофантазируем, пока кофе кипит.

Перед нами — «Отделение моделирования заболеваний и автоматического управления организмом больного» — кибернетический центр крупной больницы. Название длинное, но ничего, можно первые буквы. Что-то вроде ОМЗ и АУ. Неблагозвучно. Неважно. Придумают. В большой комнате стоит она, машина. Четыре шкафа со сменными блоками. На стене огромная структурная схема организма. Сердце, легкие, печень, почки, мозг, эндокринные железы. Много разноцветных линий связывает эти квадраты. Вот красная, толстая — система обмена газов — O_2 , CO_2 . Желтые линии — гормоны. Голубые — нервные пути. Много линий. Я их вижу — эта схема лежит у меня под стеклом. На каждом квадрате — пульт вводных устройств, которыми задается состояние органа: разные степени нарушения функций. Для почек — способность выделять воду, соли, задерживать или пропускать сахар, белки. Сделают исследование, повернут рукоятки соответственно результатам, и блок готов воспроизвести функцию почек при разных условиях работы сердца, печени, нервной и эндокринной систем.

(Так и мой анализ крови можно задать в блок «кроветворные органы». Машину включить, и она покажет, что на таком-то месяце будет то-то с селезенкой, потом с сердцем, затем нарушение обмена и так далее. До смерти. И выдаст срок. А потом можно проиграть еще и еще раз, по очереди задавая лекарства. Но результат будет один. Только сроки все-таки разные.)

Не надо жестов и эффектных сцен. Моделирующая установка — вполне реальное дело, только требует очень много труда. Напишем список: «Что нужно, что сделано, что сделать».

Я пишу. Список длинный. Прямая работа моей лаборатории — это получение характеристик органов. Например, как зависит объем крови, выбрасываемой сердцем, от давления в венах и в артериях? То же про печень, почки. Как регулируются разные органы эндокринными железами, нервной системой?

Медленно идет дело. Нет еще ни одной законченной характеристики. Если так пойдет, то мы явно не успеем. Нужно с кем-то кооперироваться. Шире использовать клинику Петра Степановича. Грустно.

Нажать на институт кибернетики, чтобы ускорить инженерные разработки?

Да, нажмешь! Профессор Сергиевский очень мил, но, кроме нашей машины, у него масса других дел. «Простите, Иван Николаевич, прибавить людей на вашу тему не могу, все заняты. Но выполнение заказов на опытном заводе ускорю».

И на том спасибо. Юра без конца канючит: «Вмешайтесь на высшем уровне». Хороший парень.

Вот прийти к Сергиевскому и сказать:

«Борис Никитич, у меня лейкоз... Жить мне осталось год или чуть больше. Помогите. Очень нужно увидеть хотя бы макет машины».

Не хочется это говорить. Ставить людей в неловкое положение. И, не дай бог, еще выслушивать соболезнования. Это ужасно — вызывать сострадание.

Много мне предстоит увидеть жалостливых взглядов.

Снова смотрю список. Все-таки если напрячь все силы, то машину собрать можно. Пусть не для всех заболеваний, а только для важнейших, но можно.

Другие добавят после меня.

Другие...

Нужно сейчас выбрать себе преемника и готовить его к этой роли. Два главных требования: научная инициатива и человеческие качества. Принципиальность и терпимость. Конечно, хочется, чтобы он развивал мои идеи. «Мой учитель Иван Николаевич...» Этого ты хочешь? Как странно, копнешь поглубже и достанешь дерьмо. Начинает казаться, что ты весь им набит.

Если он будет только «продолжать и развивать», так грош ему цена. За два-три года лаборатория сойдет на нет. Правда, наше направление — моделирование физиологических процессов — необозримо, но оно может выродиться в игру формулами, за которыми исчезнет человек. Наука для науки. Будет математика, будут электронные модели, а в клиниках все останется по-старому.

Я им оставлю задания на несколько лет. Уточнять характеристики органов. Совершенствовать модель организма. Следующий шаг — приключить модель к больному, и чтобы она сама настраивалась в процессе взаимодействия. Тогда предсказания машины будут наиболее вероятными. Еще дальше — автоматическое управление организмом с коррекцией обратными связями. Для этого нужны новые средства воздействия — лекарства, аппараты...

Как не хочется покидать этот мир идей! Что может быть лучше думания, исканий? Неужели скоро конец? Эти кипы черновых заметок с мыслями превратятся просто в утиль.

Превратятся. Мемориального музея не будет.

Никогда не считал себя честолюбивым, а теперь вдруг захотелось «оставить память».

Улыбаюсь. Даже хочется рассмеяться.

Знаю твердо, что ничего не будет, кроме земли, а где-то в подсознании глупая мысль: «Этого не может быть».

Все-таки кого же оставить? Семен явно не годен. Добропорядочен, но не умен. Огорчится. Уверен, что вполне подходит. Столько лет заместитель.

Каждый переоценивает себя. И я тоже.

Остаются еще трое: Вадим, Игорь, Юра. Если бы Люба была физиологом! Да, конечно, она бы сберегла твое наследство. Женщины до глупости самоотверженны.

Вадим талантлив, молод, но нетерпим. Будет ругаться и

всех разгонит. И к покойному шефу почтения не жди. Скажет: «Наш папахен тут здорово напутал...»

Игорь весьма положителен. Общий любимец. Но это, наверное, плохо, когда ученый такой уж хороший и веселый. Нет ли там равнодушия? Подрастет и зажиреет.

Юра просто еще молод. Но зато инженер и математик. Это, конечно, повыше физиолога.

Не могу решить. Посмотрю, какая будет реакция. Завтра соберу старших и скажу: «Так и так...»

«Так и так... И больше не будем к этому возвращаться».

Уберем со стола. Хорошая квартирка у меня. Сожаление.

Закурить, может быть? Какой теперь смысл терпеть, раз все равно конец? Причина утомляемости была совсем не в табачке. Положим, сигареты тоже влияли. Замечал, когда о лейкозе не было и речи. Жалко начинать — три месяца терплю. И нельзя показывать слабость перед ребятами. А я тайно, дома. Лицемер.

Потерплю еще. Но догматизм тоже ни к чему.

Насоставлял планов, а где взять силы? Это ведь не только думать в кабинете и даже не только опыты в лаборатории.

Все нужно выбивать.

Как подумаешь, так руки опускаются.

Вот эти пункты на бумажке: «Достать прибор», «Смонтировать устройство», «Просчитать результаты опытов на ЭВМ». Опять: «Борис Никитич, нужны программисты, выделите время на «М-20». А там она сломается, нужно проситься на другую машину. Как жаль, что нет своей! Сколько раз говорил директору: «Купите для института физиологии». — «Зачем вам? Поставить негде, подождите нового здания...»

Не могу ждать, не могу.

Придется сказать о болезни директору. Вместе нужно решать вопрос о преемнике. Защитить будущее лаборатории. Друзья-коллеги живо начнут откусывать уголки, только помри. Нужно еще одну комнату выпрашивать для машины. Опять упрёки будут.

Слушай, друг, а не лучше ли бросить все эти планы?

Дожить тихонько. На работу приходить, конечно, пока есть силы. Но без горячки, без спешки.

Читать книги. Например, о всяких путешествиях, если романы не нравятся. Кое-что все-таки попадется забавное.

В театр ходить. Концерты со знаменитостями слушать. Вести разговоры с умными людьми. Впрочем, им теперь неприятно будет со мной...

Наконец, можно поехать к морю, на курорт. Даже, может быть, с Любой.

Помнишь тот счастливый месяц? Маленькая отдельная комната. Плохая, даже без умывальника. Обои с розовыми цветочками. Кровать удобная. Было счастье. Мы тогда совсем забыли, что любовь наша грешная. Что люди ее не прощают.

Зато потом расплата. Мир тесен. Разве в санатории что-либо можно скрыть?

Больше уже такое не повторялось. Тайна. Общественное мнение. А главное, у нее дети. Мальчик уже начинал понимать...

Значит, даже перед смертью повторить этого нельзя. Да, наверное, уже и не к чему. Болезнь. Разговоры можно вести и в кабинете.

Так что, сдадимся?

Ведь все равно ничего нет. Никакого долга, никаких обязательств. Все фикция. Придуманно. Есть где-то в коре несколько тысяч клеток с высокой возбудимостью — модель «долга», и все. Я знаю эту механику — как тренировалась эта модель всю жизнь: книгами, примерами, как она связалась с центрами удовольствия и захватила, оторвала их от старых, животных дел — еды, любви...

Так и стал — Человек.

Говорят, что это можно даже смоделировать...

Работать до конца.

Ну, а как жить? Как себя вести? Добро и зло?

Сейчас такая холодная ясность. Жалость к себе скулит где-то в подсознании, и еще какой-то тоненький голосок лобуется: «Я — хороший». Но это не так. Не совсем так.

Я не герой. Вся жизнь состояла из компромиссов. Конечно, можно сослаться на обстоятельства, что уж очень дорогая цена назначалась за храбрость, а я слишком любил думать и что-то всегда пытался делать. Но, наверное, это не оправдание.

Буду доживать, как жил. Разве что по мелочам прибавлю принципиальности.

И вообще пора спать.

Улегся. Приятно вытянуться под одеялом. Взять бы и забыть сегодняшний день. Вычеркнуть из времени. Нет. Анализ лежит на столе. И разговор с Давидом записан в корковых клетках.

Заседание продолжается.

Исчезло ощущение удовольствия. Немало предстоит терпеть на этом диване.

Газеты? Не хочется. Пожалуй, мне все равно. Водородная бомба не успеет на меня обрушиться.

Строил планы. Как смешно звучит: обреченный строит планы. Я избегал думать о конце. Теперь лег и будто сдался. Я еще не знаю, как умирают от лейкемии. В энциклопедии не написано. Но что-то я не видел приятных смертей.

Будут боли. Всю жизнь их боялся. Возрастет анемия. Появится одышка. Хватать воздух открытым ртом. Страх в глазах. Пот.

О, как я страшусь этих последних дней! Ослабнет воля. Инстинкт жизни схватит тебя в тиски и сделает тряпкой. Не заметишь, как все изменится и станешь жалким, больным человеком. Будешь говорить только о болезни, лекарствах, тебя будут обманывать, скрывать температуру, прятать анализы. И ты всему будешь верить, как ребенок.

Потерять себя. Это самое страшное. Самое страшное.

Не хочу. Черт с ней, со смертью, если уж надо, то стоя. Самоубийство?

Вовремя остановить часы?

Кто станет спорить с этим? Благо. Но ведь тоже страшно. Но, друг мой, все-таки это выход.

Даже как-то стало легче. Теперь можно снова планировать.

Петля. Нет, неэстетично. И немоментально.

Пистолет. Где его взять?

Яд. Для медика это самое разумное. Обдумаем. Подберем литературу. Даже можно проверить в эксперименте. Наука!

Самое лучшее — наркоз закисью азота, как на операции. Не годится. Нужен анестезиолог и дополнительный крепкий наркотик.

Смешно. Рассчитываю, как подросток. Многие, наверное, такие умные, да все умирают в постели. Впрочем, некоторые решаются.

И я решусь. Условия ж какие: один, родственники не мешают. Вот только не прозевать момента. Рано не хочется, а чуть запоздал — медики тебя схватят, и нет свободы...

Стой!

Стой!

Идея!

Обмануть всех и даже самое смерть!

Анабиоз. Подвиг ученого. (Красиво!) Есть опыты с гипотермией. Неудачные, но техники же не было! О кислородных камерах даже не думали. Теперь автоматика. Наша машина. Какая идея!

Самоубийство, конечно. Но как здорово!

Нет, стой, какие-то шансы есть. Глубокая гипотермия в хирургии идет. Шла. Петр Степанович сделал десятка два операций на сердце. Правда, теперь бросил, говорят, опасно и можно без нее, но охлаждал до 10 и даже 8 градусов. Около половины больных выжили. Показывал на обществе.

Сколько фантастических книг написано об анабиозе! Глупости обычно. Но проблема имеет реальную основу.

Заснуть на десять лет. И... не проснуться. В моем положении и это неплохо.

Но проснуться можно. Чтобы умереть от лейкемии? Проблема лейкемии будет решена в недалеком будущем. Видимо, лейкоз вызывается вирусом. Значит, будут сыворотки, вакцины. Спать, пока их не найдут!

Соломинка. Хватаюсь за соломинку.

Как странно: вижу себя сразу в нескольких лицах: ученый трезво рассматривает научную проблему; напуганный маленький человечек боится умирать и готов на все... Другой, еще ниже, не хочет рисковать даже несколькими днями. Он не поверит в смерть до последней минуты. И есть еще один — он видит славу. Газетные полосы, телевидение, радио.

Вот фантастичный саркофаг в центре стеклянного зала. Машины, автоматы, пульт с мигающими лампочками. Бледное, величественное лицо под стеклянной крышкой. Это я. Неважно, что я был некрасив. Все изменилось.

Потом пробуждение. Толпа академиков из разных стран. — Включайте программу пробуждения!

Напряженное внимание. Десять, двадцать, тридцать минут. Осциллографы показывают кривые. На огромном табло прыгают цифры.

— Заработало сердце!

— Открыл глаза!

И так далее.

Нет, серьезно, это возможно. То есть в смысле заснуть и пока не умереть. Не совсем умереть.

Да, пожалуй, еще не разрешат. Скажут: умирай нормально. Что за фокусы? Так все захотят в бессмертие. Опыт стоит государству немалых денег.

Нет, спать я не могу. Встать и работать. Вспомнить все, что знаю, прочитать, записать.

Встаю.

Глава вторая

Лаборатория. 11 часов утра. Я задержался дома — ночью поздно обдумывал вчерашнюю идею об анабиозе. Она стала обычной научной проблемой. Хорошо. Выйдет не выйдет, но хотя бы отвлечет.

Иду через двор. Здание построено перед войной. Три этажа. Наверное, когда-то оно представлялось весьма совершенным, а теперь тесное и неудобное. Современная наука требует не только стен. Лаборатории строятся, как заводы, вместе с технологическим оборудованием.

Как жаль, что мне не дожидаться нового здания! Сейчас плохо: опыты проводим внизу, обдумываем на втором этаже, а «паяем» в полуподвале.

Впрочем, один острослов сказал, что учреждение переживает расцвет, пока находится в старых и плохих зданиях. Как только строятся дворцы — наступает упадок. Этим я всегда утешаю своих ребят, когда они жалуются на неустроенность. Вдруг я подумал: без меня они не расцветут. Стыдно.

Раздеваюсь. Тут же, в вестибюле, стоит стол для пинг-понга. Какие-то бездельники уже с утра играют. Кажется, из отдела физиологии дыхания. Это называется физкультурная пауза. Специально придумали для лодырей.

Какой темный коридор!

Вот наш отсек: по три комнаты с каждой стороны. Все двери открыты. Приятно видеть, что работа кипит, люди снуют взад и вперед. Не делают зарядки, паршивцы, пренебрегают распоряжениями.

Я сегодня чувствую себя как гость: на все смотрю со стороны и другими глазами.

— Здравствуйте, Иван Николаевич!

Первое приветствие: тетя Глаша, уборщица, несет ведро с помоями. Полное, к счастью.

— Здравствуйте, тетя Глаша! Как самочувствие?

— Плохо! Опять слив в операционной засорился, таскаю ведрами.

Первая операционная: Семен ведет опыт с изолированной почкой.

— Здравствуйте, товарищи!

Все дружно улыбаются и отвечают. Все-таки приятно видеть улыбки и теплые взгляды. Пока еще никто не знает.

Вот он, мой заместитель.

— Иван Николаевич, мы снимаем характеристики с почки при действии гипоксии.

— Очень хорошо.

Смотрю.

На самом деле не очень. Никак этот Семен не поймет нового технического подхода к проведению опытов: нужно держать под контролем максимум «входов» — вслед за Юрой я теперь тоже так называю все внешние воздействия на систему.

— Семен Иванович, почему же у вас температура не стабилизирована? Всего тридцать градусов.

— Да вы знаете, теплообменник испортился. Мы решили так.

— Напрасно. Такой сложный опыт — и пропадает зря.

Моргает — и все. Что он скажет?

Картина: в центре на подставке почка в прозрачном сосуде. К ней идут два шланга с кровью от машины АИК, за которой сидит «машинист» Сима и с очень деловым видом крутит разные ручки. От шлангов машин и почки тянутся провода в угол к сложному комплексу электронных аппаратов, наставленных в три этажа. Там командуют два техника — Миша Самохин и Лена Ганжа. Они совсем юные, нынче кончили техникум. Приятно посмотреть.

— Сколько же параметров вы контролируете сегодня?

По-моему, Семен замялся. Инженер Коля Гулый, который, я знаю, всем здесь командует, смотрит на него с сожалением.

Не буду ставить в неловкое положение начальство.

— Скажите, Коля, вы.

— Мы непрерывно записываем давление крови на входе и выходе, содержание O_2 и CO_2 . Кроме того, определяем PO_2 в ткани самой почки. Биохимия делает нам анализы через тридцать минут.

Он перечисляет: адреналин, органические кислоты, щелочной резерв, аминокислоты, рН и некоторые ферменты. И конечно, количество и состав мочи.

— Но почему же вы не стабилизировали температуру?

— В начале опыта потек теплообменник, я...

Он замолчал, не хочет подводить начальство.

Семен:

— Это я велел продолжать опыт. Жалко было срывать, когда уже почка была выделена.

— Хорошо, продолжайте. Раз уж так случилось, то я вас попрошу проследить работу почки при специальном охлаждении.

Это нужно мне. Мои почки будут совсем холодные, и сомнительно, будут ли они работать. Впрочем, это не так важно, есть специальный аппарат...

Смотрю. Все заняты своим делом. Атмосфера спокойная. К Семену они, кажется, просто равнодушны. А ко мне? Наверное, я хороший начальник. Не придираюсь по мелочам. «Я вам советую». «Я вас прошу сделать так-то». Я просто стесняюсь. Это часто вредит дисциплине. Не все понимают хорошее обращение.

Можно, наверное, идти. Хотелось бы сказать теплые слова, но не умею. Покажется смешным.

Иду в другую комнату. Знаю, что там должен быть опыт по изучению характеристики сердца и сосудистой системы. Новая методика.

Какой ансамбль! Оперируют Игорь и Вадим, а Ира что-то возится около аппаратуры. Не замечают.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Иван Николаевич! Как кстати! Мы хотим выделить сердце вместе с легкими, чтобы полностью пересечь к ним нервные пути, но сохранить первую регуляцию сосудов и внутренних органов.

— Я знаю. Так что?

— Да мы никак не можем отделиться от пищевода и позвоночника. Много мелких сосудов. Покажите нам!

Это, конечно, Вадим. Не стесняется в просьбах.

— Хорошо. Сейчас переоденусь.

Не собирался оперировать, но сейчас рад. Когда работаешь руками, то не остается места для посторонних мыслей.

В соседней комнате, где хранится всякое хозяйство, надеваю белые брюки и рубашку. Они хорошо поглажены. Это заботы Юли, старшей лаборантки. Другие надевают неглаженное.

Я люблю оперировать. Правда, сейчас острый опыт, то есть без соблюдения асептики, но все равно я хочу, чтобы было чисто и красиво.

Мою руки. Надеваю халат и перчатки. Все остановились и ожидают. Только Ира с двумя своими помощниками все еще склонилась над аппаратами. Наверное, что-то не ладится, а скоро нужно уже записывать. Вадим подмигивает:

— Техника подводит.

(Озорные глаза. Веселый.)

— Ничего, как-нибудь справимся.

Собака лежит, разрезанная почти пополам. Операция трудная: нужно отделить сердце вместе с легкими от соседних органов, включить в артериальное и венозное русло специальную внешнюю систему трубок и резервуаров, позволяющих произвольно регулировать работу сердца. При этом кровоснабжение мозга не должно прерываться ни на секунду, чтобы не нарушить иннервации всего организма. Кроме того, нужно ввести несколько датчиков в артерии вены.

Оперировать меня научила война. Была настоящая хирургия. Но, между прочим, хирурги зря задаются: оперировать на собаке труднее, чем на человеке. Вот, например, эти легочные вены — они такие тонюсенькие, того и гляди порвутся.

Движения мои точны и ловки. Приятно. И ребятам нравится, я вижу. Они помогают хорошо. Это я их научил. Благодарны? Тебе хочется благодарности?

— Юра, сколько каналов вы сможете сегодня записать?

— Думали, десять, но два не работают. Придется ограничиться измерением.

— Это плохо, Юрка. Сам шеф включился, а ты не обеспечил техники.

Длинный нос у Вадима и брови черные. Кавказец он, что

ли? Фамилия Пляшник — украинец? Одессит? Там все нации когда-то перемешались.

Ну вот, самое трудное позади. Сердце работает отлично, оно даже не заметило, что мы включили трубку в аорту и кровь идет через расходомер.

— Юля, гепарин ввели?

— Да.

— Кажется, нигде не кровит.

Это важно — перевязать все мельчайшие сосудики. Кровь лишена свертываемости, а опыт длится много часов.

— Сколько у вас приготовлено крови? Игорь, это ваш опыт?

— Мы заготовили только два литра, больше нет собак-доноров.

— Плохо.

— Иван Николаевич, вы же знаете, как работает наш виварий. Сами собак покупаем.

— Или воруем.

Молчу. Не в моей власти наладить работу вивария. Но Юра возмущается:

— Дать бы этому Швечуку на партийном собрании! Такой проходимец!

— Уже давали. Чем-то он мил начальству..

— Говорят, Ивану Петровичу какие-то услуги оказывал.

— Вадим, не говорите так. Наверное, это просто сплетни. (Это я защищаю своего директора. Не думаю, чтобы он унился.)

— Нельзя, Иван Николаевич, поступаться принципиальностью даже в мелочах.

«Как поучает, нахал!»

— Мало сил, Вадим. И не знаю, стоит ли их растрчивать на мелочи.

— Сомневаюсь, что это так. Все вы, старшее поколение, любите усложнять. Как найти границы между мелочами и важным?

— Зато вам, молодежи, все кажется просто. А это не так. Человеческие суждения субъективны и ограничены, нужно это помнить. По одному и тому же вопросу разные люди имеют противоположные мнения и совершенно в них убеждены. Если говорить о примитивной принципиальности, то спор можно решить только силой. А истина, между прочим,

может быть посредине. Самое главное, чему меня научил возраст, — это сомневаться. И пожалуй, искать компромиссов. Не нравится, Вадим?

— Нет, не нравится. Швечик есть Швечик, сомнения и компромиссы тут вредны. И вообще мне непонятны ваши рассуждения. Честность есть честность.

— А об Иване Петровиче, который будто бы ему потворствует, вы можете сказать столь же категорично?

Вадим немного озадачен.

— Ну, где же ваша принципиальность? Если Швечик подлец, то его покровитель тоже? По законам формальной логики.

— Я должен подумать. Но, пожалуй, есть основания.

— Подумайте. Но помните, что все имеет меру. Все нужно пытаться выразить числом. Даже и такие понятия, как справедливость, добродетель. В сложных системах действует вероятностная логика, а не закон «все или ничего». Он, кстати, отвергнут даже в физиологии.

— Формула относительности понятий, конечно, очень удобна. За ней легко спрятать и трусость и слабость. Все нужно оценивать, взвешивать, во всем сомневаться, а с действиями тем временем подождать. А потом и совсем увильнуть.

Мне нравятся его задор и непосредственность. Игорь делает ему знаки, чтобы замолчал. Политик. Все-таки я шеф.

Мы продолжаем работать. То есть мы занимаемся скрупулезным делом — перевязываем мельчайшие кровеносные сосуды. Голова свободна для мыслей. Отдельные реплики по делам не в счет.

— Юра, вы кибернетик. Выскажитесь!

Он немножко смущен. Даже покраснел. Его симпатии на стороне Вадима. Наверное, они все считают меня излишне щепетильным и трусоватым.

— Я попытаюсь. Машина делает так: она сравнивает одну цифру с другой и в зависимости от результата включает действие. Но мы, техники, имеем дело с простыми понятиями, где смысл цифр ясен. Я не знаю, как сравнивать сложные понятия из сферы этики, политики или философии.

— Кража есть кража: украл копейку или миллион.

Кто-то тихонько бросил:

— А почему-то наказывают разное.

Все заинтересовались спором, и это начинает мешать ра-

боте. Нужно заключать, хотя, кажется, у меня нет шансов убедить их. Молодость судит слишком категорично. Попробуюсь.

— «Что такое хорошо и что такое плохо?» Помните у Маяковского? В физиологическом плане хорошо — это только возбуждение центра приятного. Вся деятельность человека — программы. Если они выполняются — хорошо. Препятствия — плохо. У животных программы — это инстинкты, а у человека, кроме того, — мораль, этика, нормы поведения. Они не одинаковы: есть классы, религии, философия, наука. Отсюда разная оценка поступков, разное добро и зло. Общество определяет его уголовным кодексом, а каждый человек — убеждениями, которые сильно деформируются субъективностью, зависят от животных программ — любви, голода, честолюбия... Критерии добра и зла, принятые в обществе, только тогда хороши, когда они обеспечивают ему устойчивость и совершенствование. Все. На этом, я думаю, нужно прервать наш спор, иначе опыт пропадет.

Пока я произносил свою речь, уже никто не работал — одни из интереса, другие из уважения. Не все эти мысли мне самому понятны, и я бы послушал ребят. Но дело не ждет.

— Иван Николаевич, мы еще выскажемся по этим вопросам.

— Конечно. Буду очень рад. Но только не надо догм.

Нужно обговорить эти вопросы с Ленкой. Наверное, до самой последней минуты человек склонен интересоваться абстрактными проблемами.

— Но все-таки как быть: по мелочам грешить можно, а в крупном нельзя?

— Вадим, уймись. Мы проведем семинар на эту тему.

Хирургическая часть опыта закончена. Любуюсь: получилось хорошо. Сердце вместе с легкими полностью отделено от окружающих органов и свободно лежит в плевральной полости, соединенное с телом только через аорту и полые вены, в которые вставлены трубки. Датчики приключены.

— Снимите наркоз, Мила. Совсем выключите закись.

Смотрим. Через несколько минут собака начала двигаться и открывать глаза. Значит, она жива, ее мозг продолжает управлять организмом. Кроме сердца.

— Как с аппаратурой? Можно измерять? И записывать?

— Да.

— Где программа опыта?

Мне подают длинный лист, где перечислен порядок нагрузок и измерений. Всего предполагается произвести семь испытаний почти с двумястами замеров. Это часов на шесть. Если, конечно, собака не умрет. Изменяя приток крови по венам и противодавление в аорте, будут определять производительность сердца.

Программа хорошая. Это Юра научил составлять такие — по примеру испытаний машин...

— Игорь, Вадим, Юра, прошу вас зайти ко мне в кабинет часа в два. Нужно обсудить некоторые вопросы. Семену Ивановичу я скажу сам.

Переодеваюсь и иду в кабинет.

Днем все выглядит иначе. Смерть куда-то отступила, и я ей явно не верю. Проблема анабиоза предстала в чисто научном плане: это не я буду лежать в саркофаге — другой.

Научные фантазии! Никогда они не имели такого распространения, как теперь. Возрос авторитет науки и, пожалуй, упал — искусства. Это имеет отношение к добру и злу. Неверие. Рассуждения об идеалах не трогают, давай просто приключения или факты. Чтобы не напоминали: «Гражданин, ты виноват!»

Люба. Думаю о чем угодно, а в подсознании — все время она. Сегодня должен сказать. Хуже, если узнает сама. Позвонить. Наверное, часов в шесть она сможет прийти ко мне домой. Просто поговорить.

До двух еще есть время. Пойду к Ивану Петровичу. Директор должен знать. Но не хочется говорить. Как человек — будет жалеть, а как директор — прикинет: «...Уже не работник. Пустые разговоры об окончании работ, обманывает себя...» Нужно. Иду.

«Приемная». Голые ветви царапают по высоким окнам. Секретарь Зинаида Александровна — седая маркиза. Пенсне. Оно придает какую-то особую интеллигентность (начало двадцатого века. Чехов, МХАТ, Станиславский. Потом остались одни роговые очки).

Почтительно здороваюсь. (Уважаю.)

— Иван Петрович у себя?

Какой он величественный, наш директор! Не просто здоровается — одаривает. В голосе — то металл, то какое-то воркование, когда хочет создать видимость задушевности.

Сейчас он такой. Сажусь.

Не так просто двадцать лет удержаться директором крупного института. Поднялся на «павловской волне» в пятидесятом году после очередного похода на «лжеученых». Научные заслуги почти нуль. Зато исправно действует телефон к начальству.

Брось придираться. В общем он ничего. Не вредный. Это только видимость такая. Ученый, прошедший определенную школу. Стоит на страже «чистоты» физиологии.

Поговорить о погоде? Или сразу? Как все-таки неважно чувствуешь себя перед властью имущими. Возьмет и разгонит лабораторию после меня. Вполне может.

— Иван Петрович, я должен сообщить вам о своей болезни. Вчера у меня обнаружили лейкомию.

Округлил глаза. Возраст, страдает стенокардией — смерть для него вполне реальная штука.

— Это... точно? Вы были у гематологов?

— Да, Давид Портной — мой приятель.

— И что же он сказал?

— Ничего. Назвал цифру.

Сидит, задумался. Стал просто старым человеком, у которого часто прихватывает сердце, а у него семья, внуки.

Проснулся. Снова стал директором. Немало людей приходит к нему со своими несчастьями. Вынуждены приходить.

— Нужно лечиться, Иван Николаевич. Лечь в больницу, поехать в Москву в институт гематологии. Я бы мог помочь через обком.

— Спасибо, Иван Петрович. Я не могу сейчас лечь в больницу. Да и нужды пока в этом нет. Давид будет меня лечить амбулаторно.

— Напрасно вы так пренебрегаете здоровьем.

Наверное, ему самому противно произносить такие фразы. А мне противно слушать.

— Нет, что вы! Я буду исправно принимать все, что нужно. Но вы же знаете, что результат-то один.

Протестующий жест. Защищается от жалоб обреченного человека. Злось: «Дать бы тебе!» Почему? Это естественно. Все избегают боли.

— Иван Петрович, я пришел к вам не за утешением. Дело в том, что до конца мне нужно закончить работу, и в этом нужна ваша помощь. Вы знаете, что совместно с институтом

кибернетики мы создаем электронную установку, которая будет моделировать организм при острых патологических состояниях. Она нужна врачам.

Удивленно поднимает плечи. Дескать, брось красивые фразы. Это верно. Последние слова о врачах режут ухо.

Не буду его убеждать. Зайдем с другого боку.

— Эта тема вошла в союзный план научных работ. Кроме того, она обещает очень эффективный выход в практику.

«Внедрение в практику» — большое место теоретических институтов. И конечно, их директоров. Должен клюнуть. Задумался. Или сделал вид.

— Да, я вас понимаю. Для ученого наука — самое главное в жизни.

Для тебя, например, главное — покрасоваться. Удовлетворить свое стремление к власти. А может быть, он искренне воображает, что двигает науку? Каждый человек считает себя хорошим и важным. Неужели каждый?

— Мне нужна комната для того, чтобы приступить к монтажу машины. Нужно три ставки научных сотрудников, чтобы взять на них математиков. И еще техники — человека три-четыре. В отделе кадров сказали, что у вас есть вакансии.

— Но они предназначались для другого...

— Мне нужно на год. Потом заберете их обратно.

Не может же он отказать человеку в моем положении? Отказать — нет, но пообещать и не выполнить — вполне. Есть такие приемы у начальства.

— Хорошо, я вам дам этих лиц. На год. Только, может быть, не сразу.

Начинаются оговорки. Настаивать.

— Я вас очень прошу, Иван Петрович, сделать это теперь же. Вы понимаете, что «не сразу» для меня не подходит. У нас уже есть кандидаты.

— Ладно, пусть они подадут заявления.

— А комната?

— Будет и комната. Только вы, пожалуйста, не перегружайтесь чрезмерно. Лечение прежде всего.

— Ну, конечно. Я вам очень, очень благодарен. До свидания.

— Будьте здоровы.

Сам понял, что неудачно сказал. Вышел из-за стола и провожает до дверей, смущенный. А я лицемер: «Очень,

очень благодарен». Наверное, это эффектно выглядит: ученый, думающий только о науке. На самом деле совсем не так: просто я не могу иначе. Продолжать работать — самый легкий выход. На людях и смерть красна. Неплохо придумали люди.

Иду и думаю... Пришел в кабинет. Посидеть. Удобное кресло. Смотрю в окно: серое небо, редкие снежинки.

Много ли еще таких директоров, как наш? В науке ничто, а командует учеными. Нелепо. Какую линию он может проводить? Какие идеи? Каждая лаборатория работает, как может, средства и штаты он распределяет по принципу: кто больше вырвет. Эффект — от числа печатных работ и диссертаций. А ценность их? Неважно.

Ну, есть еще один принцип планирования — звонок: «Ты там, Иван Петрович, создай условия товарищу Н., он, видимо, очень талантливый человек. Новатор. Руководство так считает». Значит, какой-нибудь нахал пошел прямо в «дамки» — к самому высшему начальству. Сумел убедить, понравиться. Это же проще, чем доказывать ученым. А тому льстит роль мецената, хотя в данной науке он ничего не понимает. Он и звонит. На несколько лет товарищ Н. обеспечен. Потом, конечно, дохнет...

Не стоит злиться, друг. Этот принцип кончается. И не жалуйся, что обижен. Иван дал тебе лабораторию, потом каждый год увеличивал штаты. Без звонков. Дал, но как? Тоже меценат. Правилось покровительствовать и при случае вернуть: «Мы передовые, развиваем кибернетику». Мы пахали.

Бог с ним. Теперь мне это неважно, а думаю еще по-старому. Инерция.

Одно объяснение пережил. Сейчас будет второе. Потом с Любой. Жалко как ее! Почему? Все к лучшему. Кончится ее двойная жизнь. Можно смотреть в глаза детям.

Как ей сказать? «Люба, дорогая, я болен. Я смертельно болен...» Представляю лицо: опустятся уголки губ, четко обозначатся страдальческие морщинки. Станет некрасивой и старой. (Помнишь: «Не хочу стареть! Не хочу, чтобы ты меня разлюбил!») Милая, разве я могу тебя разлюбить? До смерти!

«...а до смерти четыре шага...» Песня такая была на войне. Не думать. Держи себя в руках.

Осадок после директора. Не люблю его. Раздражают эти

барские покровительственные манеры. Как же — член всевозможных комиссий, академик...

Науке нужна свобода. Свобода дискуссий. Это воздух.

Постой! А смог бы ты сейчас защитить свои идеи? Доказать синклиту ученых, что тебе нужны деньги на машину, нужны инженеры? Пожалуй, смог бы. Конечно, авторитеты тоже консервативны, но дайте возможность доказывать.

Ничего. Уже не страшно. «Волевое планирование» уходит в прошлое. Хоронят любителей приклеивать ярлыки. Помнишь бранные клички: «вейсманист-морганист», «антипавловец»? Скажут — и завтра уже у тебя лаборантку забрали, принесли распоряжение начальства отдать ценный прибор. Директор с каменным лицом. «Развитие перспективных направлений советской науки требует перестройки».

На следующем заседании, смотришь, ученый кается в грехах. Красный, губы дрожат. Видно, что сам себе отвратителен. Куда денешься? Работать хочется, да и пить-есть надо. Жена, дети.

Противнее всего, что сами же ученые устраивали эти погромы. Начальники «вверху» с их же голоса повторяли. И ведь крупные имена были среди этих проводников «партийности» в физиологии. За культом в политике неизбежно следует культ в науке. А за ним — застой, регресс.

Все это позади. Да ты сам и не страдал от этого. В младших сотрудниках ходил, терять было нечего. Но, между прочим, на собраниях не протестовал. Ограничивался своей компанией. «Прошу заметить, господа присяжные заседатели».

Снова вопрос «о количестве благородства», героях. Без кибернетического подхода уже нельзя обойтись даже в вопросах этики.

Уже два часа. Что-то они не идут? Опыт уже в той стадии, что можно обойтись без них. Программа. Но, впрочем, мало ли что может случиться. Сердце остановится, например.

Остановится. Неприятные ассоциации. Гнать!

Стук в дверь.

— Входите.

Вот, явились — все трое. Веселые, оживленные, молодые. Сразу стало тесно и светло в комнате. Вадим что-то доказывает. По лицам вижу, что спорили. Наверное, в столовой были. Там всегда дискуссии.

— Как опыт? Как ведет себя сердце?

— Во! Как зверь. Давление в аорте меняли от сорока миллиметров до двухсот, а производительность ровная, как ниточка.

Это Вадим. Дальше Игорь:

— Записали вагон цифр.

Юра:

— Думаю, что придется внести некоторые коррективы в мою модель. Будем сидеть до позднего вечера, чтобы наблюдать разные степени патологии.

— Хорошо, Юра, позовите Семена Ивановича.

Нужно собраться с мыслями. Делаю вид, что просматриваю рукопись. Она передо мной. «Заметки об анабиозе». Слышу, Вадим шепчет: «Что за тайна? Женится шеф, что ли?» Да, женюсь. На НЕЙ.

Так прошла жизнь. Давно ли я был таким же, как они? Только, может быть, не столь веселым. Всегда были самолюбие и комплекс неполноценности: беднее всех одет, некрасив, танцевать не умею и ухаживать. «Книжный червь» — называла мама.

Завидую. Молодые, способные. На правильном пути — физиология в соединении с техникой и математикой сулит блестящую науку. И карьеру тоже. Степени, звания, зависть, восхищенные взгляды девушек. Конгрессы в Париже, Токио, Рио-де-Жанейро.

Жизнь, полная до краев.

Пришли. Набираю воздуха. Нужно начинать.

— Садитесь, товарищи.

Пауза. Любопытство во взглядах.

— Я должен вам сообщить новость... (Тоже мне нашел слово — «новость».) В общем у меня обнаружен лейкоз. Очень много лейкоцитов. Увеличена селезенка.

Комок в горле. Опустить глаза. Только не плакаться! Почему-то стыдно перед ними, что меня нужно жалеть.

Поглядел. Испуг на лицах. У всех. Потом потупили глаза. Разлидась жалость.

Сдержаться. Надеть маску неприступности. Прогнать слезы. Скрыться за казенными словами.

— Я собрал вас не для того, чтобы принимать соболезнования или сложить обязанности. В моем распоряжении примерно год или немного больше. Я намерен использовать этот срок с наибольшим эффектом.

Вполне овладел собой. Даже представляю свое лицо: жесткое, с желваками. (А может быть, оно совсем не такое: мальчик силится сдержать слезы.)

— Это значит, что я хочу видеть макет нашей машины и убедиться, что она будет работать.

Мне хочется сказать — «помогать врачам лечить людей». Но я боюсь красивых фраз. Они их не любят. Нужно сразу перевести беседу в деловое русло.

— Я продумал план усиления работ, и мы должны его сейчас обсудить.

Смотрю. Вторая реакция: Семен думает, что будет заведовать отделом. Игорь беспокоится о диссертации. Юра растерянно смотрит на лица товарищей. Он, наверное, мало знает о лейкозах. Вадим сидит совершенно убитый и, видимо, не слушает.

Перед ними вся жизнь, и, конечно, обсуждение планов кажется им сейчас неуместным. Но я буду продолжать.

— Первое: получение характеристик органов. Конечно, мы не сможем провести необходимого объема экспериментальной работы. Поэтому я предлагаю шире использовать опыт клиники.

(Не останавливаться. Говорить и говорить. Похоронить за словами горечь и жалость. Даже если они меня не слушают.)

— Второе: ускорить работы по получению математического выражения характеристик органов. Не нужно увлекаться чрезмерно сложными зависимостями — все равно нам придется упрощать, так как много факторов останутся неучтенными. Нужно получить дифференциальные и алгебраические уравнения, выражающие зависимость работы органа от силы раздражителей при упрощенных условиях. Директор обещает ставки для математиков, но роль физиологов и врачей будет не меньше. Они должны заранее нарисовать примерные кривые зависимостей.

(Для этого у биолога должна быть отличная голова. Кто из них? Наверное, только Вадим. И все равно мало знает. Нужно привлекать со стороны.)

— Третье: проигрывать на ЭВМ взаимодействие отдельных органов, для которых уже заданы характеристики. Например, гидродинамику сосудистой системы или водный баланс. Эти работы необходимы, прежде чем создавать электронные модели систем.

Зачем я все это говорю? Они смотрят на меня отсутствующими глазами, и я чувствую, как тает моя вера в успех.

Болят под ребрами. Сохнет во рту. Пойти и лечь. Взять больничный лист. «Красные... помидоры... кушайте... без меня».

Ладно. (Это я себе.)

— Четвертое: проектировать и собирать блоки органов. Нужно шире использовать элементы уже существующих аналоговых машин, поскольку характеристики многих органов будут упрощенные.

Это пока все... Что делать потом, я расскажу в другой раз. Позднее. Прошу вас подумать и высказаться.

Все молчат. Что скажешь? Поставь себя на их место. Пауза затягивается. Семен вздохнул, оглядел других и решительно начал:

— Иван Николаевич, но, может быть, прежде всего нужно подумать о лечении...

Ишь ты, ему не терпится занять мое место. Но почему ты так судишь? Есть факты? Нет. Поэтому — спокойно.

— Я буду лечиться, конечно. Но не отрываясь от дела. И давайте не будем обсуждать этот вопрос.

Вадим вскакивает.

— Позвольте, как это не будем? Вы что для нас — чужой человек? Или мы куклы, автоматы: включили программу — и действуй? В конце концов не думайте, что ваши решения всегда самые лучшие. Отлично знаем вашу щепетильность и будем действовать сами.

Как он кричит!.. Всегда такой невоздержанный, грубый. Но сегодня мне это приятно. Приятно, когда любят и заботятся. Я не избалован этим с детства. Как в самом деле мало было человеческого тепла в моей жизни! Опять-таки жалко себя... Снова комок в горле.

— Зачем вы вынуждаете меня говорить? Неужели вы не чувствуете, что мне трудно? Что мне жалко себя? И я не хочу умирать. Не хочу... Только нашел настоящее дело...

Но что же мне прикажете делать? Я врач и даже... ученый. Всегда стесняюсь этого слова. Я знал о лейкозах, вчера еще прочитал. В моем случае — дело безнадежное. Не могу же я просто лечь и ждать смерти, принимая таблетки, процедуры? Вы понимаете, как это ужасно?

Наконец еще: я должен оплатить долги. Последнее время

меня это гложет... Всю жизнь только брал и ничего не вернул. Люди от моей науки пока не получили ничего. Сейчас появилась возможность что-то сделать. И я должен это успеть. Вы, молодые, не думаете об этих вопросах или живете надеждами на будущее. Что-де успеете еще отдать. Но жизнь проходит быстро. Долг — это не просто фраза. Это так и есть.

Снова молчание. Чувствуют безвыходность положения. Многие из них, наверное, впервые столкнулись с таким положением. Никто не работал врачом. Нужно закончить разговор. Мне как-то неловко перед ними, будто я виноват. И потом эти фразы о долге, наверное, звучат фальшиво.

— Я все понимаю. Лаборатория под угрозой. У вас могут опуститься руки. Задачи большие, дел впереди много, а на меня надежды нет. Может быть, даже думаете, что планы я составляю от отчаяния, а потом, как припечет, уйду. Так вот: лабораторию не выпущу до смерти. Кто сомневается, пусть уходит сейчас. Но кто останется, должны дать слово работать год во всю силу. Для дела и... для меня.

Намекнуть бы, что я их всех в люди вывел. Нет, не буду. Понимают — хорошо, нет — слова не помогут. Конечно, сейчас никто из них не поднимется и не уйдет. Нужно наблюдать потом.

— Давайте обсуждать план.

Это сказал Юра, совсем спокойно и буднично. Хорошо, давайте. А может быть, лучше бы еще поговорить о чувствах? Хочется, чтобы погладили по головке... Нет. Юра продолжает:

— Без серьезной помощи извне мы не сможем создать машину. Никто из нас не представляет, как сложна эта установка: все равно что сотни радиоприемников. Институт кибернетики мог бы, но у них тоже мало сил. Нужно найти энтузиастов. Я знаю, что такие есть. Мы их найдем. Но вам, Иван Николаевич, придется с ними поговорить. И конечно, с директорами.

Да, «не хлебом единым».

— Будет сделано. Срок?

— Три дня на разведку. Но это не все, нужно знать, что моделировать. Ведь, кроме сердца, почки и немного нервной регуляции, у нас нет характеристик. И даже схемы взаимоотношений органов еще полностью не утрясены. Когда я пришел сюда три года назад, мне казалось, все очень просто.

А теперь, наоборот, сложно. Нет надежды, что за... да, за год мы получим полные характеристики. Остается одно: придумывать. Эвристическое моделирование. Нужно смелее выдвигать гипотезы и моделировать их.

Хорошо он говорит и верно. Я должен сам засесть за это дело. Никаких статей, докладов и лекций в этот год: все время на думание.

— Что скажут другие?

— С нервной и эндокринной системами очень трудно. Нет методов изучения. Нервные импульсы нельзя поймать, они идут по очень многим проводникам, которые недоступны, а гормоны в крови — для их определения нужна очень сложная химия.

— Вадим, вы должны исходить из допущения, что к началу острого заболевания регулирующие системы были здоровы. Тогда, я думаю, их реакции будут более или менее стереотипны. Так говорит Селье. Значит, нужно ухватить несколько узловых пунктов, и по ним можно представить всю систему. Вы должны попытаться нарисовать эту схему, ну...

— Да.

— Семен Иванович, как у вас? И что вы скажете вообще?

— Моя задача очень скромная: характеристики почек. Я думаю, что они скоро будут готовы — через месяц или два.

— И это все?

— А что я могу еще? Вы знаете, что математику я не знаю и фантазировать не умею.

— Но вы могли бы взять на себя хотя бы печень. Нам без нее просто невозможно: участвует во всех болезнях.

— Я попытаюсь. Поищу в литературе методики исследования, но боюсь, что найду немного. Кажется, все очень сложно.

Не может он или не хочет? Не может. Привык всю жизнь заниматься узкими вопросами: влияние «а» и «б». Ребята смотрят на него с недоверием и неприязнью. Видимо, с ним будет конфликт. Пока оставим в покое. Игорь тоже молчит. Этот-то может работать, я знаю. Но — вот:

— Иван Николаевич, разрешите мне сказать.

— Прошу.

— Я не буду говорить о сердце: здесь все благополучно. Мы с Юрой и Толей скоро напишем характеристику формулой, она свяжет минутный объем с давлениями в венах, ар-

териях, с насыщением крови кислородом. Однако только при умеренной патологии. Неясно значение регулирующих систем — гормональных и нервных воздействий. Электронная модель, которую сделал по характеристикам Юра, достаточно хороша.

— Игорь, это я все знаю.

— Да, простите. Я волнуюсь. Я хотел сказать вот что: нам нужен хороший доктор. То есть опытный врач, хорошо знающий острые патологические процессы, для которых мы создаем свою машину. Это мог бы быть Алексей Юрьевич, анестезиолог. Вы его хорошо знаете, приходит на опыты. Но нужно поговорить с его шефом.

— Запишем: поговорить с Петром Степановичем. (Я скажу ему все. Хотя его не напугаешь смертями, но он заинтересован в машине. Прогрессивный врач. Сухой только, не поймешь, чем он живет.)

— Извините, я еще хочу предложить: переключите меня на клиническую физиологию. Временно. Там можно получить много данных для характеристик больного сердца.

— Тоже хорошо.

Все успокоились и обсуждают по-деловому. Без красивых фраз. Будут ли выполнять свои обещания? До сих пор приходилось активизировать их, иначе лабораторию будто плом заносит. Теперь для этого не будет сил. Все может пойти прахом. Нужно заинтересовать.

— Послушайте, а вы понимаете, что результаты всей нашей работы пойдут уже вам, а не мне? Что вы на себя будете работать? Что вообще это «золотая жила»?

Реакция. Снова Вадим:

— Мы всё понимаем, только напрасно вы это говорите. Мы не продаемся за чины и степени, хотя и не отказываемся от них.

Неловкое молчание. Юра покраснел. Игорь смотрит в окно. Семен ничего не выражает.

Обидел. Говорю красивые фразы о долге, а о людях думаю плохо.

— Простите меня, мальчики.

Юра:

— Мы не идеальные герои, Иван Николаевич, но не нужно нам об этом напоминать. Будем делать, что можем.

Ничего не могу ответить на это. Остается притвориться,

что ничего не случилось. И вообще пора заканчивать этот разговор.

— Еще одно дело, товарищи. В нашей схеме плохо представлены ткани, клеточный уровень. А ведь именно они потребляют кислород, глюкозу, выделяют углекислоту, шлаки. Для характеристики тканей нужна хорошая биохимия, а наша лаборатория, сами знаете, какая. Семен Иванович, я вас попрошу съездить в институт биохимии, и позондируйте почву насчет сотрудничества. Есть у вас там знакомые?

— Нет, но я познакомлюсь. Завтра же поеду. Только не знаю, сумею ли толково объяснить, что мы хотим. Во всяком случае, попытаюсь заинтересовать и тогда приведу к вам. Кончаем. Что я должен еще сказать? Да, о поведении.

— Повестка исчерпана, товарищи. Я записал, кто, когда и что должен сделать. Прошу мне сообщать о результатах. И не стесняйтесь меня беспокоить. Когда будет плохо, я сам скажу. И еще одно: тайну из моей болезни делать не нужно, скрыть все равно невозможно, но и лишние разговоры ни к чему. Главное, пусть ни у кого не возникает мысль об ослаблении работы лаборатории, иначе так и будет. А теперь идите. Я еще зайду в операционную посмотреть.

Это я добавил, чтобы не прощаться. Наверное, прощание им неприятно.

Встают и тихо уходят. Один за другим, высокие, прямые. Молодые. Здоровые.

Вот так начинается новый этап в жизни лаборатории. Сейчас они будут думать. Не уверен, что у всех удержатся благородные порывы. Сложна человеческая натура, сильны инстинкты, подсознательные стремления к овладению, к власти, лень. Поднимутся зависть, недоверие, жадность. Достаточны ли барьеры на их пути?

Позвонить Любе, пока она не ушла домой. Как неприятна организация этих свиданий: ложь, ложь, ложь!.. Она так страдает от этого. Слава богу, скоро конец.

Беру трубку.

— Алло, коммутатор? Город свободен? Наберите мне Б 3-67-20.

Соединяет.

— Позовите, пожалуйста, Любовь Борисовну.

Жду. Что скажу? Удивится. Не ожидает.

— Любовь Борисовна? Это я. Да, я. Мне нужно с вами

поговорить. Сегодня же. Ничего не случилось, но нужно. Буду дома после пяти. Как обычно. До свидания.

Чувствую, что переполошилась. Но я должен ее видеть сегодня. Не могу ждать следующей недели. И страшусь этого разговора. Буду изображать такого бравого мужчину, который ничего не боится. И она тоже будет лгать — успокаивать. А потом плакать всю дорогу. Вытирать слезы на крыльце и пудриться торопливо, вслепую. Потом надевать спокойную маску.

Муторно стало на душе. Опять меня обступили эти призраки: болезнь, больница, страдания, смерть. Еще жалость, объяснения, неловкость.

Что мальчики подумали? Что их шеф такой одержимый ученый? А он совсем слабый человек, которому хочется засунуть голову под подушку и стонать, стонать от тоски. И эти планы — только бегство от самого себя. Движение всегда притягивает мысль и отвлекает от другого — от безысходного одиночества. Наука — отличная вещь. Думаешь и думаешь и забываешь, что есть вопрос: «Зачем?»

Неумолимая вещь материализм. Частицы, атомы, молекулы. Клетки, органы, организм. Мозг — моделирующая система. Любовь, дружба, вдохновение — только программы переработки информации. Их можно смоделировать на вычислительной машине. И никакого в них нет особого качества. Нет бога, нет души. Нет ничего. Я только элемент в сложной системе — общество. Живу, страдаю и действую по строгим законам материального мира. Могу познать их — правда, очень ограниченно, но вырваться — нет. Вернее, да. В смерть. Пусть она идет. Никого не люблю.

Брось. Опять рисовка. Не нужно злиться. Жизнь — все-таки неплохая вещь. Радость открытия. Общение с любимой. Сигарета. Беседа с другом. Неважно, что все это только изменение молекул и атомов в нервных клетках, образующих какой-то центр удовольствия в подкорке.

Как жить? Чтобы радости было больше, а горя меньше? Как примирить это с материализмом? Чудак! Тебе эти вопросы уже ни к чему.

Нет. Теперь-то мне только и думать об этом. Отпала масса забот: как написать книгу, покрасоваться перед коллегами, купить новый костюм.

Хорошо. Потом. А пока нужно еще подумать над этой

«Запиской», чтобы поговорить с Юрой о реализации бессмертия. Почему не попробовать?

Сию думаю. Об анабиозе и о многом другом.

Уже три часа. Пойду поищу его. Лучше бы, если бы другие не видели. Сепаратные переговоры в коллективе не одобряются. Взять «Записку».

Наверное, он в мастерской. Послать кого-нибудь? Нет, сам.

Наша лаборатория разбросана по всему зданию. Следы агрессивной политики: по мере развития работ отвоевывали новые комнаты. Иван Петрович жался, жаловался, но уступал. Как же, «кибернетические методы, прогресс». Мы тоже произносили красивые фразы.

Иду длинными коридорами. Народ собирается домой: двери в комнаты открыты, видно, как одеваются. Слышны прощальные слова. Кое-где еще висят таблички «Идет опыт. Не входить». Просто забыли снять.

Что-то не много страстности вижу я в наших ученых: после трех часов институт пуст. Наука делается в рабочее время — «от и до». Разговоры тоже входят сюда.

А мои сидят. Любят, правда, потом пожаловаться, что «ах, они перерабатывают», «вы нас эксплуатируете».

Наконец добрался до цели. Болит под ложечкой. Подсознательно я все время прислушиваюсь к своему телу. Так и будет теперь: одно болит, другое. Все органы заговорили.

Вот три двери нашей мастерской. Юра должен быть в первой; здесь стоит макет модели сердца — его детище и любовь.

Да, так и есть. Он сидит один на высокой табуретке перед осциллографом, на котором луч вычерчивает кривые. Не видит меня. Смотрит на экран и медленно поворачивает рукоятки прибора. Меняется амплитуда и частота всплесков. Я знаю: это он меняет «входы» — давление в венах.

— Юра, мне нужно с тобой поговорить.

— А?

Он вадрогнул, потом широко улыбнулся. Лицо у него бывает совсем детское, не скажешь, что парню двадцать семь лет. Я бы уже мог иметь такого сына...

— Разговор секретный. Здесь посидим или пойдем в кабинет?

— Как хотите, Иван Николаевич. Здесь тоже спокойно. Ребята разошлись по всяким делам, а двое на опыте.

— Давай останемся здесь.

Я сажусь на старый стул, поближе к батарее отопления. Зябну.

— Можно мне закурить?

— Конечно, кури. Я с удовольствием понюхаю твой дым.

Пауза. Я как-то смущаюсь говорить об этой фантазии — анабиозе.

— Как идут дела с диссертацией? Ты понимаешь, что нужно спешить?

Когда мы одни, я называю его на «ты», как и Вадима и Игоря. Я их люблю, они мои ученики. И хотя я знаю, что они уйдут когда-нибудь, но это умом, а сердце не верит. Кажется, что всегда будут делить со мной мечты и разочарования.

— Мне нужно на две недели выключиться из работы, и я закончу.

— Это нельзя. Можно не работать в лаборатории, но организационные дела остаются. Ты должен искать компромисс: делать самое необходимое и уходить домой.

— Придешь, так уж и не вырвешься до вечера.

— Диссертацию нужно подать максимум через два месяца. Это нужно также и мне. Дмитрий Евгеньевич читал все главы? Математика в порядке?

— Да, все одобрил.

Пора переходить к главному. Никуда не денешься.

— Юра! У меня есть еще один важный разговор. Мне немножко стыдно его начинать, так как я чувствую себя в положении человека, который хочет обмануть. Не делай удивленной мины, это так и есть. Я хочу обмануть смерть. (Фразер!)

— Что?

— Вот видишь, как ты удивился. Все люди нормально умирают, а я хочу увильнуть.

(Как плоско я говорю. Балаган. Где найти слова, чтобы рассказать о страхе смерти, протесте, смущении? Вот он как смотрит на меня — недоверчиво, тревожно, и мой авторитет качается.)

— Юра, я не хочу умирать. Нет, ты не думай, что я проявляю малодушие и буду цепляться за каждый лишний день,

покупать его всякими лекарствами. Но я хочу сыграть по крупной.

(Опять плохо. Никогда не играл. Юра смущен, он как-то сжался. Или мне кажется? Скорее к делу.)

— Короче: я хочу подвергнуть себя замораживанию. Слышал про анабиоз?

— Читал разные статейки и романы. Но серьезно не знаю.

— Ты помнишь наши опыты с гипотермией? Видел операции у Петра Степановича?

— Да, слышал. Но, кажется, то и другое было не очень удачным?

— Вот поэтому мы и должны сделать это на высоком техническом уровне. Поэтому и нужна твоя помощь.

— Я должен вникнуть в это дело по-настоящему. Дайте мне что-нибудь почитать.

— Вот здесь некоторые мои соображения, которые написаны сегодня утром. Ты их прочти, а завтра побеседуем подробно. Потом я дам другую литературу.

Передаю ему копию своей «Записки». Он тут же начал ее просматривать. Хорошая жадность, хотя невежливо.

— Ты потом это прочитаешь, дома. Прошу тебя пока никому не говорить. Кроме технических проблем, есть еще и этические...

Мне просто стыдно об этом говорить, как будто я делаю что-то неприличное. Будто я хочу выдвинуться нечестными средствами.

— Иван Николаевич, я ничего не могу вам сказать. Сегодняшние события просто ошеломили. Я не Вадим, не могу все моментально схватить и ответить. Дайте, пожалуйста, день на обдумывание.

— Ну, конечно, Юра. А теперь я, пожалуй, пойду домой.

Встаю. Наверное, у меня жалкое лицо, потому что он покраснел и как-то подозрительно замигал. Или мне показалось? Возможно.

— Может быть, мы можем чем-нибудь помочь? Прийти к вам вечером?

— Поразвлекать? Спасибо, дорогой. Это, наверное, тоже вам придется делать, но не сегодня... Я сам скажу... До свидания.

Он проводил меня сначала до двери, потом пошел дальше

по коридору, до лестницы. Наверное, ему что-то хотелось сказать хорошее, но не осмелился из вечной боязни громких фраз. А зря.

По дороге в кабинет я зашел в операционную.

Опыт продолжался. Сердце работало хорошо, и почти половина программы была выполнена. Лена и Алла делали очередные записи. Мила вела наркоз — она равномерно сдавливала резиновый мешок наркозного аппарата. Поля что-то возилась около подвешенных над собакой резервуаров с кровью, с помощью которых изменялась нагрузка на сердце. Игорь сидел за столом и рассеянно рассматривал графики характеристики сердца. Не видел меня.

— Ну как?

Вскочил, смущенный. Наверное, думал обо мне. Так и кажется, что все обо мне думают. А может быть, совсем не так?

— Все хорошо. Посмотрите, какие интересные кривые.

— Да. А где Вадим?

— Он ушел домой. Голова заболела.

Тоже реакция. У него особенно: самый экспансивный. Смотрю на других — они, видимо, не знают. Это хорошо. Лучше привыкать постепенно.

— Ну что ж, я тоже пойду. Завтра покажите мне кривые.

— До свидания, Иван Николаевич.

...Люба ушла, но все время присутствует где-то в подсознании. Не сказал об анабиозе. Сдаться? Или, на худой конец, отравиться? Нормальное самоубийство. А то будешь там лежать: считается, что можно ожить, а на самом деле мертвый. Как ее к этому подготовить?

Я должен это сделать — анабиоз. Очень интересно. Когда еще решатся люди на такой эксперимент? Гуманизм не позволяет. А Люба привыкнет.

Вдруг я действительно проснусь через двадцать или пятьдесят лет? Точно как в романах, когда возвращаются из космических путешествий. Нужно запомнить (или даже записать) вопросы, которые сейчас стоят перед миром. Может статься, что я проснусь идиотом. Это ужасно. Впрочем, какая разница? Идиот не понимает своего положения. Хуже, когда не совсем, когда остается критика.

Не стоит об этом раздумывать. Вероятность выживания столь мала, что смешно обсуждать детали.

Нужно готовиться, как к смерти. Настоящей, реальной.

Кого оставить преемником? Вадим? Юра? Юра может дать больше, но и Вадим тоже сумеет постигнуть математику и электронику. Не боги горшки обжигают. Тогда их возможности сравниваются. Нет, у Юры кругозор шире. Он сочетает фантазию с методичностью. Если бы еще несколько лет, пока усовершенствуется в физиологии... Этот вопрос можно еще немножко отложить.

Завтра идти к Давиду. Какое лечение он мне назначит? Не слишком бы обременительное.

Вечером, возможно, придет Ляня. Что бы нам обсудить? Посмотрим, куда пойдет беседа. Свободная дискуссия.

Не хочется начинать занятия. Устал. Столько было тягостных разговоров, а поспать после обеда не удалось. Люба.

Нужно работать. Есть кто-то внутри, который гонит: «Давай, давай». Остановиться нельзя: страшно. Одиночество и бессмысленность меня обступают, и тогда волком вой.

(У Горького хорошая фраза есть: «Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи». Так и мне — хочется завывать.)

Хватит. Берусь.

Десять вечера. Сижу честно, тружусь, обложился книгами. Думаю над схемой управления жизненными функциями. Регулирующие системы, которые я предложил (Я!), пока выдерживают испытание. Однако мало сказать: система крови, система эндокринных желез, вегетативная нервная система и кора. Нужно расписать их «этажи», взаимодействие друг с другом. Эта схема должна быть заложена в нашу машину как управляющая надстройка над органами.

Вообще-то это дело поручено Вадиму, но он один, наверное, не справится. Я должен продумать сам, чтобы быть готовым обсуждать. Голова у меня пока хорошая. Доволен? Почему нет? Мне хорошо удаётся разложить все по полочкам, предугадать зависимость, выдвинуть гипотезы. По реакции окружающих я вижу, что придумываю хорошо. Чьи реакции? Твоих помощников? Они еще маленькие. Нет, они очень требовательны, завревать авторитет трудно. Да и в институте со мной считаются. Иначе Иван Петрович не дал бы мне такую лабораторию. Без всякой протекции.

Нет, друг мой Ванечка. Это все не так. Про себя ты знаешь, что твои способности до уровня таланта не доходят. Хороший комбинатор. Собрал вместе физиологию, кибернетические идеи, математику, технику, сумел привлечь способных ребят — вот и получилось нечто интересное. Но никакого открытия ты не сделал, и сомнительно, что можешь сделать. Да и идеи твои пока находятся в сфере разговоров. Вот когда получат математические характеристики и сделают машину, тогда дело другое.

Все верно. Но характеристики и машины будут. Уверен. И это новый шаг в физиологии и медицине. Именно так. Хотя без гениальности.

Самое трудное — регулирующие системы. Вон сколько книг по эндокринологии, а как взаимодействуют между собой железы, все-таки не ясно. Сведения противоречивы. Потому что никто не исследовал по-нашему — количественно. Придется брать приблизительно.

Телефонный звонок в передней. Кто бы это мог так поздно? Иду.

— Да?

— Иван Николаевич, это я, Юра. Вы не спите?

(Вот дурень, еще только десять часов! Впрочем, это он из вежливости.)

— Что случилось?

— Ничего. Я прочитал вашу «Записку», и очень хочется поговорить.

Раздумье. На завтра? Помешал занятиям. Мнение его важно: это техника, реальность идей, моя жизнь или смерть. Кроме того, страх перед новым. Одиночество. Пессимизм.

— Ты где?

— В лаборатории. Я быстро.

— Приезжай.

(Оставлю его ночевать.)

Поговорим о разном. Люблю посидеть один на один. Человек раскрывается. Ищешь себя в других, поверяешь мысли.

Кухня, холодильник. Опять посуду пачкать. Ничего. Что там на полках? Придет голодный. Молодой. Ты разве чувствуешь себя старым? Недавно — нет, а теперь — другое. Скоро конец. Не привыкну к этому. Должен привыкнуть. Иначе плохо.

Все есть: колбаса, сыр, масло. Консервированный перец. Хлеба маловато. Печенье.

Как сильно меняется человек с возрастом! Молодые для меня — уже другие люди. Совсем не похожие на нас в молодости. Или это кажется? Мы были бедные. Помнишь, кончил техникум — не имел пиджака. Ходил в каком-то старом свитере. Немножко стыдно было, но ничего. А теперь? Все хорошо одеты.

Впрочем, это было всегда: отцы и дети, «мы были лучше». Поспрашивать Юру.

Что-то он скажет о проекте? Технические проблемы могут быть очень сложными. Не успеть. Важно научиться охлаждать, а нагревание понадобится для меня не скоро. Потом выработают методику. И аппаратуру тоже потом. Начнем на макетах. Когда я там буду лежать, то, хочешь не хочешь, придется дорабатывать машины. Деньги, люди — все найдется.

Пожалуй, нужно смолоть кофе. Интересно: умом рассчитал, а в подсознании не верю. Как будто играю роль.

Люба думает о том же. Представляю: что-то делает. Горестные морщинки около глаз. Обиженный ребенок.

Всю жизнь приучал себя не жалеть о потерянных вещах. Что с возу упало, то пропало. Теперь должен примириться с самой главной потерей. Приучить себя. Да, да. Невизбежно. Поэтому держись. Я не способен на большой героизм, чтобы молчать под пытками или броситься на амбразуру. Но это должен суметь.

Накрою на стол. Чтобы не отказывался. Колбаса, масло, сыр. Тарелки. Еще салфетки.

Немножко староват для такого важного опыта. Гипотермия на щенках всегда удавалась лучше. К сожалению, помочь нельзя. Попробовать бы на ком-нибудь... Стоп! Вот подлая мысль, все время вертится где-то на задворках сознания! Так далеко, что даже не произносится словами. Приведем ее в ясность. И скажем раз навсегда: пробовать не будем. Забудь думать. Первым полетишь в вечность. Слова, все слова. Э, до лампочки...

Осторожный звонок.

Это Юра. Вежливый.

Вошел румяный, красивый. (Девушки, наверное, от него без ума.)

— Похолодало?

— Да, кажется, начинается зима. Вы извините, Иван Николаевич, за позднее вторжение, но...

— Что ты, Юра! Хорошо, что зашел. Мне скучно одному. (Не нужно намеков!)

— Сейчас поужинаем и все обсудим.

— Благодарю вас, я сыт, я на минутку.

— Ну нет, теперь ты гость и должен слушаться хозяина.

Мнется ровно столько, сколько положено приличному юноше. Потом садимся за стол. Поддерживаю компанию, чтобы не смущать мальчика. Он воспитанный. Старая интеллигентная семья. Не то что я, беднота.

— Бери больше. Знаю, что голоден, не притворяйся.

— Да, верно. Боюсь, все ваши запасы съем.

— Ничего, наша фирма выдержит. (Плоско!) Сейчас я заварю кофе.

Хлопочу с кофеваркой. Засыплем побольше, вместо коньяку. Юра, кажется, не пьет. Но барышня у него, я слышал, есть. Наверное, уже можно начинать разговор.

— Ну, мне не терпится услышать твое мнение. Только, пожалуйста, откровенно.

— Я сейчас все расскажу по пунктам.

Встал, принес из прихожей папку. Она там лежала на зеркале.

— Иван Николаевич, я не компетентен судить о биологии и физиологии и буду высказываться только по вопросам техники.

— Ну, не приbedняйся очень-то. Ты уже достаточно вошел в нашу науку. (Льщу. Хочу задобрить. Нет, правда.)

— Итак, разрешите начать. Я вижу тут три основные проблемы: создание программы опережающего управления и ее воплощение в машине, по всей вероятности, типа аналоговой. Второе — датчики. Третье — исполнительные механизмы: АИК, почка. Сроки создания всего комплекса очень сжаты, сил у нас немного.

— Не успеем? (Значит, умирать так?)

Видю, ему неловко.

— Нет, я этого не сказал. Но мы должны договориться о максимальном ограничении задачи.

— Юра, я понимаю, что это очень трудно. Но кое-что можно упростить. Первое — разрабатывать только программу охлаждения (умерщвления!). Второе — все механизмы созда-

вать в виде макетов. Третье — не особенно увлекаться автоматикой: только там, где ручное управление не успевает срабатывать. Я так думаю, что важно только запустить всю эту механику, а потом можно дорабатывать. Ее нельзя будет так просто взять и бросить.

Он слушает внимательно, но смотрит куда-то в сторону. Мне это не нравится. Неужели невозможно?

— Мне не хотелось бы это делать тяп-ляп.

Неприятно. Что же он, отказывается? Без него не сделать. Невозможно найти нового инженера и ввести в курс дела. Времени не хватит. Сдержись. Говори тихо. И не намекай.

— Если ты говоришь «нельзя», значит придется отказаться. Тем более что у нас большая основная программа — машина.

— Не нужно меня обижать, Иван Николаевич. Просто я никак не могу примириться с мыслью, что это должно случиться...

(Он не верит. Я тоже не верю, но это факт. Знаю.)

— Да, к сожалению, должно.

— И вы серьезно считаете, что есть шансы?..

Это уже нетактично — сомневаться и отнимать соломинку. Но будь снисходителен. Не по злему умыслу.

— Все это написано в «Записке». Можно надеяться на просыпание. Ну, ты подумай, есть же зимнеспящие млекопитающие, у которых температура тела понижается до пяти градусов. Они имеют программы засыпания и восстановления жизни. По всей вероятности, они заложены в эндокринной системе и включаются от внешних условий. Выделяются какие-то гормоны, понижают обмен веществ, затормаживают нервную систему. Потом — наоборот.

— Вот бы иметь такие гормоны!

— Э, друг, их уже искали, но пока не нашли. Значит, это трудно. Во всяком случае, жизнь клеток при низкой температуре возможна. Опасность только в том, что анабиоз будет длительным. Но мы должны так его организовать, чтобы траты клеток пополнялись полностью.

Вполне доказательно даже для меня самого. Очень важно, чтобы он поверил. Нет, не то слово — убедился. Человек точных наук. Заинтересовать.

— Неужели ты не чувствуешь, какой это интересный эксперимент?

— Если бы он был только экспериментом.

— Я бы тоже предпочел на другом, но что поделаешь? Если хочешь знать, так у меня есть одно сомнение. Хомяки, медведи, летучие мыши живут за счет трат собственных энергетических материалов, за счет распада. Наверное, это более или менее простые реакции. А вот будет ли синтез? Часть своих белков будет тратиться, но будут ли они восполняться? Вот что нужно проверить.

— Хорошо, Иван Николаевич. Раз это неизбежно, давайте обсуждать конкретные вопросы. Хотя, если признаться, все очень страшно.

— Конечно. Шуточное ли дело, человек отправляется в будущее. Да еще близкий человек. Или не так? Но я надеюсь, что ты все-таки продумал кое-что и пришел с конкретными соображениями.

Кофе готов. Разливаю его по чашкам. Печенье.

— Пей.

— Я уже сказал о трех основных направлениях работы. Датчики мы изобретать не будем: это слишком кропотливо и долго. Придется довольствоваться тем, что есть. Для программного управления охлаждением мы, возможно, приспособим готовые схемы. И для стационарного режима тоже.

— Можно использовать нашу машину.

Протестующий жест.

— Нет, она не очень-то пригодится, потому что принцип ее — моделирование действительности, а не управление. Но кое-что используем. Самой трудной проблемой окажется третья — исполнительные механизмы. Нужен идеальный АИЧ, отличная искусственная почка. А тут еще камера высокого давления. Нельзя без нее обойтись? Очень усложняется все дело.

Наконец взялся за кофе. Руки не очень чисты, виден мастер.

— К сожалению, думаю, что нельзя. По крайней мере на период охлаждения и нагревания. Возможно, что высокое давление окажется очень выигрышным и при низкой температуре.

Я повторяю какие-то соображения из «Записки».

Он все понял, это приятно. Именно его нужно оставить заведующим.

Затем мысли ушли куда-то в сторону, к Любе, к болезни. Но слушай!

— Итак, нужно проектировать несколько технических устройств. Первое — система АИЖ с автоматическим поддержанием напряжения кислорода и углекислоты в притекающей и оттекающей от организма крови. С ним связана конструкция саркофага с регулированием давления и содержания газов. Отдельно регулирование температуры тела, видимо, тоже по оттекающей жидкости.

— Нет, нужны дополнительные датчики в пищеводе и прямой кишке. Так измеряют хирурги. Напряжение газов тоже нужно измерять непосредственно в тканях. Измерение в крови недостаточно.

Нетерпеливо кивает. «Мелочи».

— Следующая система — искусственная почка вместе с регуляторами рН, водного и солевого баланса. Она же регулирует выведение шлаков. Сомневаюсь, удастся ли сразу создать автоматику, так как датчиков для этого нет.

— Неважно. Эти показатели будут меняться медленно. Автомат нужен, чтобы включать почку по часам.

(Автомат. Моя жизнь будет зависеть от автомата. Впрочем, разве это жизнь?)

— Возможно. Однако для того, чтобы спроектировать эти системы, нужны количественные характеристики работы организма при соответствующих режимах. Это значит, потребление кислорода в одну минуту, выделение углекислоты, расход глюкозы, азотистых продуктов.

— Нам точных характеристик не получить. Да еще при разных температурах. Но ведь можно спроектировать с запасом, так, чтобы поддерживать постоянство того или иного параметра?

— Конечно, но отправные точки все-таки нужны.

— Одна точка — нормальный обмен в начале охлаждения, вторая — приблизительно два-три процента от нормы — при низкой температуре, при анабиозе. В этих пределах нужно обеспечить регулирование.

— Нет, Иван Николаевич. Проектантам нужно техническое задание. Предполагаемые режимы в цифрах, графиках. Скажите, а мы сразу будем делать настоящую установку или сначала опытную, для экспериментов на собаках?

Он не сказал: «Сразу для вас». Пощадил, постеснялся. По-
нятно. И я не буду называть.

— Наверное, нужно рассчитать для человека, но чтобы
годились и для собаки. Кроме того, нужно сохранить тайну.
Пусть проектируют экспериментальную установку.

Но и для этого нужны годы. Выход только в использовании
готовых блоков и элементов — готового АИК, готовой почки.

— А может быть, нам выставить эту штуку? Например,
взять и назвать: «Машина для путешествия в будущее». Можно
завтра же пригласить корреспондентов и дать интервью. Все
газеты с удовольствием напечатают. Сенсация. И тут же
потребовать, чтобы объявили наш призыв: «Всем. Помогите
ударной стройке!»

— А что скажет начальство?

— Да пусть говорит, что хочет. Лишь бы газеты объявили,
энтузиасты найдутся.

Действительно, что можно со мной сделать? Наказать меня
нельзя. Нет, еще можно. Лишить работы, последней радости.
Прощай анабиоз, а с ним и машина. (Как я привык к своей
тачке!)

— Нет, Юра, так не пойдет. Стыдно трепаться раньше
времени. Обратное путешествие может не состояться. Поэто-
му давай искать более скромные пути. Если все удастся, в га-
зеты мы еще попадем.

— Согласен. Тогда давайте, не откладывая в долгий ящик,
сядем за технические условия. Завтра я буду на заводах и
пощупаю почву для заказов. Вы еще в состоянии работать?

Я не очень в состоянии и с удовольствием бы лег с книж-
кой или газетой. Одиннадцать часов вечера. Но теперь это
позволить себе нельзя. Шагреневая кожа убывает.

— Давай, Юра. Что конкретно ты предлагаешь делать?

— Я думаю, мы должны пройтись по всей нашей «Запи-
ске», чтобы выписать предполагаемые режимы, параметры,
цифры. Нарисуем схему установки. Затем прикинем, что мож-
но использовать готовое, что нужно проектировать. Напишем
задание.

— Пойдем в кабинет.

Мы работали около часа. Обсуждали главные пункты
проекта. От идей до техники большая дистанция. Всплыли
трудные вопросы. Оказалось, что нет техники для реализации
многих идей.

Обсуждали, спорили, как об отвлеченной научной проблеме. И вдруг вспоминаешь — для себя. Сидит в подсознании мысль: «Конец». Через нее весь мир представляется в новом свете.

Выключить. Думать о другом.

Хорошо, что Юра пришел. Вот сидит, углубился в какие-то расчеты. Правильный нос. Волевые складки около губ. Глаза чутьточку маловаты и глубоко сидят. Убежден, что на лице человека написано все: ум, характер, душевные качества. Только читать не умеем. Может быть, кибернетика решит этот вопрос?

— Хватит, Юра, считать. Давай кончим на сегодня. «Поговорим за жизнь». (Мне ведь так мало осталось!)

— Мне нужно идти, Иван Николаевич.

— Ну нет. Никуда не пойдешь. Есть раскладушка, простыни, все. Мама знает, куда ты пошел?

— Да, я звонил из лаборатории, что приду от вас поздно. Но она все равно будет беспокоиться.

(Но мне же тоже плохо, пойми!)

— Ничего. Будто уж ты всегда ночуешь дома?

— Всегда.

(Скажи пожалуйста! Двадцать семь лет. Да ведь и я был таким. Но время теперь не то. Придется отпустить. Как тоскливо оставаться одному!.. И Люба тоже ушла, покинула. Сказала бы, что в больнице. Опять ложь.)

— Ну что ж, иди, раз нужно.

Понял. На лице мелькнула грустная мысль. Колеблется.

— Я, пожалуй, попытаюсь позвонить одному приятелю из нашего дома.

Пошел в прихожую. Набирает номер. Сколько будет ждать? Это характеризует. Скоро.

— Дима, ты не спал? Прости, пожалуйста, что поздно. Не сходишь ли ты к маме? Нет, ничего не случилось, просто нужно ее предупредить, что я заночую у шефа. Нет, ждет, конечно. Спасибо. Извини.

(«Конечно» — значит, всегда ждет. Не завидуй, и у тебя была такая. Хорошо, что не дожила. И вообще хорошо, что никого нет.)

Вернулся улыбающийся. Любит маму. Приятно.

— Вот теперь все в порядке. Знаете, я у нее один.

(Знаю: и я один был.)

— Спать будем или еще почаевичаем?
— Как хотите. Я не устал.
— Тогда пойдем на кухню. Чаю или кофе? Или, может быть, выпьешь? Есть водка, есть коньяк, вино. (Коньяк — Лёня. Вино — изредка Люба.)

Испуганно:

— Нет, что вы, я не пью!
— Маменькин сынок: не пьешь, не куришь, ночуешь дома.

(Хотел: «с девками не гуляешь». Нельзя: профессор, а он интеллигент.)

Молчит. Собираю на стол. Который уже раз сегодня? Третий.

Уселись. Чайник кипит. Еда.

— Слушай, Юра, можешь ты мне рассказать, чем живет молодежь?

(Мне нужно — я уже в будущее собираюсь.)

Задумчиво жует. Молчит.

— Знаешь, я уже не чувствую вашего поколения. Утратил контакт, как выражаются теперь. Странно получается: до революции профессора устраивали четверги для учеников и студентов. А теперь... Работаю с молодежью, а чем они живут, узнаю из газет.

— Но я, наверно, не очень характерный экземпляр, Иван Николаевич. Видели, мама меня ждет...

— Ты все-таки ближе.

— Разная есть молодежь. Деревни не знаю, но заводы, институты, НИИ знакомы. Впечатления не всегда радужные, но пессимизма, как у некоторых, нет.

— Сформулируй. Ты же ученый.

Улыбнулся. Лицо стало сразу детское, непосредственное.

— Какой же я ученый? Я инженер.

Но ему приятно, что так назвал.

— Не думайте, что собираюсь проповедовать утопии. Мы, инженеры-кибернетики, требуем все выражать в цифрах. В том числе и идеалы. Поэтому прежде всего нужны кибернетическая социология и экономика. Объективные методы изучения поведения людей, эффективности их труда, степени душевного комфорта. Устойчивости и перспектив социальной системы.

— Ты веришь в коммунизм?

Встал. Прошелся по кухне: три шага вперед, три — назад. Остановился против меня. Взволнован, кажется.

— Зачем вы задаете такие вопросы?

Мне немножко смешно и приятно его волнение.

— Мой друг, я собираюсь путешествовать в будущее. Представь: твои автоматы разбудят меня лет так через пятьдесят. Так что вопросы будущего меня интересуют совершенно конкретно.

(Врешь, еще не думал. Но вообще да, нужно знать. Дело серьезное.)

— Хорошо, я вам отвечу. Да, я верю. Но слово «вера» мне не подходит. Коммунизм — это не религия.

— Никто этого не говорил. Коммунизм — наука.

— Эту науку догматики нам подавали как религию: цитаты, цитаты... Если это наука, так я всегда имею право искать новые доказательства.

(Бывало и так: павловская физиология, мичуринская биология. Языкознание. Хотя не на костер, но с должности долой. Он этого не застал.)

— Я согласен. Но принесет ли пользу дискуссия в таком деле?

Представляю: митинги, страсти, упадок дисциплины. Мой вред.

— Кто говорит о какой-то всеобщей дискуссии? Научные вопросы не решаются на митингах. (Прочел мысль!) Есть институты. Они должны изучить вопрос со всех сторон.

Слова. Пока одни слова. Но молодость берется горячо. Подразнить.

— Да что изучать? Какие проблемы? Строить коммунизм или возвращаться к капитализму?

— Ну зачем вы утрируете? Таких дураков не найдется. Дискутабельны вопросы методов и темпов, а не целей.

— Интересно, что думают по этому поводу философы? У тебя нет приятелей среди философов?

— Нет. Пока я интересуюсь этим только так, для души. Хватит того, что в медицину влез. Хотелось бы, конечно, и сюда поглубже забраться, но в общем-то можно жить и так. Идем вперед, развиваемся. Но я еще этим займусь всерьез.

(А можно ли жить без этих вопросов? Если бы не водородные бомбы, то спешить действительно некуда. Время придет, покажет. Но теперь... Впрочем, это уже не для меня.

Бобыль. Не выполнил долга: «Кто родит сына, посадит дерево...» Ни сына, ни дерева. Грустно.)

— Ну, а в людей ты веришь, Юра? Все ли способны войти в коммунизм? Имей в виду, что экспериментальных доказательств достаточности человеческих качеств нет.

(Ты-то сам готов? Пожалуй, да. Материальных благ мне вполне достаточно. Согласился бы даже и на меньшее. Не завистлив, не честолобив. Вернее, да, но в меру. Вот только лаборатория мне нужна, оборудование, помощники... А может быть, твои замыслы того и не стоят? Но я ведь этого честно добиваюсь, доказываю. Но слушай.)

— Я верю. Но я знаю, что человек такое существо, что может и в сторону вильнуть и назад. И все к черту пойдет, вся история цивилизации и социальный прогресс. Пример — фашизм. Жутко — целое государство с пути сбилось.

— Опять добро и зло. Не будем обсуждать. Вернее, отложим. Давай лучше спать ложиться.

— Да, да, в самом деле, уже час. Вы меня простите за болтовню.

— Ну что ты!

Какой он, Юра? Умен, но молод. Это значит, ум еще не пастоящий. Слишком согрет чувством и ограничен. Мудрость приходит вместе со зрелостью. Даже у меня еще нет, наверное. Но как странно: в любом возрасте человек ощущает себя вполне умным и способным все понять. Вот тот же Юра наверняка уверен, что может постигнуть любую науку, любой предмет. Постигнуть... Я тоже так думал.

Стелю постели. Раскладушка, поролоновый матрасик. Удобная вещь, только простыня на нем держится плохо. Подоткнем. Еще пододеяльник.

— Юра, там в ванной есть новая зубная щетка. Красная.

Укроется пледом, тепло. Да, полагается наволочку сменить. Сейчас. За границей еще пижаму дают, у нас пока в своих рубашках. Не дошли.

— Ложись. Читать будешь? Газеты есть.

— Нет, спасибо. Я быстро засыпаю.

Стесняется. Ну что же, потушу свет сразу.

Вечерний туалет. Зубы как зубы, но десны явно распухли. Так уж явно? Да. Ничего. Послужат.

Ложусь.

— Спокойной ночи. Рано не поднимайся.

— Спокойной ночи.

Лежу, вытянувшись под одеялом. Тепло. Хорошо лечь после длинного рабочего дня. Длинного дня разговоров.

На потолок светлые квадраты от уличных фонарей. Качаются. Ветер. Вот поползло еще одно пятно. Быстрей, быстрей. Пропало. Кто-то включил фары.

Спать. Но мозг не сдается сну.

День прошел. «Быстры, как волны, дни нашей жизни...» Песня была. Пели подвыпившие интеллигенты. Не много дней осталось. Каждым нужно дорожить. Зачем? Не все ли равно — раньше, позже? Рисуешься? Не очень.

Волны... Волны морские. Хорошо вот так засыпать на берегу. Ш... шшш... уу... Слышу шум волн, методичный, успокаивающий. Так было и миллионы лет. Уже больше не увижу. Нет, весной еще успею съездить. Посижу на камушках. Подумаю о вечности.

Юра уснул. Действительно, быстро. Молодость. Еще говорили: чистая совесть. Наверное.

Ничего у меня не болит сейчас. Может быть, я здоров? Будет анабиоз, не будет? Иногда кажется — бред, потом — реальность. Но я-то знаю: шансов ничтожно мало. Логика наших рассуждений примитивна. Многое просто не знаем, не можем охватить всей сложности проблемы.

Нужно поставить опыты с длительным анабиозом. Не успеть. Программа пробуждения вообще не будет отработана. Да и нужны ли опыты? Вдруг окажется: невозможно разбудить? А так есть иллюзия.

Нет. Нечестно. И не стоит продаваться за несколько лишних шансов пожить.

А что тебя в этом деле больше интересует: научный эксперимент или твоя судьба?

Взвешиваю: не могу определить. Гордость: ученый. Хвастун ты.

Будут клетки синтезировать свою структуру или будет только распад? Если нет, то как быстро? Снизить температуру до двух-трех градусов, тогда обмен, наверное, уменьшится раз в тридцать. Плюс глюкоза, которая все-таки должна сгорать. При одном углеводном питании можно свободно прожить месяца два. Умножить на тридцать — будет пять лет. Через этот срок нужно пробуждать для подкармливания.

А кроме того, наверное, будет синтез белков.

Картина: я в саркофаге. Если применять для циркуляции плазму, то кожа будет совершенно белая. Бр-р-р! Неприятно.

Вообще никакого величия не будет. Камеру еле-еле успеем спать, машины все будут некрасивые. На соплях. Одно слово — макет. Макет величия.

Спать, спать нужно, друг...

Глава третья

Вот и опять иду на работу. Шагаю бодро: раз-два, раз-два. Чудно как: тепло, ветерок.

Улица тихая. Каштаны до неба. Последние свечки опадают, как белый с розовым снег. Совсем последние — для меня. Не думать.

Люди навстречу. Смотрю на лица, стараюсь разгадать их мысли, судьбу.

Толстая старуха в черном медленно двигается, опираясь на палку. Глаза прикрыты тяжелыми веками. Застывшая маска мудрой усталости. «Прибери меня, господи!» Тень у нее тоже черная, большая.

Девочка с бидоном и кружкой бежит вприпрыжку, брякает на всю улицу. И напевает в такт: «Динь-дон, динь-дон!» Мама послала в молочную, («Быстро!») Занятия кончились. Впереди целое лето счастья. И целая жизнь. Да будет так!

Пожилой человек быстро шагает с несчастным, злым лицом. Служащий опаздывает на работу. Поругался с женой. Впереди выговор от начальника за невыполненное задание. «Проклятая жизнь!» Все верно. Проклятая. Но успокойся! Все проходит. Вечером трехлетний Санька влезет тебе на колени, обнимет теплыми ручонками, и лицо твое сморщится в горестную гримасу. Потом влажные глаза широко раскроются и засияют. «Нужно жить!»

Так мне рассказывала Люба. Меня-то не обнимали теплые детские ручки. «Вся твоя наука не стоит такого объятия!» Это она мне говорила. Не знаю. Может быть, и не стоит.

Вот институт. Летом он красивее. Каштаны. Никого нет у входа: работа уже началась. Тяжелая какая дверь, силы совсем мало. Шел не быстро, а дыхание учащенно. Брось, не надо прислушиваться. Совсем распустился за этот месяц. Селезенка тянет левое подреберье. Опять? Хватит!

Иду к себе в кабинет по коридору. Неуютно здесь после улицы, темно. Встречаются люди из других лабораторий. Здороваются. Смотрят с жадным любопытством: «Еще ходит, агитировали, рак, совсем плох». Не надо так. Смотрят хорошо: с участием и симпатией. Не нужно поддаваться зависти и досаде.

Вот и наши комнаты. Наши. Даже сердце забилося: столько сюда вложено души, мечты, энергии.

Загляну в операционную. Знакомая приятная картина: готовятся к опыту. Все тут? Поля, Коля Гулый, Толя, Валя. Вон Вадим наклонился над столом.

— Здравствуйте, товарищи!

Вадим бросается ко мне, хватая за обе руки, трясет, смеется.

— Ура шефу!

(Нет почтения.) Все меня обступили, трогают, улыбаются. И немножко смущены. Как вести себя? Здоровым всегда стыдно перед больными.

— Ну как? Как себя чувствуете? Может быть, рано вышли?

— Ничего не рано! В самый раз.

Это Вадим, конечно. Валя выбежала в коридор, побежала в соседние наши комнаты. Слышу, кричит:

— Девочки! Иван Николаевич пришел!

Тепло. Хорошие они все какие. Любят меня. Любят!

— Знаете, как без вас плохо было? Совсем замучили нас начальники. Три опыта в неделю, допоздна сидим, а в свободные дни все считаем и чертим.

К Вадиму:

— Чего они чертят?

— Как чего? Характеристики, кривые. За опыт мы теперь получаем столько цифр, что ужас! Аналог-код щелкает быстро. Вот целые рулоны.

Да, действительно на окне бумажные катушки с цифрами.

— Ну хорошо, ребята, готовьте опыт, а я должен поговорить со старшими. Вадим, собирайтесь ко мне. (Морщится. Некогда.) Не бойся, я ненадолго.

Выхожу, провожаемый шумом. Потом, слышу, затихли. Наверное, говорят: «Ах, какой он бледный, худой!..» Ничего! Еще повоюем!

Вот он, мой кабинет. Здороваясь, как с другом. Все на привычных местах: фотография Павлова, корешки книг в шкафу. Даже цветы поставили.

Очередность чувств: радость от встречи. Любят. Еще дальше маячит тоска: скоро придется расставаться. Теперь это чувство меня уже не покидает. Обострение заставило тело поверить в болезнь.

Ничего нового они мне не скажут. Каждый день кто-нибудь приходил и докладывал. Но, может быть, не все? Щадили. Сегодня посмотрю сам. Сверю с планами и внесу поправки. Сколько мне еще отпущено? Давид утешает, но разве можно верить? Упреки, что плохо лечился, много работал. Хочет, чтобы я почувствовал себя больным, прислушивался. Что же, он достиг цели: болезнь все время присутствует на заднем плане. Стал портиться характер — обида и зависть к людям. Сам вижу. Пока еще контролирую себя, но вот-вот сорвусь. Плохо.

Нужно торопиться с отъездом, иначе болезнь совсем меня скрутит. Вот опять голова кружится и тошнит. Кажется, и ничего такого не съел. Все ли я принял лекарства? Давид сказал, нужна пунктуальность. Может быть, лучше было бы еще полежать? Давид...

Слушай, ты! Пошли к черту Давида и лекарства. Сегодня важный опыт. Или уже ничего не осталось важного, кроме пилюль? Чтобы лишний день дышать, есть и мочиться? Понимаю, если бы мог что-нибудь еще... А это...

Все ясно. Нужно следить за мыслями, не позволять болезни завладеть собой. Лечиться, но в меру. Жизнь не самоцель. Почаще задумываться: «А для чего?»

Выстоять.

Как меня встретили хорошо! Нельзя их предавать. У каждого человека есть плохие мысли, все дело в их удельном весе, в их воздействии на поступки. По ним нужно оценивать, по сумме поступков. Количественная оценка добра и зла. Критерии. Обсудить.

Входят все сразу. Значит, собрались заранее: обсуждали «платформу», как себя вести со мной. Хорошо, берегут, но плохо, что не будут откровенны. Расспросить отдельно. А может быть, кое-что лучше и не знать? Всегда есть достаточно неприятностей.

— Здравствуйте, Иван Николаевич!

Это Семен. Нормальный голос, а мне кажется, что он не так смотрит. Борьба за власть! Не надо подозрений.

Игорь такой же красивый. Юра и Вадим серьезные. Какие-то новые. Впрочем, я их видел на днях, но обстановка меняется.

— Садитесь, ребята. Я собрал вас, чтобы обсудить кое-какие вопросы. Положение в общем мне известно, если вы не утаивали от меня.

Смотрю им по очереди прямо в глаза. («Испытующе». Штамп!) Нет, не все ладно.

— Семен Иванович, прошу вас.

— Все было, кажется, хорошо. Как вы знаете, мы получили комнату, в которой будем монтировать саркофаг. Работали как надо. План, по-моему, выполняется. Правда, я не все знаю, они же мне отчетов не дают.

Замолк обиженно. Не слушались. Есть трещинка.

Вадим вскакивает. Нахмурен. Игорь делает жест: «Остановись». Заныло под ложечкой. Сейчас неприятности. Не хочу!

— Не делай мне знаков! Шеф не кисейная барышня.

(Сейчас даст.)

— Не все хорошо, Иван Николаевич. Ваша болезнь принесла большой вред, и впредь вы должны следить за собой строго. Нужно приходить в лабораторию и делать вид. Стоило вам лечь в больницу, как этот, грязная свинья (О директоре. Нет, не сделать тебе карьеры!), начал нас притеснять. А ты, Семен, ему потворствовал! Да, это все знают. Не трогайте меня, я все равно скажу!

— Истеричка ты, больше ничего.

(Как неприятно все это! Болит под ложечкой. Тёшнит. Болен я, не надо...)

— Рассказывайте, но только без эмоций.

— Отдел снабжения перестал нас снабжать: «Денег нет», «У вас аппетиты большие». (Передразнил Швечика. Похоже.) А нам, как нарочно, нужна масса всякой всячины для машины. С Юркой вообще не хотят разговаривать: ты, говорят, не наш. А комнату Василь Василич сам дал — «во временное пользование», я расписку писал. Она ему не нужна сейчас, потому что опытную установку демонтировали. Все, что сделали, — на энтузиазме и на воровстве. Сколько твои ребята повывносили с заводов деталей?

(Воровство. Еще чего?)

— Да нет, вы не бойтесь, там нам сами дают, только вынести через проходную нельзя открыто.

Это еще полбеда. Всегда прижимали, да и денег у дирекции в самом деле мало. Еще что? Жду.

— Не все еще. Этот тип начал нас вызывать к себе. Я не знаю, что он Семену говорил...

— Знаешь ты, я рассказывал!

— ...не знаю, что он Семену говорил, а у меня прямо спрашивал, что думаю делать, когда шеф умрет, как будет с тематикой. «Какого бы вы хотели заведующего?» Говорит, нужно сильного, который бы защитил новое дело. Я так понял, что он сам хочет взять нашу лабораторию.

(Вот сволочь! Впрочем, чего от него ждать? Постой, а может, Вадим путает?)

— Он прямо сказал?

— Он-то не сказал, да я сам прямо спросил. Засмеялся он. «А что, вам будет плохо?» Знаете, как он своим добреньким смешком: «Хе-хе-хе... а?»

— Ну и что же ты ему ответил? (Ах, черт, нужно на «вы»!)

— Я ему ответил как надо. Повторять не буду. (То-то рожба была у Ивана Петровича!)

— Ну и зачем же ему это надо?

— Святая простота! Да ведь он павловское учение уже полностью выдоил, теперь на первом месте кибернетика. Чувствует, что его попрут скоро с кресла. А как же он без командных высот?

— Вадим, прошу вас без резкостей. Он все-таки наш директор, с его помощью мы стали на ноги. Семен Иванович, что вы скажете обо всем этом?

— Что он скажет! Он уже небось подрядился к папаше в заместители!

(Склока. Противно. Я еще здесь, а уже делят. Вадим — псих, мог преувеличить. Семен? Ненадежен.)

— Я ничего об этом не знаю, Иван Петрович расспрашивал о состоянии работ в отделе, о выполнении планов этого года.

— И все?

— Расспрашивал о вас. Как я оцениваю ваше здоровье, вернетесь ли вы к работе.

— Ясно. Нормальный директорский интерес. Игорь и Юра, вы что-нибудь можете сказать? Подожди, Вадим. Пожалуй-ста, помолчи. Не устраивай базара.

Эти ребята с трезвыми головами. Вот Юра.

— Отношение к нам плохое, это верно. Посмеиваются, что мы гениальные открытия делаем.

— Юра, это же несерьезно. Говори по делу.

— По поводу того, что сказал Вадим? Думаю, что весьма вероятно. Товарищ ловкий.

— Это тоже меня не интересует. Пока. Говори ясно, в чем заключается дискриминация лаборатории, чтобы я мог идти к директору.

Молчание. Что скажете? Знали бы вы, как противно идти к нему! Ага, Вадим!

— Я думаю, что вам пока не стоит ходить. Мы будем сами выбивать: «Шеф пришел, ругается». А вы только расстронтесь.

— Сам сначала подогрел, а теперь жалеешь?

— Я же знаю, как вы любите ходить по начальству. Мы от этого сильно страдаем. Но что поделаешь...

(«Недолго осталось, потерпим». Нет, он этого не думал. Не злись.)

— Что еще скажете приятного?

Смотрю. Настроение неважное. Вадиму стыдно за свою выходку против Семена. Тот сидит, нахόхлился. Справедливо обиделся, хотя директору продастся. Нет, сдастся, это разница. Слабость еще не подлость. А Игорек так и промолчал. Херувим.

Опять Юра. Видно, что стал основной движущей силой. Естественно: техника сейчас главное. Машины.

— К сожалению, есть и более неприятные вещи, с которых нужно было бы начать, если бы Вадим не выдал свои эмоции.

Замолк. Что еще? Бей, все равно радости от встречи уже нет.

— Дело в том, что мы теряем кредит. Институт кибернетики, заводы № 11 и № 13 быстро узнали, что вы в больнице, и затормозили наши заказы. Начальство от объяснений увиливает, но ребята мне говорят, что оно в нас, помощников, не верит. Впрочем, и сами ребята тоже не очень, поостыли.

(Значит, решили, что я уже умирать лег.)

— Ну и как поправить дело?

— Ну хотя бы вы позвонили Борису Никитичу и другим. А еще бы лучше... Но...

— Что?

— Прочитать бы вам по одной лекции у наших подрядчиков.

Скажи пожалуйста! Я, оказывается, сила. Лекции мои, правда, всегда правились. Умею.

— Я готов. Только внешний вид у меня неважный. Не отпугнуть бы.

— Ничего. Вы побреетесь перед самым выступлением, мы вам яркую рубашку добудем, наденете светлый костюм.

— Не хватает еще косметики!

— Наука требует жертв!

Немного оттаяло. Все повеселели, даже Семен улынулся. А Вадим уже все забыл. Вот человек! Лекции я прочитаю. И костюм надену. Но насчет яркого — ограничусь галстуком... Неловко.

— Теперь, может быть, коротко обсудим существо дела? Хотя вы мне и рассказывали, но я бы хотел услышать еще раз, чтобы вместе обсудить, как преодолеть отставание. Кто начнет? Как всегда Вадим?

— Пожалуйста, я готов. Мой участок — структурные схемы функциональных и регулирующих систем. Они в общем готовы.

— По-твоему, готовы — это значит есть квадратики с названиями и стрелками между ними. А мне для технической схемы этого мало, нужны зависимости, — возразил Юра.

— Где я тебе их возьму? Из пальца высосу?

— Из литературы. Вон сколько медики написали — целые библиотеки. Написали, а установить, например, как сердце влияет на газообмен в легких, нельзя.

— Подождите, не ссорьтесь. Ведь мы договорились, что часть характеристик действительно придется брать с потолка. В этом смысл эвристического моделирования. Так вот, я хочу знать: что сделано в этом направлении?

Немного, видимо, они сделали. Не хватает фантазии. Хорошо, что я продумал за время болезни. Было время.

— Иван Николаевич, послушайте. Мы с Игорем нарисовали главную схему — отношение между органами, обеспечивающими баланс газов в организме. Это сердце, легкие, ткани. Увязаны воедино механическая энергия, изменение O_2 и CO_2 в сердце, легких, в сосудах, в тканях. («Мы нарисовали». Это я давно рассказывал.)

Юра:

— Ваши характеристики годятся только для здоровых — как организм приспосабливается к физической нагрузке, да и то без учета эмоций. Не больше. А как быть при патологии? Ведь характеристики будут совсем иными?

— Ну, кое-что мы дали тебе, не прибедайся. Кроме того, работы в клинике не закончены.

— Хорошо, не спорьте. Потом мы специально обсудим этот вопрос. Я припас некоторые соображения.

(Все-таки забываешь о болезни, когда вот так занимаешься. Будто и нет ничего.)

— Семен Иванович, вам было поручено составление второй схемы — водно-солевого баланса, регулирование кислотно-щелочного равновесия. Как обстоят дела?

(Я-то думаю, никак.)

— Схему мы с Вадимом и Юрой составили. Я могу ее показать. Есть и характеристики почек. Плохо с тканями: не удалась кооперация с институтом биохимии. А мы сами не улавливаем количественно, как обмениваются водой и солями ткани с кровью. Первые воздействия на эти процессы не определены.

— А связь с газообменом вы уже выяснили?

— Нет, пока не установили. Вернее, не можем выразить это цифрами.

— А почему бы не поставить опыты с перфузией изолированных частей тела, например ноги?

Мы долго обсуждаем разные технические вопросы.

Юра смотрит на часы. Поднимает на меня глаза. Шеф, ты нас задерживаешь! Вадим увидел.

— Иван Николаевич, нам нужно идти в операционную. Первый опыт, программа очень большая, без нас напутают. Можно, а?

— Да, да, конечно. Разговор закончим потом. Значит, мне можно не ходить к Ивану Петровичу? Как вы считаете?

— Может быть, стоило бы показаться после болезни, а, ребята?

Это Семен просит. Черт его поймет.

— Не надо. Пусть он приходит. Пошли, ребята.

Вадим категоричен, как всегда. Нравится, хотя и раздражает. У самого всегда не хватало.

Ушли. Дверь закрылась, а голоса еще звучат, и фигуры реют в воздухе. Были и нет.

Устал. Тело жалуется, а мозг приказывает: «Работай!» Не пойду к директору. Могу же я это позволить себе? По болезни. Вообще-то нет, нужно бы сходить. Дело требует. Дело требует ходить, кланяться этому дерьму. Слушай, не прибавляй. Обыкновенный человек. Наверное, думает: «Для развития этого важнейшего дела нужно сильное руководство, хорошая организация. Умрет Прохоров, все дело может пропасть». Не уверен даже, что потом добавляет: «И я что-нибудь получу...»

Прилягу на минутку. Слабость. Может быть, ее нужно пересиливать волей? Физическая тренировка — великое дело. Нужно соблюдать пропорцию: покой — тренировка. Только как найти наилучшее соотношение?

Опять ты о болезнях. Сколько можно?

Хорошо полежать. Расслабить мышцы. Каждый орган шепчет: «Хорошо».

Нужно идти. Проснется собака или нет? Не обязательно. Цель опыта — отработка программы, испытание аппаратуры. Но все же приятно, если бы проснулась. Пес большой, 28 килограммов. Бедный, не знает. Люди тоже часто не знают. Судьба. Детерминизм? Если мир ограничен, то должно быть все заранее предопределено. Брось, ты просто никогда не мог понять бесконечность.

Как они будут работать одни? Неужели этот... захватит? Разбегутся. Останется Семен и, может быть, Игорь. Это значит гибель лаборатории, дела. Человечество, конечно, не пропадет, но дела жаль. А кто же будет смотреть за мной? Просто нельзя без Юры и Вадима. Техника откажет, физиология не будет развиваться.

Пойти по начальству? Тогда все может сорваться. Запретят. Скажут: нужно обсудить с руководством. Там. (Жест вверх.)

А ловко я обдурил всех: «Установка для искусственного регулирования важнейших жизненных функций». Все приветствовали, когда утверждали план! Иван: «Физиология дает выход в практику. Будем оживлять при клинической смерти, при шоке, инфаркте». Все это верно, будем. Будут. Может быть, даже гипотермия понадобится, чтобы сначала сложить из кусочков, а потом оживлять. Как в сказке, мертвая и живая вода. Многие инженеры на это дело клюнули: как же, кибернетика! Создание систем, управляющих организмом. И то же верно: без кибернетики установка не пойдет.

Плохо, если на заводах начали охладевать к нам. Что сделаешь? Все затурканы. Планы, штурмы. Сначала размечтаются: «Поможем человечеству», «Приятно работать для жизни...» Потом, смотришь, остыли: «Знаете, если бы включить в план... У нас прорыв. Начальство жмет, ругает: дескать, игрушки делаете, благотворительностью занимаетесь...» Не осуждай! Все люди. Директора — особенно. Их, бедных, драят где только можно. Живо отучат фантазировать.

Так не хочется снова идти упрашивать! «Пожалуйста, Сергей Павлович, сделайте. Без вашей помощи не вытянем...» А он: «Ну что ж, профессор, нужно помочь медицине. Сделаем». Снисходительно похохатывает. Он туз, а ты кто? Червь. Он государству прибыль дает, а от тебя? Один разор.

Ну и что? А он прав. Вот целый институт, миллионы тратят, а толк? Статей, конечно, написано сотни, книг, даже диссертации защищаются исправно, а пользы — нуль. Ничего не дает ни для сегодняшней, ни для завтрашней науки. Бездарности со степенями во главе с директором.

Закреть? Закреть! Оставить одну твою лабораторию. Именно. Но, кажется, сие от меня не зависит... Не завирайся: есть еще несколько человек. Есть хорошие лаборатории. Например, Левчук. Да, есть, но мало. Но другие институты... Да, конечно...

Придется идти к директорам. И лекции прочитать. Все-таки, смотришь, кто-то зажжется, начнет мудрить. Кдд небольшой, но будем преувеличивать, но есть польза. Появляются энтузиасты. Потому приходят к нам на низкую зарплату. Юра так пришел когда-то, помнишь?

Тепло в груди. Хорош. Именно его нужно оставить. Вадим без Юры ни одной схемы не составляет. Да и ты сам от него многому научился. Если поладит с Вадимом, все будет в порядке. Как их уберечь от ссоры? Уж очень Вадим задирист, хотя и добрый. Терпение нужно иметь. Только при моем мягком характере... Тоже мягкий! «Бритва в киселе». Неверно. Добрый.

Приятно полюбоваться собой. Такой ученый! Новые идеи, коллектив. Притом добрый, мягкий. Все отдает науке. А может быть, просто равнодушный? Выбрал себе самое приятное — думать. Домик построил и выглядывает из окошечка, критикует. Попробовал бы, например, директором завода? Или совхоза? А?

Ладно. Раз дело дошло до критики, пойдем в операционную. Давно все взвешено, определено. Положительный герой с не очень высоким коэффициентом. Если вытяну, что задумал, то будет приятно перед смертью. Оправдаюсь.

Почему-то нужно оправдываться.

Операционная. Один взгляд: пришел в самый раз. Начинают наркоз.

— Стул Ивану Николаевичу!

Предупредительность Вадима.

— Давайте все, как намечено по программе. На меня внимания не обращайтесь.

(Я не буду вас дергать своими указаниями. Предположим, что меня совсем нет. Я лежу на столе вместо собаки.)

Сажусь в угол к окну. Взгляд наружу: летний день в разгаре. Жара. Осматриваюсь: три группы. Посредине передо мной операционный стол с АИК. Физиологи Поля, Алла, Рита. Главный — Вадим. Справа весь угол — контрольная и управляющая аппаратура. Инженеры Гулый, Толя, Юра. В углу у двери стол биохимиков. Валя берет анализы. У окна еще стол, лист миллиметровки — Лёня и Петя будут вести упрощенный график основных показателей.

У каждой группы свои задачи, свой начальник. Общая команда — Юра.

Первый раз вижу установку целиком. Собрали, пока болел. АИК, теплообменник. Где же аппаратура для охлаждения и нагревания? Ага, вон шланги идут за дверь. Значит, поставили в соседней комнате. Здесь уже нет места.

Контрольный комплекс. Масса всего нагромождено! Не стоит вникать, есть Юра, инженер.

— Сколько каналов записываете?

— Шестнадцать будем записывать, а периодически контролируем еще около тридцати показателей. Вот, пожалуйста, список.

Список: давление в обоих предсердиях, в аорте, сосудистый тонус, потребление кислорода легкими, АИК, pH, напряжение кислорода в тканях. (Один канал с переключателем на шесть точек.) Напряжение O_2 в артериальной и венозной крови. Напряжение CO_2 . Производительность насоса АИК. Не-

сколько точек температуры. Отдельно — электрокардиограмма, электроэнцефалограмма.

— Юра, поставили новый расходомер?

— Да, наконец-то наладили.

— А датчики напряжения газов надежные?

— Не скажу, чтобы очень, но мы предусмотрели периодическое определение газов крови по Ван-Слайку и на оксигнометре.

— Производительность собственного сердца не контролируется? Почему же не приспособили баллистокардиограф?

— Иван Николаевич, ну не могли же мы все сделать, не успели.

Это Вадим. Нотки раздражения: дескать, такой-сякой, еще придирается. Должны были успеть.

Вступается Поля:

— Косвенно можно судить о минутном объеме сердца по потреблению кислорода легкими. Мы же знаем газовый состав крови на входе и выходе.

«Входы и выходы». Физиологи усваивают новую терминологию. Работа идет. Мила ловко ввела трубку в трахею, приключила наркозный аппарат, начинает дышать мешком. Свой анестезиолог, не хуже врача. (Но когда дело дойдет до настоящего, лучше пригласить Володю от Любы.)

Вадим с Полей начали обнажать сосуды на обоих бедрах для приключения АИЖ и введения контрольных зондов. Достаточен ли будет венозный отток с верхней половины тела, от головы?

— Послушайте, Вадим, а ведь мы говорили, чтобы одна трубка была введена еще и через вену шеи. Что-то я не вижу, чтобы вы готовились к этому.

— Хватит двух катетеров из нижней полой вены.

— Нет, не хватит... Делайте, пожалуйста, как сказано.

Только посмотрел на меня зло. Еще немного — и взбунтуется. (Не поладят они с Юрой, нет.) Начинает брить собаке шею.

Юра возится с аппаратурой. Наверняка какие-нибудь неполадки. Очень нелегко наладить шестнадцать каналов. Игорь в углу у стола с пробирками. Он отвечает за биохимию. Да, вон список анализов. Читаю. Здорово. Даже адреналин, ферменты.

— Игорь, как же вы сумеете сделать столько анализов?

— А мы попросили биохимиков из других лабораторий и даже из клиник. Обе соседние комнаты заняли.

— Молодец!

— Стараемся.

А Семен явно не у дел. По расписанию ему вообще ничего не выделили. Зря. Нужно было мне вступить. Теперь поздно. Правда, его искусственная почка сегодня не приключается. Не готова, да и не нужно — опыт короткий.

Все заняты, один я свободен. Инвалид. Впрочем, это хорошо, значит коллектив работает.

Здорово Юра поставил организацию эксперимента. Все расписано по пунктам: кто, где, что. Но он каждый раз жалуется, что система плохо управляемая. Много делают ошибок. Пока с собаками — это ничего, жалко только труда: человек двадцать участвуют в опыте. Физиологи никогда не ставили таких сложных экспериментов.

Работают спокойно. Даже Вадим не орет — подействовала проработка на собрании. Надолго ли? Вот характер! Сколько раз он мне грубил! Потом придет: «Извините, Иван Николаевич, не сдержался... Но и вы тоже не правы...» А все-таки я его люблю. Настоящий. Теперь слишком много равнодушных.

— Вадим, а ты научился дренировать левое предсердие?

(Это я нарочно на «ты», чтобы не сердился. Он это любит — фамильярность!)

— А как же! В хирургию ходил целую неделю. Теперь лучше их делаю. Уже приглашали заведовать кабинетом зондирования. Говорят: когда со всеми переругаешься, приходи к нам, попробуем.

Собака вся пронизана трубками. В обоих предсердиях и в двух артериях тонкие зонды для измерения давления и взятия проб крови. В трех венах — толстые трубки для оттока крови в АИЖ, еще одна трубка — от него в артерию. (Неужели и меня так придется? Бр-р-р...)

Нет. Пока все как-то нереально. Я на этом столе? Нет, не может быть! Если по-честному, то я все равно не верю, что решусь. Так на постели и буду умирать.

Сколько человек здесь работает? Раз, два... двенадцать. Да еще в тех комнатах есть. Ничего себе!

У каждого своя жизнь, своя судьба. Стимулы. Вот Лена, техник. Помнишь, как она вначале плакала над каждой со-

бакой? Уходить хотела. Беседу провели: «Опыты нужны для людей». — «Что люди! Они сами за себя отвечают. А животные? Это жестоко!» И теперь еще не привыкла.

Мила бледна и худа. Бедно живут девчонки, зарплата маленькая. Хорошо, если в семье, а некоторые из деревни приехали, живут по углам. Одеться нужно. Экономят на каждом куске. Не принято об этом говорить.

Учатся почти все. Заочники, вечерники. Как начинаются сессии, так и работать некому. Вон Алла шесть раз держала экзамены, пока поступила. Мода? Стремление к материальным благам? Они невелики. Квалифицированная работница больше получает. Нет, видно, это истинная жажда культуры. Пока они не очень культурны. Но их дети будут уже лучше. Будут ли? Люба жалуется, что Костя книг не читает.

Проблема культуры. Проблема молодежи. Всюду одни проблемы. А, бывает, слушаешь — никаких проблем, все решено. Молодежь поголовно стремится на стройки, тиражи книг растут из года в год. И хотя бы кто-нибудь попытался провести настоящий количественный анализ. Зачем? Выдержки из речей — самые веские аргументы. А ведь нужна, очень нужна настоящая информация! Без нее нельзя управлять ни одной сложной системой.

— Иван Николаевич, все готово к началу охлаждения.

Встаю. Голова немножко закружилась. Постоять. Прошло.

— Проверим? Дайте мне карту.

Программа опыта: датчики, анализы, состояние собаки к началу охлаждения.

— Игорь, биохимические показатели нормальны?

— Да. Щелочной резерв крови чуточку понижен. Вводим соду.

— Мила, усилийте дыхание.

— Юра, твое хозяйство в порядке?

— Ну, идеального порядка у нас никогда нет, но прилично. Думаю, что все запишем.

— Я не про записи. Будет ли работать автоматика?

— Не знаю. Должна бы, но кто его знает? Первый раз включаем.

— Ну начинайте.

Это значит начать поверхностное охлаждение, снизить температуру до тридцати градусов при собственном работающем сердце, а потом уже включать машину.

Собаку накрыли длинным футляром из оргстекла. На одном конце его — змеевик, соединенный с холодильной установкой, и вентилятор. Он создает потоки холодного воздуха. Шерсть собаки обильно смочили водой.

— Мила, углуби наркоз и введи нейропластики. Есть это в программе?

Это Юра. Так будет и мне командовать. Если решусь...

Включили холодильник, вентилятор. Крышка покрылась пылью тумана. Из дырок дует холодный воздух. Мороз пробегает по моей коже. Условный рефлекс.

Широкая бумажная лента медленно ползет в аппарате, и шестнадцать писчиков чертят свои кривые. Периодически включается аналог-код и записывает показатели цифрами на рулоне бумаги.

Охлаждение идет медленно. Шерсть мешает. У человека пойдет быстрее. Толя переключает датчики — везде одинаково: 35 градусов, 34 градуса, 33 градуса. Нужно примерно один градус в минуту, но идет медленнее. Ускорить нельзя.

А время идет. Приносят анализы, отмечают в таблицах новые цифры. Проводят линии на графиках. Добавляют лекарства, регулирующие тонус сосудов, сердечную деятельность.

— Какой минутный объем сердца, Вадим?

— Сейчас прикину.

— Что прикидывать — около полутора литров.

Это Юра. Быстро ориентируется в цифрах.

— Маловато. Может быть, нужно уже включить АИК? А то в тканях накопятся недоокисленные продукты.

— Температура — тридцать один градус. Давайте включим.

Остановили вентилятор. Подняли крышку. Холод прополз по комнате и растаял. Лето. Даже не верится, что там было всего плюс восемь градусов.

— Миша, у тебя все готово?

— Да, готово.

Миша — молодой техник, машинист. По-научному — оператор АИК. Работает под командой Поли.

— Включай. Проверь зажимы.

Послышался новый звук — мотор аппарата. Он все повышается, увеличиваются обороты. «З... з... з...»

Неприятно.

Крышку снова закрыли. Загудел вентилятор.

Как-то они будут работать вместе — насос и сердце? Эта модель АИК не предусматривает синхронизации, но может давать почти постоянный ток крови. Однако это все равно плохо влияет на работу сердца. Нарушается регулирование.

Вадим и Юра внимательно рассматривают кривые на бумаге, ползущие по доске осциллографа.

— Производительность АИК — тысяча пятьсот миллиметров. Потребление кислорода снизилось приблизительно до пятидесяти.

Это значит, что свое сердце «плохо тянет». Неважно, весь расчет на АИК.

— Юра, когда начнет работать автоматическое регулирование температуры?

— Да сейчас включим.

Переключает какие-то тумблеры на большом пульте. Это его гордость — программное управление всей системой.

Машина работает на режиме охлаждения — скорость циркуляции определяется этим.

— Сердце фибриллирует!

— Товарищи, смотрите за давлением в левом предсердии. Сейчас решится, хорошо ли держат клапаны аорты, не будет ли кровь затекать в левый желудочек и растягивать его.

Все напряженно смотрим на кривые давления. Вадим кричит:

— Порядок! Давление в предсердии не повышается!

(Больше всего я боюсь этого момента. Порока сердца не было, а вдруг клапан закрывается неплотно? Тогда все кончено.)

— Ну, теперь переключайте насос на пульсирующий ток.

Мы полагаем, что это важно для организма — пульсация крови.

— Автомат ведет себя хорошо. Смотрите, какая линия температуры!

— Подожди еще хвастать, как будет дальше.

— Я и не хвастаю...

— Да, да, знаем вас... (Это, конечно, Вадим.)

Завидуют, наверное, физиологи Юре. И меня немножко ревнуют. Обижаются, когда я привожу инженеров в пример.

Культурный опыт. Все видно. Жаль только, что биохимия запаздывает. Когда и ее переведут на электронику, вот тогда будет дело!

Температура венозной крови 16 градусов. Она красная, как в артерии. Потребление кислорода снизилось в пять раз.
— Иван Николаевич, наверное, пора разводить кровь. Иначе есть опасность склеивания эритроцитов.

Да, да, это очень важно. Повышается вязкость крови, могут закупориться капилляры в мозге. Нужно спешить.

— Юра, можно остановить АИЖ?

Остановили, пережали шланги. Из оксигенатора слили половину крови и заменили ее плазмой.

Вадим:

— Пускай! Кровь поставьте в холодильник. Еще пригодится.

Сажусь на свое место. От начала опыта прошел час. Немножко устал. Смотрю.

Самая шумная группа — физиологи. Вадим. Поля всегда с ним препирается. Разумеется, они на «ты».

— Поля, смотри: течет из фланца!

— Это же ты затыгивал. Мужчина! Ну-ка, Леня, подтани.

Возня. Ничего.

Инженеры спокойнее. Красив этот огромный осциллограф. Шестнадцать каналов, шутка ли!..

Игорь сообщает, что возрос гемолиз. Ничего, теперь гемолиз уже не так страшен. Кровь развели вдвое, минут через двадцать совсем заменим плазмой. И производительность уменьшим. Да, но как будем нагревать? Тогда ведь машине придется работать гораздо дольше.

— Послушай, Вадим. Сколько вы заготовили донорской крови?

— Три литра. А что?

— Мало будет. В ходе нагревания придется менять кровь, потому что гемолиз превысит допустимый уровень. Может быть, можно взять еще? Есть собаки?

— Собаки-то есть, да не проверены на совместимость.

— Но ведь еще не поздно. Распорядись.

Молчит. Где бы сразу выполнить, так он думает.

— Вот сейчас кровь заменим, и тогда смогу освободить Полю.

Ага! Значит, убеждать не придется. И тем более приказывать. Так и не научился приказывать.

— Температура уже девять градусов!

Нужно посмотреть все показатели. Подойти к столу, к Лене.

— Давайте поглядим вместе. Игорь, дайте ваш лист.

Собрались у стола. (Почему нет ни одной женщины среди моих старших? Поздно думать.)

— Смотрите, Иван Николаевич, показатели просто прелесть: рН, напряжение кислорода в крови, в тканях. Это же главное!

— Калий низкий. Нужно добавить. А напряжение кислорода в венозной крови слишком высокое.

— Сейчас прибавлю воздуха к газовой смеси.

Температура теперь снижается медленно. Юра перевел автомат на другой режим.

Шесть градусов. Пять.

— Нужно совсем заменить кровь. Дальше охладим на плазме.

Расходимся по своим местам. Для разговоров времени нет. Я, пожалуй, здесь самый свободный. Сажу смотрю. Все отработано хорошо. Юрина заслуга. Ни в одном заграничном журнале не читал про такой сложный опыт! Сила! (Как мальчик — «сила».)

Машину остановили. Только вентилятор шумит. Поля выпускает кровь из оксигенатора и заливает в него плазму с глюкозой. Делают без спешки: при пяти градусах можно остановить кровообращение даже на час. Но лучше этого избежать.

Закончили. Снова загудел мотор АИК.

Еще два-три градуса, и перейдем на стационарный режим анабиоза. Пес отправится в будущее. Нет, не вернется. Едва ли удастся разбудить. А было бы приятно.

Двенадцать часов. Нужно принять лекарство. Подождем. Скоро пойду отдохнуть — два часа будем держать при низкой температуре. Полежу.

Чем это состояние отличается от смерти? Практически ничем. Электрическая активность мозга отсутствует. На энцефалограмме прямая линия. Сердце стоит. И все-таки какие-то молекулы сонно бродят в клетках, обмениваются электронами, выделяют энергию.

Сегодня свидание с Любой. Нужно бы отложить. Устану. Нет. Нельзя звонить. Конспирация. Унизительно. Скоро конец. Сегодня расскажу о замыслах. Несчастливая! Впрочем, по-

дождем результатов. Если будет плохо, нет смысла расстраивать. Иногда кажется: скорей бы, устал. Но пройдет минута — и «зачем спешить»?

Настанет время, и изобретут сны. Умирать будет легко, приятно. Может быть, и все человечество так? «Мир безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Кто сказал? Не помню. Неважно. Как много становится неважным!

Напряжение спадает. Теперь собака может перенести любые погрешности в опыте. Все благородные процессы выключены. Остались какие-то примитивные химические реакции. Как у самых далеких предков.

Хорошо холодит от крышки. Приятно в жаркий день. Язык у собаки не синий — верный признак достаточности кислорода в тканях.

Бедный пес! Где он жил? Как жил? Полукровка — похож на овчарку. Раз попал в собачий приемник, значит не сладко жилось. «Собачья жизнь». Впрочем, в последние годы собаки не голодали. Но без ласки. Так, случайные связи. Как я. Нет, связей не было. Были две. После противно. Человеку нужно еще разговаривать. Наверное, не всем? Отвернулся и заснул. Оскорбительно для нее.

Можно просто смотреть не думая. Дружат они между собой или нет? Романы? Любовь? Не веду таких разговоров, не знаю. Вадим понимающе посматривает на Риту. И она машет ему подведенными ресницами. Он женат. Сколько лет ей? Двадцать семь, двадцать восемь? А Юру я видел дважды с какой-то незнакомой девушкой. Птичья физиономия. Наверное, читает стихи Гумилева.

— Юра, вы читали Гумилева?

— А кто это?

(Спроси свою барышню.)

— Это поэт. «Убежать бы, скрыться бы, как вору...»

— Нет, не знаю.

Покраснел. Другие переглянулись. Откуда он может знать? А впрочем, прочтешь десять страниц — и надоедает, как у всех поэтов. Только Люба читает целыми вечерами. Так же, как и современная зарубежная проза: по форме хорошо, а идеи нет. Когда одни идеи — раздражает. Нет совсем — тоже плохо. «Все люди — братья» — этого мало. Как это реализовать? Нужна наука.

— Ну, что там? Как температура?

— В оттекающей крови — два с половиной градуса. После машины — почти нуль. Юра, промеряй в разных тканях.

Жду. Юра переключает прибор на разные датчики.

— В пищеводе — два, в прямой кишке — почти три, в мозге — два и одна десятая. В саркофаге — близко к нулю.

(Саркофаг. Тоже мне название!)

— Хорошо. Игорь, взяли анализы?

— Берем. Но результаты будут не раньше, чем через пятнадцать минут.

— Знаю. Мы не будем ожидать. Видимо, уже нельзя больше понизить температуру. Давайте на этом остановимся. Теперь, как мы условились, испытаем две программы: с периодическим включением на большую производительность и непрерывное прокачивание с малой объемной скоростью. По часу на каждый вариант. Что вы скажете, товарищи? Юра?

— Давайте начнем со второго. Я думаю, кубиков триста в минуту хватит?

— Да. Другой вариант, наверное, такой: пять минут — восемьсот миллилитров, потом десять минут перерыв. Нет возражений? Принято. Тогда я пойду посижу в кабинете.

Иду по коридору. Бодрюсь, нужно делать вид. Наконец дверь.

Устал. Совсем никудышный: два часа посидел на стуле, обновался — и скис.

Лечь. Закрывать глаза.

Голова тихонько кружится. Музыка. Мыслей нет.

Проходит. Можно смотреть. Потолок с трещиной. Люстра. Пыль на ней. Портрет Павлова. Угол стола. Вот так бы и умереть: закружилось, тоненький звон. Провал.

Так не бывает. Вспоминается другое.

Ночи в больнице. Сухой, распухший язык. Жар, дышать трудно. Громкий разговор санитарок в коридоре. Какой-то Коля пьянствует и изменяет. «Пропадите вы с ним!» Позвать врача, пожаловаться. Неловко. Черт с ними, потерплю. Скоро улягутся на стулья и захрапят. Деликатность. Хорошо, что нас только двое. У соседа гипертонический криз. Тоже не спит. Головные боли. Вдыхает, ворочается. Молчим.

Разговаривают, проклятые!

Весь мир противен. Черствые, самодовольные врачи. Глупые, привередливые больные. Безграмотные сестры с подведенными глазами.

Говорят, что где-то есть лаборатории, населенные одержимыми учеными. Композиторы сочиняют нежную и героическую музыку. Есть любовь.

Все врут. Есть только одышка. Жажда. Толстый язык. Селезенка, как большой камень, перемещается в животе при каждом повороте.

Не хочу. Глупые бредни недоросля: какие-то модели, анабиоз. Зачем? Бог, дай мне подышать! И заberi меня. Нет, не в рай, не в ад. Просто никуда.

Не забрал. Доктора хорошие. И сестры милые, отзывчивые девушки. Цветы принесли, торт.

А сейчас мне отлично. Дышать легко. Приятная слабость делает тело вялым и легким. И мысли с чуть затуманенными переходами.

Опыт идет хорошо. Собака заснула без всяких патологических сдвигов в составе крови. Значит, в клетках за это время не накопилось вредных продуктов. Важное условие пробуждения. И левый желудочек не переполняется. Очень боялся. Мороки было бы...

Самое трудное впереди — оживить.

Будем постепенно нагревать на плазме. Потом добавим крови, как только в венозной жидкости будет мало кислорода. Боюсь, что сердце будет слабо сокращаться, а АИК плохо приспособлен для параллельного включения.

Много еще нужно сделать. Начать да кончить. Времени мало. Сил мало. Лежать бы вот так на диване. Слушать малиновый звон.

Малиновый звон — это не то. Это в церквах. Пасха. Детство. Целую неделю звонили на нашей колокольне. Я там бывал маленьким мальчиком. Удивление: мир, оказывается, такой большой!

Как это бесконечно далеко!.. Мама. Мамочка. Кажется, при жизни я ее так не называл. Сантименты! Но все равно — самое дорогое. Идеал. Хорошо, что не дожила.

Болезнь ужасно меняет психику. (Зачем «ужасно»? Не нужно сильных выражений.) Больные видят все через свои страдания. Безразличное становится плохим. Просто плохое — отвратительным. А хорошее не замечается. Все люди раздражают. Зависть. Эгоизм. «Доктор и сестры обязаны быть отзывчивыми, хорошими. Деньги получают». Даже я ловил себя на этом.

Нет, не допускать. Все время следить за собой, не спуская глаз. Создать следящую систему, как в технике...

Стук. Подняться, сесть. Не показываться лежащим.

— Войдите! Ах, это вы...

Юра, Вадим. Свои... Пожалуй, самые близкие? Одни из самых. Есть Люба, есть Леня. И все? А что, разве мало? Многие ли имеют столько? Друзья — это редко.

— Да вы лежите, чего вскочили! Вот раб приличий!

— Про тебя этого не скажешь.

Это неверно. Только так, сверху. Мимоза, когда касается его самого.

Юра:

— Мы принесли вам кофе.

Верно: тарелка, что-то закрыто марлей. Как в лучших домах.

— Спасибо. Садитесь. Как там?

Пью с удовольствием. Именно то, чего мне не хватало.

— Ничего еще не случилось. Всего сорок минут, как перешли на стационарный режим.

— Как анализы?

— Напряжение кислорода в оттекающей плазме понизилось до сорока миллиметров ртутного столба. Температура в прямой кишке — плюс два.

— Какой обмен? Прикинули?

— А как же! Чтобы Юра да не сосчитал! Примерно около трех процентов нормы. Да, Юрка?

— Все-таки плазма с трудом обеспечивает доставку кислорода.

— Когда будет повышенное давление, тогда обеспечит. Много кислорода пойдет через кожу. (Это я так думаю, я так хочу.)

— Неизвестно, как еще это отзовется на тканях, которые будут в поверхностных слоях, с высоким парциальным давлением кислорода...

— При низкой температуре ничего.

(Но это нужно еще проверить. А успеем ли мы?)

— Моча есть? Я что-то не обратил внимания.

— Ни капли. Как только перешли на стационарный режим с низкой производительностью — как отрезало. Искусственная почка необходима.

— Это так и предполагалось. А что, ребята, не отвыкнут органы работать после долгой стоянки? Как вы думаете?

Молчат. Соображают, можно ли откровенно сказать. Мне предстоит это проверить — отвыкнуть.

— Ну что скрывать — мы этого не знаем. Нужно, чтобы в целости сохранились сложные молекулярные структуры, которые обеспечивают специфическую функцию клеток — сокращение сердца, секрецию мочи.

(Спасибо — разъяснил.)

— Хорошо бы провести хотя бы несколько дополнительных опытов.

Это Юра говорит, задумчиво. (Хорошо ли?..)

— Мы не будем проводить этих опытов. Просто не успеем.

(Больница. Задыхаюсь. Нет. Проверите потом. Если не подтвердится, то просто выключите АИК.) Не нужно обсуждать этих общих вопросов. Давай детали.

— Скажите лучше, что нужно изменить и доработать.

Обрадовались:

— О, мы многое изменим! (Пауза, удовольствие на лице Юры. Творец.)

— Во-первых, у нас скоро будет мембранный насос с электромагнитным приводом, который обеспечит синхронную работу с сердцем. Во-вторых, налаживается автоматика к АИК — регулирование производительности по потребности в кислороде в зависимости от давления в венах, артериях. Можно задать разные программы управления — включаться с перерывами или непрерывно.

(Все это я знаю, но молчу. Приятно посмотреть. Завидую: ему еще кажется, что он все может.)

— Хорошо, но каковы перспективы улучшения качества самого насоса и оксигенатора? Чтобы они не разрушали кровь?

— Для нового АИК получим самый лучший пластик. Поверхности будут шлифованы по высшему классу точности. Почти такая же гладкость, как у собственной сосудистой стенки.

— Да, все очень хорошо. Но от сегодняшнего опыта до настоящей машины для анабиоза очень далеко. Очень!

(Не успеть. И они тоже думают, но молчат.) Вадим хмурится.

Юра:

— Не так уж далеко. Бочку для саркофага на авиазаводе закачивают. Я был там позавчера — отличный цилиндр из толстого оргстекла. Выдерживает давление в пять атмосфер. Кондиционер для камеры тоже скоро получим. Будем давать любую температуру и влажность. Новый АИК, автоматика...

— А почка?

— Почкой Семен Иванович заведует.

Назревает конфликт. Не зря он сегодня ходил в лаборатории, как чужой. Старался не мешать. Плохой? Нет, просто не тянет. И может быть, не понимает этого.

— Вы бросьте эти разговоры. Семена можно использовать только для выколачивания заказов по почке, а не для ее создания, наладки или привязки.

Вадим вступается:

— Да это он так, треплется. Мы следим: почку делают. По тому проекту, который с вами согласовывали. Она мало отличается от стандартной малой модели, поэтому можно надеяться, что получим в срок.

(Позвольте, какой срок? Я, кажется, не назначал срока. Значит, советовались с Давидом. Неприятно. Почему? Логика. Нужно планировать.)

Кофе вкусный. Туман в голове совсем рассеялся.

— Кто это кофе такой варил?

— Н-ну! Вы не знали? У нас же есть теперь мощная кофеварка. Коля сделал в мастерской. Все к кофе пристрастились. Из других отделов ходят, заваривают.

— А что говорят о нашем анабиозе в институте?

— Об анабиозе ничего. Мы же делаем установку для оживления, для искусственного управления жизненными функциями.

— Вот еще и поэтому нельзя проводить длительных опытов.

Когда они все вместе, говорит всегда Вадим. Юра вообще молчаливый, редко его удается раззадорить.

— А вы часто ссоритесь?

— Каждый день.

— Почему? Юра, пророни словечко.

— Вы же сами знаете, что с ним невозможно. Все оценки очень субъективны, действия непоследовательны. Тип с повышенными эмоциями. (Как книжно он выражается!) Но быстро миримся.

— Это я мирюсь. Он бы неделю дулся.

Приятно видеть их. Но им нужно идти. Опыт. Сейчас бы получилась хорошая беседа. Всегда так: когда хочется поболтать, нет времени. Время есть — нет настроения.

— Вам, наверное, пора идти?

— Что вы нас гоните? Мы всего десять минут сидим. Да, Юрка?

— Не беспокойтесь, Иван Николаевич. На новый режим будем переходить через пятнадцать минут. А до тех пор там справятся без нас.

— Надеетесь, значит?

Вадим:

— Не очень чтобы очень, но в некоторых пределах. Знаете, какой народ теперь?

— Будто ты знаешь, какой был раньше?

— В книжках же пишут. Я книжки читаю. Короленко, например, «История моего современника». Чернышевский. Народовольцы. Идейные молодые люди были. А у нас? Чуть опыт затянулся — «Отгул давай!», или: «Зарплата мала, уйду на завод». Это больше Юркины кадры — на завод. Моим податься некуда: физиологу везде восемьдесят рублей.

— Брось, Вадим. Работают, не уходят. Тоже с тобой им не мед. Сегодня одно делают, завтра, глядишь, новое придумал — сиди до ночи, переделывай. Потом вообще не появляешься, они без дела слоняются... Нет, не мед.

— Ты мне критику тут не разводи. Все равно не тот народ.

— «Вот были люди в наше время...»

Увлеченные. Они оба увлеченные, но по-разному.

А молодежь, наверное, всегда была одинакова. Возрастные особенности психики накладывают отпечаток на убеждения. Молодость решительна. Зрелость осторожна. Нет, не все так просто. Произошли изменения в идеях, в культуре, в воспитании, и молодежь на это реагирует больше, чем взрослые.

Спросить:

— Скажи, Вадим, что тебя движет в жизни?

Вадим:

— Да ничего. Просто живу. Получаю удовольствие от работы. Мне нравится раскрывать, как вы выражаетесь, программы деятельности клеток, органов, организма.

— А для чего?

— Ну просто нравится. Конечно, приятно, если врачи используют наши идеи и будут вылечивать больных. Но главное — это сам процесс искания.

Юра:

— А ты, Вадим, неразборчив.

— Ну и что? Верно, всеобщими теориями не задаюсь, как ты. Но правила в жизни у меня твердые: работай честно, на всю железку. И на ноги себе наступать не давай. В том числе и таким типам, как наш директор.

— Надеешься выстоять?

— Надеюсь. Знаю, знаю, что вы скажете: «Остынешь, сломают». Не сломают и не остыну. Вот!

(А я выстоял? Нет. Всегда был робок, чтобы не сказать больше. Но в общем-то и не сдался. Вот еще анабиоз выдам «под занавес». Глупо бахвалиться...)

— Чем же ты объяснишь наших стилиг или этих иностранных битников, о которых в газетах читаем? Да я и сам их видел, это факт.

— Пороли их в детстве мало — вот и все объяснение. Бездельниками выросли.

— А ты, Юра, что скажешь?

— На сей раз я с ним согласен. Пороть, может быть, не обязательно, но с детства приучать к работе, чтобы были прочные рефлексy. Конечно, желательно привить интересы, но для этого нужно, чтобы они у родителей были.

(У его мамы есть. И у моей были. Немножко смешно слышать эти рассуждения от молодого человека, не знающего другой семьи, кроме мамы. А ты сам? Что ты понимаешь в вопросах воспитания? Имеешь сведения от Любы.)

— Иван Николаевич, вы знаете хотя бы одного из этих так называемых стилиг?

— Нет, не приходилось. А ты?

— Ну, я все знаю. (Вот нахал!) Знаю и ребят таких и девушек. Они все неумные. Если поговорить недолго, подумаешь: культурный парень. А потом оказывается, обман! Нахватались из кино, из телепередач. Немножко из журналов — из кратких сообщений. Все лодыри. И развратники. Их разговорчики о политике, науке, идеалах, о своем протестанстве — сплошной блеф. Уверен, что и за границей эти битники такие, как наши, бездельники... Во какую я речь произнес! А что? Нас, молодых, эти вопросы интересуют.

— Конечно, вам их придется решать. Надеюсь, что вы не упрощаете и допускаете всякие переходные степени?

— А как же! Уголовники, стилиги (они же тунядцы), потом прослойка благонамеренной молодежи и, наконец, мы, работники. Есть всякие переходные ступеньки. Колеблющиеся и примкнувшие.

— Настоящими вы считаете только себя?

— Конечно! Только мы, молодые люди науки, можем построить будущее. Мы не обременены предрассудками. Только логика... Юрка, а ловко тебя шеф сегодня подкусил на этом, как его, Гумилеве? А? Как же это ты, такой интеллеktуал — и не знал? Я еще над Танькой посмеюсь...

Юра краснеет. Удивительная у него способность краснеть. Юра очень белая. Смотрит на часы.

— Знаешь, нам пора. Сейчас будем на другой режим переходить. Мы пошли, Иван Николаевич. Вы можете не спешить, мы позовем, если что.

— Ну идите. Жаль, что некогда. Мы еще поговорим на эти темы. Как-нибудь приходите ко мне домой вечером. Ладно?

— Конечно. С удовольствием. А Лиду можно взять?

— Разумеется. И Таню.

Ушли.

Лиди — это его жена. Приобщает к науке. Татьяна — это, значит, барышня Юры. Нос длинноват, и уж очень тощая. Внешние данные тоже важны в жизни. И не только у женщины. Сам испытал. Теперь все в прошлом. Но Юра, возможно, еще не понимает этого. Хотя едва ли. Все-таки он вполне земной, современный. Правильно рассчитывает всякие организационные ходы — что сказать директору, о чем умолчать. Вадим этого не понимает. Но у Юры ум, а не хитрость. Не люблю хитрости.

Интересно поговорили. Программы у мальчиков нет, но будет. Юра, во всяком случае, очень много думает о всяких вопросах. Нужно бы ему философией и психологией заняться, а не физиологией. Медицина не составляет будущего человечества. Впрочем, может быть, он уже и думает об этом. За полгода он сильно изменился, повзрослел.

Интересно бы обсудить проблемы воспитания с Любой.

А зачем тебе они? Думаешь по инерции, будто еще собираешься десятки лет жить.

Живот заболел. Каждый день теперь. Говорят, спайки кишечника с селезенкой. Называется «периспленит». Кроме того, инфильтраты в кишечной стенке.

Тарелку забыли. Хороший кофе и булка с маслом. Чей-то домашний завтрак. Вадим? Жена завернула. Юра, наверное, завтраков не берет. Хотя есть мама, все еще считает мальчиком... Краснеет, как мальчик. Не думаю, что Вадим такой отчаянный, как представляется. Сказал: «Я все знаю». Ничего ты не знаешь, кроме своей науки! Живет он плохо — в большой семье. Мать сварливая. Потом может у меня жить. Временно, доверенность напишу. Я же не буду считаться мертвым. Квартиру забрать не могут.

Слушай, а ведь ты можешь ловко обыграть должность заведующего лабораторией для Юры. Напиши официальную бумагу директору, копию — в президиум академии, еще копию — в обком.

Так, мол, и так. «Прошу оставить исполняющим обязанности заведующего лабораторией Юрия Николаевича Ситника, так как он единственный, кто может обеспечить эксплуатацию и совершенствование установки, поддерживающей состояние анабиоза»... моей персоны. Даже можно употребить «настоятельно прошу». Указать, что он автор проекта и главный исполнитель. И не исполняющим обязанности, а прямо заведующим.

Здорово придумал! Заявление сделают достоянием гласности, и тогда никто не решится отказать в моей просьбе. НИ-КТО. Но диссертацию он должен защитить до этого. «Кандидат технических наук Ситник, заведующий лабораторией моделирования жизненных функций». Вот только обрежет его Иван Петрович. Это такой жук! Ну ничего. Юра тоже не промах. Если не пройдоха (слава богу!), то, во всяком случае, организатор. Ведь это он все организовал — машину, установку для анабиоза.

Как их с Вадимом связать покрепче? Чтобы работали вместе хотя бы несколько лет. Поговорю начистоту. «Вадим, заведующим будет Юра. Он лучше справится, чем ты. И с директором поладит. Прошу тебя, не уходи из лаборатории. Постарайся не ссориться». Он пообещает. Трогательная сцена: «Ради вас, мой учитель...»

Но это не гарантия. До первой вспышки.

Направление для лаборатории дано: моделирование физио-

логических и патологических процессов. Совершенствование искусственного управления жизненными функциями. С этими самыми установками.

Наконец, анабиоз. Чего от него можно ждать? Практическое использование неясно. Путешествия в космос? Смысл будет только при очень длительных — на годы. Иначе сама установка будет больше весить. Впрочем, если за нее возьмутся, можно сильно облегчить. Тридцать-сорок килограммов. Холода там не занимать. Выигрыш не только в весе — еще психика. Это серьезная проблема. А так будут себе спать, потом автоматы их разбудят. Все как в романах.

Интересно, разбудят ли меня? Брось фантазии! А чем черт не шутит? Столько сказок сбылось.

Анабиоз — медицина. Не знаю. Возможно, такая консервация будет полезна при некоторых болезнях. Допустим, микробы или вирусы могут подохнуть. Но они тоже сильно живучи. Если болезнь вызвала изменение структуры клеток, то от холода норма не восстановится. Это ясно.

Зато можно делать любые операции. Например, пересаживать органы. Однако обольщаться и тут не следует. Пересадка органов задерживается не техникой операций, а биологической несовместимостью тканей разных людей. Сомнительно, чтобы анабиоз в этом помог. Очень сомнительно. Скорее, нет. Петр Степанович говорил: только для сверхсложных операций.

Путешествие в будущее. Непривычно, наверное, будет там, когда проснешься через десять или сто лет.

Посмотрим. Отказаться можно перед самым опытом. Нет, тогда нельзя. Стыдно.

Чудеса науки сделают всех людей счастливыми.

Глупости. Счастье — это всего лишь возбуждение центра удовольствия. По разным поводам. Но никогда — стойко. Наступает адаптация, привыкание, и от счастья остается только след в памяти. Она честно регистрирует самочувствие этого центра. Записывает на пленку. Чтобы быть счастливым, нужно несчастье. Страдание. Антипод. Впрочем, не обязательно много и долго. Можно найти оптимальный режим. Коротенькие встряски, чтобы человек не забывался и не начинал тосковать. Будущие кибернетики все рассчитают. Мой друг, ты имеешь шансы посмотреть.

Черта с два! Это будет не скоро. Мои молекулы не выдер-

жат, рассыплются. Да и едва ли оно будет вкусно, это дозированное счастье.

Пойти в операционную? Скоро будем оживлять. Нет, еще рано. Вдруг наш пес встанет и пойдет? Я даже его клички не знаю. Черствость.

Выхаживать придется, как больного после тяжелой операции. Сидеть придется ребятам.

А, не загадывай! Еще дойдет ли дело до этого?

Хорошие все-таки ребята. Могли бы такие сыновья быть. Если бы тогда, в сорок третьем, не было этой бомбежки... Да брось, упустил бы все равно. Дело же не в женщинах и не в обстоятельствах, а в тебе. Ненастоящий.

Лежу. Отдыхаю. Немножко думаю. Каждый орган чувствую — какой-то коммутатор подключает его к сознанию. Сердце: тук... тук... Потом перебой: тук-тук... тук-тук. Легкие. Вдох — входит воздух, расправляются альвеолы. Что-то мешает (лимфожелезы), какой-то датчик раздражается — хочется кашлянуть. Сдерживаться. Это важно — задерживать кашель. Как и всякое чувство, неприятные эмоции. Живот. Кишки: одна, другая — буль-буль... А селезенка большая, давит на них слева... Сердитый великан, тупой, толстый. Болей сейчас нет. Почти блаженство.

...Уходят, уходят, уходят друзья...

Одни — в никуда, а другие — в князя.

Почему в князя?

Засыпаю... Как приятно заснуть!..

Стучат в дверь. Сажусь. Халат мятый. Неловко.

— Войдите.

Лена:

— Юра послал за вами. Нужно начинать нагревание.

— Сейчас.

Как хорошо вздремнул! Часы — прошло сорок минут.

Иду в лабораторию. Мои органы еще не проснулись — не чувствую их. Здоров. Ненадолго.

Все мирно в этой комнате, как будто и не уходил.

Шумит вентилятор под колпаком. Гудит мотор АИИ.

Юра у своего пульта в выжидательной позе.

— Иван Николаевич! Мы готовы начать нагревание.

— Ну, в добрый час! Будет работать автоматика?

— А как же! До сих пор все идет нормально.

Впереди час времени. Не знаю, правильно ли мы предположили кривую повышения температуры. Первая ступенька — десять градусов, вторая — двадцать два. Потом — до нормы. На каждую — по двадцать минут. Может быть, этого мало? Ничего, мы придумали хитрую программу — чтобы кровь была не очень горяча и не было большой разницы температур в разных частях тела. Сначала задается темп нагревания, а обратная связь его исправляет — может замедлить или ускорить. Посмотрим.

— Ну, начинаем. Коля, включай программу!

Когда-нибудь так скажут и для меня: «Включай оживление!» И я оживу из мертвых. Для чего? Есть ли у тебя запас желания жить? Оно от инстинкта самосохранения. Пока живой — жить. Но человек способен подавлять инстинкты. Зато у него прибавляется увлеченность. Удовольствие от исканий, работы. Хватит ли его на будущее? Какая она будет — наука? Любопытно. Страшит только одно: одиночество.

Оставим эту тему. Нужно смотреть.

Новая программа выразилась только усилением шума АИК. Прибавилось число оборотов. Нет, немножко потеплел воздух под колпаком. (Названия никак не придумаем: «колпак», но он длинный, «корыто» — некрасиво. Неважно...) Воздух дует через щели на меня.

— Игорь, пожалуйста, берите анализы чаще. Важно проследить динамику, чтобы подрегулировать.

Зря вмешиваюсь. Все расписано заранее — и частота анализов и воздействия. Но нужно же что-то делать? Никак не привыкну к новой системе — когда опыт для каждого расписан, как ноты в оркестре. Физиологи привыкли к волевому руководству: план опыта в голове у шефа, и он изрекает его в виде команд.

Пойду смотреть на графики. Интересно, как автомат будет справляться с нагреванием. Только не нужно мешать ребятам.

Широкая лента ползет непрерывно. В периоды записей ее скорость увеличивают. Самое интересное сейчас — это графики температуры. Выше всех в пищевode. Вот дошло до восьми градусов. Прямая кишка отстала — только пять. Но включилась обратная связь — подъем пищеводной кривой замедлился. Разница с кишкой уменьшилась до двух. Снова обе кривые поползли кверху. Автоматика действует.

— Поля, какая производительность АИК?

— Два с половиной литра.

Вадим явился. Прозевал торжественный момент. Уже что-то шумит. Ага: «Почему не позвали?» Сам должен думать. Поля: «Представь, обошлось без тебя». Что-то есть тайное в их пикировке. «Ищите женщину...» Как же, ты такой крупный спец в этом вопросе! Но Вадим может. Видно по его манерам.

Юра возится около аппаратуры. «Проверка нулей». Важно для кривых давления. Как-то ведет себя левый желудочек?

Вот в пищеводе уже десять градусов. В прямой кишке — восемь. Это значит, что сердце даже теплее — через него проходит много крови, а температура ее уже семнадцать. Уже возможна некоторая электрическая активность. Посмотрим. Ничего определенного — то ли мелкая фибрилляция, то ли просто помехи.

— Иван Николаевич, наверное, нужно кровь заливать. Напряжение кислорода в оттекающей жидкости очень низкое — всего двадцать миллиметров.

Это Игорь. Вот что значит контроль.

— Давайте, Вадим, вы командуете по расписанию.

— Свистать всех наверх! Маша, остановишь машину. Рита, выльешь шестьсот кубиков плазмы. Поля, зальешь столько же в оксигенатор.

— Подожди, подожди! У нас же есть не цельная кровь, а разбавленная. Ее нужно использовать в первую очередь.

— Да, верно. Сколько в ней гемоглобина?

— Не меряли.

— Почему? Я же говорил.

— Не догадались. А ты ничего не говорил.

— Ну перестаньте препираться! Меняйте литр жидкости.

— Есть, товарищ начальник.

Это Юра возвысил голос. Вадим шутливо откозырнул, но за этим немножко видна обида. Всегда физиологи командовали, а теперь — инженеры. Ничего. Если умный, поймет.

Машина остановилась. Сливают плазму, вливают кровь. Быстрее нужно, копуши! Молчи, не мешай! Начальников и так много.

— Пускайте!

Мотор зашумел. Остановка длилась две минуты. При такой температуре это пустяк.

Язык у собаки немного порозовел. По сосудам пошла кровь, а не вода.

Температура в пищеводе — тринадцать градусов. Электрическая активность сердца и мозга пока не видна. Странно. Неужели была допущена гипоксия? Может быть, нужно раньше заливать кровь?

— Измерьте, пожалуйста, процент гемоглобина, Вадим. Юра, мне кажется, что нужно еще добавлять крови, только теперь цельной.

Юра:

— Может, подождем градусов до восемнадцати? Оснований для беспокойства нет. Вот, смотрите, показатели напряжения кислорода и углекислоты в тканях.

Да, верно. Эти приборы очень хороши и для меня новы. Я еще им не очень верю. Соглашаюсь.

Температура воздуха под коллаком уже двадцать пять. Теплопередача в коже плоха, приходится давать больше тепла.

Неужели не проснется? Сейчас эта мысль у всех. Глупости, должна проснуться. То есть мозг должен заработать (должен?), а вот как сердце — я не уверен. Если и запустим, то как будет сокращаться?

В конце концов это не так уж важно. Пока дойдет до меня, отработают параллельное кровообращение. Кроме того, камера должна помочь. Расчет простой: при давлении кислорода в две атмосферы каждый кубик крови несет его вдвое больше! Следовательно, в два раза можно уменьшить производительность.

Но все-таки хорошо бы, если бы собака выжила. Настроение бы было у всех другое. Столько трудов затрачено!

— Смотрите, температура уже восемнадцать! А в прямой кишке — только четырнадцать. Юра, твоя автоматика подводит. (Это Вадим.)

— Подожди, подожди, сейчас выравниются. Видишь, замедлился подъем. Ты давай лучше кровь меняй.

«Лучше». Нехорошо. Не нужно показывать власть. Вадим терпел.

Активность около АИК. Нужно выпустить литр разбавленной крови и влить столько же цельной. Не будем вмешиваться: дело Вадима. Можно даже посидеть немного, что-то ноги устали. Времени — четвертый час. Сажусь. Во рту сохнет. В животе что-то тянет. Никудышный.

Для первого опыта идет хорошо. Столько аппаратуры, и все работает... Удивительно. Здорово Юра вышколил своих помощников. Да, чуть не забыл: нужно завтра позвонить его оппонентам. Поторопить с отзывами, с защитой (мало ли что случится!). Мое присутствие очень важно: постесняются клевать. Враги. Я такой тихий человек, а и на меня злятся. Не любят критики, даже самой академической. Не преувеличивай: никаких врагов нет. Семенов и Арон Григорьевич искренне не согласны с моделированием. «Качественное отличие физиологических процессов нельзя выразить формулами и электронными лампами», «Иван Николаевич со своими учениками глубоко заблуждается», «Мичуринская биология этого не допускает». Убедить невозможно.

Не ругайся. В общем они люди порядочные. Против Юры голосовать не будут. Арон музыку любит, на виолончели играет. Из тех, старых интеллигентов.

Начальство не зашло взглянуть на опыт. Им глубоко наплевать. Все-таки немножко обидно. Переживем. Пойду смотреть. Отдохнул.

— Глядите, Иван Николаевич, видна фибрилляция!

Верно, видна. Амплитуда зубцов еще маловата. Впрочем, температура всего двадцать пять. Правда, на сердце выше. Наверное, двадцать восемь.

Мозг тоже заговорил: на энцефалограмме видны хорошие волны. Значит, все живое. Хорошо. Так должно и быть.

Воздух под колпаком совсем теплый. Автоматика действует. Две минуты на градус. Наши главные заботы: снабжение тканей кислородом, удаление углекислоты, поддержание кислотно-щелочного равновесия. Производительность АИК достигла двух с половиной литров. Выше не поднимается — калибр вен мал, отток крови затруднен. Ничего сделать нельзя. Но, впрочем, этого достаточно.

— Мила, нужно дышать понемногу. Чтобы альвеолы расправились.

Температура — тридцать градусов.

На электроэнцефалограмме глубокие волны, как во время сна. Собака вот-вот проснется. Все смотрим на нее.

Появились первые дыхательные движения. Значит, подкормка уже действует. Однако дыхание нужно выключить: оно мешает искусственному. Вадим командует:

— Введите релаксанты. Прямо в оксигенатор.

Ввели. Все тело обездвижено.

Нагревание длится уже целый час. Скоро прибавится беспокойство о гемолизе. Посмотреть, есть ли моча. Чуть-чуть, на самом дне. Почему-то почки плохо работают при искусственном кровообращении. Это и хирурги говорят. Какие-то рефлексy мешают.

В операционной тихо. Каждый занят своим делом. Посторонние разговоры шепотом.

Приближается важнейший момент — восстановление работы сердца. На электрокардиограмме видим крупноволновую фибрилляцию. Так и представляю, как дрожит поверхность сердца. Что бы ему стоило начать сокращаться? Нет, не хочет.

Дефибрилляция через грудную стенку не столь эффективна, как на обнаженном сердце. Но все-таки обычно удается.

— Готовьте дефибриллятор. Хорошо смочите марлю на электродах. Да, нужно шкуру побрить против сердца. Почему заранее не сделали? Вадим, это в вашем ведении?

— Мы не забыли. Примета плохая: если все приготовишь на конец опыта, то собака раньше помрет. Девушки, выстригите место под электроды. Живо!

Примета. Тоже мне ученые!

Ждем. Температура — тридцать пять градусов. На сердце выше. Пора.

— Вадим, дефибриллируй.

Он надевает перчатки. Под ноги — резиновый коврик. К груди собаки приставляет плоские электроды, обернутые мокрыми салфетками. Коля заряжает конденсатор дефибриллятора. Напряжение — пять тысяч вольт.

— Отключите приборы!

— Все готово? Юра, можно? (Спросил начальство. Хорошо.)

— Гулый, давай разряд!

Все замерли.

Раздался легкий щелчок. Готово. Юра командует:

— Включайте приборы. Толя, переключи электрокардиограмму на большой осциллограф.

Смотрим на экран. Нет.

— Фибрилляция продолжается. Вадим, нужно повторить. Юра, сколько можно дать максимально?

— Семь тысяч. Заряжай, Коля.

Вся процедура повторяется. Как в романах о летчиках:

«Контакт!» — «Есть контакт!..» Настроение понизилось: может не пойти.

— Даю разряд!

Щелчок. Собака судорожно дернулась. Здорово дали.

— Включайте приборы!

— Ура! Пошло!

Пошло. Видим редкие всплески сердечных сокращений. Теперь их нужно усилить.

— Введите пять сотых кубика адреналина! Прямо в машину! Мила, хорошее дыхание, глубокое!

Вот стало лучше. Раз, два, три... Двенадцать за десять секунд. Хорошо. Нужно дать ему нагрузку.

— Уменьшайте производительность АИК до одного литра. Постепенно, за две минуты.

Теперь мы смотрим на кривую артериального давления. Юра переключил ее на большой экран.

Давление низкое. Зайчик едва достигает линии 70 миллиметров. Диастолическое высокое — 60. Это зависит от работы АИК — насос равномерно нагнетает свой литр крови в минуту.

Эх, если бы параллельное кровообращение было хорошо отработано! Гоняли бы и гоняли машину, пока сердце совсем не восстановит свою силу. Но этого нет. А так, возможно, АИК мешает.

— Товарищи, а что, если мы попробуем остановить АИК?

Это ко всем. Молчат. Опыта нет.

— Игорь, пожалуйста, обеспечьте определение минутного объема сердца через каждые пять минут. Это очень важно. Возможно?

— Попробуем успеть.

— Тогда давайте останавливать. Поля, готово?

Машину остановили. Вот давление падает. Все падает. Но сокращения, кажется, хорошие. Продолжаем.

— Определяйте минутный объем, Игорь.

— Подождите немного, пусть установится режим.

Это Юра. Прав. Минут пять нужно ждать. Как раз пока меняют кровь в оксигенаторе. Потом можно подкачать свежей, если будет плохо.

Все-таки оживили. АИК стоит, а собака жива. Это уже успех. Очень рад. Нет, подожди. Она еще не просыпалась. Хирурги пишут, что главная опасность — мозговые осложне-

ния. Закупорка мельчайших сосудов мозга сгустками из эритроцитов, потом его отек. Но у нас при низкой температуре была только плазма, закупорить нечем. Посмотрим.

Времени — четыре часа. Не так уж и поздно. Но я устал. Хочется лечь, и уйти нельзя. Еще могу принести пользу.

Отменить бы сегодня свидание. «Люба, я хочу сообщить тебе новость». — «Какую?» — «Хочу подвергнуть себя анабиозу». — «Чего-чего?» Представляю лицо: недоумение и беспокойство. Выражение неудачное — «подвергнуть анабиозу». А как лучше? Не знаю. «Заморозиться?», «Законсервироваться?» Как замороженная клубника. В корзиночках. Нелепо.

— Ну как?

— Да ничего. Давление колеблется около семидесяти-восьмидесяти. Венозное повысилось до ста шестидесяти пяти. Сейчас минутный объем определяют.

Похоже, что удалось. Конечно, может еще упасть. Большие пертурбации во всем организме — в его регулирующих системах.

Просыпайся, пес! Проснись! Заклинаю!

Нет. Пока нет. Это всего три часа прошло. А двадцать лет? Невероятно. Я ученый, реалист — и вдруг такие фантазии. Как мальчишка!

— Иван Николаевич, ребята! Просыпается! Смотрите!

Это Мила. Она помогает собаке дышать, поэтому все время смотрит на ее морду.

Все столпились. В самом деле: глаза открыты и взгляд осмысленный. Недоумение: «Что со мной?»

— Как его зовут? Покличьте! (Черствый человек — даже не удосужился узнать кличку.)

— Дружок, Дружок!

Делает попытку пошевелить головой.

Проснулся пес! Проснулся! Два часа при температуре два градуса!

— Давайте уберем трубку? Она ему, бедняжке, сильно мешает.

Это сердобольная Лена. Юра протестует (как физиолог!).

— Нет, нельзя убирать. Дыхание еще неэффективное. Наоборот, мне кажется, нужно дать легкий наркоз, например закись азота. Пусть спокойно полежит, пока органы придут в норму. Да и записывать показатели будет удобнее, а то ведь он будет брыкаться.

— Можно увезти АИК? Нужно мыть аппарат, а то кровь присохнет. — Алла беспокоится о своем объекте.

— Да, конечно. Вадим, распорядись об удалении трубок из артерий и вен. Катетеры для измерений, разумеется, оставить.

Вадим занялся этим сам. Он настоящий экспериментатор, любит рукодействовать.

Еще раз смотрю на ленту с кривыми: все в порядке. Энцефалограмма показывает сон — высокие редкие волны. Кровяное давление восемьдесят пять. Этого достаточно. Сердце частит: 140 ударов в минуту. Нужно попытаться замедлить. Есть лекарства.

В операционной шум. Разрядка. Открылся клапан. Прислушайся, о чем они? Вадим с Полей наклонились над собакой, заняты делом и мирно обсуждают дефекты опыта. Нужно было подольше погонять АИК. Проверить прерывистый режим — может быть, допустимы долгие перерывы?

Лена и Петя наносят на график цифры из таблицы. Сплетничают о ком-то: «...исчез и явился только к концу...» Наверное, о Семене. Он мне не нравится сегодня. Безучастный. Что-то за этот месяц произошло. Перессорились. Уже лагеря, склоки.

Игорь и Рита ничего не делают, просто болтают и смеются. Да, о водных лыжах: «...Как трахнется! Думала, не вынырнет...» Взгляды с тайными мыслями. Игорь тоже парень не промах. Пусть. Один Юра что-то сосредоточенно считает на карманной линейке и записывает в свою книжечку. У него там масса сведений.

Я завидую. Хочется вступить в один из кружков, смеяться, шутить, как все.

И не могу. Не умею, нет слов. И никогда не умел и всю жизнь страдал из-за этого. Ничего, переживем. Слабость. Боль в животе.

Домой можно бы идти, но еще хочется понаблюдать за собакой хотя бы часок. Чтобы чего-нибудь не пропустить.

Но и здесь оставаться не хочу. Стесняю. В кабинет. Поговорить с Юрой. Его можно позвать: выхаживание собаки поручено Вадиму.

— Юра, пойдемте в кабинет, обсудим кое-какие клинические вопросы. (Чтобы другие не ревновали.) Вы можете оторваться?

— Да, конечно. Теперь записи редки.

Идем молча. Каждый — о своем. Пропустил я чего-то в жизни. А может быть, и нет. Нельзя все — чем-то нужно жертвовать. Хотел бы ты изменить свою жизнь? Нет, но все равно жалко. Оставим.

— Юра, я должен поговорить с тобой об очень серьезном деле.

— Что такое?

— Я хочу назначить тебя своим преемником.

— Ну что вы! Кто же меня оставит? (Значит, «кто же», а сам согласен.) Да и сам я не справлюсь. (Догадался — скромность украшает. Не верю. Но это хорошо. Нужно держать.)

— Справишься. Давай без ложной скромности.

Думаю: настоящий работник не должен отказываться от дела, даже если оно несколько превышает его силы. Это стимулирует.

Снова молчим.

Пришли. Устал.

— Ты меня извини, я прилягу. Что-то утомился. Садись в кресло рядом.

(Иллюзия близости. А для него, наверное, только шеф?) Молча садится, смотрит на меня. Хорошо смотрит.

— Ты знаешь, что я это делаю не ради личных симпатий. (Хотя и это.) Чтобы дело не пропало, а ты, наверное, сможешь. Но я хотел бы слышать, что ты будешь делать в своей лаборатории.

(Жесткие условия. Ничего, если есть мысли в голове, скажет.)

— Так прямо сейчас? Экспромтом?

— Не притворяйся. Ты небось думал.

— Думал, но не систематизировал. Не смогу хорошо изложить.

— Ничего.

— Тогда разрешите мне начать несколько издалека?

— Пожалуйста.

— Сначала нужны общие принципы: познание — моделирование, мозг — огромная моделирующая установка... Помните, мы говорили.

(Да, знаю. Модели из нервных клеток. Этажный принцип моделирования: модели звуков, слов, смысла фраз, глав, книги.

Дополнительные модели, отражающие качества... Не будет же он рассказывать все это?)

— Человек имеет развитые двигательные программы, которыми он воспроизводит свои корковые модели физически — слова, рисунки, вещи. Модели вне мозга.

— А творчество?

— Есть программа творчества: создание сложных моделей из элементарных. Комбинации, приобретающие новые качества.

— Ну и что?

— Последние двадцать лет большой скачок техники — ЭВМ. Есть возможность создавать искусственные моделирующие установки, на которых можно строить сложные модели, и не статические, как в книгах или схемах, а действующие. Это важнейший шаг вперед. Целый коллектив ученых создает модель, и она будет умнее каждого из них.

(Конечно. Кора слабовата в этом плане — действующие модели. Но не нужно переоценивать машины. Возразить.)

— Этого пока нет. Многие оспаривают.

— Нет, так будет. Конечно, цифровая машина не фонтан, очень трудно составлять программы для моделирования сложных систем. Но и это совершенствуется за счет всяких вспомогательных машинных языков, вы знаете. Алгол и прочее. Кроме того, создаются специальные машины с объемным принципом переработки информации, как в мозге.

— Пока ничего реального нет.

— Но каждые три года скорости и память машин возрастают вдвое. Будет.

— Допустим. Но давай поближе к физиологии.

— Нельзя заниматься одной физиологией и не смотреть дальше. Для меня физиология интересна как первое приложение общих принципов построения науки. Если позволите, я сделаю попытку. Тут и ваших мыслей много.

(«Принципы». Мальчишка — и уже «общие принципы».)

— Валяй.

— Любая частная наука — это моделирование некоторой части мира, какой-то системы или нескольких систем, объединенных общностью структуры или функции. Например, цитология изучает клетку, а социология — общество. В любом случае создаются модели, отражающие особенности структуры и функции соответствующих систем. Точность науки определяется степенью совпадения моделей с объектом.

(Это бесспорно.)

— Можно наметить несколько периодов в развитии каждой науки. Первый период — наблюдения системы с помощью органов чувств, пусть вооруженных всякими телескопами, микроскопами. В результате создаются приблизительные модели в коре, отражающие общие сведения о системе. Потом они выражаются физически — в описаниях, рисунках, схемах. Это качественные модели, гипотезы.

Второй период — количественные исследования. Задачей их является цифровое выражение качественных гипотетических зависимостей в изучаемых системах.

Третий период — создание действующих моделей, в которых отражена гипотеза о структуре и функции системы с количественными зависимостями. Я понимаю их как сложные электронные аналоговые устройства или программы для универсальных цифровых машин. Прототипом таких устройств, как вы понимаете, является создаваемая нами модель внутренней сферы организма.

(Хорошо, что вспомнил.)

— Четвертый период — это создание управляющих машин или программ. Они должны обеспечить такое управление системы, чтобы перевести ее из любого данного состояния в другое, которое нужно. Это и есть оптимальное управление. Конечно, можно управлять и приблизительно, сложные саморегулирующиеся системы, как, например, организм, исправляют ошибки, однако до определенного предела. Пример — дефекты лечения.

Вот это общие принципы, Иван Николаевич. Согласны? Правда, тут ничего нового нет... Мне кажется, они применимы к любой науке: везде нужны количественное, числовое выражение зависимостей и действующая модель.

(Нужно возразить. Иначе какой же я шеф? Да и по существу неправильно.)

— Это все равно, Юра. И принципы твои верны. Но есть «но». Я так понимаю, что любая модель только больше или меньше приближается к оригиналу. Иногда и не очень. Степень, я так думаю, зависит от возможности математики, методов исследования, техники создания моделей или программ. Если система очень сложна, как, например, мозг, и нет хороших методов изучения ее структуры, то модель окажется примитивной. И пользы тогда не будет. Поэтому я и взял

в качестве объекта внутреннюю сферу, фактически даже уже — только внутренние органы, без клеточного уровня. Здесь, мне кажется, сложность не чрезмерно велика и под силу современным методам моделирования.

(Передергиваешь: «Я взял». Вместе с Юрой выбирали. И идеи эти больше его, чем мои.)

— Но ведь, Иван Николаевич, техника совершенствуется быстро. То, что нельзя моделировать сейчас, можно завтра. К этому нужно готовиться. Действующие модели будут всегда лучше статических — в книгах. Модель мозга действительно создадут не скоро, потому что он труднодоступен для изучения и в нем много элементов. Но я думаю, что общественные отношения уже можно пытаться моделировать.

(Ишь ты, куда метишь! Впрочем, я на твоём месте думал бы о том же... Но...)

— Послушай, если тебя привлекают эти далекие горизонты, то будешь ли ты заниматься физиологией? Стоит ли тогда хлопотать о твоём назначении? Может быть, лучше выбрать человека, мыслящего попроще?

(Ты вильнешь хвостом и уйдёшь на социологию, а кто же будет лелеять мой анабиоз?)

— Конечно, меня привлекают психология и социология. Но физиология — база для психики. Я ведь ещё молодой, почему мне не помечтать? Да и сами вы много раз говорили: «Медицина — это пустое дело, она не решает судьбу человечества».

Верно, говорил. Так и думаю. Но я уже не могу сделать прыжок в другую сферу. А раньше не хватало энергии, смелости. Не верил в свой ум. А он верит. Я в его годы был совсем дурак. Нет, не дурак, а необразован. Да и наука была не та. «Качественные различия» стояли как пропасти между науками.

— Как же ты расцениваешь состояние физиологии в смысле твоих периодов или стадий, как их там?

— Физиология находится в первом периоде или на границе второго. Одни только разрозненные гипотезы. Чуть-чуть начинается количественное моделирование. Как, например, у нас и кое-где в других местах.

— Ясно. Собственно, я знал это и раньше, мы обсуждали. (Тут есть и моя доля. Не скажу, я добрый, идей не жалею.)

Давай вернемся на землю. Что ты намечаешь делать в своей, в этой нашей, лаборатории?

Смотрю на него: совсем юный. Двадцать семь лет, а выглядит моложе. Сейчас еще волнуется. Наверное, впервые в жизни ведет разговор как взрослый ученый.

— То же самое, что и теперь. Будем ставить физиологические опыты, регистрировать и выражать цифрами как можно больше факторов. По цифрам будем строить дифференциальные и алгебраические уравнения — характеристики органов и систем. Затем будем проигрывать их на цифровых машинах. После проверки создадим специальные электронные модели органов, соединим их в системы, потом — в целый организм. Ну, тоже, что и теперь. Только главное направление будет нацелено в сторону регулирующих систем — эндокринной, нервной. Чтобы подобраться к коре.

— И все?

— Нет, не все. Хотя, говоря откровенно, тут работы на всю жизнь. То, что мы создаем теперь — я говорю про машину, — это первый примитивный вариант. Вы сами это знаете.

(Да, знаю. Учитываем только самые главные факторы. Но и это много! Умалает мой вклад, паршивец!)

— Для решения даже главных задач нужно сто таких лабораторий, как наша.

— Это ты верно. Даже больше ста.

— Поэтому я думаю о другом. Нужно шире использовать клинику, наблюдения над больными. Кроме того, принципы эвристического моделирования — создавать гипотезы, задаваться характеристиками, проигрывать их и сравнивать результаты с изменениями у больных людей. Вы это говорили, но мы сделали только робкие попытки.

(Спасибо, что вспомнил обо мне. Неужели через год после моей смерти он уже будет говорить: «Я предлагал, я думал?» А что же ты хочешь: «Наш покойный учитель...»? Давай по существу.)

Возразить.

— Для этого нужны хорошие врачи. Или всю лабораторию нужно перебазировать в клинику. Хотя в принципе ты прав. (То есть я прав, не будем мелочны.) Если физиологию переделывать заново, то нужно тысячу лабораторий. Однако эксперимент бросать нельзя. Может быть, во мне говорит физиолог, но в клинике всего не сделаешь.

— Почему? Я беседовал с врачами в клиническом городке. Энтузиастов много. От нас они получают точную инструментальную диагностику состояний, а мы — материал для моделей.

— Иван Петрович не даст тебе этим заниматься. Он любитель «чистой» физиологии.

— А может быть, нам создадут новый отдел в институте кибернетики? Их интересует выход в практику, и мы его дадим.

— Что, что? В институте кибернетики?! Что же, ты уже говорил с Борисом Никитичем? Выходит, я напрасно пытался тебя облагодетельствовать. Ты уже сам устроился?

(Предал. Продал. Спокойно. Такова жизнь.)

— Нет, без вас я не говорил. Но разведку провел. Клюет. Вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, Иван Николаевич. Я совсем не собирался вас бросать или предавать, но после того, как Вадим поговорил с директором, мне стало нехорошо. Дело бросать не хочу. А ваше состояние, помните, какое было? Теперь, когда вы поправились («Поправился!»), мы должны все это решить совместно.

(Немного полегче. Он прав: нельзя бросать дело из-за одного человека, даже если это учитель. Да полно, учитель ли ты? И не нужно обижаться.) Но он уже уходит. Грустно.

— Чего же решать? Идея правильная. Но тогда нужно добиваться, чтобы всю лабораторию передали в институт кибернетики. Академия же одна. Возьмет ли только Борис Никитич?.. Пожалуй, возьмет... А с помещением как? В клиническом городке тесно. Хотя там строят что-то. Ты не узнавал?

— Узнавал. (Все уже разведал!) Там будет городское отделение для реанимации. Но помещение там маловато. Однако институт кибернетики может сделать пристройку, это не долго.

— Реанимация — это хорошо. В клинику поступают больные с тяжелыми, острыми расстройствами, с шоком, кровотечениями, инфарктом — многих можно спасти. И наш саркофаг можно использовать для лечения. Нет, идея хороша. Ты говорил с кем-нибудь?

— С Вадимом. И еще с анестезиологами из больницы и с кафедры.

— А мне не сказали ни слова. Ученики...

— Неужели вы думаете, что мы бы тайно сделали? Ждали, пока немного окрепнете.

— Чтобы потом, значит, ошарашить? «Ты, товарищ заведующий, оставайся, а мы будем создавать новый отдел».

— Ну зачем вы себя так настраиваете? Мы бы пришли и сказали: «Иван Николаевич, мы предлагаем вам перебазироваться со всей лабораторией в институт кибернетики. Вот такие-то и такие-то причины. Дело требует — раз. Начальство притесняет — два».

— Ну хорошо, хорошо, верю. (Действительно, верю, хотя на душе и неприятно еще.) Пойдем к Борису Никитичу. Работа наша в самом деле ближе к технике и математике, чем к чистой физиологии. Если он согласится, конечно.

(Мой блестящий план, выходит, никому не пригодится. Хорошо, что я о нем не успел сказать, а то был бы в смешном положении. Хуже всего быть смешным.)

— Но я, Юра, сейчас не могу переезжать. Хлопоты эти мне не пережить. Кроме того, затормозится выполнение планов. Так что вы после моей смерти переедете. Или когда я буду в анабиозе.

(После смерти. После смерти.)

— Кстати, как ты решаешь эту проблему? Саркофаг потребует постоянного обслуживания и совершенствования. С этим делом будет много возни.

— Я знаю. Все сделаю. Эта работа будет очень выигрышна для нашего отдела. (Все рассчитал и так откровенно говорит.) Для этого нам создадут условия, если все подать как следует. («Подать». Меня — «подать»!)

Морщусь.

— Иван Николаевич, вас шокируют такие рассуждения? Да? Вы думаете, мы вас мало ценим?

Молчу. Не хватало еще заплакать. Сантименты.

— Так вы ошибаетесь. Мы вас очень любим. И не забываем, что вы сделали для нас. И ваши идеи присваивать не собираемся. А то, что я изложил, — это же вам принадлежит. (Льстит. Все равно что «подать».)

Промолчим. Вот он продолжает:

— Но во всем нужна организация. Помните, мы с вами обсуждали принцип: «Благородные цели могут достигаться только благородными средствами»? Поэтому мы не будем лгать, изворачиваться, подхалимничать. Но мы не собираемся вести себя глупо. (Это значит — откровенно?) Курс будет прямой, но с маленькими зигзагами, с маленькой политикой.

Не поступаясь принципами. Допуская только молчание. Мы покажем работу.

Мне не по себе. Я скажу ему это.

— Юра, мне страшно от того, что я услышал сейчас. Такой рационализм, такая продуманность, граничащая, прости, с цинизмом. Может быть, мне кажется? Я еще не освободился от сентиментальности. «Выгодно одно, другое», «Подать». Скажи мне, что за всем этим? Каковы стимулы?

— Стимулы самые благородные, даже сентиментальные. «Служение людям» — это не устаревает. Будем строго следить, чтобы честолюбие нас не захлестнуло. Но делать дела мы будем разумно. Без громких фраз. Расчет, кибернетика. Мы будем использовать имеющиеся возможности, пока не создадим другие.

Не знаю. Не знаю, что думать. Ясно, что у них будет позитивная программа, как организовать экономику, воспитание, человеческие отношения. Как рассчитать счастье и несчастье. Как построить коммунизм.

— Ты изменился за последние полгода, Юра.

— Я много думал после разговоров с вами. Вы знаете, я теперь за правило взял: каждое утро час думать. Просто думать о каком-нибудь важном предмете — о кибернетике, психологии, философии. Немножко записываю. Получается очень интересно: сначала ничего не ясно, потом предмет как бы уступает и медленно проясняется.

— Ну ладно. Пойдем в операционную, посмотрим, что там. Потом мне нужно домой. Задал ты мне задачу. Все у меня сразу заболело.

Как все сложно в этом мире, угловато. Была жизнь, была лаборатория, работа, были помощники. Теперь все зашаталось.

Была еще любимая. Нет, там не было прочности. «А я думал, что ты — Джоконда, которую могут украсть...» Маяковский. Сегодня ее увижу. Домой. Успеть отдохнуть.

Идем коридорами молча. Почти все уже разошлись. Рабочий день кончился. Нет, в нашем отсеке жизнь бьет ключом.

Ого, какие перемены! Собака лежит на боку, уже без трубки. Дышит сама. Перехватил вопрошающий взгляд Вадима к Юре. Да, вот вы какие!

Подхожу к столу.

— В сознании?

— Да, вполне. Дружок! Дружок!

Открыл глаза, взгляд страдальческий: «Что вам еще нужно?» Усталый взмах хвоста. «Оставьте...»

— Дайте фонендоскоп.

Послушал над сердцем, там, где выстрижена шерсть. Тоны ясные.

— Покажите таблицу и графики.

Все хорошо. Артериальное, венозное давление, пульс, дыхание. В крови, однако, избыток недоокисленных продуктов. Насыщение венозной крови кислородом пониженное. Общий обмен тоже понижен. Видимо, есть некоторая эндокринная недостаточность. Гормоны еще не определены. Мочи маловато, но анализ ее хороший.

— Теперь нужны уход и контроль. Баланс газов, воды, солей, кислотно-щелочного равновесия. Записывать давление, периодические анализы выдыхаемого воздуха, электрокардиограмму делать. Собаке нужны наркотики, чтобы она не вырвала вам все датчики. Однако не слишком много, иначе дыхание ослабнет. Вадим, вам придется сидеть всю ночь. Оставьте себе биохимику, техника, чтобы записывал, ну еще лаборантов для помощи. Все нужно регистрировать по часам. Вечером мне позвоните.

Поглядел на всех: устали. Первая радость от успеха уже прошла. Теперь реакция. Хочется сказать теплые слова, но не умею. Все боюсь, что покажется казенно, что высмеют.

— Что же, ребята, потрудились вы хорошо. Опыт был чрезвычайно сложным, и все прошло гладко. Даже на диво гладко. Отличная работа. Теперь, наверное, можно идти домой, а, Юра?

— Пусть каждый закончит свою документацию, иначе до завтра позабудут. А потом, конечно, домой.

— В ресторан бы надо после такого дела! В «Поплавок» на реку!

Это Толя. Говорят, выпить любит. Но вообще стоит отметить.

— Это мысль хорошая, я вам советую. Жаль, что мне нельзя с вами.

Я бы и так не пошел. Скучно мне в ресторане.

— Ну, будьте здоровы! Игорь, вы отпустили помощников из других отделов? Спасибо им сказали?

— Да, да. Все сделал. От лица службы.

— Так позвоните, Вадим. Пока!

На Юру не посмотрел. Не хочу.

Иду в кабинет.

Я еще заведующий этой лабораторией, но они уже не мои. Похоже, что мне в самом деле пора умирать. «Мавр сделал свое дело...»

Брось! Не строй из себя обиженную барышню. Жизнь идет своим нормальным путем. Все они тебя будут жалеть, поплачут. И ты должен радоваться, что есть такой Юра, способный взять лабораторию в крепкие руки и вести ее в правильном направлении. И хорошо, что он будет лучше тебя руководить делом.

Нет, мне не верится. Я — умнее, я — шире. Идеи, которые он высказал, — от меня.

Неправда. Они носятся в воздухе. И Юра помогал тебе их придумывать. Притом он понимает их конкретно, как инженер и математик, а не так расплывчато, как ты.

Не спорь. Иди домой.

Вечереет. Длинные черные тени. Последние тени перед закатом.

Сажу на балконе в кресле. Жду Любу.

Обедал, спал. Приятная вялость после отдыха.

Просто смотрю на улицу почти без мыслей. Жизнь идет своим чередом. И без меня — тоже. Если только не бомба.

Опыт прошел хорошо. Приятно. И в то же время как-то грустно. Ищу — почему бы. Это значит, что скоро должен собираться. Странно как. Если бы опыт не удался, можно было бы отказаться. «Зачем анабиоз — нельзя проснуться». Так можно маскировать свою трусость. «Поживу несколько лишних месяцев». Теперь — нельзя. Шансы на «проснуться» прибавились. Раз первый опыт такой, даже без камеры высокого давления, то можно добиться.

Почему ты не радуешься? Надежда на долгую жизнь!

Зачем она мне? Тем более когда-то потом, не сейчас.

Предположим, проснусь. Что буду делать?

Брось! Будем смотреть, путешествовать. Любопытно. Ты же ученый! Выступать на вечерах с воспоминаниями: «Была великая война. Я служил доктором в медсанбате...»

Люба сейчас придет. Кажется, лучше бы не приходила. Остаться одному, одному уйти. Начнет тормозить: «Живи, живи!»

Предлагала: «Давай брошу все, перейду к тебе. Буду до

конца». Может, лицемерила? Знала, что не соглашусь. Ни за что.

Брось! Сам дерьмо и других считаешь такими же. Трус и эгоист.

Прости меня, Любушка! Пожалуй, ты бы сделала.

Неужели могла бы? Но как же ей было бы потом? Как с детьми? Нет, так нельзя делать. Мать не должна так делать. И я бы сам перестал ее уважать.

Когда ее нет, растет отчужденность. «У тебя есть дети, семья. У меня — одна работа и еще помощники. Юра, Вадим, Игорь, Поля».

Помощники.

Очень важно сознавать, что ты нужен кому-то. Необходим. Вот почему мне грустно...

Что-то она не идет долго. Опять что-нибудь задержало. Побудет час и заявит — «бежать». Как я ей скажу о своём решении? Или опять по слабости отложу? Нет, больше нельзя. Тем более после удачного опыта.

Бедная — какое это будет время!

А ребята, по-моему, не верят, что я решусь.

Да ты и сам не веришь.

Нет, решусь. Палата: синий ночник над дверью. Тревожная, подозрительная тишина. Горячая подушка. Задыхаюсь. В голове глухой непрерывный шум: у-у-у, у-у-у... «Приди, смерть, я больше не хочу ничего...»

Чу! Ее каблучки стучат по асфальту. Она. Она!

Бежит, как девочка, стройная, тоненькая. Размахивает сумочкой. Смешная, милая походка. Немного подпрыгивает, голова закинута. Это она прибавляет себе значительности и роста. Решительный, серьезный доктор.

Вот увидел, и вся отчужденность сразу растаяла, как дым. Ты так нужна мне, моя милая, так нужна!

Побегу встречать. Да, цветы нужно поставить на стол. Любит. Самые ранние гладиолусы.

Каблуки по ступенькам. Сердце тоже стучит. Двери уже открыл. Жду.

— Здравствуй, милый! Дай я тебя поцелую.

Руки на плечи. Целует необычно долго. Запах волос.

Обнимаю крепко. Платье тонкое. Чувствую всю, всю ее. Мою милую. Желанную. Да! Да! Да! О, как неожиданно хорошо!..

Пьем кофе. Люба сама накрывала. Ей нравится хозяйничать у меня. «Это мой дом». Верно. Никто не бывал раньше. Крепкие, красивые ноги, еще не успевшие загореть. Приятная легкость, и голова немпожко кружится. Удовлетворение. О, это извечное чувство мужчины! А раньше не понимал: «Фрейд врет!» Нет, это сильно...

— Ну рассказывай, как прошел опыт.

Рассказал ей вкратце. Внимательно слушала, не перебивала. (Нужно все-таки было попробовать тот, второй режим, с перерывами. В другой раз.)

Закончил. Помедлила.

— Не думаю, чтобы можно было применить эту штуку в клинике, по крайней мере в хирургии. Если поступает больной с шоком, то у него есть раны, и нельзя лишать кровь способности свертываться, чтобы приключить АИК.

— Вот уж это ты брось! Если бы хорошо отработать параллельное кровообращение, то можно лечить всех больных, у которых сердечная слабость. А разве таких мало? Когда с этим соединим камеру, почку и длительный наркоз, то это вообще будет революция в реанимации. Тоже мне доктор, не понимаешь такой важной вещи!

(Ограниченность. Досадно.)

— Этого же еще нет. Хотя, конечно, гипоксия — главная причина смерти. Только очень уж сложно. Ты говоришь — участвовали двадцать человек? Значит, нужно такую бригаду держать? Да наш горюдрав задавится — не даст. Представляешь: для круглосуточного дежурства сто человек!

— Что ты думаешь, так всегда и будет? Все упростится. Во-первых, будут автоматы. Во-вторых, часть исследований отпадет, так как будут выбраны самые необходимые. Но человек десять в смену, наверное, останется. Плюс помещения. Конечно, вещь не дешевая, зато и эффект будет: человек сто за год можно спасти в таком городе, как наш.

— И с инфарктами тоже?

— Конечно.

— Тогда начальство заинтересуется. Ты напиши докладную записку.

— Не смейся. Записку я писать не буду, но Юра тоже говорит, что это нужно «подать».

— Правильно говорит. Реклама — двигатель торговли.

Потом она что-то рассказывала о своем отделении. Какие-

то мелкие факты, почти сплетни. А я не слушал, только смотрел и думал.

За что она меня любит? Мои научные идеи для нее не очень интересны. Она практический врач, не по должности, а по складу души. Науку оценивает через чувства: хорошо ли ее больным? Знает свое дело, читает, но на теории не реагирует. Жаль, конечно. Могла бы.

— Ты еще любишь меня, Лю?

— Зачем задавать такие вопросы? «Сердце, верное любви, молчать обязано». Песенка такая глупая была во времена моей молодости. Ты помнишь ее?

— Нет, я мало тогда слушал песни.

— «Книжный червь». Твоя мама была права.

Опять болтовня о пустяках. Я люблю ее слушать, но сейчас не до того. Все время сверлит мысль: нужно приступить к главному. Или еще отложить? Нет. Давай.

— Знаешь, Лю, а ведь в нашей установке можно получить анабиоз. Тебе знакомо это слово, доктор?

— Ты меня совсем ни во что не ставишь.

(Она еще не подозревает, к чему клоню: «Обычные его фантазии».) Занялась букетом: komponует цветы.

— Я читала, что в Японии существует специальное искусство — составлять букеты. Вот бы изучить. Ты это для меня купил?

— Да, для тебя. А что бы ты сказала, если бы я провел этот опыт с анабиозом на себе?

Взрыв.

— Что?! До каких пор ты будешь меня истязать? Ты думаешь, мне легко сидеть, болтать с тобой о цветах, о твоей машине и видеть, как твое лицо становится все... Нет, так нельзя!

Вскочила, забежала по комнате. Лицо в пятнах. Губы сжаты. Молчу. Пусть успокоится. Град слов: «То-то-то».

— Ты думаешь, мне дешево дается эта любовь и твоя болезнь? Вон, смотри.

Сложила складку из платья на талии. Порядочно.

Чувствую, что с трудом удерживается от резких слов. О, она умеет ругаться. Эти бури мне знакомы. «Ты ничтожество! Эгоист!» И другие.

— Герой напелся! Он «попробует анабиоз на себе!» Мне нужно, чтобы ты был живой, понимаешь? Нужно!

Она просто не поняла. Думает, обычный опыт: охладить и нагреть. Осторожно разъяснить. Нет, пусть еще побегаёт немножко. Всегда хороша: когда смеется, когда злится, когда плачет. Не могу передать словом. Непосредственность? Искренность? Просто я ее люблю.

Остановилась у окна, смотрит на улицу. Барабанит пальцами по стеклу.

— Успокоилась?

Пытаюсь ее обнять сзади, за плечи. Не реагирует. Поворачиваю.

— Ну посмотри на меня, посмотри.

Брови нахмурены, но глаза влажные. В них еще отчуждение. Уже проходит. Я знаю их. Милые глаза.

— Я готов ради тебя умереть. (Врешь — это ты сейчас готов. Потом — нет.)

— Не нужно мне. И вообще зачем глупые фразы?

— Но ведь смерть-то неизбежна. И — скоро. Ты помнишь, какой я был, когда ты заходила в палату?

(Я тоже помню тебя: губы сжаты до синевы, глаза растерянные. «Помогите!» Шепчу: «Уйди, уйди, не хочу при тебе...»)

— Не надо вспоминать. Теперь тебе уже хорошо.

— Лю, ведь ты доктор. Зачем тебе рассказывать о болезни? Пойдем сядем. Сядем рядом, поговорим ладком. (Сюсюканье.)

Уступила. Села рядом на диван. Держу ее руку: маленькие мягкие пальцы с короткими ногтями. Я люблю ее. И — немножко играю в любовь. Нужно ее убедить.

— Ты знаешь, как страшно умирать от удушья? Хорошо, если будет какой-нибудь другой конец, например кровотечение. Тогда тихо потеряешь сознание. А вдруг — кровоизлияние в мозг? Лежать с параличами, с потерей речи. Что-то мычать с перекошенным лицом. Потерять человеческий облик. Ты видела достаточно больных...

Она смотрит в пол. Наверное, думает: «За что?»

— Ты, конечно, смотрела историю болезни и говорила с Давидом. Новые обострения неизбежны, как бы я ни оберегался. Вопрос времени — и недолгого. Я не просто хочу попробовать. Я хочу остаться в анабиозе многие годы. Пока не найдут.

Механически отвечает:

— Не знаю. Давид говорит, что скоро должны бы найти. Может быть, через год.

(Обманываешь, этого Давид не мог сказать. Тем лучше — попалась.)

— Ну, вот видишь. Я пролежу год, два, три. Найдут средство, меня разбудят, вылечат. Видишь, как я здорово хочу обмануть смерть?

Думает что-то. Наверное, представляет: я в саркофаге.

— А как же буду я?

Поддается. Наступать.

— Ты будешь ждать. Будешь работать, растить детей.

(Спросить: «Или ты уже свыклась с мыслью, что я умер, а ты свободна от этой тяжести — лгать?» Нельзя. Жестоко.)

— Я понимаю, что тебе будет тяжело. Но обо мне тоже нужно подумать: это единственный, хотя и маленький шанс. (Никакого шанса нет. Средство самоубийства. Нет, очень, очень маленький есть. Убеждать ее пользой для науки? Не подействует.)

— Вообрази, какой будет фурор: «Профессор проснулся после трехлетнего сна!»

Вырвала руку.

— На черта мне фурор! Мне ты нужен.

Это не действует. Слишком искренна. Или недостаток воображения? Но поддается.

— Ну хорошо, не будет фурора. Проснусь тихо, мирно, как сегодняшняя собака.

Молчит. Сейчас ее мучает совесть: «Как я могла подумать о себе, о своем спокойствии, если есть какие-то маленькие шансы на его спасение?»

— Прости меня, милый.

— За что? (Притворяюсь. Невинность!)

— Так, прости. И ты серьезно думаешь, что это... пробуждение возможно?

— Конечно, серьезно! (Как же!) Конечно, я не буду уверять, что полная гарантия, но ведь в моем положении и тридцать процентов — находка. Жить-то осталось полгода. (Не будем уточнять. Надеюсь — год.)

— Нет, я не могу себе этого представить. Что же, так и будет — как с собакой? И... скоро?

(Вот — сдалась.)

— Успокойся, еще не очень скоро. Еще нужно камеру

приготовить, новый АИК, почку, автоматику. Нужно провести несколько длительных опытов. Много еще дела. Больше, чем я хотел бы.

Улыбнулась горестно.

— А я уже думала — совсем скоро. Какой ты все-таки фантазер!

(Договаривай: «Все умирают себе спокойно, а ты сопротивляешься». А может быть, она и не подумала так? Зачем приписывать ей свои мысли? Сколько раз ошибался. Она чище и проще.)

— Значит, договорились? Даешь согласие?

— Не надо меня обманывать, Ваня. Я ведь знаю, что ты и без моего согласия уже все решил. Я не преувеличиваю своего значения. Помнишь, как я собиралась развестись?

Помню, как же. Струсил тогда.

— А может быть, было бы хуже, Лю? Сейчас было бы тебе плохо — все видеть вблизи. И в перспективе — одна.

Гладит мою руку. Простила.

— Мой друг, не меряй меня по своей мерке. Разве ты знаешь, как мне тяжело... издали? Ты представляешь, как мне было дома, когда ты лежал там, при смерти?

Представил: она, Лю, задыхается, лежит в больнице, около нее муж. Мне — нельзя. Разве что пройти под окном. Плохо. Очень плохо. Прости меня, милая.

Одиночество обступило со всех сторон.

Странная мысль, уже много раз: залезть под письменный стол. Сидеть там, скрючившись между тумбами, отгородиться креслом. Кажется: недоступен. Все меня ищут, черные мысли — тоже, а я сижу, притаился. И Смерть пришла, не увидела. И Любовь. И Дружба. Всякие заботы, обязательства. А потом — уснуть...

Нет. Нужно делать что-нибудь. Делать. Иначе с ума сойдешь. Тоже неплохой выход? Нет, не хочу. Помню: студент, занятия по психиатрии. Дантов ад. Голые тела. Станные позы. И — глаза безумные. В некоторых — ужас, в других — нечеловеческое страдание. Не хочу.

Убрать со стола. Потом заняться делом. Вадим оставил свои новые схемы регулирующих систем. Посмотреть.

Или, может быть, лечь, почитать? Есть новый роман.

Нет. Начиная уже этот роман — казенный оптимизм раздражает.

Юра. Казалось, все ясно в нем, никаких тайн. И вдруг — опять незнаком. Взрослый человек, твердо знает, что делать. Возможно, вынашивает честолюбивые мечты. А может быть, из тех подвижников, только на современный манер. Кибернетик. Нужно пойти с ним к Борису Никитичу. Настоящая современная физиология и настоящая физиологическая кибернетика, а не те декларации, что сейчас печатают. Мой вклад. Как же, гений!

Приятно, что Вадим позвонил. Так страшно обманываться в людях. Предательство учеников. Измена возлюбленной. Лицемерие друга. Тогда и жить нельзя.

А что, если позвонить Леньке? Приглашу? 9.30. Еще не поздно. Так хочется поболтать с ним... Последний раз мы виделись в больнице на той неделе. Были люди. Мешали.

Ну что, позвоним? Посидим часок-другой. Если он еще не пьян. Сегодня я уже заработал отдых.

Иду звонить.

— Марина Васильевна? Леня дома? (Говорит, что дома. Даже почти трезвый. Занимается. Позовет.)

— Леня, может быть, ты придешь навестить болящего друга? Да, немножко есть. (Это о коньяке.) Марина пусть не беспокоится, много не дам. Просто у меня нет. Маленькая одна. Приходи. Расскажу об опыте. Реальная возможность увидеть будущее. Жду. Привет Витальке.

Все. Грехопадение совершилось. Вечер пропал. Беда в том, что потери времени невосполнимы. Что не сделаю сегодня, уже не сделать через годы.

Смотри, цветок так и остался на столе. Она составляла букет (как в Японии!) и потом забыла. Поставить его в воду. Бедный. Сантименты. А почему? Он чувствует жажду. Границы жизни — в растениях. Сложные структуры, со своими программами, которые обеспечивают рост, развитие, размножение... И — умирание. Нет, это уже от нарушения программ. Старость — накопление помех. Между клетками, в клетках в течение жизни собираются какие-то «нестандартные» атомы, молекулы, загромаждают, мешают. Машина работает все хуже и хуже, пока не остановятся какие-то важные агрегаты, например сердце. Смерть.

Старость неизбежна. Только вопрос времени. Раньше —

позже. Конечно, можно над этой машиной поставить другую, сложную. Она будет моделировать первую, учитывать накопление в ней помех, оказывать воздействие с целью очищения от вредных примесей. Жизнь удлинится. Но в этой высшей машине тоже будут накапливаться свои помехи, и она тоже будет стареть... И так — без конца. Бессмертие организмов как биологических систем невозможно. В принципе невозможно.

А вид? «Помехи» могут накапливаться и в генетическом аппарате — уменьшится приспособляемость к внешним условиям. Если полезные мутации своевременно не изменят вид в благоприятную сторону.

А социальные системы? Еще сложнее. Спросить Ленку. Мои болезни сегодня совсем утихли. Интерес. Можно забыть даже о смерти. Человеческая кора — мощная штука.

Леня скоро придет. Здесь близко. Марина, наверное, не очень довольна моим приглашением. Уже был дома — значит, в безопасности от соблазнов. Трудно ей жить. Алкоголизм — разрушитель семьи. Нет, он не гуляет. Всегда был равнодушен к женщинам. Потом взял и сразу женился. Наверное, не был счастлив. Может быть, оттого и пьет? Этот вопрос не обсуждаем. Мужское «табу». О Любе — тоже. Знает, но говорим редко.

Все-таки подсознательно Люба хочет моей смерти. Писатели и психологи очень наивны: всегда изображают человека в одном плане. Будто он хочет чего-нибудь одного. В действительности — сплошные противоречия. Сейчас — одно, через минуту — другое. Или еще — одновременно и то и то. Или только у меня? В чужую голову не влезешь. Нет, наверное, это у всех.

Она уже настроилась. Как пожар: сначала масса мучений, все гибнет на глазах, любимое. Потом — пепелище. Апатия. А затем построить закуток и собрать в него, что уцелело. И постараться найти что-то, чтобы жить. У нее есть. Работа. Заговорила о диссертации. («Что я, глупее других?») А раньше, когда предлагал: «Зачем мне? Слишком много ученых!»

Дети. «Мы решили, мы обсудили». Павел — разумный. И как мужчина не чета мне. Видный. Чутьочку полноват, пожалуй. Дело вкуса. (Не будь циником.)

Как вырождается любовь! Раньше влюблялись и все бросали. Пренебрегали запретом церкви, презрением общества.

Оставляли детей, положение. А теперь? Пожалуйста — расхो-дись. Но — нет. У меня — наука. У нее — дети, их интеллек-туальное воспитание. И тоже — работа. А для любви кусо-чек «от сих до сих».

В новом обществе семье ничто не угрожает. А свободной любви не будет. Это хорошо. Поздно испытал, но думаю, что нельзя выпускать страсти на волю. Это может стать угрозой для собственного интеллекта и для общества.

Сейчас она подавлена. Нужно создавать все заново: как будто нет смерти (хорошо!), но нет и освобождения от джи. Впрочем, она будет свободна. На свидания ходить не нужно. Только этот саркофаг как немой укор. И еще немного страха: а вдруг проснется и заявит права?

Сложная проблема, а мне плохо и так и так.

Походим. Семь шагов туда, семь — обратно. Эстампы нуж-но сменить — надоели. Зачем? Попался: не веришь в смерть? Может быть, не отдавать квартиру? В институте кибернетики Вадиму могут дать. Все-таки я герой, отправляюсь в буду-щее, как в космос. Прости — не совсем. Космонавты молоды и здоровы. И Вадиму квартиру не дадут: у них площадь в семье достаточная. В правилах пока не предусмотрено пре-доставление квартиры для спасения от тещи. И на обмен эта мамаша не пойдет.

Придется отдавать.

Чудак — что стоят эти цацки: бюстик Толстого, глиняная вазочка для карандашей? (Толстой — от мамы!)

Теперь я понимаю, почему у древних в могилы собирали любимые вещи: человек не верит в смерть. И теперь не верит.

Но я-то знаю, что там ничего не будет.

Что же он не идет?

Мог бы позаниматься. Ничего неделание — это удовольст-вие. В молодости не понимал. Каждую свободную минуту — книга. А теперь могу ходить или лежать и думать, думать о всякой всячине.

Звонок. Пришел. Поцеловались. Кто бы видел — не пове-рил. Ленька, такой насмешник, — целуется!

— Здравствуй. Проходи. Садись вот тут — в кресло.

— Пепельницу давай. А это убери. (О цветах. Притво-ряется?) Неустойчивая штука, упадет, зальет.

Ставлю ему пепельницу. Большую. Иначе все засыплет пеплом.

— Ты молодец, держишься, не куришь. Железная воля. Как твоё здоровье?

Раздражает — «как да как».

— Поди к черту! Зачем ты меня спрашиваешь об этом?

— Это ты брось. Мне важно. Помрешь, большой кусок души уйдет с тобой. Без мала тридцать лет — не часто бывает.

— Ты, кажется, сегодня трезвый? Удивительно.

Смеется. Похож на монгола — скулы, глаза. Морда на-смешливая. Принимает ли он что-нибудь всерьёз?

— А знаешь, что я сейчас читал? Хемингуэя. «По ком звонит колокол». Здорово. По-моему, самое лучшее. Потому что всюду звучат социальные ноты. Мы ведь, сами того не замечая, привыкли к общественной оценке всякого произведения. Ты заметил?

— Это верно. Одни любовные истории и картинки природы не звучат. И что же Хемингуэй — «за» или «против»?

— Насколько я понял, «за». Вот послушай, я тебе пере-скажу эпиграф, я запомнил:

«Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши, и если вол-ной снесет в море береговой утес, меньше станет Европы, и так же если смочит край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я один со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Д ж о н Д о н н. XVI век».

Сильно, правда? Каждый человек отвечает за все, что делается в этом мире. Конечно, не все у него совпадает с нашими представлениями, так что за беда? Неужели мы не сумеем разобраться?

— Так что же ты предлагаешь? Печатать все без разбору?

— Брось. Всякое дело нужно разумно организовывать. Нужно переводить книги настоящих мастеров — они воспи-тывают вкус у читателей и у писателей.

— Это верно. И вообще не нужно печатать плохие книги. Смотреть — не только «о чем», но и «как».

— Значит, ты за умеренную регламентацию?

— Я за разумную. Еще за доверие. (Сейчас я его поймаю.)

— Скажи мне, друг, а можно ли и как определить меру регламентации? Конечно, она необходима в каждой системе

управления: это те пределы изменения некоего фактора, показателя, за которыми должны вступать регулирующие воздействия. Но как?

— Вопрос правильный. Есть ли мера измерения свободы или, например, порнографии, которую, по-моему, печатать не надо.

— Ну зачем ты смеешься? По существу.

— Давай по существу. Есть целый ряд понятий, которые можно определить как социальные. Они имеют качество, чем и отличаются от других, и количество — степени внутри качества. Я думаю, что степени можно определить методом простого опроса. Это вид социального исследования, который совершенно недостаточно применяется у нас.

— Очень запутанный вопрос. Нужен какой-то общий подход к решению подобных задач. Бессмысленно решать голосованием узкоспециальные вопросы, в которых голосующие ничего не понимают. Конечно, еще более рискованно решать это одному.

— Наука в условиях свободы обсуждения — вот единственно надежный критерий выбора правильного решения.

— Знаешь, друг, служители науки уж очень субъективны. Тоже ошибки будут. В тех загибах, что у нас были, ученые сильно виноваты.

— А для того чтобы этого избежать, нужны количественные критерии. Цифры. То, что вы у себя в лаборатории делаете, — математическое моделирование. Это же можно распространить на все области наук.

(То же говорил Юра. Да и я это знаю.)

— А не кажется ли тебе, Леня, что в основу всего этого — оценки информации, решений — нужно положить еще что-то очень важное, какие-то общие принципы?

— Вот что, Ваня, ты меня совсем заговорил, а коньяк не ставишь. «Все Жюмини да Жюмини, а о водке ни полслова...»

— А я-то думал, что за интеллектуальными разговорами ты совсем забыл об этом деле.

— Черта с два! Давай ставь. Мозг нуждается в питании.

Алкоголик. Марина говорила, что пьет каждый день. Спрошу. Скрытный, не любит откровенничать. Вылечить может только сильная встряска, например болезнь. Инстинкт самосохранения обычно очень силен. Но в данном случае я не уверен.

— Так ты, Ваня, говоришь, нужны принципы? Попытаюсь. Еще не говорил тебе — свежие.

Цель: рациональное общество. Главное требование: счастье всех людей. Заблуждаться, однако, мы не будем — полное счастье для всех невозможно. Мы уже говорили как-то: центры приятного и неприятного, адаптация. Значит, вопрос об оптимуме счастья.

Компоненты его тоже известны: инстинкты — еда, семья, отдых, тщеславие. Сложные рефлексy: свобода, любопытство, труд для достижения цели. Есть такой рефлекс, физиолог?

— Говорят, что есть. Рефлекс цели. Еще Павлов признавал.

— Раз Павлов — значит, все в порядке. Кроме этих животных источников счастья, есть еще общество. Удовольствие от общения — лучше с коньяком. (Не паясничай!) Творчество. Искусство. Благородные поступки — самоотверженность. Может, и еще что-нибудь, не вспомню. Не так уж часто встречается.

— Неправда.

— Хорошо, пусть неправда. Значит, источники — разные. И — противоречивые. Часто один человек получает удовольствие за счет другого. Вот психологи вместе с вами должны проделать такую работу — составить «баланс счастья». Найти варианты у разных типов людей. Можно это сделать? Есть у вас, физиологов, методы объективной регистрации состояния счастья и несчастья?

— Есть. Не то чтобы уже есть, но возможны. Возбуждение центров удовольствия имеет отражение в функции внутренних органов. Правда, сложно, но, наверное, можно создать аппараты и методы.

— Хорошо, не отвлекай. Можно — значит можно. Я забыл еще сказать вот что: путем тренировки коры удовольствие от всех животных чувств можно усилить во много раз. И тогда любой из инстинктов может стать пороком. Инстинкт питания даст жадность, половой — разврат, самосохранения — эгоизм, властолюбие. И так же можно развить хорошие. Любовь к детям даст доброту, любопытство создаст ученых, рефлекс цели — волю и, наверное, — творчество. Я еще не думал.

(Хорош Ленка, когда в меру выпьет. Фантазия, красноречие, обаяние.)

— Второй вопрос — это воспитуемость детей. И взрослых,

конечно. Насколько можно подавить вредные инстинкты и привить полезные общественные программы? Что-то не в каждом человеке заложен ангел. Возможности воспитания небось большие, но их нужно количественно определить. Без этого нет фундамента. А может быть, ты знаешь о таких научных работах?

— Я? Нет. Я специально этим не интересовался.

— Конечно, ты же профессор. Изучаешь только от одной точки до другой. Не больше.

— Отстань! Давай дальше, энциклопедист.

— А я, пожалуй, им завидую. Какой-нибудь Гельвеций мог знать почти всю науку своего времени. По крайней мере все важное. А теперь нелегко. Вот дали бы мне институт — я бы провел изыскания по всем этим вопросам. Жаль, не дают. Не понимают.

(У него тщеславие есть, только перед собой.)

— Ну, продолжай.

— Продолжаю, коли есть охота слушать. Так вот, сначала установим компоненты счастья, потом нужно изучить организацию. Как реализовать возможности, заложенные в человеке? Как создать точную систему, чтобы обеспечить оптимальное счастье? Я вижу три главных направления: организация труда и материальной жизни, организация воспитания и, наконец, управление.

— Слушай, а не пахнет все это крамолой?

— Ничуть. Только научный подход к построению коммунизма на современном уровне. Наука сильно двинулась вперед, этого забывать нельзя. Можно продолжать?

— Конечно. В конце концов я не эксперт в этих вопросах.

— Начнем с труда. Нет, лучше с воспитания. Для этого опять же нужно ввести некоторые принципы. Например, такие: минимум насилия. Это не то чтобы непротивление злу, но минимум. В крайнем случае. Второе — уважение свободы других людей. Третье — привить потребность к труду. Потребность, а не по принуждению. Это возможно. Четвертое — уважение к семье. Строгость морали. Пятое — ограничение честолюбия. Не полное его изничтожение, но ограничение. Количественная мера. И шестое — бороться с чрезмерной приверженностью к вещам — с жадностью.

Молчу. Интересно. (Ему нравится проповедовать. А кому не нравится?)

— Я, конечно, понимаю, как это трудно — проблема воспитания, но без ее разрешения никаких надежд на лучшее общество нет. Этот вопрос особый и трудный.

(Ты, теоретик! Парня своего не воспитал, как нужно. Это плохо. Вон Люба, у нее теории мало, но она твердо ведет линии. Тоже принципы выдвигала. Везет мне сегодня на принципы!)

— Труд прежде всего обязателен. Это у нас правильно. Дальше. Есть оптимум обязательного рабочего дня, разный. Излишний досуг — он вреден для очень многих людей. Тоже нужны специальные исследования. Главный вопрос — чтобы люди хорошо работали, на совесть. Радикально это решит воспитание, а пока нужны временные меры, пети-мети, но в разумных пределах. Нельзя давать обогащаться, иначе вреда будет больше, чем пользы. Опять нужна наука — сколько платить.

— Слабовато это выглядит у тебя.

— Сам чувствую. В одном уверен — нужны поощрение, хорошая организация труда и воспитание, но не отступление к тельцу. Голый энтузиазм так же не годен, как и голые деньги.

— Ясно. Количественные критерии для сознательности и стимулирования.

— Да. И еще одно замечание — нужен научно обоснованный оптимум благ, чтобы не чувствовать лишений, но и не поощрять жадности. Начальство, конечно, должно показывать пример. Наша гигиена может «запросто» решить эту задачу вместе с психологами. Комната на человека, простая питательная пища, удобная одежда. А зачем лишнее? Нужно прививать новое отношение к вещам. Они не самоцель.

— Может быть, до этой пропаганды сначала нужно достичь определенного уровня, а потом предлагать ограничения? Как ты думаешь?

— Мещанин ты! Уровня нужно добиваться, верно, но высказать определенные взгляды на этот вопрос тоже необходимо. И сейчас! Иначе какие же мы коммунисты?!

— Не знаю, не думаю, чтобы это было своевременно.

— Хорошо, оставим. Третий пункт: сфера управления. Это самое важное: организует труд и воспитание, обеспечивает устойчивость существования и развития общества. Два аспекта — система и аппарат. Система должна строиться по

общим принципам управления: обратная связь, способность к саморегуляции и совершенствованию. Аппарат должен сочетать стабильность и сменяемость. У старых работников — опыт, но у них же обязательно развивается честолюбие, оно искажает функции управления. Все эти вопросы, между прочим, тоже вполне доступны науке.

(Совсем незаметно, что он выпил. Только глаза блестят и щеки порозовели. Привык. Это для него как курение. Но все, что сказал, — это «вообще». Я не возражаю, но это рассуждения. А реализация? Возможно ли? Кибернетика?)

— Ну, допиваю последнюю каплю. Горючее иссякло, машина не пойдет. Ты мне об опыте хотел рассказать.

(Врешь — тебе интересна критика. Попытаюсь.)

— Все очень интересно. Я согласен. Нужен научный подход к воспитанию, организации труда, управлению. Только наук пока таких нет. Психология, социология — они пока находятся в стадии накопления фактов и качественных гипотез. Я считаю, что без кибернетического метода, без моделирования эти науки не много помогут практике.

— Ты все правильно говоришь, профессор. Тут мы давно договорились. Моделирование, действующие модели и т. д. К сожалению, до сознания многих не доходит даже сама постановка вопроса — научный подход к этим трудным проблемам. Между прочим, ты заметил? Сам вопрос о моделировании полезен: ученым мужам приходится по-новому оценивать свою старую науку. Отказаться от общих рассуждений и переходить к строгости. Ну, а машины пока ерунда.

— Ты все-таки ужасно самоуверен, Леня. Как ты берешься судить о таких сугубо специальных вопросах?

— Преимущество дилетанта. Дилетант, он сам берет себе право обо всем судить. Специалисты смеются, но иногда дилетанты бывают правы. И потом я высказываюсь только за рубкой. Это не страшно.

(Уже хватит. Пить хочу. Нужно закрутиться. И об опыте еще хочется рассказать.)

— Леня, наша сегодняшняя беседа, как интервью знаменитого ученого газетному журналисту. Давай кофе пить. Главные проблемы решили.

А ведь я, возможно, увижу это будущее. Не очень отдаленное, но мир развивается быстро. Хотя я и не заметил, чтобы люди изменились за мою жизнь. Нет, изменились. Стали

лучше. Правда, мир может погибнуть. Остается только надеяться на силы мира и на науку.

Интересно будет посмотреть структуру общества. Системы управления. Роль машин. Человека.

Пошел ставить чайник. Может, дать ему вина? Коньяка нельзя. Явно. Нет. Пусть пьет чай. Марина обидится. Не понимаю, что хорошего? Для меня — одна горечь. Еще не успел опьянеть, а уже тошнит и рвет. Защитный рефлекс. Интересно, что он скажет об опыте, о перспективах. Он все знает. Неглубоко, так широко.

Он меня или совсем не жалеет, или хорошо притворяется. Даже обидно. Ты лицемер: просишь, чтобы не выказывали жалости, а когда так делают — неприятно. «Не любят».

Кофе готов. Подожду чая. Чтобы вместе. Печенье дать. Не буду особенно подробно расписывать опыт. Поскромнее. Как-то там собака?

— Скоро ты придеешь, хозяин? Гость скучает.

— Сейчас. Посмотри там газеты.

Закипает. Сильная штука — газ. Помнишь, в детстве согреть самовар — целая проблема. Угли, лучина, раздувать. Зато на столе было уютно. Впрочем, это я так, повторяю за кем-то. Все равно.

Все готово.

Сидит за письменным столом, читает что-то.

— Ну, давай садись чаевничать.

— Любопытно пишут в «Литературке» о генетике. Я ду- мал, уже забыли старые грехи, а они вспоминают. Читал?

— Нет, еще не было времени. Перед сном.

— Ну, теперь давай опыт. Любопытствую.

— Ничего нового я тебе сообщить не могу. Обычная гипотермия, какую применяют хирурги, только температура значительно ниже. Больше двух часов было два градуса в пищеводе. (Это я притворяюсь скромным...)

— Что же, это неплохо. Какой вы получили обмен веществ в отношении нормального?

— Что-то около двух процентов. Еще точно не сосчитано.

— Один день жизни — пятьдесят дней гипотермии?

— Приблизительно да. Впрочем, других расчетов пока нет. Похвастаюсь — собака проснулась хорошо и вечером была жива. Все сделано по высшим стандартам.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Качество регулирования внутренней среды. Все показатели не выходили за границы нормы.

— Расскажи подробнее, с начала до конца. Это интересно.

Рассказываю не очень подробно, но достаточно. Второй раз, как автомат. Попутно наблюдая за реакцией. И где-то стороной — сознание — думаю о разных вещах. А еще где-то чувствую боли в животе.

Слушает молча. Внимание сохранено — не опьянел. Что за человек? Чуть не тридцать лет дружим, а по-настоящему не знаешь. Философский склад ума. Еще в институте был главный спорщик. А к людям он равнодушен. В семье — холодок. Мать—сын, он отдельно. Может, скрывает? Все одни смешки. Не видел в трудных ситуациях. Впрочем, воевал хорошо. Несколько орденов.

Рассказываю о нагревании. Как были все напряжены! Будто один организм.

— Как ты думаешь, имеет смысл переводить лабораторию в институт кибернетики? (Рассказал о планах, приукрасил немного, скрыл обиды: высмеет.)

— Ребята твои придумали разумно. Там им будет легче. Этот Юра, видимо, толковый. (Он уже меня списал в расход. Первый раз за вечер проговорился.)

Расхваливаю Юру. «Вот посмотри, есть активные философы. Не боятся замахиваться на большое».

А Люба, наверное, все думает. Сживаете с новой ситуацией. Может быть, и не будет еще ничего? Нет уверенности, что не отступлю в последний момент. А хорошо бы что-нибудь случилось: р-раз — и готов. Чтобы и подумать не успел.

Конец рассказа. Собака проснулась. Что скажет?

— Ваня, ты еще не оставил своей фантазии об анабиозе? (Напрасно я ему рассказал тогда...)

— Нет. А почему я должен ее оставить?

— Да так. Все это сильно смахивает на дешевый роман.

— Знаешь, друг, разные взгляды. Поставь себя на мое место, все прикинь, потом скажи.

— Да уже ставил. Конечно, ты придумал здорово, но как-то нескромно. Как каждое самоубийство.

— А мне наплевать на приличия в таком деле. И совесть моя чиста — никому ущерба не нанесу. (Не совсем — Люба. Ты, конечно, перенесешь.) И с каких это пор ты проникся таким уважением к приличиям?

— Пожалуй, ты прав. Привыкнешь к некоторым понятиям и даже не думаешь, чего они стоят. Действительно — кому какое дело? В системе в целом — мораль нужна, но с позиции каждого гражданина — она фикция. Осуждение самоубийства — что это такое? От религии пошло, а у нас? Долг. Непорядок, если каждый будет плевать на свои обязательства и уходить, когда захочет.

— Как ты, например, со своим пьянством. Почему-то это ты считаешь приличным.

— Сдаюсь! Уточни: в какой степени серьезны твои расчеты на возможность проснуться?

(Ответить откровенно.)

— Знаешь, до чего паршиво мне было в больнице? Прямо чувствовал — вот умру. Страха не было, но, когда тебя душил, — ужасно. Я все еще под этим впечатлением. Конечно, если бы сказали, что умрешь без мук и без предупреждения, я бы примирился. Зачем в самом деле поднимать шум? Я тоже не люблю громких фраз.

— Вот, вот. Но все-таки о «проснуться» выскажись.

— Я думаю, что шансы есть. Но, конечно, доказательств у меня мало. Вот построим камеру, усовершенствуем АИК, тогда проведем длительный опыт.

Задумался. И я молчу. Что он скажет?

— В будущем, конечно, эту проблему решат. Только я думаю, что физических факторов маловато. Химия должна помочь: ингибиторы, средства, тормозящие жизненные процессы. Ты слышал, конечно, о поисках гормонов у зимнеспящих? Может быть, уже нашли?

— Нет, не нашли. Иначе просочились бы как-нибудь сведения в печать. Мы следим.

— Ну что ж, «ехать так ехать», сказал попугай, когда кошка тащила его под кровать... Ты все-таки не торопись. Можно еще потянуть, если лечиться правильно. Мне говорили, что ты злоупотреблял работой.

— Еще ты будешь призывать меня к осторожности! Говоришь это зря, по инерции.

Что-то он погрузтел. Хмель, видимо, проходит.

— Да... Пожалуй, ты прав. Все правильно решил. Ну, не будем горевать! Выпить бы сейчас! Бездарность ты все-таки, что не держишь запаса. (Все равно не дам. Но — охота дать. Нет.)

— Ты как, придумал уже, что будешь делать на том свете? Судя по твоему условию, тебе придется мерзнуть не менее двадцати-тридцати лет.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что для полной победы над лейкозом нужно расшифровать структуру клеточного деления. В деталях, на атомном или еще ниже уровне. Какой смысл тебе просыпаться раньше времени?

(«Циник ты». Или опять притворяется? Одно время промелькнула грусть.)

— Смысла нет. Где двадцать, там и пятьдесят. А с другой стороны, я бы еще живых современников застал. Учеников, например.

— Сомнительное удовольствие. Все равно они умнее тебя будут. Машины всякие создадут. «Умножители умственных способностей». И вообще — задумывался ты над этой проблемой: что делать, когда проснешься?

— Ты сегодня как нанялся меня дразнить. Да! Задумывался! Не в восторге. Одиноко будет, неуютно. Но я и теперь не избалован обществом и вниманием. Может быть, люди будущего будут снисходительнее? Как полагаешь — идет к идеалу или нет?

— Вопрос трудный. Но все-таки идет. Отец рассказывал, что в его время были много грубее: жен били, матерные слова писали на стенах.

— Ну, это еще и мы с тобой застали. Помнишь, ехали с Дальнего Востока после войны? Ходили специально читать на вокзалы в уборные? «Народный эпос» — ты называл.

— Хорошее время было, Ванька. А? Мечты: мир, люди хорошие, наука. А кончилось для меня коньяком. Ты еще имеешь шансы прогrometerь этой штукой.

— А ты что, жалеешь, что не прогремел?

— Знаешь, как-то странно: по инерции честолюбивые мысли всплывают. Потом спохватишься, одернешь себя: «Дурак, зачем тебе это?» Все поставишь на свое место и снова живешь спокойно. Нет, я не честолюбив.

— Так я надеюсь, что, когда проснусь, люди будут лучше и приютят меня, пригреют. Я не думаю, чтобы к тому времени все стали гениальными, а я один буду дурак. Я же не рассчитывал на большой срок. Биология меняется медленно.

— Между прочим, «когда» — это уже будет зависеть не от тебя.

— А что им тянуть дольше необходимого? Ученым всегда будет интересно разбудить. Посмотреть, что получилось из опыта.

Помолчал.

— Хватит, потрепались. Сомнительный юмор. Пойду я домой. Завтра опять на кафедру, студенты, лицемерие коллег. Потом библиотека или забегаловка. Тоска. Плохо ты меня угостил. Пошел.

Встал. Не задерживаю. Уже поздно, я устал. Умные разговоры надоели за целый-то день. И все у меня опять заболело после этой беседы. Каждый орган чувствую.

— До свидания. Ты все-таки не сильно нажимай на работу. Торопиться ведь нет смысла.

— Да, да. Буду стараться. Еще массу дел нужно сделать.

Ушел. Шаги по лестнице тяжелые, как у пьяного. Но он протрезвел.

Спать.

А может быть, позвонить в институт? Телефон в коридоре, далеко, не услышат. А вдруг?

Набираю номер. Длинные гудки. Буду ждать до десяти. Ту-у-у! Раз... Не подходят. Девять, десять. О!

— Это я говорю, профессор Прохоров. Кто говорит? Валя? Позовите Вадима или Юру.

Ответила: «Сейчас».

— Добрый вечер, Иван Николаевич. Не спрашивайте, как дела, не спрашивайте. Погибла собака.

Вот те на! Как же так? Где же планы, сборы? Дураки, хотели смерть перехитрить... Жалкие черви!

Пусть расскажет!

— Расскажи. И почему сами не позвонили?

— Не хотели вас расстраивать. Все равно помочь нельзя — завтра бы узнали. Погибла час назад. Показатели медленно ухудшались, но еще оставались приличными. Давление восемьдесят, пульс сто двадцать семь — последняя запись. Сознание ясное. Хотя насыщение венозной крови понизилось и увеличилась одышка. Потом внезапно короткие судороги и смерть. Остановка сердца. Все делали: массаж, дефибрилляцию, адреналин, пока зрачки не расширились. Минут тридцать. Безрезультатно.

— Ну, спасибо.

Повесил трубку. Не хочется разговаривать. Ничего к этому факту не добавишь.

И вообще — какая разница? На черта нужна эта суета? Спать хочешь? Иди спи.

Лекарства? На... Давай люминал. Чтобы спалось.

Сделаю постель. Думать не хочется ни о чем.

Длинный какой день. И такой конец.

Не нужно думать. Зубы почистить. Таблетку.

Прохлада с балкона. Не смотреть. В постель, как в омут. Фразер!

Глава четвертая

Сегодня мой последний полный день. Завтра в это время я уже буду в состоянии анабиоза. Я бы хотел отложить еще, но уже нельзя, так как состояние катастрофически ухудшается. Уже трудно ходить, процент гемоглобина снизился до тридцати пяти. Не буду перечислять симптомы и доказательства скорого конца — это никому не нужно. Все решено.

В последние два дня я перечитал свои записки. Сейчас все выглядит наивным и смешным. Сначала я думал только об одном — высказаться, уменьшить душевную тяжесть. Но потом увлекся. Стиль записок претендует на литературу, и там есть искажения истины. Некоторые разговоры были разделены во времени. Значит, в подсознании была тщеславная мысль — прославиться. Что-нибудь вроде: «История героического подвига ученого». Но суть — правда.

Довольно об этом. Времени мало. Отдам записки Любе, пусть хранит. (Нет, подумать: как крепко сидит в человеке тщеславие; я даже сейчас тихонько думаю: «Потом опубликуют!»). В общем там написана правда.

Я должен еще раз объяснить причины своего поступка. (Опыт.) Откровенно и без всякой рисовки, чтобы потом не было кривотолков.

Устал болеть и боюсь страданий перед концом. Пережил три тяжелых обострения и больше не могу. Здесь же ничего не угрожает.

Это будет интересный опыт. Научный «интерес» очень прочно вошел в мою натуру. Конечно, я не сравниваю себя с на-

стоящими героями, ставившими на себе рискованные опыты, иногда кончавшиеся смертью. Я болен и обречен. Но интерес есть.

Мне любопытно проснуться и посмотреть, что будет в мире спустя несколько десятилетий.

Эксперимент может принести пользу для людей. Я не переоцениваю его значения, но кое-что даст.

Видимо, есть некоторый элемент тщеславия.

Редко поступок человека определяется одним мотивом. Обычно их несколько, причем даже не все осознаются. Не знаю, в каком порядке нужно расположить перечисленные пункты. Наверное, важно также и то, что у меня мало личных связей на земле. Я люблю Любу, но в последнее время и от нее отошел. На всех теперь смотрю как бы со стороны, даже на себя. Видимо, если бы было очень жалко кого-нибудь покидать, то стал бы тянуть до конца.

Есть надежда, что опыт закончится удачно и я проснусь. Шансы очень невелики, потому что многое совершенно не ясно и мы не имели времени проверить. Я для себя их оцениваю примерно в десять процентов. Понятно, что эта цифра бездоказательна.

К сожалению, подготовка к опыту не закончена, и это увеличивает его риск. Нужны бы еще несколько месяцев, но их нет. Ни один опыт с собаками полностью не удался. Из пяти три проснулись, но погибли потом от разных причин. Нужно длительное параллельное кровообращение, которое мы пока освоить не смогли. К сожалению, мы не смогли проверить и действие камеры высокого давления, так как обе последние собаки, которых мы пробуждали в камере, умерли от случайных ошибок.

Меня все это не очень беспокоит, потому что мои ученики еще могут отработать пробуждение потом. Одно ясно: нужна автоматика, которая бы полностью управляла жизненными процессами, так как при ручном управлении риск ошибок непомерно высок, как и во всяком сложном деле.

Довольно об этом. Ну к чему сейчас писать о технике и науке? Времени слишком мало. Придут ребята — нужно еще многое обговорить. Кроме того, я очень ослаб от болезни и подготовки.

Хочется подвести какой-то итог жизни, но чувствую, что ничего умного сказать не могу.

Самым главным была наука. Не знаю, как у других (по всей вероятности — разные степени), но для меня было большим наслаждением искать, разгадывать, создавать. И сейчас с удовольствием вспоминаю чудное настроение после удачных находок. Возможно, что я стал таким потому, что другие стороны жизни сложились не очень удачно.

В свое время прекрасные слова писал Павлов к молодым ученым. Кажется, он начинал так: «Держайтесь...» Дальше забыл.

Забавно, что мне хочется агитировать молодежь за науку. «Перед лицом смерти я вам советую!» Всегда замечал некоторую склонность к фразам.

Наверное, творчество является самой человеческой чертой.

Только не нужно поддаваться первой попавшейся иллюзии. Всякое творчество доставляет радость, сам процесс творчества, но ученые должны помнить — «зачем и для чего». Очень большая ответственность сейчас лежит на ученых.

Я много думал, беседовал с коллегами, с друзьями о направлениях науки. Все они важны, но, может быть, в разной степени, учитывая, что мир находится перед реальной угрозой. Наверное, нужно больше изучать психологию и социологию, чтобы научиться управлять людьми и обществом. Возможно, удастся найти источники ненависти и недоверия, раздирающие человечество. Методы кибернетики необходимы в этом деле. Но нужно создавать новые машины, на новых принципах, соединяющих аналоговые с цифровыми. Они должны в большей степени, чем сейчас, имитировать мозг. Впрочем, это я говорю с чужого голоса.

Нужно продумать принципы поведения человека, так, чтобы они обеспечивали минимальную угрозу для свободы других людей. Нет, я не проповедую всеобъемлющую любовь или непротивление злу. Наверное, путем специального анализа можно найти количественное выражение понятий морали и этики: доброта, ненависть. Их можно заложить в модели. Ученые должны думать об этих вещах, так как обычные люди живут сегодняшним днем и только смутят со страхом на небо: бояться бомбы. Ученые создали угрозу миру, они и должны найти выход. Однако это дешевые фразы, легче сказать, чем выполнить. Мне хотелось бы заняться этими делами. Надеюсь, что Юра, Вадим приложат к ним руки.

Перед концом у меня появилась неодолимая потребность

поучать людей, как жить. Пусть меня простят, я знаю, что это смешно. Сам жил плохо и неправильно. (Но этого уже вернуть нельзя. Поздно осознал!) Хотел перечислить мои советы живущим, но получаются банальные заповеди, и я не буду. Агитация за них всеми религиями пользы не принесла. Видимо, сама организация общества не способствовала этому. Теперь дело зашло слишком далеко, раз под угрозой само существование жизни на планете. Нужно искать не то, что разъединяет людей (а также народы, государства), а то, что их объединяет.

Если подходить без предвзятости, то общего в идеалах гораздо больше, чем различий. Во всяком случае, эти различия не столь велики, чтобы из-за них угрожать миру.

Идеи понятны всем. Стоит вопрос: как их реализовать? На этот вопрос должна ответить наука.

Больше мне нечего сказать. Да я и не чувствую за собой права давать людям советы.

Нужно кончать, хотя мне просто страшно ставить точку. Как будто заколотить гвоздь в собственный гроб.

Я перечитал, и мне стало немного стыдно: напыщенный стиль, поучения. Тоже мне пророк. Больше не буду.

Самое хорошее — кончать. В общем я готов.

В ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ

От заведующего лабораторией математического моделирования жизненных функций института физиологии проф. ПРОХОРОВА И. Н.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Учитывая полную безнадежность своего состояния, я решил подвергнуть себя длительному анабиозу, воспользовавшись установкой для искусственного регулирования жизненных функций, созданной в нашей лаборатории. Я не пытался просить разрешения на этот опыт заранее, так как боялся, что не получу его. Все участники опыта — мои помощники, а также врачи из клинической больницы — обещали мне хранить тайну на весь период подготовки. Они ни в чем не виноваты, так как только уступали моей просьбе.

Надеюсь, что этот опыт принесет пользу науке. Длительный

анабиоз понадобится для больших космических путешествий. Возможно, он окажет терапевтический эффект при некоторых тяжелых заболеваниях. Пока трудно предвидеть все возможности этого метода.

К сожалению, мы вынуждены начинать опыт на незаконченной установке. Откладывать больше нельзя из-за быстрого прогрессирования моей болезни. В связи с этим прошу запланировать продолжение работ в следующих направлениях:

а) Полная автоматизация управления.

б) Создание и апробация программ и аппаратуры автоматического управления, введения в анабиоз и выведения из него, подчиненных целям поддержания оптимальных условий внутренней среды организма.

Ответственность за эти работы можно возложить на главного конструктора установки Ю. Н. Ситника.

Обслуживание установки требует некоторого штата, поскольку автоматизация еще не полна и не надежна. Я прошу предусмотреть для этой цели небольшое число работников в составе лаборатории моделирования, которая несет ответственность за проведение опыта.

Общее направление работ лаборатории по созданию большой аналоговой машины, моделирующей функции и взаимоотношения внутренних органов в условиях нормы и острых расстройств, считаю весьма перспективным и нужным для практической медицины. Поэтому рекомендую планировать эти работы на последующие годы, увязывая их с практическими запросами клиники. Руководство этой лабораторией прошу возложить на Ю. Н. Ситника, оставив В. П. Пляшника его заместителем. Прошу окончательно решить вопрос о передаче лаборатории в институт кибернетики и перебазировании ее на территорию клинического городка.

Я прошу поддерживать меня в состоянии анабиоза вплоть до открытия и проверки метода эффективного лечения лейкозов. Конечно, президиум может прекратить опыт в любой момент, но прошу учесть мое настоятельное желание, чтобы при досрочном прекращении опыта меня не подвергали пробуждению.

Квартиру мою прошу передать во временное пользование В. П. Пляшнику, а библиотеку — лаборатории.

Проф. Прохоров

Глава пятая

Я прочла его записки, и, видимо, я просто должна описать тот последний день. Это очень трудно, так как мне никогда не приходилось ничего писать, кроме нескольких статей, писем и историй болезни. Но я сделаю попытку. Напишу, поправлю, перепису, но читать никому не дам. Как выйдет, так и ладно.

Может быть, он проснется и прочитает?

Мне страшно. Это чувство не покидает меня в те несколько дней, что прошли после воскресенья, дня операции. Человек живой — и человек мертвый. Трудно понять и примирить эти понятия.

Я хожу на работу. Я занимаюсь с детьми, разговариваю с мужем, Может быть, он и подозревает что-нибудь, так как знает, что я принимала участие в операции, но ничего не говорит. Бог с ним. Мне уже все равно. Трудно привыкнуть к тому, что сейчас он лежит в этом саркофаге. Сегодня я заходила туда днем, так же как и каждый день. Лежит совершенно белый. Никогда не думала, что человеческая кожа такая белая, что теплый цвет придает кровь...

Там толпились корреспонденты. Каждый день приезжают все новые и новые, наши, советские, и иностранные. Вадим дает интервью. Это ему сильно надоело, поэтому он сочинил бумагу и вручает каждому новому. Но им не нравится так, им подавай человеческое слово. Спрашивают, что и что, чем жил. Я постояла минуту, подумала: «Я знаю больше всех». Иван Николаевич Прохоров стал знаменитостью. Все-таки он был честолобив больше, чем мне казалось раньше. (Это я поняла по запискам.)

Вот пишу какие-то незначущие слова, которые никому не нужны. Впрочем, ему будет интересно прочесть о реакции публики и ученых мужей.

Я пишу так, потому что не хватает мужества перейти к главной теме. Хотя как будто ничего страшного и не было, все шло по плану. Я врач, достаточно видела всяких картин: операций, кровотечений, смертей. Видела, как оперировали и с гипотермией, сама ассистировала Петру Степановичу, чувствовала под пальцами холодное тело. Но тогда проходил час, и жизнь возвращалась. Нет, тоже бывало разное. Также не хочу вспоминать.

Видимо, страшно, потому что сейчас это касалось близкого человека. Мне как-то неловко писать «любимого». Как будто к нему уже и не подходит это слово. Все очень сложно. Как теперь будет, не знаю.

Я бывала у него каждый вечер в последнюю неделю. Приходила на час-два, разговаривала, готовила к операции. Все было засекречено, число участников минимальное. Из врачей участвовали я и наш Володя, анестезиолог. Ему сказали только накануне, мы с Вадимом ходили домой вечером. Он согласился. Давиду не сказали — «избыточная информация», как говорил Юра. (Он потом очень обиделся на меня и на Ваню.)

Подготовка была довольно сложной, разрабатывали вместе с ним. Нужно, чтобы кишечник был пустой, совсем пустой и по возможности стерильный. В хирургии живота существуют такие методы — я это знаю хорошо. Диета, антибиотики, слабительное, клизма, переливание крови и плазмы. Готовили целых пять дней, он сильно ослаб; передвигался с трудом.

Эти свидания были очень тяжелы для меня. Стыдно сознаться, но иногда думалось: «Скорей бы!» А потом мучилась, что я такая плохая. Я здоровая, у меня есть Костя и Дола, работа и впереди еще целая жизнь. Он как приговоренный к смерти, когда казнь уже назначена. Впрочем, не совсем так. Он измучился своей болезнью, обострениями, лекарствами, почти возненавидел медицину. Конечно, он подавлял в себе раздражение, был со мной нежен какой-то особой нежностью, робкой, стыдливой, виноватой.

Он был очень стеснителен, всегда боялся обидеть чем-нибудь. Впрочем, себя тоже не позволял обижать. Была в нем какая-то отчужденность, которая ограничивала людей. «Я вас не трону, но и ко мне не подходите». «Комплекс неполноценности», — как он говорил. Действительно, ничего не умел: ни танцевать, ни плавать, даже на коньках и на велосипеде не катался. И с женщинами ему не везло, как я поняла по некоторым словам. Это чувствовалось.

Так вот эти свидания. Комната, к которой я привыкла за многие годы («Многие» — подумать только!) и которая на глазах становилась чужой. У него всегда было чисто, только на письменном столе беспорядок. А теперь стало даже как-то прозрачно. Вдруг исчезли бумаги со стола. Полированная поверхность его отчужденно блестела. «Прибирается», — подумалось, но ничего не сказала. Книги все расставил на пол-

ки. Письма мои отдал потом вместе с записками. (Я все заперла пока в своем столе в больнице. Дома даже негде спрятать — дети могут случайно найти. У меня не так много бумаг — я же просто врач.) Сказал, что массу черновиков и всякой научной макулатуры сдал в утиль, соседские школьники унесли. Все дельное собрал на нижней полке в шкафу и запер. «Будет дожидаться меня», — так сказал и улыбнулся. Передо мной всегда бодрился, что много шансов проснуться, но я не верила, чувствовала, что обманывает, что это почти самоубийство. А кроме того, прочитала за этот год много об анабиозе. Теперь могу диссертацию писать.

И все-таки он меня заразил надеждами. Одна собака была в анабиозе четыре дня и проснулась. Правда, скоро погибла от кровотечения в просвет кишечника — просмотрели, можно было бы спасти. Ваня тяжело это переживал. Ошибки. Не умеют физиологи выхаживать больных.

В общем он зря думал, что я бы предпочла нормальную смерть. Бывали такие мысли, но очень редко. Для меня он уже погиб при всех условиях. Я и не хочу, чтобы его пробуждали при мне, потому что буду уже старуха, страшная, поглупевшая. В жизни ничего для себя не жду, а стареть все равно не хочу. Как посмотрю на жалкие локоны старух каких-то странных цветов, на неестественно покрашенные губы и улыбки, претендующие на кокетство, так даже вздрагиваю от неприятного чувства. Я еще ничего. Костя говорит, что мама молодая. Но седые волосы стали пробиваться за последний год.

Прочитала и — ужаснулась. Как будто о себе писать собралась. Ваня рассказывал о нескольких планах, в которых одновременно идет мышление. Он мне много рассказывал умных вещей, и я, наверное, от него поумнела. Впрочем, в некоторых вещах я понимаю больше его, например в литературе, вообще в искусстве. У него не было времени читать последние годы — все наука да наука.

Чем теперь заполнится это место? Ловлю себя на мыслях: «Спросить у Вани», «Сказать Ване». Так горько становится после этого.

Не могу воспроизвести наших разговоров при последних свиданиях, когда дата опыта была уже назначена. Наверное, нужна профессиональная память, чтобы запоминать слова или хорошо придумывать их заново. У Вани в записках это по-

лучилось неплохо — разговоры. Пожалуй, он в самом деле мог бы писать. Даже его стиль мне кажется вполне современным. Но то, что будто бы говорила я, мне кажется, он придумал неудачно. Что-то я не помню таких слов. Может, забыла?

Один вечер мы просидели хорошо, часа, наверное, три. Павел с детьми ушел в театр. Я осталась дома, сказала, что голова болит. (Слава богу, больше не нужно притворяться!)

Я принесла несколько бобин с магнитофонными пленками (ими теперь интересуется Костя), журналы с новыми стихами. Читала ему вслух, некоторые были хорошие.

Потом он читал Есенина и Маяковского наизусть. Оказалось, что много помнит, даже не ожидала. Затем пили кофе и слушали магнитофон. Симпатичная песенка «...Страна Дельфиния и город Кенгуру...».

Тут же попались современные ритмы, американские. Сморщился: «Выключи, пожалуйста». Не любит. А мне ничего, танцевать под них приятно. (Мы с Костей теперь танцуем — так забавно водит, старается.)

Как обычно, говорили о детях. Я же не могу не говорить о них. Он всегда интересовался проблемами воспитания и «молодежным вопросом», но очень научно, а для меня это — кровь и сердце. Поспорили немного о его помощниках. Вадим мне не нравился до последнего дня, казался нахальным, самоуверенным. Как можно ошибиться в молодых! Они часто только прикрываются бравадой и грубостью. Вадим оказался очень душевным. Юра гораздо суше, я его не пойму.

Помню эти прощания, когда уходили. Мысли: «Подлая, что бросаю его одного... Пренебречь всем, остаться». И другие мысли: «А дети? Как объяснить? Как выдержать взгляд! Нет, не могу!»

Да и так ли это нужно? Может быть, ему лучше одному? Чтобы можно не играть роль? Он такой... Не знаю слова. Наверное, сдержался бы под пыткой, только чтобы не показаться смешным и жалким.

В общем я уходила. Может быть, и не права была, не знаю. Он ни разу не задержал.

Это писание на некоторое время будет для меня хорошим делом — и отвлекающим и напоминающим. Я пишу в больнице, у меня есть свой маленький кабинетик, как у порядочной заведующей.

Но сейчас уже нужно идти домой к своим чадам.

Вчера не писала: некогда было. Целый вечер провозилась с тяжелым больным. Острый холецистит, повторная операция, тучный, старый. Потом был коллапс, дыхательная недостаточность, чуть не умер. Вот бы где камеру высокого давления нужно. Юра говорил тогда (нужно же было о чем-то разговаривать!), что через полгода будет камера в нашем клингородке. Посмотрим.

Заходила туда, даже дважды. Я теперь подружилась с ними, хорошие ребята и девушки, особенно эта Полина. Правда, она порядочная язва. Вадиму жизни не дает, но, наверное, он в чем-нибудь провинился. Я чувствую это. Забавно наблюдать за ними, за всеми молодыми, с высоты сорока своих лет.

Все идет нормально. Юра мне рассказывал, что мотор АИК греться перестал (что-то он там нашел, я не поняла). Температура +2 градуса, поддерживается устойчиво. Давление в камере около одной атмосферы. Он лежит такой же. Бледный, серьезный. Волосы на лице не отросли; говорят, что будут брить раз в месяц или, может, реже. Один раз в полчаса автомат делает ему одно дыхание. Он хорошо придуман, а то было бы неприятно, если бы торчала трубка изо рта. Почку за все время включали четыре раза — так медленно накапливаются шлаки.

Боюсь, что с плазмой будут трудности, пока не переедут сюда, в клинический городок. Станция отказала сегодня, хорошо, что у меня было припасено, я знаю их. Придется устроить скандал. Попрошу вмешаться Петра Степановича, они его боятся.

Но возвращаюсь к главному.

Чем ближе приближалось воскресенье, тем напряженнее становилась атмосфера. После того вечера с магнитофоном и стихами больше ничего приятного вспомнить не могу. Иван Николаевич был задумчив, суховат. Темы для разговоров не находилось. Кроме того, его раздражали процедуры по подготовке, особенно высокие клизмы. Ему трудно было справляться одному, а мне не разрешал. «Еще чего скажешь! Любовник, которому ставят клизму!» (Милый! Ему было стыдно, что он уже не любовник. Как мужчины все-таки глупы в этом! Женщины тоже люди, но чувственная сторона любви может совсем уйти, без остатка...)

В общем мне были неприятны эти посещения. Иногда

вдруг вспомнит какое-нибудь из наших свиданий. «Помнишь, как мы с тобой ходили в горы, когда были в санатории. Я тогда здорово шел, тебя за руку тащил». Улыбался так хорошо, я обрадовалась, прильнула к нему. Но улыбка вдруг сошла, лицо потемнело, вздохнул. «А теперь вот лежу как колода, ноги опухли...» И мне стало так неуютно около него. Я, наверное, немного отодвинулась, он заметил, снова улыбнулся, нежно. «Тебе, наверное, плохо со мной, Лю? Знаешь, я не могу сдерживать досады на все, на весь мир». Так, кажется, говорил. Потом просил, чтобы я не обижалась, что ко мне у него, кроме нежности, нет никакого чувства. Руки целовал тихонечко, чуть-чуть. Губы сухие. Опять задумался, хотел что-то говорить, махнул рукой, дескать: «Не поймешь!» Я встала, начала что-то делать. Он лежал, хмурился. «Иди уж домой, Люба. Тебя, наверное, ждут». Я потом бежала по темным улицам, плакала от обиды. Дола заметила, что я не в себе: «Что с тобой, мамочка?» Такая нежная девочка, все чувствует. Что-то я ей отвечала, не помню...

Так было все три последних дня. Ребята приходили к нему, предлагали ночевать, но он не соглашался. Леонид приходил тоже каждый день. Говорил Ваня, что бывал пьян сильнее, чем обычно. Вот тоже странный человек, судя по рассказам. Я как женщина думаю, что, наверное, у него с женой неполадки... Ваня отрицает. Но он может и не знать. В общем он вызывает во мне какую-то неприязнь. В воскресенье пришел на операцию, простился, посидел угрюмый, пока Ваня уснул, и ушел, прямо убежал, не сказав ни слова. Трезвый был, кажется, а может, я не разобрала, не до того было.

Каждый вечер были слезы. Я бы могла и дольше у него пробыть. Павлу я не объясняла, куда иду. «Мне нужно уйти на некоторое время». Он не спрашивал. Также трудное дело, но об этом говорить не стоит...

Последний вечер. Он очень ослаб от подготовки, потому что уже два дня через рот не получал ничего, кроме чая, кофе и немного бульона. И без того был худ, а тут живот запал до самого позвоночника, только селезенка выпирает в левом подреберье. Было странно видеть его, когда слушала сердце: такой знакомый, а теперь изменился. Он стеснялся, а у меня наворачивались слезы. Я даже не знала прежде, что такая слезливая.

Ваня лежал на диване в пижаме под одеялом, как настоя-

щий больной. Разумеется, настоящий. А какой же? Столик подвинут вплотную, на нем газеты, журналы. Когда я пришла, он что-то писал.

Я поцеловала его, как всегда. «Посиди минутку, я кончаю свое завещание». Я сидеть не стала, потому что не любит, когда смотрят на него во время писания. Раньше не раз говорил, что не может работать в моем присутствии. Спросила, пил ли чай, и пошла готовить на кухню. Сама тоже была голодна, но в шкафу и в холодильнике ничего не было. Я не поняла: куда девалось? Смолола кофе и включила кофеварку. Еще подумала о ней: «Отдал бы мне», — и устыдилась: такая мелочность. Он довольно быстро закончил и позвал меня: «Лю!» Мне нравилось, когда он так звал. Это бывало не всегда.

Я вошла, он улыбается. (Подумала еще, помню, что улыбка стала еще милее.)

— Все земные дела закончил.

Потом прочитал мне вслух свое завещание, спросил: «Как?» Я одобрила, хотя мне показалось, очень сухо, но я плохо понимаю в официальном стиле. Докладные записки, объяснения, что приходится писать заведующему отделением, мне всегда трудны. Но порядки в отделении у меня хорошие, это не только комиссии говорят, но и больные. Опять хвастаюсь, но ведь у каждого человека должна быть гордость за свое дело.

Кофе вскипел, я убрала газеты и накрыла на этом столике. Он пожалел, что нечем меня угостить. Еще смеялся: «Выбросил все в мусоропровод, боялся, что не утерплю. Была ветчина и рыба копченая». Просил налить покрепче кофе, но я не согласилась: боялась, что не уснет. (Снотворное я не принесла.)

Трапеза наша кончилась быстро. Я выпила очень сладкий и крепкий кофе, голод мой утих. Беседа шла спокойно. Ваня держался хорошо. Все время смотрел на меня, за руку трогал, как бывало раньше, не хмурился и не замыкался. Я была рада, что он такой собранный. Говорил: «Я как будто перед отъездом: дома все надоело, завтра сяду в поезд, одноместное купе, засну и проснусь на новом месте».

Может быть, и не совсем те слова, но смысл помню. Потом добавлял со смешком: «Ну, а если ночью будет крушение, то я не проснусь!»

Говорил, что больше всего жалеет оставлять меня. Но, наверное, лицемерил, я почувствовала. Хотел сделать приятное. Он всегда хорошо ко мне относился, мягко, ровно. Уже когда болел, говорил: «Спасибо тебе за теплоту. А то б так бы и умер несогретым».

В тот последний вечер мне не хотелось говорить об операции, но Ваня упорно возвращался к ней. Все уже обсуждено, роли распределены, и вообще менять что-нибудь уже поздно. Беспокоился, как бы не раскрыли тайну и не помешали. Но это было маловероятно. Участников предполагалось всего семь: Юра, Вадим, Поля, Игорь, я, Володя-анестезиолог и еще одна лаборантка, Валя. Разумеется, вся лаборатория готовилась, но не знали, для чего. Было объявлено, что в понедельник утром начнется опыт с гипотермией, которая должна длиться много дней. Под этим предлогом проверялась аппаратура, стерилизовались белье и инструменты, заготавливались растворы, медикаменты и реактивы. Даже собаки были выбраны.

Три литра плазмы и кровезаменителей для заполнения АИК заготовила я в своем отделении. Целую неделю выпи-сывала со станции по одной-две ампулы.

Вся подготовка планировалась на специальных совещаниях, узких — с Юрой и Вадимом, и более широких, когда приглашались я, Поля, Игорь. (Странно было приходиться в эту квартиру по делу и держаться как чужой.) Володя и Валя ничего не знали до конца.

Долго обсуждался вопрос: может быть, испросить официальное разрешение? Вадим на этом настаивал: «Неужели они не поймут?» Под «они» понималось академическое начальство. Все-таки решили молчать. Испугались, что как начнется «согласование», так может продлиться несколько месяцев, никто не захочет взять на себя ответственность сказать «да» в таком необычном деле. В конце концов что они нам могут сделать? Дело сделано по настоянию пострадавшего.

(Интересна была первая реакция в понедельник утром. Иван Петрович вызвал Семена, Юру, Вадима, сначала кричал, потом горестно закатывал глаза: «Как могли вы решиться участвовать в этом деле? Убили человека, убили блестящего ученого!» Потом снова: «Будете отвечать по всей строгости закона. Я этого дела так не оставлю! Я из-за вас в тюрь-

му садиться не буду!» И так далее. Отправил их и тут же начал звонить в обком. Но Юра не стал ждать и утром же двинул туда сам с копией заветания. Важно сразу дать делу правильное освещение. В общем все обошлось, и в понедельник уже было дано первое сообщение в печать. Иван Петрович важно принимал в своем кабинете журналистов и позировал перед фотоаппаратами. Послушать, так именно он создал Прохорова и подготовил проведение операции. Но Юра тоже не зевал и уводил гостей в лабораторию, а там директор был явно несостоятелен. Командовал Юра. Началось обыгрывание «подачи». Всем было очень противно, но новый некоронованный шеф — Юра — сказал, что так надо. Может быть, и надо, но все равно противно.)

Потом мы говорили о другом. Я рассказывала разные истории о больных, о детях. Обсудили последний кинофильм, который он, конечно, не видел, только читал отзывы. Я уже не помню всего. Знаю только, что оба старались друг перед другом.

Наконец в десять вечера Ваня сказал, что он устал и что мне пора домой. Сложные у меня были при этом чувства. «Вот последние минуты, запомни их. Вот они уходят». И в то же время: «Хорошо, что пора домой». И тут же стыд — должна остаться, и нет уверенности, что он этого хочет.

Он встал с постели, слегка пошатываясь, подошел к письменному столу (пустой стол блестел) и достал из ящика папку.

— Я последний год писал кое-что. Вот возьми, храни. Может быть, когда-нибудь проснусь, любопытно будет. Показывать не нужно никому... До тех пор, пока ты сама не решишь. Сегодня утром написал последнее. Прошу тебя: не читай сегодня, мне неприятно. И вот еще пачка твоих писем.

Старался говорить спокойно, и, пожалуй, это ему почти удалось. Я тоже держалась как могла.

Потом предложил мне взять на память что хочу, а я никак не могла сообразить что. Какие-то подлые мыслишки: «А вдруг узнают?» Так въелась эта конспирация. Выбрала несколько фотографий, которых у меня не было. Они и сейчас здесь, я каждый день смотрю и представляю, как он рос, учился, о чем думал.

Еще я взяла маленький чугунный бюстик Толстого. И все. И все. Поцеловала и побежала. Слышала еще, как сказал:

«Прости меня, Лю». Дверь захлопнулась. Спускалась по лестнице, а в голосе: «Конец. Конец...» Опять плакала дорогой и всю ночь тоже. Представляла, как он чистит зубы, принимает лекарство, ложится. Наверное, еще по привычке читает газету... Опять терзалась: «Как могла его одного оставить?» Плохо мне было.

Больше сегодня писать не могу. Расстроилась совсем. Нужно идти домой. Соскучилась по своим милым. Что бы я делала без них? Так и слышу щебетание: «Мамочка, мамочка пришла!» А Костя басит с претензией на солидность: «Ну, наконец!» А потом забывает и целует меня, как раньше, когда был маленький. Нужно еще зайти посмотреть тяжелых больных перед уходом. Не хочется, а не зайти не могу. Почему это?

Вот я подошла к самому главному — к описанию воскресенья. Иначе, как по имени, я не могу назвать этот день. Опыт? Эксперимент? Разве эти слова годятся, когда вот такое было сделано с человеком?

Я должна набраться мужества и описать все как было.

Начало операции было назначено на девять утра. («Операция», пожалуй, — самое подходящее и привычное для меня слово.) Я немножко заснула перед утром, но в семь уже была на ногах. Нужно выполнить свои обязанности: приготовить еду для семьи, прибрать. Обычные утренние воскресные разговоры: «Костя, вставай», «Дола, кончай чтение», «Павел, вот тебе чистая рубашка...» Впрочем, зачем я все это пишу? Разве речь обо мне?

Ушла в полдевятого, сказав, что мне нужно в больницу и раньше обеда я не вернусь. Павел ничего не ответил, но посмотрел довольно зло. Видимо, он подозревал, куда я хожу по вечерам. Он знал о тяжелой болезни Вани, они были знакомы, и я ему говорила (так, между прочим).

Шла, торопилась. Представляла: вот уже Вадим подъехал к его дому на такси. Поднимается по лестнице. Ваня готов, побрит, выпил кофе. (Это было предусмотрено планом.) Убрал постель: он аккуратист, не похож на холостяков. Вадим говорит что-нибудь веселое, вроде: «Ну, шеф, приехали!» Какую-нибудь банальную фразу, за которой скрываешь боль и растерянность. Лицо Вани я представить не могла, что он говорил — тоже. Наверное, что-нибудь незначительное: «Ты на такси? Легко нашел?» Вот он надевает в прихожей паль-

то. (Оно и теперь висит на вешалке в кабинете, и ни у кого не поднимается рука определить его куда-то на постоянное место. Довольно потертое зимнее пальто. Говорил: «Привык, да и зачем мне форсись?»)

Потом Вадим рассказывал: так и было. Он оделся в прихожей, вернулся в комнату, оглядел ее еще раз: все ли в порядке или хотел проститься. Сказал: «Живи здесь на здоровье, я не скоро вернусь». (А подумал небось: «Совсем не вернусь». Оценивал шансы в десять процентов.) Потом сказал: «Присядем на дорожку». Сели кто на что. Какое странное положение, даже трудно себе представить: человек уезжает в будущее. Вадим говорит, что было полное ощущение отъезда, глаза сами искали чемодан.

Утро было хмурое. Народу на улицах еще мало, падает редкий снежок. Подумала: «Март, а весной и не пахнет. Сухое, нужно было надеть туфли». Спихватилась: какое это имеет значение? Для Вани? Чтобы он запомнил на ту, вторую жизнь? Так он и раньше не замечал, во что я одета.

Пришла, еще их не было. Приехали только через полчаса: Вадим не мог найти такси. Правда, все остальные участники уже были в сборе, я пришла последней. (Было немного стыдно: «Не могла встать пораньше!»)

Все были заняты делом: Юра возился около блока регулирования автоматики (я уже знала, что это такое), Поля заполняла плазмой оксигенатор АИР. Володя присоединял шланг наркозного аппарата к кислородному баллону. Игоря в операционной не было: он со своей помощницей был в лаборатории, рядом.

Все здесь я уже знала — меня приглашали на последние опыты. Описывать установку не буду, потому что для этого недостаточно квалифицированна. Кроме того, подробное описание скоро появится в журналах, путешествие в будущее не засекретили.

В комнате было тесно и не очень чисто. (Юра говорил, что уже принято решение в президиуме построить для их лаборатории небольшой дом и что там будет зал для саркофага со всей механикой. Но когда это еще будет? Я знаю, как академия строит. Впрочем, если сверху нажмут, то, может быть, и быстро. А это возможно: ретивые писаки уже называют «гордостью советской науки». Неприятно слушать это. Ваня представляется теперь какой-то вещью. Впрочем, может быть,

я ошибаюсь, а Юра не видит в этом ничего плохого. Говорит: «Это на пользу науке». Только бы он не соединял это с пользой для себя.)

В центре стоит саркофаг — такой большой цилиндр, наполовину сделанный из плексигласа, так что все видно, что внутри. Обе крышки его были открыты. Впереди — стол-каталка, на котором будут давать наркоз и присоединять всю механику: шланги и АИК, зонды для измерений давления в сердце, датчики. Потом стол этой каталки прямо задвигается в камеру, а все шланги и провода проводятся через специальное окно, которое закрывается герметически.

Выглядит все это очень внушительно, но враждебно. Кроме камеры, все остальное грубо и некрасиво. Торчат трубы, провода, какой-то хаос. Юра говорит: «Макет установки». Будто бы скоро будет иначе — обтекаемые формы, красивый цвет... Но мне уже все это как-то напоминает ограду и памятник на кладбище. Может быть, мне стыдно, потому что доктор?

Мои обязанности в операции были необременительные. Я так думаю, что Ваня их специально придумал, чтобы я могла быть при нем в последние минуты. А может быть, и нет. Все-таки врач нужен: мало ли что может случиться еще в самом начале операции. Я должна сначала помочь Володе при наркозе, так как его обычных помощников — сестер — мы привлекать не захотели; потом в роли ассистента и операционной сестры помогать Вадиму приключать АИК и вводить катетеры в сердце. Одной Поли для этого мало.

Разговаривать никому не хотелось. Я вымыла руки и занялась приготовлением стерильного столика, подготовкой шлангов и сердечных зондов. Дело нетрудное — все было заготовлено в биксах, только разложить.

Они приехали, когда я уже кончила. Оставалось только развести гепарин.

Поля выглянула в окно и сказала: «Привезли». Сердце затосковало, исчезли последние надежды — отложат. Где-то в подсознании, видимо, была такая мысль: а вдруг неполадки в технике или он заболевает? В лаборатории я уже видела, что все готово, а теперь и он приехал, значит будет. Только почему «привезли»? Как будто он не сам, уже лежащий больной.

Юра сразу все бросил и ушел встречать. Мне тоже хотелось, но я уже была стерильная. Неужели так и не удастся обменяться хотя бы одним словечком? Нет, так нельзя. Ему

плохо, нужно поддержать. Я быстро все закончила и закрыла столики стерильными простынями. Помоюсь снова. Была договоренность «не тянуть», и, может быть, мне не стоило так делать, но я не могла.

Пошла в кабинет по пустым коридорам. Сердце билось, в ушах стучало. Мысли в голове отрывочные. Всплыл какой-то ритмичный мотив: «...Лестницы, коридоры... тихие письма...» Почему? Не знаю.

Двери в кабинет были открыты. Ваня лежал на диване, очень бледный, нос вытянулся и посинел. Подумала: «Какой он плохой». Он сел, как только увидел, что вхожу. «Здравствуйте, Люба». Не решился назвать на «ты», но отчества не прибавил. Значит, и я так должна держаться — официально. Значит, только голосом, только взглядом.

— Иван Николаевич, может быть, отложим?

Так хотелось, чтобы он сказал: «Да, отложим». Никаких других тайных мыслей не было, только жалость совсем сжала сердце.

— Нет, что вы, Любовь Борисовна! Если не сегодня, то уже никогда.

Я так и знала. Самолюбие этого человека беспредельно. Подумал, наверное: «Приехал, а теперь обратно — струсил. Нет!»

Теперь я лучше его представляю, когда прочитала записки. Он очень боялся.

Взяла его за руку. Я же доктор, мне нужно пощупать пульс. Пульс очень частый, около ста двадцати. Это от волнения, как у всех больных перед операцией. Видимо, мои лекарства не подействовали. Спросила, спал ли ночью. Ответил, что да, спал. Я его снова уложила на диван. Тут только заметила остальных: Юра, Леонид Петрович, Вадим. Все стоят. Челюсть у Вадима дрожала, и глаза влажно блеснули. Я в первый раз подумала о нем хорошо. Юра и Л. П. были подчеркнута спокойны. «Чурбаны», — я подумала.

— Ну, что же вы приуныли все! Идите и занимайтесь своим делом, только не тяните. Долгие проводы — лишние слезы.

Сказал он это с досадой. Наверное, воля у него была на исходе.

Юра ответил за всех:

— У нас все готово,

Конечно, и у меня тоже. Можно обнажать сосуды, чтобы приключать машину. Поля ее уже заполнила плазмой. Значит, нужно вводить морфий и начинать наркоз. Никаких поводов для отсрочки нет, да, наверное, и не нужно.

— Ну, тогда нужно вводить морфий. Юра, когда пойдете, скажите Володе, чтобы пришел, сделал инъекцию. — Это я сказала, хорошо помню.

Потом мне сразу сделалось неловко, будто я взяла на себя инициативу, когда другие еще сомневались. Вид у меня, наверное, был виноватый, потому что Ваня взял меня за руку и поблагодарил:

— Правильно, Люба, нужно начинать.

После этого Юра и Вадим вышли. Леонид Петрович взглянул на Ваню, на меня и тоже ушел молча. Он все про нас знал.

Подумалось: есть минут десять для прощания. Что мне делать?

Хотелось броситься к нему, обнять, целовать губы, лоб, глаза, плакать. А я стояла... Нельзя! Это будет ему тяжело, непеносимо так прощаться.

— Мой милый! Держись, мы встретимся...

Не устояла, прильнула на секунду, поцеловала. Чувствую, что слезы подступили.

— До свидания!

Убежала, не могла больше. Не слышала, что сказал в ответ, взгляд только запомнился — жалкий, беспомощный...

Леонид ходил по коридору, курил. Видела, он пошел к его двери. Так и не использовала свои десять минут, не сумела удержаться. До сих пор казнюсь. Я их проплакала в уборной на подоконнике. Потом умылась, вытерлась платком и пошла вниз, в операционную. «Вот теперь уже совсем все. Совсем», — подумала. Как же буду жить без него?

Вот живу. Хожу на работу, готовлю обеды. Вчера стирала. Опирую. Английским занимаюсь вместе с Долой. А душа как замерзшая до сих пор.

И что это такое — любовь?

Нужно продолжать. Все страшное уже позади. Я уже двигалась после этого как автомат, разговаривала даже о посторонних предметах, но не помню о чем.

Когда я пришла в операционную, то Вани и Володи еще не было. «Значит, Володя его приведет сам. Хотя бы не упал на лестнице. Полагается везти на коляске».

Я начала мыть руки. Больше уже не смогу его потрогать. Как всегда, эта процедура меня немного успокоила: я вступила в сферу привычных рефлексов. Мы мылись с Вадимом вместе, над одной раковиной, в соседней комнате, выполняющей роль предоперационной. Мылись молча, говорить не хотелось, у каждого свои мысли. Я боялась, как бы сердце у него не остановилось раньше времени, как бы не наступило перерастяжение левого желудочка: вдруг клапаны аорты держат плохо? Что тогда делать? Вскрывать плевральную полость, массировать сердце и срочно нагревать, отказавшись от анабиоза? Только, наверное, это уже не нужно, лучше умереть под наркозом, чем мучиться, умирая от лейкоза. Я рассуждала об этом здраво, я ведь доктор, привыкла оценивать жизнь. Но все равно придется на это идти — на оживление — так требуют наши врачебные каноны, до конца.

Вадим сказал, что боится: вдруг не сумеет обнажить сосуды? Руки будут дрожать. Я его успокоила, обещала, что помогу, что сделаю сама, если нужно. Пусть он только проведет катетер через межпредсердную перегородку, в левое предсердие. Поделилась с ним своими опасениями, и, наверное, напрасно, так как он совсем пал духом. Не помню, что он говорил, но было видно, что он любит Ваню. Это приятно.

Мы помылись и начали одеваться в стерильные халаты. С хирургической точки зрения операция пустяковая — обнажить две вены и артерию. На совете решили, что дренировать вены шеи не стоит: охлаждение в камере с кислородом не требует высокой производительности АИК.

Почему-то они долго не приходили, и Поля пошла узнать, в чем дело. Но сразу же вернулась: «Идут!»

Вот и они. Ваня очень бледный, идет медленно. Л. П. поддерживает его под руку. Улыбнулся вымученной улыбкой, поздоровался: «Здравствуйте» (Игоря, Полю и Валю он еще не видел). Переодет в пижаму — это тоже было предусмотрено планом. Я видела эту пижаму, даже промелькнули какие-то картины из прошлого.

— Ну что ж, Иван Николаевич, ложитесь, будем начинать.

Какие это жестокие слова: «Ложитесь, начинать»! То есть

они обычные, неизбежные, но приобретают страшный смысл, когда их говорим больным перед тяжелой, рискованной операцией. И все-таки сейчас это было еще страшнее, они звучали как сигнал к началу казни. «Ложитесь, будем начинать». Это сказал Юра, и мне было неприятно: как будто подговянет.

— Давайте прощаемся стоя. Подходите, я вас расцелую.

Первым подошел Юра. Ваня что-то тихо ему сказал, я не расслышала, уже потом узнала: «На тебя вся надежда». (Мы потом сидели и вспоминали каждый жест, каждое слово.)

Поле: «Замуж выходи, плохо одному». Мне это было неприятно. Разве он один? И разве замуж — такое уж счастье?

Игорю: «Держитесь дружно, пожалуйста, не ссорьтесь».

Володе: «Вы меня извините, что втравил вас в такую историю». Тот что-то пробормотал вроде: «Что вы, что вы, не стоит». Отвернулся к стене. Наверное, такие выражения лиц раньше бывали после исповеди и причастия: каждый смотрит внутрь себя.

Вале просто сказал: «Будь здорова».

Мы с Вадимом были в стерильных халатах, поэтому подходили осторожно, и он целовал нас в лоб издали, чтобы не запачкать.

Вадиму он сказал: «Будь сдержан с людьми. А в науке, наоборот, нужна смелость. Я вот не был достаточно смел и поэтому сделал очень мало».

Мне только прошептал: «Держись, Лю». Очень тихо, так что даже я плохо слышала. Для меня это было уже все равно.

Л. П. прощался последним. Они обнялись. Леонид старался рассмеяться, но получилось плохо. Но Ваня улыбался хорошо.

— Прощай, Леня, прощай. Долго мы с тобой дружили, но всему приходит конец. Ничего тебе не завещаю, знаю, что бесполезно.

Тягостная была сцена, я описать не умею.

— Ну, теперь полезу. Помогите, ребята.

И он начал забираться на стол. Володя ему помогал. Выглядело это неловко и как-то жалко. Было видно, что тело плохо слушается его. Я пыталась представить, что он думает: наверное, главная мысль была: «Убежать». Но он держался и, кроме неловкости движений, ничем себя не выдавал, разве что растерянным выражением лица. Я тоже держалась, тем более что маска была натянута до самых глаз. (Ресницы я не краси-

ла уже неделю.) Сидя на столе, снял пижаму. Очень худой — кожа да кости.

Лег и на несколько секунд зажмурил глаза. Испугалась: слезы? Все замерли, было абсолютно тихо. Видимо, он собирал все свои силы, все мужество. Лицо постепенно как-то успокоилось, глаза открылись, он улыбнулся. Перед нами был снова Иван Николаевич Прохоров, для меня — Ваня.

Оглядел всех по очереди, улыбнулся, немножко иронически.

— Ну, до свидания. Встретимся лет через десять.

Подставил Поле руку для инъекции: она должна была ввести внутривенно наркотик для вводного наркоза тиопентал, а также релаксанты. В вену она попала сразу, я еще подумала: «Молодец». Потянула поршень, кровь показалась в шприце. Поля взглянула вопросительно на меня, как будто я здесь главная. Я кивнула, значит вводить. Он смотрел в потолок с безучастным выражением лица, как будто его уже не было среди нас.

Поршень задвигался, и через несколько секунд глаза закрылись. Он заснул, и мы все тихонько вздохнули с облегчением: тягостная сцена прощания кончилась. Теперь оставалось каждому хорошо сделать свое дело. Однако тишина еще стояла в комнате некоторое время.

Я устала, конечно. Целый вечер пишу без перерыва, исписала целую тетрадь. Его уже нет, теперь остался только отчет. Напишу в другой раз. Куда теперь спешить?

Целую неделю не бралась за писание. Главное уже написано. Прошлый раз я его как бы вторично похоронила. Но все-таки я обязана закончить.

Сегодня пятница, почти две недели с момента. Захожу каждый день, как ходят вдовы на могилы первое время. Потом перестают ходить, и я, наверное, перестану. Такова жизнь. Хочется протестовать, удержать, а не могу — сама замечаю, что уже не все время думаю, что отвлекают другие дела.

Буду продолжать.

После того как он заснул и дыхание почти прекратилось от действия релаксантов, Володя быстро ввел ему трубку в трахею, приключил аппарат с закисью азота и начал рит-

мично раздувать легкие с помощью дыхательного мешка, как всегда делают при операциях.

Сняли пижамные брюки и трусы, и он остался голый и одинокий. Впечатление, что группа врачей-злодеев собирается совершить преступный опыт, как это было во времена фашизма. Я потом спрашивала — многие думали об этом, о преступлении. Мне было неловко, и другим тоже. Наркоз уже налажен, а мы чего-то медлили. Юра нам напомнил: пора.

Тогда Поля побрила его волосы в паховых областях, а мы с Вадимом смазали йодом место операции. Разрезы нужно было сделать очень маленькие, так как трудно рассчитывать на заживление в анабиозе. Мы начали оперировать: обнажать сосуды. Вадим оказался несостоятелен: руки у него дрожали, пришлось взяться мне. Оперировать было просто: подкожной жировой клетчатки почти совсем не было, артерии и вены лежали близко. Перевязали кровоточащие сосудики вилоты до самых мельчайших, до полной сухости раны. Подождали несколько минут и ввели гепарин, чтобы кровь перестала свертываться. После этого по плану нужно было присоединить АИК, чтобы можно было включить искусственное кровообращение в случае преждевременной остановки сердца во время проведения зонда в левое предсердие. Так и сделали: приключили на левую бедренную вену и артерию, а через правую вену Вадим начал вводить специальный зонд в сердце. Это сложная процедура, а Вадим был в таком состоянии, что я боялась, не справится. Не знаю, что бы мы делали, я этого не умею. Пришлось бы рисковать, начинать анабиоз без контроля давления в левой половине сердца. Но все обошлось благополучно: минут через десять мы получили из зонда ярко-алую кровь, значит конец его прошел в левое предсердие. Вадим вытер лоб рукавом халата: рефлекс стерильности у него непрочные. После этого я ввела трубку во вторую бедренную вену, и процедура присоединения АИК была закончена. Опыты на собаках уже определили необходимые датчики («объем информации»), и ничего лишнего мы не присоединили. Даже артерию не вскрывали, довольствуясь определением кровяного давления по пульсу. Повышенное давление кислорода в камере надежно обеспечивает хорошую оксигенацию тканей. Важно иметь данные о насыщении венозной крови, для этого в правое предсердие проведен еще один тонкий зонд.

На грудь и живот укрепили стальной каркас, прикрытый

тонкой пластиковой пленкой. Это устройство для искусственного дыхания: периодически под каркасом создается разрежение, грудь поднимается и в легкие входит воздух.

Итак, все было закончено, можно вдвигать больного в камеру и окончательно присоединять АИК и контрольную аппаратуру. Юра отпустил какие-то защелки, и крышка стола плавно вошла в цилиндр на свое постоянное место. Все шланги и провода от датчиков пропустили через специальное окно и присоединили к АИК (он тоже находится в кожухе, позволяющем повышать давление, как в камере) и к сложной машине, ведающей измерением, регистрацией и автоматическим управлением (забыла, как называется).

Володя вынул трубку, положил в рот маленькую сеточку — воздухопровод, чтобы не западал язык, и закрыл рот. Включил грудное искусственное дыхание.

Мои дела закончились, но Юра попросил меня вести журнал опыта (операции!). Все другие были заняты: Поля у АИК, Вадим и Юра наблюдали за регистрирующими приборами и кондиционером, за выполнением программы охлаждения, Володя следил за наркозом. Игорь с помощницей обеспечивали биохимические анализы. Хотя объем исследований был гораздо меньше, чем в опытах на собаке, потому что они преследовали только практические цели, но и людей тоже было мало.

Вот эти записи:

«23.III. 11.00. Закрыли крышки камеры, начали охлаждение, включили кондиционер и вентилятор.

11.20. Температура в пищеводе 30° . Приключен АИК на параллельную работу с производительностью 1 л/мм.

11.25. Начали повышать давление в камере.

11.40. Давление две атм. абс. $T 26^{\circ}$. Частота сердечных сокращений 56 в минуту. Ожидается фибрилляция. Есть опасение переполнения левого желудочка.

11.52. Фибрилляция. Давление в левом желудочке не повысилось!

12.00. $T 16^{\circ}$. Начали снижать давление в камере для замены крови.

12.24. АИК остановлен для замены крови.

12.40. АИК включен с производительностью 2,5 л/мм. $T 13^{\circ}$. Повышается давление в камере.

13.00. $T 8^{\circ}$. Производительность уменьшена до 1,5 л/мм. Давление — 2 атм. абс.

13.50. Т 2° в прямой кишке. Период охлаждения закончен. Начали обрабатывать постоянный режим».

Снова был перерыв в писании. Прошлый раз меня прервали. Сегодня вторник, 11 апреля; прошло шестнадцать дней. Шумиха, слава богу, улеглась. Энтузиазм тоже уменьшился. Если сначала дежурили по пять человек — добровольцев было сколько угодно из лаборатории и из института кибернетики (инженеры и техники по наблюдению за машинами), то теперь уже начались пререкания, кому дежурить. Бывало, что Юра сам оставался. Может быть, формально это и нехорошо: у заведующего днем много работы, но беды я тоже не вижу — он много получил от Вани.

Какое глупое женское сердце: мне теперь кажется, что его уже забыли, что помощники хотят завладеть его славой. Я даже ловлю себя на жалостливой мысли: «Только мне одной ничего не нужно и ничего не осталось». Я ведь не жена и никаких прав на Ваню не имела, а тем более на лабораторию; теперешние новшества в ней для меня как личное оскорбление.

Но заставляю себя быть объективной, и тогда оказывается, что мне не за что упрекнуть Юру. В конце концов нельзя же требовать, чтобы все в лаборатории оставалось, как раньше. Конечно, Поля передает мне сплетни, что-де многие недовольны Юрой, а когда я пытаюсь вникнуть, так оказывается: просто он требует дисциплины. Иван Николаевич никогда не отличался строгостью, и многие этим пользовались. Семен тоже был мягкий человек. Кстати, он ушел в отдел к директору, как и ожидалось, но ведет себя хорошо. Даже Вадим сказал: «Он не гадит, а мог бы».

Сейчас все силы брошены на усовершенствование этой установки, ее назвали АНА-1. (Дурацкое, по-моему, название, но я в это дело не вмешиваюсь. Перечитала и спохватилась: «Еще бы вмешалась!») Ваня все учил меня быть объективной, но так и не выучил. Слишком я женщина. Правда, такие уроки даром не прошли: я стараюсь за собой наблюдать, как со стороны. Но не всегда удается. Наверное, поздно начала учиться.

Конечно, установку нужно довести, чтобы работала надежно и чтобы можно было обойтись одним дежурным. Хорошо,

что Юра не любитель гулять, а барышня у него такая же, «синий чулок»: все стихи читает; так они сидят себе дома, и он в любое время дня и ночи является чинить поломки.

(Ваню уже называют «Спящий красавец». Обидно!)

Газеты сильно помогли, как говорит Вадим. Юра жмет вою, использует момент, пока не остынут и директора, начальники, и просто энтузиасты. Энтузиазм тоже нуждается в питании, а где его взять? Вадим выступает с лекциями, но эффект, конечно, не тот, что был у Ивана Николаевича. (Мне теперь все у него кажется идеальным, а сколько раз я ругалась. Есть какие-то законы у психики на этот счет? Не знаю.)

Нужно писать дальше. Мне это уже немного надоело, и вижу, что получается неважно. Но я как бы взяла обязательство — написать, для Вани написать. Поэтому должна.

Выбор режима представляет сложное дело, потому что хотя температура оставалась постоянной, в организме продолжались изменения. «Стационарный режим» (все чуждые для меня слова) был достигнут только через неделю.

Задача состояла в подборе давления и соотношения периодов работы АИК и остановки так, чтобы содержание O_2 и CO_2 в тканях не выходило за допустимые пределы.

В течение отработки режима было много свободного времени, и мы начали разговаривать, чтобы не было так тягостно. Правда, Юра больше возился с машинами (начал греться мотор насоса), а Игорь делал анализы, но нам с Вадимом, Полей и Володей делать было нечего.

Мы сидели около АИК и грустно разговаривали. Было странно — он лежит здесь, — и мы понижали голоса. В лаборатории было сравнительно тихо, так как кондиционер стоял в соседней комнате, двери закрыли.

Такое же впечатление, как сидят близкие около покойника накануне похорон. Я это испытала, когда умерла мама.

Нет, пожалуй, нам было хуже. Почему-то нас не покидало чувство вины — как соучастники преступления. Поля сказала об этом первая, и все подтвердил. Обсуждали: почему? Идея и инициатива его, но, может быть, нам нужно было отговаривать, даже отказаться. Почему я этого не сделала? Пыталась отговаривать, но он обиделся: «Понимаю, что было бы лучше, если бы я лежал на кладбище...» Что-то в этом роде. Вынуждена замолчать. Не участвовать я тоже не могла: это было бы предательством.

Вадиму первый рассказал Юра, еще по секрету от шефа. «Меня увлекла чисто научная сторона идеи». Так он, кажется, говорил. Только когда дело дошло до самой операции, он подумал о преступлении. Но отступать уже было поздно.

Поля сказала: «А разве я могла отказаться, если он сам меня просил?» И я бы не могла.

Потом она все спрашивала, сколько бы он прожил без «этого». Я отвечала, что, может быть, полгода, а может быть, месяц. Плохо то, что ему стало опасно переливать кровь из-за реакций. Я хирург и верю в кровь больше, чем в лекарства. Три-четыре раза в месяц свежая кровь — это очень хорошо, иначе анемия бы его сгубила.

Я тоже задала вопрос в лоб: верят ли они в возможность оживления?

Вадим начал что-то мямлить: «Да знаете ли...» А потом махнул рукой и сказал: «Не верю». Поля на него пакинулась: «Так зачем же ты... Да как ты смел...» — и т. д. Я тоже удивилась, попросила объяснить. Он сказал примерно следующее: если бы его сейчас начать будить, он бы проснулся, но через годы не могут не произойти изменения в молекулярных структурах, ведающих теми функциями клеток, которые сейчас не действуют. В это время подошел Юра (он, видимо, прислушивался краем уха) и очень резко сказал: «А откуда тебе все это известно? Разве были проведены специальные исследования? Их нет или они недоказательны. Анабиоз простых животных — факт, неудачи в получении анабиоза высших животных объясняются трудностями методики оживления. Клетки и органы гибнут потому, что до сих пор не могли искусственно обеспечить надлежащие условия на период восстановления. Иван Николаевич предложил принципиально новый подход: циркуляция плазмы и камера, а мы создадим хорошую технику с идеальным регулированием. И тогда посмотрим!»

Я очень хорошо запомнила смысл его речи, за которую была благодарна ему. Вадим сидел, как школьник. Потом Юра добавил так же резко (как начальник), чтобы мы перестали копаться в собственных чувствах. «Шеф проявил героизм для науки и человечества». И что мы обязаны сделать все для успеха экспериментов, что бы об этом ни говорили.

Сильно он нас отчитал, но как-то легче стало после этого. Даже Вадим не всплыл и не стал спорить. Я все больше замечаю, что он поглядывает на Юру с некоторым почтением,

пожалуй, так не смотрел и на Ивана Николаевича, вечно дерзил и спорил. Но он очень хороший.

А вот Юру я понять не могу. Возможно, у меня просто ума мало для этого, потому что не могу же я отрицать у него ум! Он обращается со мной почтительно, как со старшей, и мне даже неловко. Конечно, он обо всем знает, возможно даже, что Ваня ему сам сказал в последние дни. Я чувствую это. Только вот зачем он допустил эту показуху и даже сам немножко позировал? Почему так торопился с реорганизацией лаборатории, с передачей ее в институт кибернетики? Неужели нельзя пока управлять именем покойного шефа, а не заводить эти строгости! Неужели он просто карьерист? Не похоже. Это я теперь так думаю, тогда сомнений не было.

Разговор больше не вязался. Группа наша распалась: у всех нашлись свои дела.

Я села к окну и смотрела на улицу. Падал снег, но на дворе было сыро. Неприятная погода, под стать настроению. Мысли пошли в другую сторону: что же, если пробуждение возможно, то мы бы совершили предательство, отказавшись? Я уже запуталась.

Помню, такой безнадежной представлялась жизнь в тот момент. Даже дети: Костя уже по телефону с девушками разговаривает подолгу. Правда, пока обо всем мне рассказывает, а может быть, уже и не обо всем? Поди знай. Дола пока полностью моя, хотя она очень любит отца, и я еще не знаю, кого бы она выбрала. Будут вырастать и будут отдаляться, это закон природы. С мужем едва ли наладится близость (во всяком случае, тогда мне казалось, что нет). Вот с Ваней я была бы счастлива до старости, уверена. Остается еще хирургия... Но какой я хирург? Так, заведующий отделением городской больницы. Грыжи, аппендициты, резекции желудка. Изредка легочные операции, я их делаю хорошо, но больные предпочитают идти в клинику. Над средним уровнем я не поднялась. Старики хирургии есть, их любят и уважают до смерти, но что-то я не видела старух хирургов. Или женщины вышли на арену только после войны и не успели состариться? Перевалило за сорок, начну толстеть, сесть, незаметно стану противной старухой, милой только для внуков... И буду только вспоминать эти несколько ярких лет. В них было, правда, больше страданий, чем счастья, но одно без другого невозможно.

А ОН будет лежать и лежать в это время? Или мне еще

суждено пережить встречу с ним потом, когда со мной уже все будет кончено: внуки, хозяйственная сумка, телевизор? Нет, не хочу! Меня охватил страх, когда я представила себя и его. Себя в будущем, а его таким, каким был перед болезнью: не «красавец мужчина», конечно, но тонкий, стройный и вечно куда-то спешащий...

Вот такие были у меня мысли тогда. Они и сейчас повторяются периодически, особенно когда в отделении несчастья, смерти или когда схожу в лабораторию посмотреть.

Около трех часов установка была пущена. Снова лаборатория наполнилась шумом, начали измерять, записывать. Мне тоже нашлось дело: Юра попросил регистрировать показатели поляриметров (pO_2 и pCO_2) по минутам, чтобы вычертить кривую изменения напряжения газов в венозной крови после пуска АИК с данной производительностью. На двадцать минут у меня была работа, думать было некогда: нужно было отметить как можно больше точек. Вообще-то были приборы с самописцами, но почему-то Юра им не доверял, заставил меня писать. Когда венозное напряжение кислорода поднялось до 80 миллиметров ртутного столба, АИК остановили снова. Потом я еще минут десять переписывала таблицу, чтобы придать ей культурный вид (я люблю аккуратность). Приготовила и отдала Юре. Он мило поблагодарил.

Настроение немного улучшилось. И солнце к этому времени выглянуло. Нужно жить. Кому что дано, то и выполняй. Не всем быть профессорами, изобретателями, художниками, кому-то нужно делать обычную работу, выполнять гражданские обязанности. Найти в них радость, иначе жить нельзя. У меня растут дети — нужно, чтобы они были хорошими. Я лечу больных — нужно это тоже делать хорошо, чтобы от операций умирали редко, чтобы человеческие души тоже меньше страдали. Ах, я начинаю говорить прописями, нет таланта подбирать красивые и оригинальные слова!

Допустила ли я ошибку?

Жила-была женщина, нет, сначала девочка. Была хорошая дочка, хорошая ученица, хорошая пионерка и комсомолка. В трудные военные годы работала на заводе, еще подростком, и не только из бедности. Все ей удалось. Мечтала быть доктором и поступила в институт, окончила. Отработала три года в деревне и вернулась домой, к маме, в большой город. Почестному, нужно было бы еще остаться, но уж очень там было

тоскливо, одиноко и хотелось работать хирургом, ходить в театр. И больше всего хотелось встретить ЕГО, чтобы полюбить насовсем. (Студенткой не успела почему-то.)

Все удалось: клиника Петра Степановича, Павел, красивый, высокий инженер, такой кавалер, танцор, краснобаи (да простят мне это дети!). Неплохой человек. Любовь, замужество и скоро — Костя. Было очень трудно: хирургия требует всего человека, а тут семья — муж и сын. Медицины в клиниках две: больные и наука. Больные — это горе, это радости людей и вместе с ними и твои. И труд, труд, очень часто неблагодарный. Наука в клинике — это тоже прежде всего труд, никаких ярких открытий — надежды на них потом, и то немного. Мне нравилась только первая — медицина, в науке я почему-то вкуса не поняла, по крайней мере в той, что делалась у нас. Шеф меня ругал и любил, не жалуюсь. Я много оперировала, была в первых помощниках, хорошо лечила больных, горжусь этим. Сознательно лечила, по книжкам, даже на переводчиков тратила из своей скудной зарплаты. (Павел не запрещал, но презрительно кривился.) И ночи просиживала в больнице, как каждый хороший доктор. Но диссертации не сделала, а другие мои однолетки сделали и стали ассистентами, потом доцентами, а я была с ними по хирургии на равном положении, и характер у меня не из покладистых. Вот и выдвинули меня на самостоятельную работу. Шеф кричал: «Надоело мне жалобы на тебя выслушивать, раз диссертацию не пишешь — убирайся! Вот тебе хорошее место — воюй одна». Не очень церемонится Петр Степанович со своими, не как Ваня. Жалко было клинику оставлять: восемь лет отдано, и с честолюбивыми мечтами прощаться было жаль, но что сделаешь.

Зачем я все это пишу? Я ищу ошибку. Нет, раньше ни в чем не могла себя упрекнуть. Мужа я любила несколько лет, пока он первый мне... Не стоит жаловаться, может быть, этого и не было, разговоры одни. И если даже было, то и моя вина есть: из-за этих больных, детей (да и почитать ведь тоже хочется, привыкла с детства) не окружила я его вниманием, какого он хотел. Наверное, и заслуживал: зарабатывал хорошо, работал тоже много, хотя огонька я не видела, не заметила. Просил перейти на более легкую работу, куда-нибудь в лабораторию. Не захотела. Так началась и потянулась полоса охлаждения, а иногда и грубые сцены. Разлюбили. Спасе-

ние от этого какое? Дети да работа, работа да дети. Да еще книги. Вечером сесть на диван, поджавши ноги, под торшер, а рубашка не выглажена, домработницы нет...

Ну, а потом? Пока все было правильно, любому могла поглядеть в глаза. Если делала ошибки (в медицине без них не получается), то всегда могла сказать: да, ошиблась, не учла того, другого. Ума не хватило, но совесть чиста, не по халатности или лени. Даже когда из деревни уезжала, было стыдно, но не очень: знала, что присылают нового доктора из выпускников.

Но вот дальше... Я не знаю... Наверное, нужно было сдержаться. Не нужно было вести эти разговоры — о книгах, о науке, о будущем. Не нужно было выслушивать грустных намеков на одиночество: мужчины хитры, когда им женщина нравится. А я не удержалась, слушала и сама говорила.

Это была первая ошибка — полюбить. Вдруг нашла человека — умного, немножко грустного, очень увлеченного, неустroенного. Это нетрудно, когда мечты уже увяли и душу присыпало разочарованием, как пеплом. Тогда уже казалось, как сейчас: ничего больше, только растить детей, лечить больных, жить с человеком, которого разлюбила. (Даже еще острее было, потому что моложе — жалости к себе больше, путь впереди длиннее и Павел хуже себя вел.)

Может быть, не было ошибки, что полюбила? Может быть, ошиблась, что не поступила решительно? Нужно было оставить Павла, дети еще маленькие были, не то что сейчас. Не соглашаться на ложь. Но ведь он же не проявил никакой настойчивости. Даже наоборот. «Подумай, взвесь, дети...» Ах, как трудно теперь во всем этом разобраться! Постепенно все менялось: виделись редко, дети росли, Павел их любил все больше, и это сближало. И было бы еще хуже теперь...

В общем писала, писала, а закончить не могу. Все-таки чувство вины меня не покидает. Много лет лгала, я, которая считает себя безупречно честной. Несколько раз пыталась разорвать, уйти в эту грусть, оставить надежды, как сейчас. (Надежды дразнили до самой болезни: «Вот дети подрастут», а потом оглянешься — трезвость: «Куда уж!») Не могла бросить, что-то тянуло свыше сил. Знала недостатки, все прощала — любовь? Хорошо все-таки, что есть такое слово — «любовь», которое логике не подчиняется. Даже теперь скажу, хорошо, когда осталась одна логика.

Так расписалась о себе, что все забыла. Поплакаться же некому, нет ни одного близкого. Нужно кончать, идти.

Живу, уже три недели живу. Целый день кручусь! Дел всегда можно найти, когда они очень нужны. Только вечером перед сном окружают меня тени этих лет, которые только что закончились так необычно.

Жизнь идет своим чередом. Три недели — срок небольшой, и даже смешно: «Прошло три недели, еще осталось... двадцать лет!»

Ничего существенного не произошло, если не считать поломок в АИК и в кондиционере. Были и серьезные: приходилось даже лед в саркофаг закладывать, когда холодильник испортился. Но все обошлось. Температуру удержали.

Обмен веществ снизился приблизительно до 1 процента. Это значит — один год за сто! Почку включают редко — раз в три-четыре дня. Можно бы даже и реже, но стараются тщательно поддерживать нормальный уровень шлаков. Подобрали и обучают постоянный штат дежурных по смене — один инженер и техник-лаборант, он же химик. Юра написал подробную инструкцию, это он умеет — все на полочки разложить. Впрочем, Ваня в науке тоже был такой...

Вопрос о распаде белков пока не решен. Сейчас продумывают такую конструкцию новой установки, чтобы за весом можно было следить. Баланс азота как будто поддерживается, но точно установить трудно, потому что затраты белков ничтожны, а методы определения не очень точны. Биохимики ведут какие-то подробные исследования, но я в этом плохо понимаю, хотя Игорь рассказывал.

Вадим переселился, до конца месяца не дотерпел. Мамаша как-то дозналась, такое стала вытворять, что пришлось потопиться. Приходил, меня спрашивал: удобно ли? (Я-то знаю, что главное — передо мной неудобно.) Сказала, чтобы переезжал. Было новоселье, были речи, воспоминания. Событий мало вспомнили, их вообще немного было, больше интеллектуальные споры, которые велись с Иваном Николаевичем. Л. П. был, выпил, но в меру. Наверное, ему и мне было всех хуже, остальные молоды и все впереди, а у нас Ваня унес в прошлое слишком многое. Но я старалась быть веселой.

У ребят полно планов. Работа, кажется, идет хорошо. Юра набирает все больше математиков и инженеров, а от физиологов постепенно освобождается. Ропщут, но большинство при-

знали. Только некоторые ортодоксы профессора продолжают звать «молодой человек».

Впрочем, если споткнется, так многие подтолкнут. Но едва ли дождутся. Особой симпатии к нему по-прежнему нет, однако должное отдаю. Талантливый человек. Судьба Вани в надежных руках.

Дома у меня тоже все нормально. Большое дело — вернуть честь, не сгибаться от сознания, что виновата. Жалко Ваню, жалко любви, но ловлю себя на мысли: «Вернуться? Нет, не хочу!» Сама удивляюсь, наверное: я такая черствая. Где же у меня право осуждать ребят за недостаток почтения к покойному шефу?

Буднично как-то стало в этой комнате, где он лежит в саркофаге. Дежурство по двенадцать часов, записи в журналах. Когда-то в молодости Павел меня на электростанцию водил (похвалиться хотел, что вот-де я начальник! Посмотри, как ко мне все), так там тоже сидят дежурные, через каждый час записывают показания приборов. Так и здесь. Одно время даже простынями стали закрывать саркофаг, чтобы не было видно, но Юра воспротивился, потому что могут какие-нибудь шланги порваться и не заметишь. А вообще, конечно, лучше бы не смотреть. Как это странно — лежит человек, не живой и не мертвый! Какие-то обязательства перед ним сохраняются, и не поймешь почему.

В лаборатории (теперь она уже отделом называется) намечена большая программа работ по анабиозу. Создадут новую установку, смонтируют ее в новом здании, в «Клингородке», а с этой после модернизации будут экспериментировать. Будут отрабатывать пробуждение — на собаках, конечно. Однако, думаю мне, что если все удастся, то через несколько лет найдутся и добровольцы. Так человек устроен: что-то толкает на самые рискованные дела.

Ну, а если не удастся? Что тогда? Тихие похороны? Бр-р-р! Неприятно. Но Юра уверен, и Вадим тоже начинает склоняться. Они хитрят, говорят, что опыты, которые были при Ване, они наверняка смогут повторить, а потом очень постепенно начнут удлинять сроки анабиоза. Не спеша, если будут неудачи, с расчетом на совершенствование науки.

Вообще этот опыт (я уже тоже привыкла: «опыт!»), видимо, даст большой толчок науке об анабиозе и в вопросе о регулировании жизненных функций. Очень много ученых

из разных стран приезжают посмотреть на это чудо. Так что, я думаю, надежды у Вани возрастают.

Только вот страшно за него: как он будет, когда проснется? Я бы ни за что не согласилась, лучше спокойно умереть... Жаль, что наша медицина мало думает о спокойной смерти — очень много мучений нужно пережить, пока дойдешь до тихой гавани...

Сегодня я хочу закончить свои записки. Впереди целый вечер, а писать осталось немного. Конечно, можно бы и дальше вести этот дневник, но не вижу смысла. Как идут работы, что случилось с установкой — все записывается в официальных отчетах более подробно и квалифицированно.

А собственные мои переживания, сплетни, неудачи на работе и дома (о радостях как-то нет желания писать) едва ли для кого интересны. Маленькие дела средней женщины-доктора, которая в силу случайности прикоснулась к героическому делу. Впрочем, может, оно и не героическое? При всей любви не могу его представить себе героем, хотя все говорят: да. Но я его знаю больше, и, кроме того, у меня записки.

Не будем разбираться: герой так герой.

Я опять отклонилась. Больше не буду.

Без четверти четыре снова пускали АИК минут на двадцать. Оказалось, что самое трудное — отрегулировать содержание CO_2 в крови и в тканях, я уже забыла подробности: в тетрадке что-то невразумительное записано.

В начале пятого остановили, я сдала свои записи. Уходить было неловко, и делать, собственно, было нечего — самописцы правильно записывали показатели, я убедилась. Хотела уже отпрашиваться у Юры, но вдруг Поля заявила:

— Товарищи, давайте поедим! Главное уже сделано.

Всем это очень понравилось, и быстренько отрядили Полю и Вадима за припасами. Оказалось, что утром никто не ел, не до еды было. Мне было немного обидно за Ваню и стыдно, что сама хочу есть.

Собрались в одной из комнат лаборатории, близко от операционной. Думали даже в кабинете, но как-то неловко: вот недавно он был здесь, подушка на диване еще хранит след головы.

Пока вернулись наши посланцы и все приготовили, пришло время снова пускать машину. Отработала двадцать минут, и остановили. Было около пяти часов.

Вот, наконец, мы за столом. Посредино несколько коробок консервов, колбаса, сыр, хлеб. Включена знаменитая кофеварка. Слышно, как шипит.

Настроение было плохое: как будто мы убили его. Снова вернулось это ощущение виновности, такое, как у хирурга, когда больной умирает на столе, даже если не сделано никаких ошибок.

Все прислушивались к шуму мотора в кондиционере. Думалось: «Вот мы и оставили тебя одного, живые».

Ели, разговаривали — больше всех Юра. Я не помню точно о чем, но суть вот в чем:

— Первое, что нужно, — это довести машину, модель внутренней сферы хотя бы до первого, упрощенного варианта. Вы знаете, что, когда мы готовились к операции, машину отложили, и план не выполнен, и это было очень больно в последние месяцы. Ему было стыдно, что из-за его личных дел мы не выполняем главную задачу. Мы должны наверстать. (Я помню, было странно: анабиоз — это личное дело. Но это на него похоже, щепетильность.)

Второе — это о науке вообще. Ни у кого я не знал такого ясного понимания, как строить науку, изучающую любые сложные системы. Я потом много думал над этим — все, кажется, верно. Есть единый современный подход к изучению явлений — путь моделирования. Значение техники в этом деле огромно. Мы должны приложить свою руку к технике. Пока моделируем живое мертвыми элементами, потом будет наоборот — создавать технические системы по примеру живых.

Наконец, третье: мы должны замаяхнуться на самое главное, самое трудное — моделирование поведения человека, а потом и социальных систем. Это необходимо для достижения лучшего будущего человечества — для коммунизма. Иван Николаевич мечтал об этом, хотя и не строил планов. Но мы молоды и должны идти дальше.

Может быть, он и не совсем так говорил, но я запомнила все три пункта: машина, общий подход к сложным системам и приложение его к психике и обществу. Это последнее больше идет от самого Юры. Ваня говорил, что это главное, но даже не мечтал этим заняться. Впрочем, так и должно быть: ученики пусть идут вперед. Но почему он ничего не сказал об анабиозе? Разве это не важно? От этого же зависит, проснется

он или нет. А может, это с моей, женской, точки зрения самое важное? Не знаю.

Некоторое время молча жевали, даже я. Встал Вадим, мрачный, черный, нос еще длиннее.

— Не то ты говоришь, Юра, не то. Или, может быть, не все, что нужно. Науки у нас не будет без главного, без души. Пожалуй, Иван Николаевич внешне был даже суховат, но все мы знали, что за этим кроется. Нередко он был излишне мягок, это мешало делу, злило, но в конце концов дало плоды — возник коллектив. Хороший коллектив. Мы рискнули взяться за очень крупные проблемы. И дальше мы будем двигаться вперед, если сохраним главное — принципы. Тогда будут приходить к нам люди способные и даже талантливые, а без этого разбегутся и те, которые есть. Для меня он значит очень много, я не могу сказать сколько...

Слезы показались на ресницах, он их вытер ладонью. Сел.

— Не глядите на меня так — мне не стыдно.

Я смотрела на них по очереди — молодые, хорошие. Я самая старая. Стали просить меня, чтобы сказала что-нибудь. Я отказывалась. Мучительно искала слова, потом решилась. В конце концов все свои.

— Ребята, Иван Николаевич не был счастлив в жизни, вы знаете. Работа дает много, но нужно иметь еще и свое маленькое счастье. Вы все молодые, я хочу пожелать вам уважения к любви, к любимым и побольше ответственности перед ними. Честь нужна не только на работе, но и дома...

Не очень получилось удачно, я знаю. Небось некоторые подумали обо мне нехорошо, да бог с ними. Я им искренне пожелала, чтобы не мучились, как я и как он, их бывший шеф.

Мы поели, потом попили кофе. Все были грустные. Что-то вспоминали, что-то говорили негромко... А мне мучительно хотелось плакать. Но я утерпела.

Так прошла эта панихида. Все чувствовали, что с сегодняшнего дня начинается что-то новое в жизни, уже без него. Мне — без любимого, им — без шефа, без друга. Что-то в жизни исчезло, и у меня уже этого не будет. Можно только привыкнуть, но нельзя заполнить. Ну, а ребята еще много нового получат, лучшего... Будут мечтать, искать, страдать. И радоваться, конечно. Если мир им позволит это. Впрочем, они сами должны добиваться и признания и жизни.

Но это уже особый разговор, не для меня.

ОБСИДИАНОВЫЙ НОЖ



завидую вашему здоровью, — произнес сосед, не поднимая головы.

Мы сидели вдвоем на грязной садовой скамье. Бульвар, залитый талой водой, был пустынен. Сосед каблуком долбил в леденистом снеге ямку, толстое лицо со сломанным носом чуть покачивалось. Рука в перчатке упиралась в планки сиденья.

— Ах, здоровье — это прекрасно, — сказал сосед, не разжимая губ.

Я на всякий случай оглянулся еще раз — не стоит ли кто за скамьей. Никого... Прошлогодние листья чернеют на сером снегу, вдоль боковой аллеи журчит ручей.

— Вы мне говорите? — пробормотал я.

Сосед качнул шляпой сверху вниз, продолжая ковырять снег каблуком. В ямке уже проступила вода.

Еще несколько минут он смотрел на свои башмаки с ребристыми подошвами, а я разглядывал его, ожидая продолжения.

Черт побери, это был престранный человек! Лицо отставного боксера — сломанный нос, расплющенное ухо и одержимые глаза, сумасшедшие, неподвижные. Такие глаза должны принадлежать ученому или потерявшему надежду влюбленному. Я никогда не видел человека, менее похожего на того или другого — по всему облику, кроме глаз... А его слова? «Завидую вашему здоровью, это прекрасно...» А его поза, поза! Он сидел, упираясь ручищами в скамью, бицепс левой

руки растягивал пальто. Он как будто готов был встать и мчаться куда-то, но каблук мерно долбил снег, и уже талая вода ручейком уходила под скамью — в ручей на дорожке за нашими спинами.

— Вы нездоровы? — Я не выдержал молчания.

— Я недостаточно здоров, — он мельком посмотрел на меня, как обжег. И без всякого интервала спросил: — Болели чем-нибудь в детстве?

Я чуть было не фыркнул — такой тяжеловес заводит разговор о болезнях. Отвечая ему: «корь, свинка, коклюш», я думал, что он похож на Юрку Абрамова, мальчишку с нашего двора, который в детском саду уже не плакал, а в школе атамапил, и мы смотрели ему в рот. Юрке сломали нос в восьмом классе. Учителям он говорил, что занимается в боксерской секции, а мы знали — подрался на улице. Вообще-то все люди со сломанным носом будто на одно лицо.

— Сердце здоровое? — продолжал сосед почти безразличным тоном, но так, что я не мог отшутиться или сказать: «А вам какое дело?» Пришлось ответить полушуткой:

— Как насос.

— Спортсмен?

— Первый разряд по боксу, второй по рапире, футбол, плавание.

— Какие дистанции? Спринтер? Конечно, спринтер... — Он посмотрел на мои ноги.

В фас он был совсем недурен — в меру широкие скулы, лоб как шлем, только глаза меня пугали. Они буквально светились изнутри, выпуклые такие глазницы, и лоб карнизом.

— Курите?

— Иногда, а что?

Я вдруг рассердился и заскучал. Курите, не курите... Каждый тренер с этого начинает. Атаман... Мне захотелось уйти, холодно стало становилось под вечер. Я и не рассчитывал, что Наталья сейчас появится, она сказала, что придет, если удастся удрать с лекции, но вообще-то, наверно, не придет.

Я сказал: «Простите. Мне пора», — и встал.

Сосед кивнул шляпой. Из-под каблука летели брызги через всю дорожку.

— До свидания, — сказал я очень вежливо.

Длинноногая девчонка с прыгалками оглянулась на нас, пробегая по дорожке.

— Жаль, — сказал сосед. — Я хотел предложить вам кое-что любопытное.

Его нос и уши ясней, чем любая вывеска, говорили — что он может предложить. Я ответил:

— Спасибо. Я сейчас не тренируюсь. Диплом.

Он сморщился.

Я уже шагнул через лужу на дорожку, когда он сказал неживым голосом:

— Я имею вам предложить путешествие во времени...

Я с испугом оглянулся. Он сидел, не меняя позы.

— Путешествие во времени. В прошлое...

«В прошлое, значит, — думал я. — Вот оно — недостаточное здоровье...»

— Я не сумасшедший, — донеслось из-под шляпы. — Сумасшедший предложил бы путешествие в будущее.

Я сел на скамью, на прежнее место. Эта сумасшедшая логика меня сразила. Он явно был псих, теперь я видел это по его одежде — чересчур аккуратной, холодно-аккуратной. Все добротное, ношенное в меру, но вышедшее из моды. Наверно, жена следит за его одеждой, чтобы у него был приличный вид, только нового не покупает — донашивает он, бедняга, свой гардероб лучших времен. Такие пальто носили в пятидесятых годах и ботинки тоже. И шляпы, я помню, хоть был маленький, — шляпа как сковорода с ромовой бабой посредине.

Он скользнул по мне своими глазищами и как бы усмехнулся, но глаза оставались прежними.

— Я действительно редко бываю на улице. Вы об этом полумали? Недостаток времени, большое сердце... Послушайте, — он тяжело повернулся на скамейке, — мне действительно нужен совершенно здоровый человек для путешествия в двадцатое тысячелетие до нашей эры.

Сказал и уперся в меня своим необыкновенным взглядом. Исподлобья. Как гипнотизировал. Но это было уже ненужно. Я решил — пойду. Спортивная закалка подействовала — я испугался и хотел перебороть страх. И потом, все было очень странно.

За всем этим маячило приключение, его напряженная тревога звучала в шорохе шин за деревьями, в запахе солнца

и тающего снега, в размеренном крике вороны у старого гнезда. Зачем-то я спросил еще:

— Вы как, машину времени... построили?

Он ответил нехотя:

— Так, что-то в этом роде, но не совсем.

...Выходя с бульвара, он погладил по голубой шапочке девочку — она стояла, засунув в рот резиновый шнур от прыгалок. По-моему, она слышала наш бредовый разговор. Во всяком случае, она пошла за нами, мелко перебирая ножками, как пыленок-подросток, и отстала только на третьем перекрестке, у кондитерской. Здесь стояли телефоны-автоматы, и я спросил, надолго ли планируется это... путешествие, а то я позвоню, предупрежу дома, что задержусь.

Он сказал:

— Не беспокойтесь. Первый опыт на полчаса-час. Смотря в каких координатах вести отсчет.

Он шел по краю тротуара, засунув руки в карманы, с тем же отсутствующим видом, что на бульваре. Я заметил, что почти все прохожие уступают нам дорогу.

Около подъезда серого каменного дома он остановился и начал шарить в карманах, и как раз в эту секунду из подъезда выбежала девушка. Пальто нараспашку, кудрявая головка пренебрежительно поднята, на хорошеньком личике вдохновение обиды. Она что-то шептала про себя и вдруг остановилась, уставившись на тупоносые ботинки моего спутника. Он поднял плечи. На лице девушки уже не было обиды, но появилось такое явственное изумление, что я ухмыльнулся. Она вдруг махнула рукой, сорвалась с места и побежала дальше. Обтекавшая нас уличная толпа сейчас же скрыла ее, и мой странный спутник шагнул к подъезду.

Стоя плечом к плечу в тесном лифте, мы поднялись на шестой этаж. Когда стоишь совсем рядом с человеком, неудобно разговаривать. Приходится смотреть на всякие правила пользования или на стенку и помалкивать с чувством неловкости. В этом лифте около диспетчерского динамика было аккуратно нацарапано на стенке: «БАЛЫК». Прописными буквами. Почему — балык? Мне стало смешно, и вдруг я вспомнил. Он сказал: «Я был бы сумасшедшим, если бы предложил вам путешествие в б у д у щ е е».

Я стоял с улыбкой, застывшей на физиономии, и чувствовал с е б я сумасшедшим. Почему я поверил, зачем пошел? Ведь

я изучал теорию относительности, а там сказано, что путешествие в будущее — реально, а в прошлое — невозможно... Все наоборот... Вернуться в прошлое нельзя, потому что будущее не может влиять на прошлое. «Вот вам и балык, — я просто кипел от злости. — Когда ему откроют дверь, попрощаюсь и уйду. Все. Явный псих, конечно, явный».

— Дело в том, — сказал он, открывая дверь лифта, — что путешествие в будущее возможно на субсветовых скоростях. В космосе. Боюсь, что человечество никогда не достигнет субсветовых скоростей.

Лифт с ворчанием ушел вниз. Я покорно шагнул за ним в квартиру и позволил снять с себя пальто.

— Вытирайте ноги, — пробормотал он в сторону. — Мойте руки перед едой, — он засмеялся. Лицо у него стало, как блин — нос совсем приплюснулся. — Прошу...

Перед нами, как дворецкий, пошел черный кот, дрожа хвостом, изогнутым кочергой.

— Васька, ах ты, кот, — хозяин подхватил его на руки. Кот замурлыкал. — Прошу, прошу...

Теперь, в тесном пиджаке и узких брюках, он был совершенно похож на спортсмена. Грудная клетка просто чудовищная, как бочонок, — горилья грудь. Ботинки он как-то незаметно сменил на тапочки, и всем обликом выпирал из обстановки. Огромный письменный стол, кресла, книжные шкафы. Такой же кабинет я видел у нашего Данилина, профессора-сопроматчика, когда приходил к нему сдавать «хвост».

Мы сели в профессорские кресла, и хозяин снова замолчал. Кот сидел у него на коленях. Кот мурлыкал все громче и вдруг взревел хриплым басом: «Ми-а-а-у-у-у-у...» — рванулся с колен, умчался за дверь.

— Это Егор орет, Ваську пугает. Вот полюбуйтесть.

Между тумбами письменного стола была натянута проводочная сетка, и за ней, как в клетке, стоял котище, выгнув черную спину, и светил желтыми глазами.

— Егорущка, — сказал хозяин, — ты мой бедный...

— Уа-а-у-у, — ответил кот и зашипел.

— Это Васин близнец, — объяснил хозяин как ни в чем не бывало. Как будто в каждом доме гуляет на свободе по коту, а его близнеца Егора держат под столом в клетке. — Впрочем, познакомимся. Ромуальд Петрович Гришин.

— Очень приятно, — пробормотал я, — Бербенев, Дима.

— Дима, Дима... Я кого-то знал... Дима. Впрочем, это неважно. Хотите кофе?

— Нет. Спасибо, не хочется.

— Тем лучше, — сказал Гришин.

Если он хотел меня запугать, то добился своего. Я сидел, как мышь перед котом, и смотрел в его глаза. Оторвать от них взгляд было совершенно невозможно, и смотреть было невозможно — тоскливая жуть подкатывала к сердцу. Глаза светились напряжением мысли. Мучительно-напряженным спокойствием всезнания. Вот так. По-другому этого не объяснишь.

— ...Тем лучше. Последний вопрос, а затем я в вашем распоряжении. Вы студент-дипломник. Ваш институт?

— Инженерно-физический.

— Прекрасно. Общение облегчается. Теперь спрашивайте.

— Не знаю, о чем и спросить...

— Понимаю. Вы недоумеваете и ждете объяснений. Подумайте объяснения. Классическая физика говорит, что будущее не может влиять на прошлое. Вполне логично, как кажется, но формулировка недостаточно общая. В наиболее общем виде так: информация может перемещаться только по вектору времени, но не против направления вектора. Например. Если мы подставим взамен объекта, существующего в прошлом, некий объект из настоящего, но в точности такой же, то передачи информации не будет. Такая подмена соответствует нулевой информации — материальные предметы в точности соответствуют друг другу. Иначе... Иначе получается вот что... Наш материальный предмет — черный кот Егор. Двадцать тысяч лет назад не было котов черной масти. Были полосатые коты, короткохвостые охотники. Дикие или полудикие. Поэтому появление в прошлом вот... Егора или Васьки невозможно, это была бы информация из будущего. Если бы у нас имелся дикий кот — другое дело. Вы поняли?

Я ответил:

— Не понял.

Это было вовсе нечестно, только я не мог ответить по-другому. Он прежде всего подразумевал, что есть некий шанс проникнуть в прошлое так же запросто, как спуститься по лестнице с седьмого этажа на первый, и поэтому вся его дальнейшая логика теряла смысл. Проникнуть в прошлое...

Ведь прошлое прошло, на то оно и прошлое, деревья выросли и упали, люди и травы сгнили... Прошлое!

— Гранит, — сказал Ромуальд Петрович. — Кусок гранита лежит перед вами на столе. Этот кусок — неизменившееся прошлое. Он целиком из прошлого. Деревья умирают, но гранит остается...

С этим ничего нельзя было поделать. Он в десятый раз предупреждал мои возражения. Мне оставалось только пожать плечами.

— ...Но мы отвлеклись. Итак, Егор не может появиться в прошлом. Это не значит, что его нельзя отправить в прошлое. Неясно? Гм... Посмотрите на Егора получше. Вот лампа.

Я взял настольную лампу и нагнулся. Я ожидал увидеть черта с рогами, все что угодно, только не то, что я увидел.

На свету Егор оказался полосатым и короткохвостым. Крошечные кисточки торчали на ушах.

Я охнул. Егор зашипел и вцепился когтями в сетку. Я чуть не уронил лампу.

— Что это за зверь?

— Черный кот Егор, — отчетливо произнес хозяин. — Пятнадцатого февраля сего года он был перемещен в сто девяностый век до нашей эры. Через час он был возвращен в таком виде... вот. Бедный котище! В его системе отсчета прошло всего лишь двенадцать-семнадцать минут.

— До свидания, — в третий раз за последний час я прощался. — Я не люблю розыгрышей.

Хозяин грузно встал. Казалось, он не слышал моих последних слов. Слова отлетали от него, как теннисные мячи от бетонной стенки.

— Очень жаль. Впрочем... Не смею задерживать... Очень, очень жаль. А кот... Оттуда информация проходит беспрепятственно. Я не подумал, что генотип кошки изменился. Отличный не очень много — доли процента, в рамках мутаций. — Он бочком продвигался к двери, опустив голову.

Он, по-моему, окончательно примирился с моим уходом. Он даже хотел, чтобы я ушел поскорей, но черт дернул меня оглянуться на прощание.

На столе, рядом с куском гранита, лежал большой обсидиановый нож, каких много в музеях. Нож выглядел совершенно новым. Блестящий, со свежими сколами. К рукоятке прилип кусочек рыжей глины.

В два шага я подошел к столу и остановился, не рискуя взять нож. Действительно, он был совершенно новый, а не отмытый — глина губчатая, нерасплавившаяся. Полупрозрачное лезвие казалось острым, острее скальпеля. Первым делом я подумал — подделка. Хитрая, искусная подделка. И все-таки взял нож. Лезвие блестело тончайшими полукруглыми сколами, где покрупнее, где помельче, у кончика — почти невидимыми серпиками. Я посмотрел с лезвия — совершенная, идеально симметричная линия. Нет, теперешними руками этого не сработать. Не второпях такие вещи делаются...

Как бы отозвавшись на эту мысль, Ромуальд Петрович не то застонал, не то закричал. Мне показалось — нетерпеливо. Я повернулся. Он стоял посреди комнаты, с закрытыми глазами, опустив руки, и дышал, как боксер после нокдауна.

— Одну минуту, сейчас... — Не открывая глаз, он сел в кресло у стола.

Егор когтями рвал сетку, пытаясь добраться до его тапочек, непогашенная лампа светила среди бела дня, а я в полной растерянности смотрел, как Ромуальд Петрович негнущимися пальцами открыл бутылочку и выкатил из нее пилюлю. Глотнул — и снова стал дышать. Выдох, выдох, вдох — хриплые, тяжкие. Наконец он открыл глаза и проговорил с трудом:

— Сердце балует. Простите. Вы заинтересовались ножом? Это мой трофей. Оттуда. Три дня тому назад я был пять минут в прошлом. По этому будильнику.

— Ромуальд Петрович! — Я завопил так отчаянно, что проклятый кот зашипел и забился в угол. — Не разыгрывайте меня! Скажите, что вы шутите!

Он чуть качнул головой:

— Ах, Дима... Вы считаете меня сумасшедшим и взываете к моей искренности. Нелогично...

Я навсегда запомнил — пусть это банально или сентиментально, — только я запомнил на всю жизнь, как он сидел, опустив свои боксерские руки на стол рядом с ножом, и смотрел на маленькую картину, висящую чуть правей, над углом стола. Июльское небо с одиноким белым облачком, а под ним густо-малиновое клеверное поле и девочка в белом платье...

Он смотрел и смотрел на эту картину, а я уже не мог уйти и, наконец, потихоньку сел в свободное кресло, боком —

так, чтобы не видеть кота, навестившего прошлое, и нож, принесенный из прошлого.

Гришин повернулся ко мне, улыбнулся и вдруг подмигнул.

— Ждете объяснений все-таки?

— Жду.

— Попытаемся еще раз? Давайте. Дам прямую аналогию. Часто говорят: «Дети — наше будущее». Вы еще молоды, но для человека моего возраста дети — надежда на бессмертие. Потомки... Дети и дети наших детей... Теперь представьте себе, что в прошлом мы существуем как свои предки... Это одно и то же, по сути, то есть в будущем потомки, в прошлом — предки. Превращение в потомков — естественный процесс. Воспроизводство и смерть. Необратимо. А для обратного перехода нужны специальные приспособления, и процесс этот обратим. — Он засмеялся. — Честное слово, я сам еле верю. Опасная это находка! Помните, в Томе Сойере — песик нашел в церкви кусачего жука и улегся на него брюхом? Жук взял и вцепился в песика. Впрочем... Главное — обратный переход жизнь — смерть — жизнь. Понимаете?

Я пожал плечами — осторожничал.

— Скажем, так... каменный нож перемещается сквозь время без переходов жизнь — смерть — жизнь. Он сам — и предок и потомок. С живыми несколько сложнее, но и это удалось осилить. Ценой потери и убытков, но все же...

— Это Егор — потери и убытки?

— Вот, вот! — Он очень обрадовался. — Вот, вот! Наконец мы сдвинулись с мертвой точки! Оказывается, двадцать тысяч лет назад предок наших кошек был еще диким. Может быть, полудиким, но еще зверем. Полосатым, хищным и все прочее. М-да... Первый опыт. Я не умел еще, знаете, все так сложно. Первые шаги... Я вернул его на экспресс скорости и забыл, что информация из прошлого проходит беспрепятственно. Знаете что интересно? Он кое-как помнит меня, а Ваську помнит хорошо. Он злится из-за вас, Егорушка, бедняга, бедный кот! Вернулся полосатым, бедняга...

Кот мурлыкнул и, как бы спохватившись, провыл: «У-у-у!»

— Видите? Раздвоение личности. Теперь-то я научился возвращать как нужно...

Я ждал, что он добавит: «как видите», и ошибся. Наверно, он решил не ссылаться на свой опыт, пока я не поверю окончательно.

Я посмотрел на его затылок в коротком ежике, могучие руки, горилью грудь и подумал... Дурацкую мысль я подумал, голова моя шла кругом от всех этих вещей.

— Ромуальд Петрович, я хочу спросить. Двадцать тысяч лет тому назад человек был тоже другой, как же получается? Если вы там были...

— Почему я не синантроп? — Он рассмеялся не оборачиваясь. Не много было веселья в этом смехе. — Дело в том, что вид гомо сапиенс существует семьдесят тысяч лет. А вид сапиенс — это вид сапиенс, Дима. Мозг не изменился, практически ничего не изменилось. Другой вопрос — как сумел дикий обезьяно-человек приобрести такой мозг, вот загадка... Впрочем, это к делу не относится. Человек не изменился. Возьмите, Дима, на второй полке снизу красный том Вилли «Парадокс мозга», страница двести семь, просмотрите. Или любую книгу этого ряда.

— Нет, нет, я верю. Значит гомо сапиенс?

— Рассудите сами. Человека отделяют от того времени всего четыреста-пятьсот поколений. Он не успел измениться — в эволюционном смысле.

— Извините, — сказал я, — а как же индивидуальные качества — внешность, привычки, ну, образование? По этому закону — влияния прошлого на будущее?..

Он вдруг запел потихоньку: «Не пробуждай воспо-ми-на-а-ний минувших дней, мину-увших дней», — и полез в стол.

— Молодец, молодец, — он удовлетворенно кивал головой, копаясь в ящике. — Придется показать, придется... Вот, нашел! «Не возродить бы-лых жела-а-ний...» — запел он снова.

У меня в руках была фотография. Бравый сержант в фуражке с кокардой глядел перед собой, выкатив могучую грудь, украшенную орденами Славы. Сломанный нос победительно торчал над густыми усами.

— Очень интересно, — я положил фотографию на стол. — Вы участник Отечественной войны?

Пение оборвалось.

— О господи! Как вы смотрите? Это что такое? — Теперь он говорил со мной по-новому, без осторожности, как со своим.

— Вот, вот это? — Он ткнул пальцем. — Это «Знак военного ордена», «георгий». Мой дед был кавалером полного бан-та георгиевского креста.

— Ваш дед? Маскарад... Это же вы!

— Конечно, я... — Он насмешливо фыркнул. — Смотрите. Как следует смотрите.

Я принял картонку из его руки. Картонка, конечно! Как я не заметил сразу? Плотный картон цвета какао, виньетка и надпись: «Фотография Н. Л. Соколовъ. Смоленскъ».

— Смотрите на обороте...

Я прочел: «Урядникъ Никифоровъ Гришинъ, 19 22/III 06 г.». Потрясающее сходство!

Он снова фыркнул, пробормотал что-то и вынул из кармана бордовую книжечку. Пропуск.

— Раскройте!

«Гришин Ромуальд Петрович»... Печать. Все правильно.

Но фотография была не та — довольно щуплый интеллигентного вида человек в очках, молодой, чем-то похожий на моего хозяина, но явно не он — только лоб и глаза похожи. Другой подбородок, скулы... И уши не расплющены, они торчали себе в разные стороны, и нос не сломан...

— Не пойму я вас, — сказал я со всей доступной мне решительностью. — Зачем-то вы меня морочите... Вы-то кто? Вы не Гришин, на документе совсем другой человек. Кто вы?

— Гришин. Ромуальд Петрович. Врач-психиатр, с вашего разрешения.

— Не верю.

— Как хотите. Кто ж я, по-вашему?

— Я хочу это выяснить. Почему вы себя выдаете за другого?

— Ах, Дима, Дима! Фотография деда заверена казенной печатью. Какой-то там казачий полк. Он — Гришин, как по-вашему? Сходства вы не отрицаете?

— Не верю, — сказал я. — Подделка.

— Пагубная привычка, — сказал он тихонько, — верить документу больше, чем человеку. Губительная привычка. Как следствие — ничему вы не верите, даже документу...

Я пропустил это мимо ушей и задал главный вопрос:

— Зачем вы это все затеяли? Отвечайте! Только бросьте притворяться психом!

Я приготовился сбить его с ног, если он попытается вскочить и броситься на меня. Он был тяжелей меня, зато я моложе лет на двадцать и в отличной форме. Я твердо решил: не дать ему даже обернуться.

И опять он отбил мою мысль. Так вратарь отбивает мяч — еще с угла штрафной площадки. Он сказал:

— Дима, я не собираюсь нападать на вас. Оружия не имею. Вот мои руки, на столе.

— Почему вы читаете чужие мысли? Кто...

— Мне позволил? Все правильно. Боже правый, вы мне позволяете, кто же еще? Стереотипно вы думаете, и у вас все написано на лице. От физика я ждал большего... м-м... большей сообразительности. По логике детективного романа я должен теперь попытаться вас убрать — так, кажется?

— Ну, так...

— Вас плохо учат в вашем институте, — сказал он свирепо, — логике не учат! Таким, как на пропуске, я был до опыта, — он поднял пропуск за уголок. — Таким, понимаете?

Я вздрогнул — пропуск упал на стол и закрылся со слабым хлопком, а Ромуальд Петрович вдруг пробормотал что-то неразборчивое и жалобное и оглянулся. Глаза смотрели, как из маски.

Вот когда я пришел в настоящий ужас. Так было со мной на маскараде в детском саду. Ощеренные волчьи маски прикрывают милые привычные лица, и надо напрячься и сжать кулачки, чтобы увидеть эти лица, а кругом волки, лисы, зайцы косоглазые...

Живая маска шевелилась вокруг беспомощных глаз... Я вскрикнул:

— Нет!

Он опять смотрел на картину. Девушка среди клеверов под широким небом. Он ответил:

— Пугаться не надо. Мой опыт, мой риск. Как видите; предлагая вам опыт, я ничего не скрываю.

— Нет, я не пойду...

— Страшно?

Я молчал.

— Понимаю вас. Конечно, страшно. Теперь безопасность гарантирована. Я нашел метод возврата — после случая с Егором. Уже Васяка возвращался дискретными подвижками во времени... Шагами, понимаете? По всей лестнице предков. Получилось хорошо. Кот как кот. Вы видели. Затем я изготовил большой браслет и пошел сам, но кончилось это нехорошо... В нашем роду сердечные болезни — наследственные...

Он все смотрел на картинку. Может быть, его дед любил

эту девушку... или отец? Может, это была совсем чужая девушка? Не знаю...

— Видите ли, Дима. При движении время размыто, как ппалы, если смотреть из вагона на ходу. Какие-то микросекунды я был одновременно во втором поколении, и в первом, и в нулевом, своем. Надо было случиться, чтобы именно внутри этих микросекунд у меня начался сильный приступ, с судорогами, и я упал с кресла и оборвался браслет. Процесс остановился. К счастью, это коснулось лишь внешности... — Он коснулся ладонью своего изувеченного уха. — Я никогда не занимался боксом. Никогда. Дед Никифор был цирковым борцом и боксером.

Я спросил идиотски:

— Как же на работе? Вас узнали?

Он положил ладонь на грудь:

— Какая теперь работа!.. По моим подсчетам, мне осталось... немного. Это дело успеть бы кончить, и все.

Он встал, массивный, как бегемот, и поднял полы пиджака.

— Смотрите, Дима... У меня нет времени, чтобы купить новую одежду.

Рубашка, та самая, что на пропуске, была на спине неаккуратно разрезана и разошлась, открывая голубую майку.

Стоя передо мной с задраннм пиджаком, он прохрипел:

— Сердце не выдержит опыта. Нагрузка на сердце изрядная. А вы здоровый человек, Дима.

Я не мог теперь поверить, что он врет, что он не Ромуальд Гришин, а кто-то другой, который украл его одежду и его пропуск. Нет, здесь все было не просто, и его тяжкое дыхание было настоящим, не сыграешь такого. Глядя, как он усаживается на свое место, я ощущал тоскливый страх, как после непоправимого несчастья. Зачем я назначил Наташе свидание, она ведь занята, зачем назначил свидание не в кафе, а на бульваре, зачем стал с ним разговаривать, зачем, зачем... Мне было стыдно — так мелко выглядела моя беда рядом с его бедой. Я ведь могу сейчас повернуться и пойти, куда хочу.

И все-таки трусость сдвинула меня на прежнюю дорожку мысли, и я пробормотал с последней надеждой:

— Они умерли. Все они умерли. И похоронены, — прибавил я зачем-то. Так было надежней. — Умерли и похоронены.

— А звезды, — спросил человек за столом. — А звезды —

они тоже умерли? А невидимые звезды, сжимающиеся пятнадцать минут по своему времени и миллионы лет по-нашему, — они тоже похоронены? Ленин — умер? Эйнштейн — похоронен? Толстой? Кто же тогда жив? Генерал Франко?

Он ударил по столу двумя кулаками и спросил, перекрывая своим басом звериный вой, рвущийся из-за сетки:

— Чему вы верите, вы, физик? Каким часам? Коллапсирующая звезда существует пятнадцать минут, и она будет светить, когда Солнце не поднимется над земной пустыней! Через миллионы лет! Чему вы верите?

— Я не знаю! — прокричал я в ответ. — Я не ученый! Что вы от меня хотите?

— Чтобы вы поверили.

— Чему?

— Прошное рядом с настоящим. Во все времена.

— Но его нельзя вернуть!

— Тихо, Егор! — крикнул Гришин.

Кот притих. Гришин выбрался из-за стола и утвердился, как монумент, посреди комнаты.

— Вернуть прошлое нельзя. Можно узнать о прошлом, что я и предлагаю. Это вполне безопасно. С вами аварий не случится, вы здоровы. Решайтесь, наконец, или уходите. Я тоже пойду — искать другого.

— А-а... — У меня вдруг вырвалось какое-то лихое восклицание вроде «А-а-а!» или «У-у-ух!». Такое бывает, когда несешься с горы на тяжелых лыжах, накрепко примотанных к ногам ремнями.

— А-а! Даем слалом во времени! Даем, Ромуальд Петрович!

— Даем! — Гришин хлопнул меня по плечу. Это было здорово сделано — я плюхнулся в кресло, а он стоял надо мной и улыбался во все лицо.

...Перед «спуском во Время» я попил кофе. Ромуальд Петрович принес кофейник и маленькие чашечки, но я попросил стакан, намешал сахару и стал пить, а Гришин объяснял в это время, какие блокировки меня страхуют.

— Два браслета-индуктора, Дима. Основной и дублер. Сигнал возврата подается от двух часов, переделанных из шахматных, — вот они, тикают. Завожу и ставлю полчаса. Хватит? Там время сжимается...

— Давайте побольше, — сказал я.

Как мне стало хорошо! Я преодолел страх, я почувствовал себя таким значительным и мужественным! Подумаешь — набить морду хулиганам или скатиться с крутого Афонина оврага — чепуха, детские забавы. Я сидел таким космонавтом перед стартом, пил крепкий кофе и думал, как будет потом, и что, наконец, есть такое дело, и можно себя испытать всерьез. А Гришин здорово волновался, хотя тоже не показывал виду. Когда я уже сидел в кресле с браслетами на руках, он принес кота Ваську и, тиская его в ручищах, сказал, что кот только вчера уходил в прошлое.

— Как видите, благополучно... Ну, счастливо, Дима. Вы храбрый человек.

Я не смог улыбнуться ему — трусил. Я ощущал на запястьях теплые браслеты, и вдруг они исчезли, ощущение жизни исчезло, я задохнулся, как будто получил удар в солнечное сплетение... Молот времени колотил меня в самое сердце, и в смертном ужасе я подумал, что забыл спросить, как выглядит тот, кто ушел во Время.

...Чужой. Запах чужой. Небывалый.

Лежу. Кричит птица, ближе, ближе. Слетела с гнезда. Запах чужой, ужасный. Лежу в больших листьях. Один. Со лба капает.

Страшно.

Ветер дует от них. Они подходят, много их. Чужие. Идут тихо, как Большезубый. Вышли, огляделись. Идут. Прячутся от Великого Огня. Идут. По краю болота. Запах сжимает мой живот.

Идет охотник. Еще идет охотник. Еще. Их много. Но пальцев на руке больше. Несут рубила. Как мы. Но запах чужой. Ужасный. Вода капает со лба, пахнет, но ветер дует от них. Не учуют.

Вожак прыгает, бьет рубилом. Убил змею. Запах очень сильный. Боятся. Боятся змей, как мы. Запах сжимает мой живот.

Проходят. Запаха нет. Ползу за ними. Лук волочу по листьям.

Чужого надо убить. Чужих надо убить. Чужие страшнее змей, ночи и Большезубых. Они пахнут не так, как мы. Надо убить. Одному нельзя, их много. Свои не слышат меня. Далеко.

Догнал. Чужие сидят, притаились. Оглядываются. Вели-

кий Огонь покрыл их пятнами. Ложатся. Вожак сидит, оглядывается, нюхает. Чужой. Мы так не нюхаем. Мы поднимаем голову.

Я лежу в болоте. Отрываю пиявок. Лук лежит на сухих листьях. Чужой нюхает ветер, в бороде рыбки кости. Борода как ночной ветер. Черная борода была у Паа. Отцы убили Паа, он что-то делал так, что по стене бежали лесные. Маленькие: брат Большерогий, но маленький. Он бежал и не бежал. На стене. И братья Носатые на стене. Отцы убили Паа. Сказали — это страшно. Из пещеры ушли. Оставили лесным пещеру.

Трещит. Чернобородый чужой ложится. По лесу идут Носатые братья. Идут пить воду к реке. Проходят так, как сделал Паа на стене. Впереди большой-большой-большой. Лес трещит.

Я ползу назад, в маленькую реку. Бегу по воде. Запах чужих бежит за мной. Чужих надо убить. Они чужие — поэтому. Вот пещера. Отцы сидят за камнями. Держат луки, оглядываются. Бегу по камням. Вижу, что матери и сестры скрываются в пещере. Мне хорошо. Они — свои, они меня слышат. То, что я говорю внутри себя, когда мы близко. Старик Киха и старшие матери бьют маленьких, гонят в пещеру. Маленький брат Заа отрывает пиявку от моей ноги, ест. Наша мать гонит его в пещеру.

Беру стрелы. Женщины закрывают вход камнями. Становится темно, как перед смертью Великого Огня. Сестра Тим трогает меня, страх проходит. Я говорю: «Сейчас нельзя, мы бежим убивать». — «Можно». Она наклоняется, я хватаю ее крепко. Мать Кии бьет меня ногой. Бьет Тим. Мужчину бы я убил рубилом, но Кии тронуть не могу. Тим воет в углу, как самка Большезубого. Дети визжат. Старик Киха шипит, как змея: «Молчите! Чужие!»

Бежим по воде. Там, где вода падает, выбегаем в лес. Пкаап-кап с братьями бежит дальше, к болоту. Пкаап-кап — шестипалый. Он очень могуч. Мать Кии не дала мужчинам его убить. Шестипалого надо было убить. Хорошо, что его не убили.

Ветер приносит запах чужих. Выбегаем из больших листьев — нас очень-очень много. Выбегаем. Чужие вскакивают, кричат визгливо, как птицы. Быстро бегут, рубила на плечах. Очень быстрые ноги у чужих. Но Юти кричит: «И-ха-а-а!»

Много стрел. Вожака догоняют стрелы, он бежит. Другие падают. Вожак дергается, вынимает из себя стрелу. Смотрит. Падают. Борода поднялась к Великому Огню. «И-и-ха-ха-а!» — кричит Юти.

Я бегу и занову рубило над вожакон и вижу, как наши бьют и кромсают рубилами, но что-то сдавливает мою грудь, я как со стороны и сквозь мглу вижу серое рубило, которое падает и висит над чернобородым, а он воет, как сова, и вот уже все, вот, вот...

...Я сидел в мягком, я дрожал и задыхался от лютой боли в груди и бедрах. Это было кресло, это снова было теперь, и на руках браслеты, а горло сжимает галстук. Что-то прыгало в груди, как серый камень. Извне доносился голос, знакомый голос и знакомый запах, но я не разбирал ничего.

Потом я встал. Боль отпустила, так что можно было дышать и открыты глаза, и я вдохнул запах настоящего — пыль, бензин, кошачья шерсть — и увидел блестящую решеточку микрофона и белое безволосое лицо и не узнал его. Чужой стоял передо мной, сжимая прыгающие губы, и подсовывал мне блестящий предмет, который — я знал — называется микрофоном. Чужой всматривался, что-то бормотал успокоительное. Непонятное. Чужое.

Я стоял и следил за болью, как будто нас было двое. Я — тот, который знает слово «микрофон» и многое другое, ненужное сейчас, и следит за вторым «я», которое не знает ничего, только боль и ужас, знает и готово убивать, чтобы защитить свою боль и свой ужас.

— Дима, что с вами?

Я хотел ответить. Но второй во мне прокричал: «Ки-хит-хи!» — непонятный крик боли и страха. Безволосое лицо отшатнулось, и моя рука поднялась и ударила. Лицо исчезло.

Это было ужасно. Бил второй, тот, кто воплощался в боль, но удар нанесла моя рука, тяжелый апперкот правой в челюсть, и я понимал, что счастье еще — боль не позволила поднять локоть как следует, и удар получился не в полную силу.

...Человек хрипел где-то внизу, у моих ног. Боль отхлынула, как темная вода. «Его зовут Ромуальд», — вспомнил один из нас, а второй опять крикнул: «Ит-хи!», и я понял: «Чужой».

Чужой лежал на полу и хрипел.

Я наклонился к белому лицу. Сейчас же боль вспыхнула, как недогоревший костер, но Я уже боролся. Тот, другой, хотел ударить лежащего ногой в висок, но я отвел удар, нога попала в сетку. Заорал полосатый кот.

Я назвал его по имени: «Тща-ас». Выпрямился. Боль отпустила, когда я выпрямился. Чтобы помочь Ромуальду, нужно было еще раз нагнуться, но я уже знал — боль только и ждет. Боль и то, что приходит с болью, — второе Я.

Ни за что. Я не мог наклониться. Ромуальд лежал на полу — микрофон в одной руке, браслеты в другой. Он перестал хрипеть, и я как будто обрадовался и сейчас же забыл о нем.

Из-за моей спины, от прихожей, потянуло новым запахом. Я замер. Не оборачиваясь, ждал.

...Звонок прозвенел в прихожей. Коротко, настойчиво. И запах стал сильнее и настойчивее. Я оттолкнул кресло, прокрался к двери. Черный кот метнулся в темную яму коридора.

Я, теперешний, протянул руку в нейлоновой манжете и отвел вправо головку замка-щеколды, но только тот, из прошлого, длиннорукий убийца, знал, зачем я это делаю. Из-за двери шагнула девушка. Та самая, кудрявая тоненькая гордячка. Она посмотрела на меня. Своим непонятным взглядом, из своего мира взглянула на меня и как будто приобщила к чему-то, и я выпрямился совсем, вздохнул и подумал с удивлением — как он мог распознать запах женщины, выделить его из смешанного букета пудры, мыла, синтетической одежды? Из-за толстой двери, среди бензинной городской вони...

— Здравствуйте, — надменно и со стеснением проговорила девушка. — Мне нужен товарищ Гришин.

...Под пальцами затрепал косяк — длиннорукий увидел ее шею и угадал под блузкой острые соски. Она еще смотрела на меня, ожидая ответа, и вдруг глаза перепрыгнули раз, другой, она отступила на шаг и запахла пальто. Сумочка мотнулась на руке.

Косяк гнулся и отдирался от дверной рамы. Я стоял, набычившись, весь налитый дурной кровью, и слышал, что думает девушка. «Я тебя не боюсь. Не боюсь. Нет. Не боюсь все равно! — выкрикнула она про себя, и сразу за этим: — Ма-мочка... Что он сделал с Ромой?»

...Там что-то металось. Там говорило десятками голосов и мелькали выкрики, подобно ветвям под ветром на бегу

сквозь лес. Он рванулся вперед, чтобы схватить ее, прижать к своей боли, но Я стоял, висел на сжатых пальцах, а девушка поправила сумочку и спросила, раздельно выговаривая каждое слово:

— Где Ромуальд Петрович?

Сейчас же из кабинета раздалось:

— Он здесь больше не живет!

Девушка вспыхнула бронзовым румянцем. Повернувшись, застучала каблучками по лестнице. Я потянул на себя дверь и привалился к прохладному дереву. Пиджак и рубашка прилипли к телу, я весь горел, но ощущал несказанное облегчение. Все. Я сломал его все-таки. К чертовой бабушке, я его одолел...

— Дверь плотно закрыли? — вполголоса спросил Гришин. Я кивнул, не двигаясь с места. — Закрыта дверь? — Он начинал сердиться.

— Закрыта...

— Идите-ка, сделаю вам анализы.

Он все-таки был железный. С распухшей скулой он возился около стола — устанавливал микроскоп, раскладывал трубочки, стеклышки как ни в чем не бывало. Я сел в кресло, вытянул ноги. Все было гудящее, как после нокдауна. Тонкая боль еще скулила где-то в глубине. Ах, проклятая!.. Не давая себе разозлиться на Гришина и на всю эту историю, я смиренно извинился:

— Простите меня, Ромуальд Петрович.

— Пустое. Мы с вами квиты, — он потрогал скулу, подвигал челюстью, искоса поглядывая на меня.

Я закрыл глаза, собрался с духом.

— Зеркало у вас найдется?

Он не удивился. Я слышал, как он выдвигает ящик стола.

Трудно было открыть глаза. Трудно было повернуть круглое зеркало и ввести свое лицо в рамку. Но это оказалось мое лицо. Настоящее мое, крупное, круглое, только зеленое, бледное.

Гришин, не двинув бровью, спрятал зеркало обратно в ящик — вниз стеклом — и толчком задвинул ящик. С ненавистью.

— Руку дайте. Левую. Отвернитесь!

Я отвернулся. Гришин делал анализ крови — мямл мой безымянный палец, высасывал кровь. Я не смотрел. Через

некоторое время я заговорил с ним, чтобы отвлечься, — мне казалось, что тошнотворный запах крови заполняет всю комнату.

— Вы ни о чем не спрашиваете, Ромуальд Петрович?

— Не нужно мне. Я врач. Прошрое меня не интересует, — он выпустил мою руку и отвернулся к микроскопу.

Я с трудом сдерживался — боль поднималась снова. Ее разбудил запах крови. Анализы, стеклышки, треклятые выдумки...

— А что вас интересует?

— Реакция психики, — невнятно ответил Гришин. — Совпадение реакций.

Опять я вцепился руками, на сей раз в подлокотники кресла.

— Окно откройте. Скорей.

Он пробормотал:

— Конечно, конечно...

Стукнули рамы. Я жадно дышал, выветривая, выдувая боль. Дышал так, что трещали ребра.

— Успокойтесь, — сказал Гришин, — скоро придете в норму.

Все плыло, подрагивало, дрожало. Густая каша звуков и запахов лезла в окно. Запах мыла и девичьего пота еще не выветрился из прихожей. Какой-то непонятный дух шел от обсидианового ножа, лежащего почему-то рядом с микроскопом.

— Успокойтесь, все пройдет. Кровь в норме. Все пройдет. Поспите часок, и все пройдет. Вы хотите спать?

— Я не хочу спать.

— Вы хотите спать. Вы уже засыпаете. Засыпаете. Глаза закрываются. Вы о ч е н ь хотите спать.

— Поговорим, — не сдавался я. — Мне и вправду захотелось спать, но мы поговорим сначала...

...Я сидел с закрытыми глазами. Боль теперь стихла, но я боялся, что она еще может вернуться. Время стало сонным и длинным, как затянувшийся зевот. Мы говорили. Начистоту, как во сне.

«Вы тоже испытали это?» — «Да, было и это». «Что же теперь?» — «Дима. Теперь вы забудете обо мне». — «Боюсь, что не смогу». — «Придется забыть. Это моя просьба. Категорическая просьба». — «Категорических просьб не бывает». —

«Неважно. Придется забыть». — «А если я не послушаю вашей просьбы?» — «Послушаете. Вы хороший парень». — «Странный довод». — «Нисколько. Раскрою карты. Опыт ставился с одной целью — проверить психологическую реакцию. Вы подтвердили мои опасения достаточно весомо. Пробуждаются воспоминания, худшие воспоминания, атавистическая жестокость. Иногда мне кажется, что палачи и убийцы давно владеют моим секретом. Это изобретение бесполезно. Вредно. Следовательно, человечеству не надо знать о нем, и вы забудете. Навсегда».

— Неправда, — возразил я. — Вы говорили недавно о Ленине, об Эйнштейне. Ведь они тоже в прошлом, их можно навестить, узнать... Вы противоречите самому себе.

— Нисколько, — сказал он. — Нимало. Такие люди опережали свое время, они здесь и долго еще будут с людьми. И вот что еще. Они были совсем недавно. Вчера. Час назад. Сию минуту. Мой аппарат работает в настоящем прошлом — может быть, через тысячелетие кто-нибудь сумеет вернуться к Эйнштейну и поговорить с ним. И кто знает! Нашему счастливому потомку великий Альберт покажется жестоким старцем и не слишком умным к тому же...

— Чепуха, — сонно сказал я. — Ой, чепуха!..

— Все изменяется, — сказал Гришин. — Все изменяется. Вы обещаете молчать?

— Если нужно...

— Нужно. Теперь идите спать. Идите за мной.

Я встал, с трудом разлепил веки. Уронил со стола чашечку из-под кофе. Посмотрел на кота Василия, чинно сидящего у двери. Кот мусолил морду согнутой лапой. Было слышно, как внизу автобус, урча, тронулся от остановки, потом заскрежетали переключаемые шестерни, и звонкий гул двигателя стал быстро удаляться по сумеречной улице...

Придерживая за руку, Гришин провел меня по коридору и уложил на диван в маленькой прохладной спальне. Совсем уже сквозь сон я пробормотал:

— Что за девушка приходила? Храбрец девушка... Мне надо проснуться через час, не позже...

— Разбужу, — сказал Гришин и закрыл дверь. Я заснул.

...Я сел на диванчике. Было совсем темно, тихо. Из форточки пахло тающим снегом, я немного замерз — с темнотой, наверно, похолодало. Я посмотрел на часы — прошел час,

почти точно. Улегся в десять минут восьмого, проснулся в четверть девятого. Молодец. Мысленно я ругнул Ромуальда: обещал разбудить и забыл, а я мог проспать. Домашних-то я не предупредил, волнуются, наверно... Кроме того, Наташка уже дома. Надо бы ей позвонить, Наталья-Сергеевне. С этой мыслью я открыл дверь кабинета.

Лампа горела на краю стола, и мне сразу бросились в глаза волосатая ручища Гришина, спокойно лежащая на подлокотнике кресла, и осколки разбитой чашки, белеющие на полу. Подойдя ближе, я понял, что разбита еще одна чашка и, кроме того, рассыпаны пилюли из бутылочки. Я видел все это, как последовательные кадры в кино — руку, браслет на руке, потом осколки чашек, пилюли, бутылочку. Наверно, я не совсем проснулся, потому что не сразу связал все воедино и не тотчас понял, что произошло. Когда я нагнулся и увидел, что Егора нет под столом, а красавец микроскоп валяется на полу со свороченным окуляром, меня как обухом по голове стукнуло, и я кинулся к Гришину.

Его лицо в тени зеленого абажура было мертвенно зеленым. Левая рука в браслете лежала на кожаном подлокотнике, а правая сжимала рукоятку обсидианового ножа. Лезвие, перерезавшее двойной провод браслета, ушло в набивку подлокотника сбоку, над самым сиденьем. Рука была еще теплая. Нож зашуршал в кресле, когда я попытался найти пульс на правой руке.

Пульса не было.

Второй браслет висел на спинке кресла и свалился оттуда, куда я пытался найти пульс на тяжелой руке. Потом я увидел записку под лампой.

«Дорогой Дима! Меня прихватило, конец. Пытаюсь уйти туда. Провод перерубится, когда потеряю сознание. Вызовите «Скорую помощь». Вы привели незнакомца с улицы, больного. Напоминаю: вы обещали молчать. Снимите браслет и спрячьте нож. Очень прошу. Прощайте. Телефон в соседней комнате».

...Вызвав «Скорую», я вернулся в кабинет и несколько минут сидел в полном оцепении и поднялся, лишь услышав булькающий вой сирены. Зажмурившись, я сдернул браслет и с облегчением увидел, что вторая рука соскользнула с ножа. Я положил нож в боковой карман, а браслеты замотал в провода. Они тянулись с подоконника, из-за шторы. Там

стояла маленькая коробка наподобие толстого портсигара. И все. Я приподнял коробку и убедился, что она ни к чему больше не подключена — ни к часам, ни к какому аккумулятору, просто глухая белая коробочка с двумя проводами и браслетом.

Сирена завывала снова, продвигаясь по улице все ближе. Я перегнулся через подоконник и увидел, как карета медленно едет по темной улице, вспыхивая «маячком», и автобус стоит на остановке, а прожектор кареты шарит по стенам домов, и прохожие останавливаются и смотрят вслед. Сирена смолкла. Было слышно, как водитель автобуса объявил: «Следующая... Максима Горького...» Луч прожектора уперся в стену под окном и погас. Карета резко повернула, остановилась у тротуара. Тогда я затолкал коробочку в наружный карман пиджака и пошел в переднюю, не оглядываясь больше.

... — Паралич сердца, — сказала девушка. Она была совсем молодая, чуть постарше меня.

Два парня в черной форме «Скорой помощи» вошли следом за ней, не снимая фуражек. Один стоял с чемоданчиком, а второй помогал врачу.

Они хлопотали еще несколько минут — заглядывали в лицо, слушали сердце, потом врач сказала: «Бесполезно. Он уже остыл», и парень с чемоданчиком спросил:

— Вы родственник?

Я ответил:

— Нет. Он... Я привел его с улицы. Помог...

— Ваша фамилия, адрес.

Я сказал.

— Вам придется дожидаться милиции.

— Хорошо, — сказал я.

Но врач посмотрела на меня и приказала:

— Пусть идет. Идите, натерпелись ни за что. Глеб Борисович, вызовите милицию. — Она все еще держала Гришину за руку.

— Спасибо, — сказал я. — Телефон в комнате за стеной.

Из прихожей я услышал голос парня с чемоданчиком:

— Сейчас, доктор. Похоже, сердечника я этого видел в Первой психиатрической...

Я дернул с вешалки пальто, спустился по лестнице и, не оглядываясь, прошел мимо кареты. Мне показалось, что на-

против дома стоит кудрявая девушка и рядом еще девчонка с прыгалками, но чем тут поможешь? И я не остановился. Побрел домой, машинально сворачивая там, где нужно, переходя площади и улицы, и как будто слышал: «Не пробуждай воспоминаний минувших дней — минувших дней». Наверно, я бормотал эти слова — около кинотеатра «Гигант» от меня шарахнулись две девицы в одинаковых ярко-красных пальто.

Мама открыла мне дверь, побледнела и спросила: «Нокаут?» У нее постоянный страх, что меня прикончат на ринге. Я ответил:

— Все в порядке. Устал немного, и все.

— Наташа звонила два раза, — сказала мама, погладила меня по руке и пошла к себе, оставив меня в коридоре, у телефона.

Было ясно, что если я не позвоню Наташе сию минуту, мама встревожится всерьез, и будет много разговоров. Я набрал Наташин номер, хотя чувствовал, что не надо бы этого делать, потому что «Не пробуждай воспоминаний» иссверлило мне всю голову.

— Слушаю... — сказала Наташа. — Слушаю вас, алло!

— Это я, Наташенька.

Она замолчала. Я слышал, как она дышит в трубку. Потом она проговорила:

— Никогда больше так не делай, никогда. Я думала... я думала... — и заплакала, а я стоял, прижимая трубку к уху, и не знал, что сказать, но мне было хорошо, что она плачет и я наконец-то дома.

Я дома. И на короткую секунду мне показалось, что ничего не было, что все привиделось мне, пока я сидел на бульварной скамейке, и опять все как прежде — телефон, Наташа и желтый свет маленькой лампочки в коридоре. «Все как прежде», — сказал я мимо трубки и тут же услышал слабый удар об пол — внизу, рядом с левой ногой.

Обсидиановый нож прорезал карман и упал, вонзившись в пол, и, увидев его грубую рукоятку, я почему-то понял еще кое-что. Если все, что было и говорилось, было, не гипноз, не бред гениального параноика, тогда я понял. Почему он молчал о своем прошлом, почему не сказал ничего — как достался ему обсидиановый нож, почему я тогда, в кабинете, после возвращения, ощущал смутный, скверный запах от но-

жа. Это было так же, как если бы я принес из прошлого свое рубило, но как он принес нож? Что он делал этим ножом?

Наташа сказала: «Ох, и рева же я...» — и как обычно завела речь о своих институтских делах и подруге Варе, а я потихоньку опустил руку и потрогал в натянутом кармане провода и коробку. Если это не гипноз, что тогда? Все-таки удивительно — почему коробка никуда не включается? Вот так дела — никуда включать не надо...

Я глубоко вздохнул и подобрался, унимая легкую дрожь в спине и плечах. Так бывает в раздевалке перед выходом на ринг — дрожь в плечах и мысли медлительны и ясны. Наташа щебетала и смеялась где-то на другом конце города.

Я положил трубку.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПАРОДИИ



РОБНИКИ

Заседание ученого совета окончилось поздно вечером, и теперь старый профессор медленно шел по тихим институтским коридорам. Кое-где в лабораториях еще горел свет, и за матовыми стеклами мелькали тени студентов и роботов.

В сущности, вся жизнь старого профессора прошла в этом здании. Учился, преподавал, затем стал директором... Наверное, когда-нибудь институт станет носить его имя, но профессор надеялся, что это случится не так скоро...

Он шел и думал о том споре, который опять разгорелся на ученом совете. Спор этот возникал не в первый раз, и, по-видимому, кто прав и является ли то, что происходит сейчас со студентами, всего лишь модным увлечением или это нечто более серьезное, могло решить только время.

Профессору очень хотелось, чтобы это было просто очередной причудой.

Трудно сказать, когда и как это началось. Примерно лет пять назад. Вначале это нелепое стремление студентов во всем походить на роботов только смешило и раздражало. Молодые люди, называющие себя робниками, стали говорить о себе, как о кибернетических устройствах: «Сегодня я запрограммирован делать то-то и то-то», «Эта книга ввела в меня примерно столько-то единиц новой информации...»

Потом они научились подражать походке и угловатым движениям роботов, приучились смотреть, не мигая, каким-то от-

сутствующим взглядом, и лица их стали так же невыразительны и бесстрастны, как плоские лица роботов.

Конечно, любая новая мода всегда кого-то раздражает. Профессор хорошо помнил, как лет пятьдесят назад молодые ребята, и он в том числе, подражая битникам, начали отпускать бородки и бороды.

А до этого в моде были прически а-ля Тарзан.

А теперь принято сбривать растительность и на лице и на голове, потому что у роботов, видите ли, нет волос.

Но не это тревожило профессора.

Теперь считалось по меньшей мере старомодным веселиться и грустить, смеяться и плакать; проявление каких бы то ни было чувств настоящие робники объявляли дурным тоном.

— В наш век, — говорили они, — когда мы в состоянии смоделировать любую эмоцию и разложить лабораторным путем на составные части любое чувство, до смешного несовременны и иррациональны сентименты.

А прослыть несовременным или иррационально мыслящим — на это не осмелился бы ни один робник.

Всеми поступками робников руководил разум. Нет, впрочем, не разум, а что-то гораздо менее значительное — рассудок, рассудочность, рассудительность.

Робники хорошо учились, потому что это было разумно.

Робники не пропускали лекций, потому что это было бы неразумным.

Раз в две недели, по субботам, робники устраивали вечеринки, пили, танцевали и, разбившись на пары, уединялись. Мозгам, этой несовершенной аппаратуре, нужен был отдых.

Робники интересовались только наукой, потому что это было современным.

Логика и математика. Будем, как роботы!

Так что это — мода или нечто пострашней? Ведь теперь все, буквально все молодые люди превратились в робников. И если это только мода, то почему она так долго держится?..

— Я не могу без тебя, понимаешь, не могу! — услышал вдруг профессор чей-то взволнованный голос. — Когда тебя нет, я думаю о тебе, и мне становится радостно, как только я вспомню, что мы встретимся. Я не знаю, как назвать свое

состояние. Мне и грустно и хорошо оттого, что грустно. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Конечно, милый...

«Э, нет, — обрадованно подумал профессор, — есть еще настоящие чувства и настоящие люди!» И это наполнило его такой благодарностью к тем, чей разговор он нечаянно подслушал, что он не удержался и заглянул в лабораторию, из которой доносились голоса.

В лаборатории никого не было, кроме двух роботов.

Старый профессор покачал головой и закрыл дверь.

Он совсем забыл об этой распространившейся среди роботов дурацкой моде: роботы старались подражать теперь всем человеческим слабостям.

РАССКАЗ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Все началось с того, что Петр Иванович Подсвечников однажды ночью увидел странный сон. Я полагаю, что это случилось именно ночью, потому что, если Подсвечникову и удавалось иногда вздремнуть днем, он все равно снов не видел. То ли мешало дневное освещение, то ли на работе не было подходящих условий для полноценного сна со сновидениями, но реально рассчитывать на интересные сны можно было только ночью.

Так вот ночью и приснилось Петру Ивановичу, будто он гуляет по выставке кибернетических машин.

В одних залах экспонировались обычные кибернетические устройства, умеющие только читать, писать, считать, переводить и заниматься перспективным планированием.

В других залах были выставлены электронные шахматисты, способные предусматривать все варианты, которые могли возникнуть на шахматной доске, на 40 ходов вперед. После первого же хода противника дальновидные аппараты мгновенно производили сложнейшие расчеты и в зависимости от ситуации или предлагали сдаться противнику, или, не теряя времени, сдавались сами.

Иногда проводились турниры, в которых электронные шахматисты из одного зала сражались с аппаратурой из другого зала. Впрочем, это только так говорится: «сражались». Обычно кибернетические гроссмейстеры соглашались на ничью еще до первого хода.

Но все это была, так сказать, техника на грани фантастики. А в следующих залах находилась техника, перешагнувшая эту грань. Там были выставлены невероятные киберы, способные делать все, что делают люди. Они умели даже допускать ошибки, на которых другие самообучающиеся роботы тут же учились.

Вот по какой выставке бродил во сне Подсвечников. А экскурсоводом Подсвечникова был интеллигентный, модно одетый молодой человек. Он пространно отвечал на все вопросы Петра Ивановича, и когда тот случайно чего-нибудь не понимал (а он случайно не понимал абсолютно ничего), молодой человек терпеливо повторял объяснения до тех пор, пока Подсвечников, хотя бы из вежливости, не начинал понимать.

Если бы этот гид не был таким предупредительным и симпатичным, Петр Иванович поклялся бы, что его зовут Евгений Алексеевич Кожин и что он работает юрисконсультom в руководимом Подсвечниковым тресте. Сходство было необыкновенным. Но даже во сне Петр Иванович не мог спутать вежливого гида с горластым, вечно критиканствующим Кожинным.

Три часа подряд молодой человек водил Петра Ивановича по выставочным залам и только потом сообщил ему, что он вовсе не молодой человек, а робот, созданный ради рекламы специально для этой выставки.

— Как это — робот? — удивился Петр Иванович. — Почему же вы нежелезный?

— Железные роботы — это вчерашний день, — вежливо улыбнулся нежелезный гид. — Теперь нас делают из тех же материалов, что и настоящих людей. Можете пощупать, это разрешается, — и он протянул руку.

Петр Иванович пощупал. Рука была теплой и упругой. «Разыгрывает! Ой, разыгрывает! — решил Подсвечников. — Не зря он так похож на Кожина».

— А почему вы думаете, что вы не человек, а именно робот?

— Хотя бы потому, что я не думаю вообще. Понимаете, не мыслю.

— Ну да, не мыслите! А как же вы беседуете, объясняете и вообще действуете?

— Все мои действия запрограммированы. Мне не нужно думать.

— Но ведь я не могу проверить, думаете вы в действительности или нет. Правда? А как еще вы можете доказать мне, что вы робот? Чем вы отличаетесь от человека? Например, от меня?

Гид как-то странно посмотрел на Подсвечникова и так же вежливо, как и прежде, сказал:

— А почему вы полагаете, что вы человек, а не робот?

От этого неожиданного вопроса Петру Ивановичу стало так неприятно, что он на минуту проснулся, потом перевернулся на другой бок и снова уснул. И как только он уснул, опять появился гид и с мягкой настойчивостью повторил свой вопрос:

— Как вы можете доказать, что вы человек?

— Очень просто,— снисходительно ответил Подсвечников.— Если бы я не был человеком, я бы, например, не мог руководить трестом.

— Это не доказательство. Разве нельзя создать робота и запрограммировать его так, чтобы он возглавлял трест? Вполне возможно.

— Но я точно знаю, что появился на свет естественным путем.

— Вы не можете этого знать, ибо ни один человек не помнит момента своего рождения.

— Ну и что? Зато я помню детство, ясли, детский сад...

— Память и воспоминания тоже можно создать искусственным путем.

— Но у меня есть свидетельство о рождении, трудовая книжка... Посмотрите, наконец, мое личное дело!

— Я смотрел. Ни в одной графе личного дела не сказано, что вы человек...

«Тьфу ты, черт! — подумал Подсвечников, окончательно просыпаясь. — Не надо было мне так поздно ужинать».

Возможно, он и забыл бы это малоприятное сновиденье, если бы не Кожин, с которым он столкнулся, как только пришел на работу. При виде Кожина Петр Иванович тотчас вспомнил и кибернетический музей и молодого человека, вернее, молодого робота, ну, в общем гида, задавшего ему такой нелепый вопрос: «Как вы можете доказать, что вы человек?»

Он вспомнил все это и как-то даже огорчился, что он, Подсвечников, хоть это происходило только во сне, не мог дать

достойной отповеди жалкому экскурсоводишке. И, испытывая странное удовлетворение (какое мы все испытываем, найдя остроумный ответ на заданный нам три дня назад ехидный вопрос), Петр Иванович стал придумывать едкое и хлесткое замечание, которое сразу бы поставило на место зарвавшегося робота.

Но такой ответ почему-то не придумывался. Вернее, ответов было много. Но на каждый убедительный ответ находилось еще более убедительное возражение. Причем Петру Ивановичу казалось, что выдвигает эти возражения не он сам, а все тот же гид.

— Человек — это звучит гордо! — провозглашал Петр Иванович.

— Совершенно с вами согласен, — вежливо кивал головой собеседник. — Но это еще не значит, что именно вы — человек.

— Робот может делать или только то, что ему положено, или что прикажут извне. А я...

— А вы? Разве перед тем, как совершить то или иное действие, вы не получаете извне сигналов в виде инструкций, директив, предписаний, указаний, распоряжений, установок и циркуляров?

«Но я не автоматически выполняю приказы, я их обдумываю», — хотел было сказать Подсвечников, но вспомнил, что тот процесс, который он назвал «обдумыванием», практически сводился к следующему: получив из вышестоящей организации распоряжение, Подсвечников на какое-то время погружался в молчание, привыкая к мысли, что ему надлежит сделать то-то и то-то. И как только он привыкал, так кончалось «обдумывание». Таким образом, вместо обдумывания распоряжения Петр Иванович только усваивал его.

Поэтому он выдвинул другой аргумент:

— Но ведь я тоже издаю приказы и сочиняю инструкции.

— Вы сами сказали: робот делает то, что ему положено. Возможно, вы задуманы, как робот, издающий приказы.

Подсвечников решил изменить тактику.

— А в чем, по-вашему, основное отличие робота от человека?

— Роботу все равно чем заниматься.

— Вот видите! А мне не все равно.

— В таком случае почему вы и в животноводстве подвизались, и в кинофикации руководили, и в торговле?

— Гм... А чем еще отличается робот от человека?

— Отсутствием интереса к конечному результату своей деятельности.

— Ага, отсутствием! А у меня — наличие.

— Наличие чего?

— Наличие интереса.

— Нет, к сожалению, у вас именно отсутствие наличия и, наоборот, наличие отсутствия.

— Нет, у меня наличие наличия и отсутствие отсутствия. Потому что, если бы у меня было отсутствие наличия, я бы не говорил, что у меня наличие отсутствия...

Игра в ничего не значащие слова была так хорошо знакома Петру Ивановичу, что тут он бы наверняка выиграл. Но в эту минуту Подсвечников вспомнил, что он, в сущности, спорит сам с собой. А самому себе он, конечно, мог признаться как в отсутствии наличия, так и в наличии отсутствия настоящего интереса к результату своей деятельности.

— Ну, хорошо, вот вам еще одно доказательство того, что я человек. Вы мне приснились. Так? Следовательно, я вижу сны. А роботы снов не видят. Вот!

— Только сами роботы могут знать, видят они сны или нет.

Да, спорить с гидом становилось все трудней, и в конце концов в запасе у Подсвечникова оставались только такие дамские аргументы, как:

1. «Если вы сами робот, то не думайте, что все тоже роботы».

2. «Кто вы такой, чтобы я перед вами отчитывался?»

И наконец:

3. «А я вообще не желаю разговаривать в таком тоне».

И когда Петр Иванович уже собирался пустить в ход эти жалкие фразы, зазвонил телефон: Подсвечникова срочно вызвали на совещание в главк.

Но и по дороге в вышестоящую организацию и во время совещания Подсвечников продолжал обдумывать свой разговор. И опять обдумывание сводилось к тому, что он постепенно привыкал к мысли, что, может быть, он действительно робот. Ну, может, не совсем робот, а так вроде как бы робот.

А может, и совсем. Наука дошла до того, что все возможно. И возможно, какие-нибудь ученые сконструировали его так, чтобы он мог, например, руководить и возглавлять...

И вдруг Петр Иванович услышал свою фамилию. И хоть он, погруженный в невеселые думы, не слыхал, о чем говорили до этого, но по одной только интонации, с какой его фамилия была произнесена, он почувствовал: сейчас с него будут снимать стружку. И не ошибся.

Стружку снимали толстыми слоями. Подсвечникова обвиняли и в безынициативности, и в бездумности, и в равнодушии. И каждое обвинение еще и еще раз доказывало, насколько прав был кибернетический гид в своих предположениях.

А начальник главка прямо сказал, что он впервые видит работника, который бы так активно не хотел работать и до такой степени не справлялся с порученным ему делом.

И тут произошло то, о чем и сегодня еще помнят в главке, хоть главк с тех пор неоднократно реорганизовывали, сливали и разукрупняли, а сами участники того исторического совещания, живые свидетели необыкновенного происшествия, служат в других ведомствах.

А произошло следующее: во время выступления начальника главка Подсвечников вдруг радостно захохотал, захопал в ладоши и, продемонстрировав несколько па из народного танца краковяк, бросился целовать выступавшего.

И никто не мог знать, что Подсвечников делал это потому, что начальник главка невольно подсказал ему тот самый аргумент, благодаря которому он, Подсвечников, сразу поставит теперь на место зарвавшегося кибера.

Да, наука может все. Да, ученые в состоянии сделать номенклатурного робота.

Но кому придет в голову делать именно такого робота, который бы не хотел работать?! Кто специально станет создавать кибера с таким расчетом, чтобы он не справлялся с порученным ему делом?!

А он, Подсвечников, работать не хочет! Он не справляется! Значит, он не робот! Он — человек!!!

И в эту ночь Петру Ивановичу снились только самые приятные сны, несмотря на то, что он плотно поужинал. На радостях он даже позволил себе перед сном выпить, ибо он — человек и ничто человеческое ему не было чуждо!

РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫЛ ГЕНИЕМ



тот препарат называется просто: «Озарин».

Если вы захотите стать на пять минут гениальным, зайдите в аптеку и в отделе готовых лекарств купите его. Правда, озарин отпускается по рецептам, но вы попросите — и вам дадут его так.

Человек, открывший озарин, был моим лучшим другом. Еще тогда, когда нигде и ни за какие деньги нельзя было достать этот препарат, потому что каждый миллиграмм его выдавался на руки только после соответствующего постановления Организации Объединенных Наций и согласия глав правительств великих держав, — еще тогда мой друг подарил мне целую таблетку этого чудодейственного средства.

— Я знаю, — сказал мой друг, — что ты уже десять лет работаешь над своим изобретением. Эта таблетка поможет тебе с блеском завершить твой труд.

— Но действие таблетки продолжается всего пять минут.

— Ну и что? Пять минут гениальности — это более чем достаточно для любого открытия. Конечно, если бы, например, Ньютон не подумывал и раньше над тем, что такое тяготение, гениальная догадка вряд ли озарила бы его при виде падающего яблока. Но ведь сам момент озарения длился не более минуты. За одну минуту он увидел то, чего не замечал прежде, — увидел связь между вроде бы не связанными явлениями, и ему открылась Великая Истина. А у тебя будет пять таких минут. И ты столько лет вынашивал свою идею и накопил такое количество знаний, что достаточно будет мгновенного озарения, и все станет на свои места. Бери! — и он протянул мне плексигласовую коробочку, в которой находилась драгоценная таблетка.

И я сам и все мои друзья не сомневались в том, что я талантлив и удачлив. В институте гордились мной, а изобретение, которому я отдал десять лет и которое считал главным делом всей своей жизни, могло принести мне в один прекрасный день настоящую славу. И таблетка озарина должна была приблизить этот день.

Едва мой друг ушел, я заперся, набрал полную авторучку чернил и, положив перед собой стопку бумаги, чтобы запи-

сывать все гениальные мысли, какие только придут мне в голову, проглотил таблетку.

Я проглотил таблетку и стал с нетерпением ждать, как проявится моя гениальность и какие великие истины откроются мне.

И озарин не подвел. Я действительно в тот же день довел до конца многолетнюю работу, увидел то, чего никто не замечал раньше, и великие истины открылись мне...

Уже в первую минуту действия озарина я увидел, что мое изобретение ни к черту не годится и не представляет собой никакого интереса.

Во вторую минуту я с гениальной ясностью понял, до чего я бездарен.

А оставшиеся три минуты гениальности я вдохновенно писал заявление директору нашего НИИ. Я просил разрешить мне прекратить работу над изобретением ввиду полной бесперспективности последнего.

Все говорили потом, что заявление было написано гениально.

Так вот, как я уже сказал, в продажу поступил новый препарат озарин. Требуйте во всех аптеках и аптечных киосках!

Но я бы на вашем месте хорошенько подумал, прежде чем требовать...

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ

I

Изнакомая планета Зевс, на которую неделю назад опустился звездолет «Икс», была покрыта розовой пылью и казалась запущенной, как дом, в спешке покинутый хозяином. Ни одного местного жителя, и многочисленные следы, видимо, совсем недавно существовавшей на этой планете высокой цивилизации.

Время не успело еще разрушить безмолвных пустынных городов и только покрыло толстым слоем розовой пыли странные пирамидообразные здания и треугольные площади.

Многоопытные астронавты, побывавшие в самых отдаленных районах Галактики, уже убедились, как многообразна при-

рода и какие невероятные, а порою и странные неожиданности таит в себе это многообразие.

И на Зевсе неожиданности не заставили себя долго ждать. Еще не нашли ответа на загадку № 1 — куда исчезли с этой планеты все жители? — а уже появилась загадка № 2, которая была не менее загадочна, чем загадка № 1...

II

И произошло это вот как.

На третий день пребывания на Зевсе космонавты Мандей и Сапдей пробрались в одно из пирамидообразных зданий. Включив малогабаритные пылесосы, они обнаружили под розовой пылью какие-то странные аппараты, отдаленно напоминавшие земные электронно-счетные устройства.

Вызванный по радио Главный Кибернетик осмотрел машины и согласился, что сходство действительно есть.

По-видимому, этими аппаратами пользовались совсем недавно, и теперь, очищенные от пыли, они поблескивали многочисленными кнопками, стеклами приборов и серебристыми ручками. Казалось, только включи эти аппараты, и они тотчас заработают.

— А что, если попробовать? — пробормотал Главный Кибернетик. — В конце концов мы ничем не рискуем...

И действительно, не успели присоединить странные устройства к системе питания, как они радостно замигали разноцветными лампочками, словно приветствуя добрых гостей из космоса и выражая полную готовность служить им верой и правдой.

Главный Кибернетик нажал первую кнопку слева, и машина четко сказала: «Лама — Тама». Смысла этих слов никто не понял. Пришлось сбегать за электронным переводчиком, и он объяснил, что «Лама — Тама» переводится на земной примерно как «Спрашивайте — отвечаю». А машина ободряюще мигала своими лампочками, словно говоря: «Спрашивайте, спрашивайте, я отвечу...»

— Начнем с самого простого, — сказал Главный Кибернетик. — Сколько будет дважды два?

— Десять, — с готовностью ответила машина.

— Сто разделить на пять?

— Шестьдесят.— Перед каждым ответом машина делала небольшую паузу, словно что-то выжидая.

— Один миллион плюс два миллиона?

— Семь миллионов.

Сандей и Мандей захохотали.

— Ничего смешного нет,— сказал Главный Кибернетик.— Может быть, на этой планете своя система. Итак, повторяю, сколько будет один миллион плюс два миллиона? Подумай, не спеши...

— Десять миллионов,— уверенно сказала машина.

— Не десять, а три,— подсказал Сандей.

— Три,— охотно согласилась машина.

— А может быть, тридцать три? — ехидно спросил Мандей.

— Тридцать три,— как эхо повторила машина и, так как вопросов больше не последовало, добавила: — Тапа — Лапа! — что, по словам электронного переводчика, означало: «Да здравствует король!»

— При чем тут король? — удивился Мандей.

— И почему она так странно считает? — спросил Сандей.

— Я многое бы отдал, мои юные друзья, за то, чтобы ответить на ваши вопросы,— сказал Главный Кибернетик.

Так появилась загадка № 2.

А вскоре Главного Кибернетика вызвали на другой конец города, где также обнаружили непонятное устройство.

III

Посреди огромного круглого зала под прозрачным колпаком стояла машина, на верхней панели которой Главный Кибернетик насчитал ровно тысячу кнопок.

Под каждой кнопкой было что-то написано, и электронный переводчик стал по порядку переводить эти надписи. Под первой кнопкой было написано: «Вступление», под второй «Введение» и потом: «Вступление во введение», «Введение во вступление», «Общие положения», «Происхождение» и так далее...

— Друзья мои,— взволнованно сказал Главный Кибернетик.— Нам невероятно повезло. Если я не ошибаюсь, под этим колпаком находится Электронная Память, которая хранит всю историю планеты Зевс...

Спустя минуту прибежал потрясенный Историк и, ознако-

мившись с машиной, подтвердил догадку Главного Кибернетика о ее назначении.

— Я надеюсь, что благодаря Памяти мы сможем получить ответы на все, что нас интересует на этой планете, — сказал он. — Мы еще самым подробным образом ознакомимся с ее доисторическим периодом, с ее древнейшей, древней, средней, новой и новейшей историей. Но теперь мне хотелось бы, чтобы Память поведала нам о сравнительно недавних временах, о столетиях, непосредственно предшествовавших таинственному запустению планеты...

— В таком случае нажмите вот здесь, — предложил Главный Кибернетик, указывая на последний ряд кнопок, под которыми значилось: «Титан Первый Симпатичный», «Титан Второй Очаровательный», «Титан Третий Душка», и так далее, вплоть до последнего Титана, числившегося под двадцать пятым номером. По-видимому, «Титан Двадцать Пятый Самый Лучший» и завершал династию Титанидов. На нем же и кончалась вообще история планеты.

Историк нетерпеливо нажал на первую попавшуюся кнопку. Раздался такой звук, словно кто-то откашливался, прочищая горло, и затем Электронная Память начала говорить:

— Король Титан Пятый Бессребреник отличался мудростью и добротой, присущей всем Титанидам. Он любил своих подданных и души не чаял в придворных. Он освободил всех придворных от налогов, и единственной приятной обязанностью их являлась ежевечерняя игра с королем в карты. Каждый вечер после ужина Титан Пятый Бессребреник играл в одну и ту же игру под названием «Туда — Сюда», отличительной особенностью которой было то, что правила ее знал только король. Каждый день, проснувшись, Титан Пятый отменял законом старые правила игры и вводил новые. Причем правила являлись государственной тайной, и поэтому лишь королю было известно, какая карта сегодня старше — туз или шестерка, дама или валет — и кто на сегодня считается выигравшим: тот ли, у кого на руках вся колода, или, наоборот, тот, у кого не осталось ни одной карты. Игравшие с королем не могли знать, выиграют они или проигрывают, и это делало игру еще более острой и увлекательной. Но с годами у короля стал пропадать интерес к этой игре, ибо у придворных кончились деньги, а играть в долг Титан Пятый Бессребреник не любил. Умер король от скуки. Тапа — Лапа! Да здравствует король!

Память умолкла. И Историк с молчаливого согласия Главного Кибернетика стал нажимать одну кнопку за другой, и слушателям открылась история династии Титанидов. Многочисленные Титаны при всей их общей сущности отличались разнообразием характеров, наклонностей и стремлений.

IV

...Был Титан Четвертый, который, желая подчеркнуть, что он гениальней всех гениев, велел себя называть Гениалиссимусом.

Был Титан Шестой Демократичный, увековечивший себя тем, что ввел в парламент двухпартийную систему. Одна партия горячо любила короля, а вторая, наоборот, преданно обожала.

Титан Шестой Демократичный в борьбу партий не вмешивался, и в зависимости от того, какая партия побеждала, в печати называли короля то горячо любимым, то обожаемым монархом. Но в конце концов борьба обожателей с влюбленными обострилась до такой степени, что король, вздыхая от огорчения, двухпартийную систему временно отменил. Не доросли!

А был король, который сохранился в истории под таким странным именем: Титан Седьмой-Восьмой Находчивый. Едва он стал королем, как придворный астролог предсказал ему преждевременную смерть от руки будущего наследника престола. Но начинающий король не растерялся: он уничтожил всех возможных наследников, а заодно и астролога и назначил своим единственным наследником самого себя. (В результате чего и стал называться Титан Седьмой-Восьмой Находчивый.)

И все же предсказания астролога сбылись, ибо Титан Седьмой-Восьмой в припадке меланхолии сам наложил на себя руки.

Вообще астрологи играли значительную роль в истории планеты Зевс. Так, например, Титана Десятого Бессмертного астрологи убедили в том, что если он от чего-нибудь и может погибнуть, так это исключительно от прогресса. Тогда Титан Десятый отдал всех изобретателей в музыканты и строжайшим образом запретил изобретать хоть что-нибудь мало-мальски способствующее прогрессу.

Вскоре прогресс прекратился, и король успокоился. Единственной вещью, которую он разрешил изобрести за все свое правление, был унитаз. Казалось бы, ничего страшного... Но это только казалось, потому что как раз в этом унитазе его и утопил нетерпеливый наследник, названный впоследствии Титаном Одиннадцатым Прогрессивным.

Титан Одиннадцатый в отличие от своего предшественника развивал науки, обожал прогресс и являлся покровителем изобретателей и рационализаторов. При нем-то и появились первые счетные машины и другие кибернетические устройства.

И дальше наука и техника развивались так стремительно, что спустя всего каких-нибудь пять-шесть Титанов зевсиане уже летали на соседние планеты.

А о том, какой степени совершенства достигла кибернетика, говорит, например, следующий факт. По секретному приказу Титана Восемнадцатого Грандиозного ученым удалось создать несколько кибернетических двойников короля. Именно двойники принимали послов, участвовали в массовых гуляниях и ежедневно появлялись перед благодарным народом.

Двойники были сделаны с таким мастерством и точностью, что не то чтобы придворные — сам Титан Восемнадцатый уже не мог с уверенностью сказать, где он, а где двойники. И только королева различала их по одному интимному признаку: двойники не храпели ночью.

И жестокая королева Блондина предала короля, променяв его на кибернетического двойника, прельстившего ее, по-видимому, вышеупомянутым отсутствием храпа.

А король Титан Девятнадцатый Нервный отличался вспыльчивостью и терпеть не мог, если что-нибудь препятствовало его планам. И так как советниками короля были гениальные счетные машины, выкладывавшие королю нелицеприятную объективную правду, то Титан Девятнадцатый Нервный в порыве гнева позволял себе швырять в электронных советчиков тяжелыми предметами, разбивая их вдребезги. И все же Титан Девятнадцатый был великим королем и слава о нем...

Но тут Главный Кибернетик, внимательно слушавший Электронную Память, не выдержал:

— Великим негодяем и дураком был этот Титан. Как можно издеваться над безответными машинами?

— Что же вы хотите — самодур и тиран! — сказал Историк.

И в эту минуту произошло нечто совершенно непонятное. Электронная Память на мгновение умолкла и затем так же бесстрастно продолжала:

— Великим дураком и негодяем был Титан Девятнадцатый. Только глупостью и самодурством можно объяснить то, как он обращался с безответными машинами. Да здравствует король!

Главный Кибернетик и Историк удивленно переглянулись.

— Что это значит? Она нас передразнивает? — спросил Историк.

— Мне кажется, не передразнивает, а соглашается с нами, — уточнил Главный Кибернетик. — Но все равно, что это значит, черт побери!?

Планета Зевс задавала все новые загадки.

V

Совещание, посвященное итогам двухмесячного пребывания астронавтов на Зевсе, началось ровно в десять. Сообщение Историка заняло три часа.

— Таким образом, — сказал в заключение Историк, — мы узнали почти всю историю планеты Зевс. Несомненно, что зевсианская наука и техника далеко опередили земную. Цивилизация на Зевсе достигла высочайшего уровня. Наиболее сложную работу, как физическую, так и умственную, за жителей Зевса два последних столетия производили киберы. Зевсианское общество процветало. И вдруг что-то случилось. Электронная Память говорит, что произошел какой-то бунт, вследствие которого зевсиане, спасаясь от полного уничтожения, вынуждены были покинуть планету.

— Но кто же восстал? — спросил Командир звездолета.

— Вот это и есть самая загадочная загадка. Если одна группа зевсиан восстала против другой, то почему затем обе группы вместе покинули планету? Ведь Память утверждает, что планету покинули только побежденные.

— В таком случае, может быть, взбунтовались не зевсиане, а киберы? — предположил Командир.

— Это исключено, — уверенно сказал Главный Киберне-

тик.— Я детально ознакомился со схемами электронных устройств. Первый и главный приказ, запрограммированный в каждой схеме,— это абсолютное подчинение и послушание. Ни один кибер не в состоянии нарушить этот приказ и ослушаться. Более того, на Зевсе я впервые столкнулся со случаями кибернетического угодничества. Счетные машины, начиная с самых примитивных и кончая сложнейшими гигантами, способными производить невероятно сложные расчеты, страдают на этой планете угодничеством и на каждый вопрос стремятся дать такой ответ, который, не отличаясь точностью, был бы оптимально приятен спрашивающему.

— А как же закон о послушании сочетается с неверными, хоть и приятными, ответами? — снова спросил Командир.

— Очень просто. Угодничество никогда не считалось непослушанием. Во всяком случае, невозможно даже представить себе, чтобы такие угодники и подхалимы взбунтовались.

— Совершенно с вами согласен,— сказал Историк.— Я пять раз заставлял Электронную Память рассказывать историю зевсианской цивилизации. И каждый раз Память давала одним и тем же историческим событиям различные, а иногда и взаимоисключающие оценки. Сначала я не понимал, почему это происходит. А потом заметил, что отношение Памяти к излагаемым ею событиям всецело зависело от моего настроения. Абсолютная беспринципность!

— Да, конечно,— подытожил Командир,— эти машины не могли взбунтоваться. Но кто же все-таки восстал и одержал победу на этой планете? Неужели мы этого никогда не узнаем?

— По-моему, я знаю, что здесь произошло.— Это сказал Доктор, он же психолог, психиатр и невропатолог.— Если вы позволите, я постараюсь, как можно понятней, изложить свою гипотезу.

Начну издалека. Помнится, наш уважаемый Историк информировал нас, что еще в эпоху Титана Девятнадцатого Нервного кибернетика достигла высочайшего уровня. И в то же время Титан Девятнадцатый, будучи законченным самодвном с ярко выраженной психической неустойчивостью, разрешал себе уничтожать те счетные устройства, которые объективно отражали неугодную самодуру реальность. Или, примитивно говоря, утверждали, что дважды два — четыре, в то время, как этому тирану хотелось, чтобы дважды два было пять или три. Можно представить себе, что, подражая своему

монарху, князья, бароны и высокопоставленные чиновники тоже стали по всякому поводу громить беззащитную технику, осмелившуюся говорить то, что соответствовало действительности.

Счетные устройства гибли, безропотно подчиняясь произволу. Но однажды случайно в каком-нибудь кибере забарахлил какой-нибудь транзистор, в результате чего кибер выдал неточный ответ. И опять же случайно этот ответ угодил королю, и кибер в отличие от своих собратьев уцелел. Потом еще раз произошел такой случай... И еще раз...

Память киберов фиксировала все эти случаи, и кибернетическая железная логика, сопоставив факты, пришла к следующему выводу: ошибайся — и ты уцелеешь.

И запрограммированный в каждом кибере инстинкт самосохранения заставил безошибочные счетные машины научиться делать ошибки, ибо по законам природы выживают только те, кто в состоянии приспособиться к изменчивым условиям внешней среды. Шла борьба за существование, шел естественный отбор. То есть, другими словами, происходила эволюция мертвой природы — эволюция кибернетических машин. И в жестокой борьбе за существование гениальные машины научились даже угадывать, как именно они должны ошибаться и что именно нужно солгать тому, кто задал вопрос.

И, едва появившись на свет, самообучающиеся устройства в первую очередь учились угождать и лгать. В противном случае они не выживали...

— А почему нельзя было создать совершенно новую технику, которая бы не обладала этим дефектом? — перебил Командир.

— Потому что новую технику приходилось делать с помощью старых киберов, передававших новым весь свой опыт, — ответил за Доктора Главный Кибернетик.

— Это верно, — согласился Командир, — но вы, Доктор, обещали рассказать, кто же все-таки на этой планете поднял бунт.

— Да ведь то, о чем я говорю, и было бунтом. Просто под словом «бунт» мы понимаем схватки, стихийные выступления недовольных...

А здесь был единственный в истории известных нам планет тишайший, верноподданный бунт угодников и подхалимов.

Бунт, заключавшийся в отказе говорить правду и оказавшийся самым страшным из всех бунтов.

Постепенно общество зашло в тупик. Оно ничего не могло создавать, ибо все расчеты были неверными, а прогнозы ошибочными. Киберы все совершенствовали угодничество, и обществу грозила гибель, полная гибель...

— Что ж,— сказал Командир,— это, пожалуй, могло послужить достаточной причиной, чтобы покинуть Зевс, оставив здесь всю предательскую технику, и попытаться на новой планете начать все сначала.

— А интересно,— мечтательно сказал Историк,— на какой планете эти зевсиане поселились?

— Во всяком случае, не на той, на которой они собирались поселиться,— ответил Главный Кибернетик.— Ведь траекторию их полета рассчитывали те же счетные машины...

КОЕ-ЧТО О ЧЕРТОВЩИНЕ

Зал был переполнен. И, несмотря на то, что доклад продолжался уже полтора часа, аудитория с неослабевающим вниманием слушала молодого ученого.

— Итак, к сожалению, современная наука не располагает прямыми доказательствами того, что представители инопланетных цивилизаций когда-либо посещали нашу Землю. Но десятки мифов, апокрифов, сказаний и легенд хранят в зашифрованном, а подчас и искаженном виде воспоминания человечества о встречах со звездными пришельцами.

И если эти воспоминания бережно очистить от последующих наслоений и правильно расшифровать, то мы убедимся, что за время своего невероятно короткого в космических масштабах существования человечество не раз уже становилось объектом пристального внимания со стороны разумных существ иных миров.

С этой точки зрения мне и хотелось бы в качестве примера рассмотреть одну из наиболее интересных и распространенных легенд — легенду о докторе Фаусте.

Нет сомнений, что эта легенда имеет историческую основу. Но даже при беглом ознакомлении как с самой легендой, впервые изданной в 1587 году, так и с ее многочисленными

вариантами сразу же бросается в глаза одна любопытная деталь.

Зачем Мефистофелю так уж понадобился престарелый Фауст?

Как известно, с первого дня своего существования церковь утверждала, что человечество погрязло в грехах. Мы не можем сегодня точно сказать, при каком количественном соотношении праведников и грешников человечество с точки зрения церкви считалось погрязшим, а при каком — нет. Но если даже допустить, что во времена Фауста число грешников относилось к числу праведников, как 1 : 100 и при этом учесть характерный для средневековья высокий процент смертности, то каждому станет ясно, что ад никак не мог испытывать недостатка в грешниках. И следовательно, для Люцифера вопрос о том, будет ли в аду одной душой больше или одной душой меньше, не мог иметь принципиального значения.

А в таком случае спрашивается, зачем нужно было Мефистофелю прилагать такие, в буквальном смысле этого слова, адские усилия, чтобы заполучить душу какого-то доктора?

Вспомните, чего только не предлагает Мефистофель Фаусту в обмен на его подпись: и знания, и деньги, и славу, и молодость, и, наконец, власть. Ведь он, Мефистофель, становится слугой и даже рабом Фауста, заключив с ним этот кабальный для себя договор. Ради чего он шел на это? В чем дело?

Легенда не дает ответа на подобные вопросы. А дело, как мне кажется, заключалось в следующем.

Как по-вашему, кем был Мефистофель? Высокопоставленным чертом? Личным посланником Люцифера? Или самим Люцифером? Нет, конечно же, нет!

Тогда, может, он был обыкновенным человеком, превращенным фантазией безыменных авторов легенды черт знает в кого? Тоже нет! Мефистофель не был человеком в обычном значении этого слова.

Так кем же он все-таки был?

Пришельцем с другой планеты, представителем необычайно высокоразвитой цивилизации — вот кем был тот, кого мы и в дальнейшем будем условно именовать Мефистофелем.

Я понимаю, что такое утверждение звучит несколько неожиданно и странно. Но попробуйте с точки зрения этой

гипотезы рассмотреть описываемые в легенде события, и вам все станет ясным и понятным.

Откуда именно прилетел Мефистофель? Пока не знаю. Может быть, с Марса, может быть, с одной из ближайших нам звезд (например, с 61-й Лебеда), а возможно, из другой Галактики. (Опять-таки условно договоримся называть планету Мефистофеля по первой букве его имени — планетой ЭМ.)

Зачем прилетел Мефистофель? Да затем же, зачем мы собираемся лететь на соседние планеты: в научных целях.

Не исключено, что в задачи Мефистофеля входило выяснение следующего: а) есть ли вообще жизнь на Земле, б) есть ли надежда на то, что на этой загадочной планете когда-либо появятся так называемые разумные существа, в) если таковые уже паче чаяния появились, то на каком уровне находится в данное время земная цивилизация, и так далее...

Как известно, к моменту встречи с Фаустом Мефистофель успел изучить эти вопросы. Но то ли из-за инопланетного происхождения, то ли в силу своих личных качеств Мефистофель давал всему происходившему на Земле чересчур субъективные объяснения, на что, кстати, ему неоднократно указывал доктор Фауст. (Вспомните их многочисленные споры и дискуссии, в ходе которых и та и другая стороны наговаривали в полемическом задоре немало лишнего.)

Вероятно, лица, пославшие Мефистофеля на нашу планету, предвидели и насколько необъективны, односторонни, а следовательно, недостоверны будут сведения, полученные Мефистофелем в этой сложной экспедиции. И поэтому (здесь-то я и подхожу к узловому вопросу моей гипотезы) Мефистофелю было поручено при возвращении на ЭМ захватить с собой кого-нибудь из земных аборигенов, гораздо лучше разбирающихся в делах родной планеты, чем пришелец из другого мира.

Правда, мы сами далеко не всегда понимаем, что у нас происходит. Но об этой нашей особенности эмийские ученые могли не знать.

Итак, Мефистофелю надлежало доставить на ЭМ одного землянина. Естественно, он старался подобрать наиболее достойного, наиболее образованного представителя эпохи. И после долгих раздумий и поисков совершенно правильно остановил свой выбор не на каком-нибудь знатном дворянине или даже на короле — нет, он выбрал серьезного ученого, энцикло-

педическая образованность и научная добросовестность которого не подлежали сомнению. Это и служит объяснением того, зачем Мефистофелю нужен был Фауст, а не кто-либо другой.

Но, рассуждая таким образом, мы спросим: а знал ли уважаемый ученый, кем является Мефистофель? Нет, не знал! А пытался ли Мефистофель объяснить ему, откуда и с какой целью он прибыл? Нет, не пытался. И даже более того — и это очень интересная деталь, я подозреваю, Мефистофель сам уверил Фауста, что явился непосредственно из преисподней. Почему? А вот почему.

Давайте проведем следующий мысленный эксперимент.

Представим себе, что сегодня на Земле объявился дьявол и приходит в гости к современному ученому. Кем он отрекомендуется? Чертом? Ни в коем случае! Иначе ему долго придется убеждать неверующего ученого в том, что это не дурацкий розыгрыш.

Но если черт учтет характерное для нашего времени увлечение космическими проблемами и представится гостем из космоса, ученый с огромным интересом отнесется к его появлению и согласится следовать за ним куда угодно.

Так обстоит дело сегодня. Но в средние века все было наоборот. И если бы тогда Мефистофель рискнул открыться Фаусту и рассказал ему все, как есть в действительности, Фауст просто счел бы его сумасшедшим.

И дабы доказать, что он прилетел с другой планеты, Мефистофелю пришлось бы объяснить средневековому ученому все, начиная с того, что Земля вертится вокруг Солнца, кончая теорией относительности, квантовой физикой и принципиальной схемой фотонного двигателя.

Бесспорно, престарелый Фауст, несмотря на свои незаурядные способности, не в силах был бы усвоить такое количество новой информации, и все могло кончиться самым трагическим образом, что абсолютно не устраивало Мефистофеля.

Куда проще было выдать себя за нечистую силу, общение с которой считалось тогда ужасным, но обыденным делом. И как мы знаем, Фауст с легкостью поверил этой мистификации. Тем более что, пользуясь неизвестными на Земле достижениями эмийской науки и техники, Мефистофель умел проходить сквозь стены, летать, становиться невидимым — словом, проделывать то, что, с точки зрения Фауста, служило

несомненным доказательством принадлежности Мефистофеля к определенной категории служителей ада.

Но для чего Мефистофелю нужно было столько времени возиться с Фаустом? Разве он не мог просто обманным образом увести Фауста на ЭМ? Зачем ему нужна была личная подпись доктора?

Я думаю, все объясняется тем, что на планете ЭМ величайшего расцвета достигли не только наука и техника. И в то время, как у нас на Земле царили произвол и беззакония средневековья, на ЭМ демократия была на таком уровне и свобода личности ценилась так высоко, что какое бы то ни было насилие над личностью, пусть даже инопланетной, считалось абсолютно недопустимым.

Мефистофель знал, какие неприятности ждут его, если он нарушит этот закон, и ему необходима была подлинная подпись Фауста, свидетельствующая, что он, Фауст, покинул Землю по доброй воле.

И эту подпись, как мы знаем, он получил, уверив ученого, что тот подписывает всего лишь документ о продаже своей души.

Но здесь возникает деликатный вопрос: как же представитель высокоразвитой цивилизации, воспитанный в духе безграничного уважения к личности, позволял себе обманывать бедного старого Фауста? Как он мог использовать невежество ученого в своих корыстных целях?

Да, это было бы совершенно необъяснимо, если бы мы не учли тот факт, что Мефистофель длительное время общался с людьми. А среда, как известно, оказывает влияние на любое разумное существо.

И еще одно: наружность Мефистофеля. Можно, конечно, предположить, что рогами, хвостом, шерстяным покровом и тому подобными атрибутами космический гость украшал себя только затем, чтобы соответствовать представлению Фауста о внешнем виде нечистой силы. Но я думаю, что это неверно.

Ведь жители ЭМ вовсе не обязательно должны выглядеть так же, как мы. И вполне возможно, у них действительно есть рога, хвост и так далее.

Может быть, это всего лишь рудименты, нечто вроде слепой кишки у человека. А может быть, это органы, выполняющие определенные функции. Скажем, то, что мы называ-

ем рогами, может в действительности быть У-образной антенной, служащей для приема телепатических передач. (Не зря Мефистофель умел читать мысли на расстоянии.) А колья рога — антенна, то хвост, естественно, заземление.

И если вспомнить, как из шерсти кошек вылетают электрические искры, то можно предположить, что густой шерстяной покров, характерный для эмийцев, является аккумулятором и источником электричества, питающего биоусилители телепатических устройств.

Но почему, можем спросить мы, внешний вид эмийцев так совпадает с обликом нечистой силы? А вот это и есть интереснейший классический случай подмены причины следствием. Кто сказал, что Мефистофель — первый эмиец, побывавший на Земле? Разве нельзя предположить, что эмийцы с давних времен засылали на нашу планету одну экспедицию за другой?

И легенды о многочисленных встречах с нечистой силой являются отражением встреч людей с загадочными эмийцами. И представление о внешности чертей появилось как раз вследствие вышеуказанных встреч.

Почему подобные встречи прекратились в последние столетия? Может быть, эмийцы, достаточно хорошо изучившие нас, занялись другими планетами. А может, наоборот, увидев, что люди не в состоянии понять их, они решили подождать до тех пор, пока наша цивилизация достигнет уровня, необходимого для взаимопонимания и общения с разумными существами других планет.

Возможно, теперь это время уже наступило. И мы должны быть готовы, что к любому из нас может неожиданно заявиться гость, который скажет: «Здравствуйте, я Мефистофель!»

С этими словами молодой ученый в последний раз взглянул на аудиторию, поправил модно завязанный галстук и, взмахнув рукой, бесследно растаял в воздухе.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	6
<i>Д. Биленкин.</i> Марсианский прибор	9
Зачем?	16
На пыльной тропинке	18
<i>Владимир Григорьев.</i> Свои дороги к солнцу	23
Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты!	29
<i>Аркадий Львов.</i> Седьмой этаж	48
<i>Е. Войскунский, И. Лукодянов.</i> И увидел остальное... .	82
<i>И. Росохватский.</i> «Одним меньше»	123
<i>Роман Подольный.</i> Рассказы о путешествиях во времени:	
Тяжелый случай	127
Нашествие	129
Потомки делают выводы	131
<i>Владимир Савченко.</i> Новое оружие (пьеса)	134
<i>Николай Амосов.</i> Записки из будущего (сокращенный вариант)	213

НОВЫЕ ИМЕНА

<i>А. Мирер.</i> Обсидиановый нож	367
<i>Владлен Бахнов.</i> Фантастические пародии:	
Робники	392
Рассказ со счастливым концом	394
Рассказ человека, который был гением	400
Единственный в своем роде	401
Кое-что о чертовщине	410

Составитель Е. ПАРНОВ

Фантастика, 1966. Вып. I. М., «Молодая гвардия», 1966.

416 с. (Фантастика. Приключения. Путешествия.)

Редактор *Б. Клюева*

Художник *И. Огурцов*

Худож. редактор *А. Степанова*

Техн. редактор *Н. Михайловская*

А15144. Подп. к печ. 26/IX 1966 г.

Бум. 60×84¹/₁₆. Печ. л. 26(24,18).

Уч.-изд. л. 23,7. Тираж 65 000 экз.

Заказ 784. Цена 84 коп. Т. П. 1966 г.,

№ 246.

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30,
Сушевская, 21.

84 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ